

ISSN 2958-499X

ТАЙНЫЕ ТРОПЫ

№ 1 (5)

Александр Дельфинов

Татьяна Вольтская

Наум Сагаловский

Михаил Дынкин

Вадим Гройсман

Андрей Грицман

Алекс Тарн

Ольга Фикс

Дмитрий Стахов

Олег Лекманов

Ноях Лурье

публикация:

Ирина Рувинская

Михаил Горелик

Маргарита Левин

2024



ТАЙНЫЕ ТРОПЫ

Журнал литературы и искусств русскоязычного мира

№ 1 (5)

Журнал ТТ (Тайные тропы)
ISSN 2958-499X

Живописный, графический образ
номера определили работы
Маргариты Левин

Учредитель и издатель
Барух-Александр Плохотенко

Главный редактор
Барух-Александр Плохотенко

Редакция
Владимир Горбачёв
Борис Борухов

Контакты
secrettropes@gmail.com

Никакая часть данного издания не может
быть воспроизведена без разрешения
редакции

Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов

Вниманию уважаемых авторов!
ТТ принимают к публикации только
прежде не издававшиеся произведения,
присланные, переданные самими авторами
непосредственно в редакцию

Редакция не рецензирует присланные
материалы и в переписку по их поводу
не вступает

© ТТ. Все права защищены

Александр Дельфинов

Татьяна Вольтская

Наум Сагаловский

Михаил Дынкин

Вадим Гройсман

Андрей Грицман

Алекс Тарн

Ольга Фикс

Дмитрий Стахов

Олег Лекманов

Ноях Лурье

публикация:

Ирина Рувинская

Михаил Горелик

Маргарита Левин

2024



Оглавление	3
Стихи	5
Александр ДЕЛЬФИНОВ	6
Трекился каждый шаг. <i>Стихи, написанные в Берлине в 2023 году</i>	7
Татьяна ВОЛЬТСКАЯ	16
Сквозь грохот войн	17
Наум САГАЛОВСКИЙ	24
Всё будет хорошо	25
Михаил ДЫНКИН	36
Река Зазеркалья	37
Вадим ГРОЙСМАН	46
Блудный сын	47
Андрей ГРИЦМАН	56
С той стороны туманного окна	57
роман	61
Алекс ТАРН	62
Гиршуни. <i>Записки из-под блогов</i>	63
повесть	227
Ольга ФИКС	228
Побочный эффект	229
повесть	255
Дмитрий СТАХОВ	256
Маленькая собачка	257
литературоведение	279
Олег ЛЕКМАНОВ	280
Любовная лирика Осипа Мандельштама. <i>Предисловие и первая глава книги</i>	281
memoia	
истории советской литературы	299
Ноях ЛУРЬЕ	300
Таня НОТАРИУС. Время публиковать	302
Ирина РУВИНСКАЯ. <i>От публикатора</i>	303
Ноях ЛУРЬЕ. Что я видел	304
«Справка ненависти». <i>От публикатора</i>	342
изобразительное искусство	351
Мargarита ЛЕВИН	352
Прививка цветом	353
Безгранично-творческое сознание	355
Михаил ГОРЕЛИК. Свет и цвет Margarиты	356

Mum





Мш

Александр ДЕЛЬФИНОВ

📍 Берлин, Германия



Фото: Юлия Лебедева

Родившийся в Москве (1971) берлинский поэт, пишущий по-русски, спокенворд- и перформанс-артист, журналист.

Победитель международного поэтри-слэма Slamstival в Иерусалиме (2016).

Внук израильского поэта и переводчика Савелия Гринберга (1914–2003).

Автор нескольких поэтических книг. Первая книга прозы в переводе на немецкий язык вышла в 2023-м.

Более 20 лет живёт в Германии.

Треkitся каждый шаг

Стихи, написанные в Берлине в 2023 году

Вечерний двор

Я вышел вечером во двор,
Как серый месяц из тумана,
Невнятный слышу разговор
И — отдалённо — чьи-то стоны.
Осенний холод от земли
Уже ползёт петлёю мерзкой,
Лишь терпкий запах конопли
Летит из форточки соседской,
И кто-то спит, и кто-то бдит —
Бонаventura утомлённый,
У двери запертой в Аид
Залаял Цербер наш районный.
Вот август — что мне делать с ним? —
Туберкулёзно дышит в спину.
Берлин, как Иерусалим,
Накрыло тьмой. Приляг и спи, ну!
Каких ещё ты ждёшь объятий?
Здесь разве Хищник и Чужой
С тобой обнимутся, приятель,
Хотя, признаться, небольшой
На это шанс. Плети, Арахна,
Свой запароленный вайфай!
Стоглазый Аргус морщит окна,
Подслеповато ищет рай,
Но только бестолковый вор
Войдёт в ворота, где Петра нет,
Да призрак вечером во двор
За стенами любви заглянет.

Бертольд Брехт

Не полицейский, не ландскнехт,
Не психиатр в дурке —
Ко мне стучится Бертольд Брехт,
Раз, два, на третьи сутки.

Берлин ли, Мюнхен за окном,
Закат в цветах магенты.
Открою дверь — и тут же он:
«А ну-ка, документы!»

Качнётся палубою пол,
Хлестнёт волна по крыше,
А Бертольд Брехт за мной пришёл,
И я навстречу вышел,

И паспорт с визой показал,
И нас накрыла ночь та,
Где, словно театральный зал,
Полна народом почва.

Как Мекки Мессер без ножа,
Торчу сычом, вот грех-то,

Ни трёх грошей, ни куража,
Как мне спровадить Брехта?

Ну, был бы хоть ковбойский кольт,
Хоть что-то вроде пульта...
Я говорю ему: «Бертольд!
Не сотворите культа!

Я мало спал, я так устал,
Вся жизнь — как тур по свадьбам,
Ведь вы читали «Капитал»,
Могу и сдачи дать вам!»

Он что-то забубнил про баб,
Страх смерти и гуманность,
Но вдруг обмяк, но вдруг ослаб,
Растаяв как туманность.

А я, как в лунный кратер Рехт,
Пал камнем до побудки,
Но снова постучится Брехт,
Раз, два, на третьи сутки.

С улицы Расеяной

Жил человек рассеянный
На улице Расеяной.

Раз с утра надел халат,
А попал в военкомат,
Подтянул одну штанину —
Хлоп, и едет в Украину.

Вот какой рассеянный
С улицы Расеяной!

Не успел раскрыть он рот —
Дали в руки пулемёт.
Не успел присесть со страху —
Говорят ему: «В атаку!»

Вот какой рассеянный
С улицы Расеяной!

Побежав к чужим домам,
Застрелил кого-то там.
Заглядевшись на ворон,
Был и сам контужен он.

Вот какой рассеянный
С улицы Расеяной!

И так в полусознании
Он прибыл в лазарет,
И там в больничном здании
Понёс внезапный бред:
— Товарищеобманущий
Командоуговняный!
Говнарищекомандуный
Товарищеобманый!
Хочу я от москвистов
Росву освободить,
Приказ мне дайте быстро

На месте всех убить!
 Врач выругался едко
 И дал ему таблетку.

Вот какой рассеянный
 С улицы Расеяной.

Дома встретился с супругой —
 Треснул в глаз, ругая «сукой».
 Встал, пошёл купить бухла —
 Вынул ножик из чехла.

Вот какой рассеянный
 С улицы Расеяной!

Прихватил его ОМОН —
 Сел за хулиганку он.
 В темноте прилёт на нары,
 А во сне опять кошмары.
 Как-то раз под Новый год
 Прилетает вертолёт,
 Злой мужик кричит народу:

«Гадом буду — дам свободу!»
 — А куда зовёте нас?
 — На экскурсию в Донбасс.

Ручку наш герой берёт,
 Ставит подпись — и вперёд,
 Не успел расправить спину,
 Снова едет в Украину.
 Получает автомат —
 Кто же в этом виноват?
 Не по лагерю к бараку —
 Он опять пойдёт в атаку.
 Как в тумане жизнь летит,
 Может, будет он убит,
 Или, жив и красноморден,
 Даже вдруг получит орден,
 И к супруге возвратится
 Патриот, солдат... убийца?

Вот какой рассеянный
 С улицы Расеяной.

Сижу и не думаю

Сижу и не думаю о том, что я
 Не думаю о том, что я не думаю.
 Сижу и делаю вид, что я
 Совершенно спокойно сижу.
 Сижу и думаю: «Сейчас посмотрю
 До конца фильм про Гражданскую войну
 В США, это так успокаивает —
 Фильм про Гражданскую войну в США».
 Сижу и думаю: «Когда я смотрю
 Фильм про Гражданскую войну в США,
 Я временно забываю про ту, другую войну,
 Которая идёт прямо сейчас
 Когтистыми чешуйчатыми ногами по нам».
 Сижу и думаю: «Вот я тут сижу,
 А что, интересно, вы там делаете?
 Может, сидите и думаете, а что, интересно,
 Сейчас сижу и думаю я?»
 А я сижу и не думаю о том, что я
 Не думаю о том, что я не думаю,
 А точнее, думаю о том, что вы

Сидите где-то там и, возможно,
Думаете: «А что, интересно, сейчас
Сижу и думаю я?» А я, что же, я
Сижу и делаю вид, что я
Совершенно спокойно сижу.
Сижу и не думаю...

Отпусти

«Отпусти меня, милая, отпусти,
Как рыбу в воду, как птицу в небо,
Срок скости, только голову не скоси,
А попросту отпусти».

А она говорит:
«Нет, нет, нет,
Ну, куда же я без тебя, мой свет?
Не снесу мою скукотищу,
Не могу без тебя и грущу,
Я тебя не отпущу».

«Отпусти меня, милая, отпусти,
Как выстрел мимо, как чьё-то имя
Забывтое не произнести,
Возьми да и отпусти».

А она говорит:
«Нет, нет, нет,
На все твои просьбы один ответ —
С рождения на себе тащу,
Высосу, высушу, истощу,
Я тебя не отпущу».

И чем дальше дорога, тем ближе лес,
И чем круче тревога, тем меньше знакомых мест,
Ни тормознуть, ни сойти, ни вылезти,
Я прошу: «Отпусти! Отпусти! Отпусти!...»

Но она говорит:
«Нет! Нет! Нет!
Ну, куда же я без тебя, мой свет?
Уведу тебя в чащу, в пущу,
Тишиной, темнотой угощу,
Я тебя не отпущу».

Никого не спас

Вот с растением горшок,
Вот с вареньем таз,
Вот ещё один стишок
Никого не спас.

Вот приятель-корешок,
Вот подбитый глаз,
Вот ещё один стишок
Никого не спас.

Вот запретный порошок,
Вот слепой экстаз,
Вот ещё один стишок
Никого не спас.

Спит собака на полу,
Спит язык во рту.

Тыходишь к зеркалу —
Видишь пустоту.

Помнишь, в детстве лазили
Мы в подвале том?
Стёрта жизнь с лица земли,
Уничтожен дом.

Кто там плачет в темноте?
Души без жилья...
Вряд ли вам помогут те
Болтуны, как я.

Вот с продуктами мешок,
Свет, вода и газ,
Вот ещё один стишок
Никого не спас.

Идёт солдат по городу

У солдата выходной,
Но огонь в глазах,
Может быть он солевой
Или на спидсах?
Вдалеке идут бои,
Ну да не беда,
Нынче здесь везде свои,
«Россия навсегда»,
«Россия навсегда».

Идёт солдат по городу,
По разбомблённой улице,
Где трупы мирных жителей
Валялись тут и там,
Не обижайтесь, мёртвые,
Но для солдата главное —
Домой вернуться с выгодой,
Не попадая к вам.

И солдату всё равно,
Кто взорвал театр,
У него в глазах темно,
Нужен психиатр,

Потому что в голове
Мысли как кисель,
И дорога из-под ног
Летит как карусель,
Летит как карусель.

Идёт солдат по городу,
По разбомблённой улице,
И от кровавых призраков
Вся улица темна...
(Не обижайтесь, призраки,
Но для цензуры главное —
Идёт спецоперация,
А вовсе не война.)

Русский бог глядит с небес,
Розовы очки,
А солдат, возможно, трезв,
Просто без башки.
Аты-баты, оккупант
Шёл по городу,
Русский чёрт за ним следил
И ждал его в аду,
И ждал его в аду.

Идёт солдат по городу,
Там где за хлебом очередь,
И меж развалин высится
Большой телеэкрэн,

Не обижайтесь, жители,
Сейчас начнутся новости,
Про вашу жизнь счастливую
Они расскажут вам.

Жабры

Вначале пронзила лёгкая боль в груди
Потом стало резко хуже
Смирнов еле дышал, хрипел
Думал — ковид
Но тест был отрицательный
А на четвёртый день
Под лопатками кожа разорвалась
И открылись жабры
Смирнов лежал на полу и думал: умирает
Шевелил жабрами — странное чувство
Сверкнула мысль: «Ванная!»
В воде стало легче дышать
Теперь он был амфибией
Часами отлёживался в ванной
Выходил редко: за продуктами
Мусор вынести
Но через пару недель заболели руки
А потом опухли, покрылись коркой
Когда корка отпала
Вместо рук у Смирнова были
Щупальца с присосками
Зрачки стали вертикальными
Кожа позеленела
Когда Петя зашёл к нему в воскресенье
То долго звонил, но никто не открывал
К телефону никто не подходил
Петю вдруг перекрыло
Он выбил дверь...
Смирнов лежал в ванной и дышал
Его покрытое сине-салатовой чешуёй лицо
Ещё имело отдалённое сходство с человеческим
Смирнов кажется узнал Петю
Подал приветственный сигнал щупальцем
А может, это было чисто рефлексивное
В любом случае
Говорить
Он
Уже
Не
Мог

Ханна Арендт

Ханна Арендт выходит из дома,
Из травинки зелёной в саду,
Из огромного снежного кома,
Под который я сам упаду,
Из такси, где скрипящая дверца,
Из рекламы ненужной херни,
Из ребра, а точнее, из сердца,
Что отсчитывает наши дни,
Из сухой апельсиновой корки,
Из толпы, распеваящей гимн,
Из страницы журнала New Yorker
Прямо в древний Иерусалим,
У неё, как у цепкой акации,
Руки-корни и листья-глаза,
Но от праздничной иллюминации
Уклонясь, как от глупого зла,
Там, где солнца багряный фалафель
Брошен в масла лазурного таз,
И на коже ожоги от капель,
Что летят через годы на нас,
Где бухгалтер по ящикам шарит,
Мертвецов беспокоя в земле,
Сквозь меня пролетит Ханна Арендт
И исчезнет в шмелином крыле.

Шёпот

– Как твоё самочувствие? – спрашивает она,
Но со всех четырёх сторон лишь одна стена,
Там, где дверь должна быть или квадрат окна —
Только камень и камень снова,
Хотя если взглянуть на происходящее под другим углом,
Можно увидеть семейное счастье, уютный дом,
Как отметил философ, а впрочем, он
Не сказал ни слова.

– Кстати, помнишь, какое сегодня число? – говорит она,
А сама не может забыть, что болит спина,
И волосы постепенно захватывает седина,
Так ведь седина не нарочно.
Хотя в том, что зовут душой, ей всё также сем-
Надцать, или сколько там, собственно, как и всем

Здесь собравшимся, но кончился седуксен,
Ей опять тревожно.

«Самые счастливые дни — что давно прошли,
Самые яркие искры — у старых пней,
Я всю жизнь как умел тянулся из-под земли,
Чтобы так и не удержаться потом на ней», —
Это он ей шепчет, но холодно из-под век.
И шёпот его — как снег.

– Как тот фильм назывался, не помнишь? – вздохнув, она
Превращается в пчёлку, жужжащую тихо на
Одуванчике, и капли оранжевого вина
По игле протекают в вену.
Хотя если выйти за грань, в коридор, во двор,
Это просто ещё один исчезающий разговор,
Словно вор перебрался ловко через забор
И уткнулся в стену.

«Самые любимые — где-то в чужой дали,
Самые волшебные вещи — среди теней,
Я всю жизнь как умел тянулся из-под земли,
Чтобы так и не удержаться потом на ней», —
Это он ей шепчет, но холодно из-под век.
И шёпот его — как снег.

Трекится каждый шаг

*«Трекится каждый шаг. И кажется, нельзя отка-
заться. Прочитав это, я услышала ваш голос».*

Из сообщения в чате

«Ваша боль — это пошлость», — пишет незнакомец. Комментарии
В соцсетях — как аспиды в серпентарии.
Встаю, подхожу к окну и гляжу, как сквозь слёзы от дыма, я.
Сегодня меня убила моя любимая.
Сегодня я убил ту, которую так любил, лишь алеет мак,
А теперь я вам проору, начиная с абзаца:
ТРЕКИТСЯ КАЖДЫЙ ШАГ!
И КАЖЕТСЯ, НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ!

Вышел из дома, в транспорте — такая толпа, как будто все вокруг беженцы.
Один за другим Иисусы несут кресты, мочи их и режь венцы!
Вот подошла контролёрка, красавица — уй!
Отдай же ей, Саша, голову и верёвку свою целуй.
Я выхожу из вагона, сняв трусы, но надев цилиндр и фрак,

Словно некая бессмертная цаца.
Трежится каждый шаг.
И кажется, нельзя отказаться.

«Трежится каждый шаг.
И кажется, нельзя отказаться», –
Так говорил почтальон в том фильме, где он был киллером.
Трежится каждый шаг.
И кажется, нельзя отказаться.
Видеокамеры наблюдения сняли нашу любовь втроём,
Ненависть всемером и пиратский флаг
Над куполом полицейского пепелаца.
Аллаху акбар! Трежится каждый шаг.
И кажется, нельзя отказаться.

«Уважаемые мигранты! Паром “Эстония” рад приветствовать вас!» Плещут волны,
Но сидя между двух стульев, уверенно пишем в стол мы.
Симеон Столпник лезет на «Бурдж Дубай»,
Наши судьбы программирует обкуренный разъ***й,
Как пел П. Г. Короленко, «весь мир — бардак»,
А точнее объяснят на ютуб-каналах Дудя и Каца,
Мол, трежится каждый шаг.
И кажется, нельзя отказаться.

«Трежится каждый шаг.
И кажется, нельзя отказаться», –
С этим лозунгом лемминги заезжали в санаторий в горах.
Трежится каждый шаг.
И кажется, нельзя отказаться.
Хотя этого можно и не заметить на первых порах.
Свобода — как неразменный пятак,
Но на выходе бесконечная касса.
Трежится каждый шаг.
И кажется, нельзя отказаться. ■

Татьяна ВОЛЬТСКАЯ

📍 Санкт-Петербург, Россия



Фото: Светлана Кульчицкая

Поэт, эссеист, автор 16 сборников стихов: «Стрела» (СПб, 1994), «Тень» (СПб, 1998), «Цикада» (СПб, 2002), «Cicada» (Лондон, Bloodaxe, 2006), «Trostdroppar» (Стокгольм, 2009), «Письмо Татьяны» (СПб, «Геликон Плюс», 2011), «Из варяг в греки» (СПб, «Геликон Плюс», 2012), «Угол Невского и Крещатика» (Киев, «Радуга», 2015), Избранное (СПб, «Геликон Плюс», 2015), «В лёгком огне» («Издательские решения», 2017), «Крылатый санитар» (М., «Воймега», 2019) и книги стихов и прозы «Почти не болит» (СПб, «Лимбус Пресс», 2019), «Дальше пешком» (М., «Стеклограф», 2021), «Спящий не спит» (Киев, «Друкарский двор»), «Стой со мною» (СПб, «Пальмира», 2022), «Совесь моя украинка» (Киев, «Радуга», 2022).

В 1990-е выступала как критик и публицист, вместе с Владимиром Аллоем и Самуилом Лурье была соредактором петербургского литературного журнала «Постскриптум».

Стихи переводились на английский, немецкий, шведский, голландский, финский, итальянский, сербский, литовский.

Лауреат Пушкинской стипендии (Германия, 1999), премий журнала «Звезда» (2003), журнала «Интерпоэзия» (2016), специальной премии журнала «Этажи» (2019), Всероссийского поэтического конкурса «Заблудившийся трамвай» (2019) и др.

Участница международного поэтического фестиваля в Роттердаме, Платоновского фестиваля, фестивалей «Петербургские мосты», «Киевские лавры», Международного Хлебниковского фестиваля «Ладомир» и др.

Печатается в литературных журналах «Звезда», «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Интерпоэзия», «Этажи», «Новый берег», «Крещатик», «ШО», «PROSODIA», «ФОРМАСЛОВ», «Литература» и др.

Работает журналистом на радио «Свобода/Свободная Европа».

По поводу нынешнего положения говорит:

«Я родилась и прожила всю жизнь в Петербурге, но с конца апреля 2022 года вынужденно живу в Грузии: ярлык «иностранный агента», заботливо привешенный мне Министерством юстиции РФ, не позволяет жить в России и работать на радио «Свобода». Своё нынешнее положение воспринимаю как изгнание и переживаю его тяжело. См. учебник Смирновского/эпиграф Набокова: «Роза – цветок. ...Воробей – птица. Россия – наше отечество. Смерть неизбежна». Ничего не изменилось.

В 3-м номере «Тайных троп» были опубликованы фрагменты её очерков «Грузинский блокнот». Теперь черёд поэтической подборке.

¹ См. также редакционный «манифест» в № 1 «ТТ» (прим. ред.).

Сквозь грохот войн



Сквозь грохот войн,²
 Грузнее палицы и самолёта выше,
 Утробный материнский вой,
 Назойливый, сверхзвуковой.
 Несётся в небо, в слух врезаюсь Твой.
 Ты слышишь, Господи? Ты слышишь?

Никто, никто,
 Ни голубь, ни змея с дрожащим жалом,
 Ни полусгнивший грешник, ни святой
 Не смеет крик поднять над пустотой,
 А только мать, поскольку в ней – частичка Той,
 Что и Тебя рожала.

Война – и вот
 Среди её жнивья
 Нет больше воинов, а только сыновья,
 Железом срезаны, на левом фланге.
 Не мать кричит – кричит её живот,
 В котором Ты нарисовал прозрачный плод,
 От глаз до пальца маленькой фаланги.

Война и мать
 Стоят пред Господом, друг друга кроя,
 Как на базаре. Рёв сирены втрое
 Перекрывает вой. Не надо Трои.
 Не надо славы мёртвого героя.
 Ты слышишь, Господи? Не смей ломать
 Что Сам же строил.

² Впервые опубликовано в поэтическом проекте «NO WAR – ПОЭТЫ ПРОТИВ ВОЙНЫ», организованном KRiK Publishing House.



Огребём по полной. Неправедная война³
 Обесценила дедовы ордена.
 Я держу их в горсти
 И говорю: «Прости», –
 Деду Ивану, врачу
 В блокадном военном госпитале. Хочу
 Услышать, что он сказал бы
 На ракетные залпы
 Наши по Киеву. Опускаю голову и молчу.
 Слышу, дедушка, голос твой.
 Мы зачем умирали-то под Москвой?
 Чтобы русский потом вдовой
 Украинку оставил?
 Каин, Каин, где брат твой Авель?



Вот так судьба
 Берёт тебя за шкуру, как раба,
 Убийцу, вора,
 И говорит: «Идём».
 Ты семенишь за ней, глотая стон,
 И покидаешь нору.

Дом не разбит,
 Как в Мариуполе, но едкий стыд
 Всё разорил. На месте – вилки-ложки.
 Но считаешь новости с утра
 И видишь: в черепе дыра,
 Как от бомбёжки.

Всё, что любил:
 Звезда в окне, сосна, автомобиль,
 Изба резная,
 На книжной полке пыль –
 Всё разнесёт за миг какой-нибудь дебил,
 Который знает,

Куда стране
 Идти по трупам, по развалинам, по мне
 Всей армией своей, ОМОНОм, СОБРОм,
 На всё живое разевая пасть.
 Как быть? Что делать, чтобы не совпасть
 С путём особым,

³ Впервые опубликовано в проекте «NO WAR – ПОЭТЫ ПРОТИВ ВОЙНЫ», а также на сайте «The Los Angeles Review» с переводом на английский.

Который – смерть?
 Я не хочу смотреть
 На это тело,
 Лежащее на улице, на то,
 В зелёном окровавленном пальто,
 Я не хотела

Ильи, Петра,
 Убитых мальчиками с нашего двора,
 Кровавой жижи,
 Разграбленных домов, безглазых стен,
 Машин сожжённых. Нет меня. Я только тень
 Того, что вижу.



Как же я не хочу уезжать.
 Снег к пустому окошку прижат,
 Как ладони к сырому лицу.
 Пусто, пусто везде беглецу.
 Ведь беглец – он почти что мертвец.
 Не благая, а гиблая весть
 Отгоняет от дома его,
 Разрывая в клочки естество.

Не хочу уезжать, не хочу.
 Дайте мне тополя, каланчу,
 На пожарном пруду рыбака
 И ржавеющей бочки бока.
 Преградите скорее мне путь,
 Прошептав: «Ничего, как-нибудь».



Если всё-таки придётся прощаться,
 И остаться – ни малейшего шанса,
 Я хочу, чтоб этот день не кончался,
 Чтобы не было последнего часа,
 Не стояли чемоданы в передней
 И не сыпались кровавые бредни
 Новостей из преисподнего рога
 Изобилия, не стлалась дорога
 Ровной скатертью под ноги – катись, мол.
 На пороге лучше б ты меня стиснул,
 И сто лет бы мы с тобой простояли,
 Балансируя на краешке ямы.



То ли я живу во сне,
То ли не совсем живу.
Без меня откроет снег
Прошлогоднюю траву,

И из земляных борозд
Вверх воскреснут семена,
И на крыше чёрный дрозд
Распоётся без меня.

Где ты, брошенный мой дом?
Где ты, брошенный мой сын?
Где ты, жизнь? Пошла на слом
Вместе с дождиком косым.



Как увижу тебя, как заплачу,
Как навстречу тебе полечу,
И прижмусь, и замру. А иначе
Не хочу, не хочу, не хочу.

Ни тепла не хочу, не платанов,
Ни рассеянной пены морской.
Дышит в спину зима, полустанок,
Ёлок каменных тёмный покой.

Тропка, лунный обглоданный коржик.
Чай поставить. Припомнить: среда.
Затопить. Не расстанемся больше
Никогда, никогда, никогда.



Было-было, да прошло,
Расколосось, как стекло.
Где там слава, где там честь?
Стыдно спать и стыдно есть,
Стыдно буквы сочетать,
Стыдно новости читать,
Кто убил и кто убит,
Стыдно родину любить –
Дожили! – топтать траву,
Стыдно, что ещё живу.

Стыдно думать и дышать.
Истончается душа,
И со всех сторон кричат:
Каин, Каин, где твой брат?



Не жалко ни лета, ни места, ни времени,
А жалко дождя на стекле и Каренина,
Стоящего в тёмной гостиной спиною
К свече, перед той пеленой водяною,
Что нас навсегда отделила от мира,
И небо затмила, и лица размыла.
Молчащего жалко – за полкой иконною,
За жёлтой стеною, за статуей конною
За шторой, за стопкою книг – неподвижно
Глядящего в полночь, где больше не видно
Ни серой фуражки, ни чёрной пролётки,
Ни двух юнкеров, надрывающих глотки.
Лишь поезд летит над землёй безымянной,
Забыла – Россией, а может быть, Анной.



Распускается пряжа лица,
Растворяется жизни основа,
Обнажая изнанку листа
С корешками проросшего слова.

Пять минут на дороге постой,
На перроне безлюдном и длинном.
Кроме этой бумаги пустой,
Нет больше земли нам,

Кроме временного угла,
Где к стене чемоданы поставишь,
И экрана – живого стекла,
И дождливого шороха клавиш.



– Здравсьте вам, так сказать, солнца, мира вам...
– Много вас таких, глаз да глаз, контроль да учёт...
Русский не эмигрирует – мимикрирует,
Превращаясь в травку, листок, сучок.

Ну кого колышет, кто там у нас съехал с глузду,
 Что наш дом шатается, идёт на слом?
 Слёзы наших смуглых дворников нам отольются –
 Сами мы теперь не местные – поделом.

Мы не ближние – лишние, но не хищные,
 Загляните нам в пасть – тупые у нас резцы,
 И ухватки у нас уже не столичные,
 Нас почти что нет, мы ветер, мы беглецы.

Кто прополз ужом да змейкой – за людей приняли
 По недосмотру – так уж лежи ничком,
 Трухлявой щепкой прикинься, кустиком примулы –
 Проходите мимо – веткой, сухим стручком.

Мы уж сами как-нибудь – не на шею вам.
 Только бы
 полыхающее века
 Не заметили в глазах пламя Кощеево,
 Не стряхнули – как гусеницу с пиджака.

♦ ♦ ♦

Ни души в коридорах – отличники,
 Хорошисты – свинтили к реке,
 Проступили слова неприличные
 На доске.

Ни имён, ни времён и ни сроков,
 Слушай гулкую тишину:
 Нас оставили после уроков –
 На войну.

♦ ♦ ♦

А почём сегодня ценится
 Пядь земли под каблуком?
 Вот и стала я кочевница,
 Чуть присела – и бегом.

Что ж, причтённому к агрессорам
 Не положено угла.
 Землю тоненько нарежали
 И смахнули со стола.

♦ ♦ ♦

Ave, Caesar! Покуда гибнут твои полки,
 Я беру цветные мелки
 И пишу послание на асфальте,
 Но не по формуле – не извольте
 Гневаться – изнемогаю, хочу домой,
 Здесь мороз, косматые варвары, волчий вой.
 Ничего подобного. Конечно, и мне хреново,
 Но напитки не замерзают, и вьётся слово
 Виноградной лозой, очерчивая края

Жизни, и если уж есть тут варвар – то это я.
 Хорошо Назону – не тратил нервы,
 Глядя в ютьюбе, как гибнут легионеры,
 А в моей тарелке – бетонные крошки, пыль
 От городов – и ухмылки твоих громил.
 Украинский мальчик хоронит сестру и брата –
 Ave, Caesar! Да, я хочу обратно
 В тесные желчно-каменные дворы,
 Где и сам ты прятался до поры
 В коммунальных дебрях, в пещерах комнат
 И откуда выполз, волоча нецарскую кличку *Моль* –
 А моль не чует чужую боль,
 Пока её не прихлопнут.
 И поэтому прошу об одном –
 Чтоб твоя подворотня стала тебе дном
 И покрывшей, чтобы наше болото
 Вёрткой моли, выпорхнувшей из комода,
 Возвратила облик её – ничто.
 И тогда я сяду в своё потрёпанное авто
 И поеду домой – через вытертую равнину –
 Будто из шкафа старую кофту выну –
 В траченные тобой места.
 Неизвестно, зачем. Неизвестно, куда.



Свет бежит через парадную,
 Тянет жёлтенькую нить.
 Никого не может праведник
 Ни спасти, ни сохранить.

Дух его трещит и мечется,
 Как ломающийся лёд,
 Про беспутное отечество
 Вопрошать не устаёт.

В сером мороке предутреннем
 Вся Россия прожита.

Как же так – твердит кому-то он,
 Повторяет – как же так?

Время падает хабариком
 С оттопыренной губы.
 Праведник зудит комариком
 В Божье ухо: не губи!

И пока пустыми зенками
 Озирается трамвай,
 Тихий голос там, за стенкою
 Всё твердит: не добивай! ■

Мне

Наум САГАЛОВСКИЙ

📍 Чикаго, США



Фото: из личного архива автора

От автора

Мне 88 лет. Биография у меня, конечно, есть, но она не интересна. Скажу только вот что:

Неприкаян, безымян,
позабывтый Богом,
я кончаюсь, как роман
в трёх частях с прологом.
Пожилой интеллигент
жил, страдал, лечился.
Намечался *happy end*,
но не получился.

Или так ещё:

Мой образ жизни был таков:
один из юных, но усталых,
я спал до третьих петухов,
хотя, признаться, не считал их.
А нынче, вроде как в раю,
в привычной сердцу обстановке,
почти совсем не устаю
и сплю до первых кур. В духовке.

От редактора

Повторюсь и напишу, что писал про автора в 3-м номере, когда он дебютировал. В «Тайных тропах».

Киевлянин по рождению, инженер по образованию (в Новочеркасске полученному), поэт по восприятию жизни. Перемены наступили после 1979 года, в июне которого Сагаловский эмигрировал в США. Огляделся, устроился на работу и послал подборку стихов в «Новое русское слово». Юмористические стихи, выросшие на советской почве, оказались не нужны.

А вот еженедельник «Новый американец» не только их опубликовал, но Сагаловский стал его активным сотрудником, членом редколлегии. Потом были 14 книг стихов и переводов (одна из них «Демарш энтузиастов» совместно с Вагричем Бахчаняном и Сергеем Довлатовым), публикации в нескольких антологиях русской поэзии, хрестоматии для российских школ «Шедевры русской поэзии. Вторая половина 20-го века».

Всё будет хорошо

Такое приходит ночами...

...уехать в германию на хер хотя и еврейских кровей
 в какой-нибудь город аахен похоже на зохен
 без вей а может в какой-нибудь эссен что значит
 ин англиш ту ит не слышно на палубе песен
 как вспомнишь так сердце болит печаль заедает тоска
 ли тревоги берут в оборот всю душу уже затаскали
 шлемазлы ну что за народ как больно горит украина
 и жизни людей на кону к собачьим чертям бабуина
 который затеял войну в аду им гореть прощелыгам
 лаврову пескову шойгу их танкам ракетам
 и мигам а что же господь ни гу-гу разверзни усталые
 очи закрой негодьям пути не дай этой сволочи отче
 от гибельной кары уйти пошли их куда-нибудь
 на хер где жизнь избивает ключом хорошая рифма
 менахем но он тут совсем ни при чём и умные мысли
 умчали без разницы им не впервой такое приходит
 ночами что просто хоть волком завой

Тиха украинская ночь...

Тиха украинская ночь,
 что стала нынче украинской,
 всегда готовая помочь
 сражаться с бандой сатанинской.
 Луна спокойно с высоты,
 едва достигнув первой трети,
 глядит, как рушатся мосты,
 горят дома и гибнут дети,
 и тополи, стеснившись в ряд,
 качая тихо головою,
 войной обуглены, стоят

над Бучей – спящей, но живою,
а к Лавре, там, где Кочубей,
чья слава Пушкиным воспета,
со злобным посвистом «убей!»
летит российская ракета.
Война – к печали и слезам,
её последствия жестоки,
но лечат душу, как бальзам,
незабываемые строки:
«Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звёзды блещут.
Своей дремоты превозмочь
не хочет воздух. Чуть трепещут
сребристых тополей листы...»
О, бедный Пушкин! Жаль, что ныне,
в разгар военной суеты,
не чтят поэта в Украине.
Удачный выбрали момент,
видать пора уже настала,
чтоб рушить памятники *вщент*¹
и гнать поэта с пьедестала.
Каких немислимых Европ,
кумира русского облаяв,
Чернигов ждёт, и Конотоп,
и Ужгород, и Николаев?
Кто превратил в крошечный ад
страну, чья воля не убита?
Не Пушкин – Путин виноват,
спрос не с поэта, а с бандита.
Не гнать бы памятники прочь,
а разбирать домов завалы.
Тиха украинская ночь.
Ще треті півні не співали...

Зеки идут на войну

Нас уже,
многих,
из памяти
вытерли,
наша дорога –
к чертям на рога,
воры,
убийцы,

¹ Вщент (укр.) – вдребезги, дотла, наголову.

бандиты,
 грабители –
 прямо из тюрем –
 в бой на врага!
 Гады,
 причастные
 к мобилизациям,
 дали уйти
 от ментов и параш,
 дали
 свободой
 чуть-чуть нализаться нам,
 сунули в руки
 старый «калаш»,
 «Бейте бандер
 с их Сумами и Бучами,
 бейте,
 пусть ваши сердца не щемят!» –
 так нам сказали,
 а мы – не обучены,
 вот и убили
 нас, как щенят.
 Так что, ребята,
 машите лопатами,
 горькой судьбы
 выполняя приказ.
 Мы
 в украинскую землю
 упряганы,
 Сталин и Мао
 слушают нас.

Canzone napoletana

Город песенный,
 солнечный Napoli,
 я уже не приеду туда,
 утекли мои годы,
 прокапали,
 как из ржавого крана вода,
 и не знаю теперь,
 доведу ли я
 сам себя
 до прекрасных широт,
 там рукою подать
 до Везувия,

там дорог ещё
 невпроворот.
 Ах, как хочется
 снова
 по случаю, –
 и молю я –
 судьба, не перечь! –
 вдруг услышать
 живую,
 певучую,
 итальянскую милую речь,
 но ушло моё время,
 протопало,
 растворилось,
 видать, неспроста.
 Punta Gorda
 и Piazza del Popolo,
 come sta без меня,
 come sta?
 Боже,
 мысли стираются
 дочиста,
 и цена им,
 по-моему, грош –
 по ночам,
 на волне одиночества
 не такое ещё запоёшь...

У костра

...А над лесом стоит
 непроглядная горькая тьма,
 не гасите костёр –
 это время моё догорает,
 и дарует покой,
 и целует оно,
 и карает,
 и грозит слезой,
 и без жалости сводит с ума.
 Догорает любовь –
 как не хочется ей догореть,
 как не хочется ей
 навсегда расставаться со мною,
 нежной музой была,
 вдохновеньем была

и женою,
 превратится в золу,
 и уже не объявится впредь.
 Догорают стихи –
 только строчки летят от костра,
 словно искры в ночи,
 непочитаны и неказисты,
 и уснули друзья –
 незаметные миру туристы –
 крепким праведным сном,
 кто – навеки,
 а кто – до утра.
 Не гасите костёр...

In memoriam

Памяти Али

Этой ночью сизую,
 когда воздух тих,
 я на встречу вызову
 ангелов моих.
 Я скажу им: «Ангелы,
 крылья за спиной,
 но не в том же ранге вы,
 чтоб играть со мной,
 и не пёс на сене я,
 чокнутый слегка,
 где моя весенняя,
 звонкая строка?
 Где мои метафоры,
 мыслей глубина –
 золотые амфоры,
 полные вина?!..»
 Мне заметят истово
 ангелы в ответ:
 «Ничего цветистого
 не ищи, поэт,
 в это время нервное,
 когда боль жива,
 не придут, наверное,
 нужные слова».
 И тогда, по-честному
 осознав беду,
 я к Отцу Небесному
 молча припаду,

чтоб лицо мне вытерли,
мокрое от слёз,
ангелы-хранители
слов моих и грёз.



Так уходит любовь,
уступая дорогу тоске,
дней минувших следы
собирая
по высохшим крохам,
улетает душа,
и с последним
прижизненным
вздохом
будто рушится храм,
на сыром
возведённый песке.

Так уходит любовь –
без возврата,
навек,
навсегда,
горьким было, увы,
многолетнее с ней
расставанье,
между нами теперь
небольшое уже
расстоянье –
мне отпущенный срок,
то ли месяцы,
то ли года.

Так уходит любовь,
что надёжна была
и светла,
невозможно дышать,
бесконечно страдая
и мучась.
В голубых небесах
дай ей, Господи,
лучшую участь,
чем на этой земле,
где со мною
она
прожила.



Прощай.
Храни тебя Господь.
Как метеор,
промчалась мимо.
Всё в этой жизни
поправимо,
но смерть
нельзя перебороть.

Прощай.
Мы встретимся в раю.
Я без упрёков
и стенаний
из лоскутков
воспоминаний
свою
обыденность
крою.

Прощай.
Мне кажется, что ты
ещё жива,
и мир наполнен
слезами,
смехом,
счастьем,
полднем
и жизнью –
вместо пустоты.

Прощай...

Прислушаюсь...

Прислушаюсь –
музыка льётся с небес,
мелодией
слух утомлённый
лаская,
в ней светлая грусть,
и тревога людская,
и трепет,
и боль

в ожидание чудес.
Уже неприметны
и правда,
и ложь,
встречали печали,
страдали,
любили,
расстались навеки –
до встречи!
Не ты ли
с далёких высот
эту музыку шлешь?
Спасибо,
спа... –
ветер
уносит слова,
а я их уже
и сказать не сумею –
за то,
что останешься
музой моею,
за то,
что во мне ещё
память жива.
Бессильны уже
и вытё, и нытё,
давно раскрутили
судьбы колесо мы.
Господь милосердный
твой прах
невесомый
роняет,
как слёзы,
на сердце моё.

Когда приходит...

Когда приходит смерть
глумиться и карать,
не страшно умереть,
а страшно умирать
и уходить во тьму
безмолвно ли, крича ль,

не ведая, кому
нести свою печаль.
Дарующий пути,
спасавший от вериг,
дай мне, Господь, уйти.
в один короткий миг,
страданий не умножь,
не сотвори суда,
но всё ж,
но всё ж,
но всё ж –
продли мои года.

Как будто...

Как будто вечность
кличет на постой,
уже и дверь в неё
полуоткрыта,
а сам я
у разбитого корыта
чего-то жду
от рыбки золотой.
Душа бежит
от зноя
и от вьюг,
от солнца
ярко-жёлтого,
как охра,
и рыбка та
давно уже подохла,
и всем желаньям
горестный каюк,
но надо жить,
и славить день-деньской
отца,
и сына,
и святого духа.
Один, как перст.
Ушла моя старуха,
так и не став
владычицей морской...

Вщё будёт хорошо

Вщё будёт хорошо.
В пожарах край степной,
ни звонкой тишины,
ни песен соловьиных.
Пылаёт отчий дом,
и город весь в руинах,
и мальчик на земле,
растерзанный войной...

Вщё будёт хорошо.
Уходят поезда
на запад, и пускай
пощады нет бандитам –
прощай, чужбина ждёт,
убежище найди там,
надолго ли – Бог весть,
возможно – навсегда...

Вщё будёт хорошо.
А я, совсем вдали
от киевских тревог
и бойни краматорской,
стою, не шеверясь,
у топки крематорской
и чую под собой
вращение земли...

Вщё будёт хорошо.

Да здравствует...

Да здравствует утро, его предрассветный покой,
когда горизонт голубою очерчен полоской,
и солнце восходит, прикрытое тучей неброской,
Венерой Милосской, встающей из пены морской.

Да здравствует день, преисполненный вечных забот
о хлебе насущном, о славе, о жёнах, о детях,
и мыслей, таких, что в простые слова не одеть их,
что длятся и длятся, бывает, всю ночь напролёт.

Да здравствует вечер, сулящий домашний уют,
неспешный обед или ужин, желательно – ранний,
друзей неразлучных, блаженство любовных свиданий,
там трубы грохочут и звонкие скрипки поют.

Да здравствует ночь, усыпальница страхов и грёз,
дарящая сны, их никак не увидеть воочью,
а жизнь коротка, пусть она и закончится ночью,
внезапно, но это – от Бога, с Него-то и спрос.. ■

Мир

Михаил ДЫНКИН

📍 Ашдод, Израиль



Фото: из личного архива автора

Родился в 1966-м. В Израиле с 1990-го, в 2012–2015-м жил в Москве. Работаю картографом.

Автор семи поэтических книг, лауреат специальной студенческой премии в номинации «Лучшая книга года» (за книгу «Метроном», 2018).

Публиковался в «Знамени», «Зарубежных записках», «Волге» и других журналах.

Река Зазеркалья



Маленькие люди
стоят на палубе круизного лайнера:
огненно-рыжий лилипут,
группа карликовых брюнетов,
игрушечные блондины.
Шатенов среди них нет,
ведь шатены рождаются только у великанов.

Вечереет.
Сквозь серые облака
проносятся изящные радужные рыбы.
(В этой ветке реальности
рыбы не только плавают, но и летают.)
Летящие рыбы образуют некую фигуру,
что-то вроде восьмигранника.
Это к дождю.
Маленькие люди
расходятся по каютам.
Они ненавидят дождь.

Огромный шатен
со вздохом возвращает на полку стеклянный шар,
бросает прощальный взгляд
на заключённый внутри шара корабль.
«Да иду я, иду!» —
кричит он своей великанше.
Великанша не отвечает,
с грохотом ставит на стол тарелки,
вываливает в кастрюлю с кипящей водой
очередную порцию

размороженных накануне коротышек,
 садится на стул
 и неожиданно для самой себя
 начинает плакать.
 «Я уже даже не знаю, люблю я его или нет.
 Я уже даже не знаю, люблю я его или нет...»

Она плачет и плачет
 в унисон с дождём,
 а души погубленных человечков
 роятся под лампой
 в надежде, что дождь прекратится
 и можно будет предстать перед Богом
 пусть не вполне чистыми,
 зато сухими.



Тьма накрыла ненавидимый Кроликом огород
 (ни одной морковки на грядках,
 сплошь какие-то экзотические несъедобные овощи).
 Поздний вечер наводил на плетень длинные тени.
 Высоко-высоко, под незримым куполом грубого мира
 висели тусклые звёзды.

Кролик уже битый час звал Алису,
 но девочка либо не слышала, либо её просто здесь не было.
 Болванщик и мышь Соня остались под землёй.
 Шалтай упал, когда они с Кроликом перелезали через плетень,
 разбился и умер.
 Даже несгибаемый Чеширский кот превратился в кота Шрёдингера,
 и теперь было непонятно, улыбается он или злится.

«Хана сказке», — подумал Кролик,
 увидев измождённого тысячетлетнего старика
 с лагерным номером на руке.
 За плетнём шумно мочились римляне,
 и гортанный лай немецкой овчарки
 смешивался с далёким пением муэдзина.

Алиса в Стране Чудес¹

Езжай, Алиса, в зазеркальный город.
Там мертвецы грустят в своих конторах,
выстукивая на клавиатурах
сухих дождей потусторонний ритм,
покуда ты у них на мониторах
сидишь с лицом осунувшимся старым
на двух рывками движущихся стульях;
один гарцует, а другой горит.

Порой они меняются местами...
Сопит Болванщик. Мышь больная стонет.
Над нею Белый Кролик вырастает,
опорожнив двенадцать пузырьков.
На каждом пузырьке на арамейском
написано: «Не пей меня!» – на резкость
наводишь – видишь черепа и кости,
но мало ли на свете дураков,

глотających направо и налево
любую дрянь. Простим ему, Елена,
преступную беспечность, Марианна...
Чеширский кот готовит антидот.
Палит в него из ружей полк потешный.
А как наступит редкое затишье –
улыбка, превращённая в усмешку,
сопровождает скверный анекдот

о со стены скатившемся Болтае.
Вот он лежит, обмотанный бинтами,
который день на койке госпитальной.
И санитар, похожий на Моржа,
заходит за прозрачные кулисы
и говорит: «Мы умерли, Алиса.
Произошёл программный сбй, Алеся.
Мне очень жаль. Мне правда очень жаль».

¹ Впервые опубликовано в кн.: Михаил Дынкин «Дом Фауста» (М., Водолей, 2018).

Трип

Полиглоты молчат на шести языках.
 Недоучки идут напролом.
 Прячет Маленький Мук пистолет в ползунках
 и Биг-Мак запивает вином.
 У Шалтая-Болтая каштаны в груди.
 Белый Кролик нарушил шабат.
 Всё хорошее вечно идёт впереди,
 за спиной его тянется ад.
 Мы поедем с тобой в неказистый портал
 на колёсах – куда без колёс?
 Белый Кролик тебе примерещится там,
 мне – Медуза в гадючинах кос.
 Как же плющит, о Господи! Как же стучит
 сердце мира о глину ребра!
 Как сияет в руках моих зеркало-щит
 и горчит, расширяясь, дыра
 цвета ночи... Беги, Белый Кролик, беги,
 осенённый созвездием Рыб,
 по пустым рукавам зазеркальной реки.
 Видно, там и кончается трип.



В невесомости сна невесомый
 снег летит на дома и газоны,
 разгулявшимся ветром влеком.

Он летит, но не падает, ибо
 это сон. И крылатая рыба
 рассекает метель плавником.

Чёрт на крыше дымит папиросой.
 Вот он удочку в небо забросил,
 зацепился крючком за луну...

Покружился в потёмках над спящим
 птеродак (ископаемый ящер)
 и поймал ледяную волну.

Чьё там в тучах окно запотело?
 Машет спящему тонкое тело:
 «До свидания, мой дорогой!»

Входит доктор, окутан тенями,
 говорит: «Мы его потеряли», —
 и выходит, сливаясь с пургой.

Старьёвщик

Сны мои разлагались и гнили.
Сны мои никуда не вели;
летом — облако поднятой пыли,
а зимой — бесконечный верлибр.
Вот старьёвщик толкает тележку,
зубы жёлтые скалит, а вот
наклонился и первый подснежник
запахал в фиолетовый рот.
Это значит, весна наступила,
наступила на горло весна,
и луча золотая рапира
снова будет от крови красна.
Переносчик программного сбоя,
соглядатай кошмаров чужих,
я привык оставлять за собою
муравейники трупов живых.
Пусть растут сквозь пространство пустое,
каждой твари по паре пускай.
Ход их войн восстановит историк,
реставратор — дворцы из песка.
А когда... «Никогда, понимаешь?» —
говорю, обнимая жену.
Эхолот западающих клавиш
наконец-то поймал тишину.
Только тени во дворике ропщут
да по комнатам крысы снуют.
Это включенный сонный старьёвщик
опрокинул тележку свою.



Одной звезды я имя повторил бы,
но не могу — летающие рыбы
мне застыт пресловутую звезду.
Куда летят цветные косяки их?
На нерест что ли? Время засеки и
молчи, а я часы переведу;

совсем они от прошлого отстали,
а будущее будто бы из стали;
куда ни ткнишь — металл, металл, металл.
Улисс бьёт крыс в чулане у Цирцеи.
И женихи слоняются без цели,
сдают друг друга островным ментам.

Одной звезды, меняющей орбиты...
 Во сне я вижу глаз её подбитый,
 а наяву не вижу ничего,
 что твой Гомер (и Анненский посмертно).
 С такой звездой лучше бы без света,
 она больна болезнью лучевой.

О, дай покинуть ненавистный остров!
 Я Телемак, обдолбанный подросток,
 я — мать его у ткацкого станка;
 фиванский воин, мореход с Эвбеи,
 незрячий бард, сопящий в колыбели —
 младенец, превращённый в старика.

Так передвинь оставшееся время —
 секунды вправо, а минуты влево,
 чтобы совпало с временем моим.
 В кольце из звёзд и рыхлых лунных рытвин
 дано мне тело сплюснутое, рыбе;
 я должен вспомнить, что мне делать с ним.



Левиафан голосом Левитана:
 «Братя и сёстры, враг как всегда не дремлет.
 Пятнадцатиглазые капитаны
 сожгли четыре деревни;
 разрушили город Эн (даром что впавший в ересь,
 трупы рыб и чаек оставляющий за кормой).
 Дамы и господа, я вижу, что вы разделись.
 Так не тушуйтесь, входите в море.
 Научу вас ходить по воде, быть самой водою,
 делать из nereид консервы
 под морскою полынь-звездой,
 чей свет рассеян...»

Левитан голосом Моби Дика:
 «Горек на вкус аквалангист Иона.
 Не за ним ли спускалась в ад красная Эвридика?
 Не его ли искали агенты Бен-Гуриона?
 Смотрят в себя вышки сторожевые.
 Книга Чисел горит, Книга Судей заплесневела.
 Дети мои, кончилась Ниневия!
 Остаются одни каверны,
 впадины и провалы в местах пустынных,
 вечная белизна за стенами морга...
 Мировой океан вкладывает персты в них
 и ревёт от ужаса и восторга».



Я пробовал представить смерть. Не вышло. Как-нибудь потом.
По комнате метался шмель, похожий на быка.
Устав, он шлёпнулся на стул, представился: «Антон», —
поднялся, вылетел в окно и не сказал «пока».

Я пробовал понять, зачем живу на свете, но увы.
Надеюсь, в следующий раз я с этим разберусь.
Тускнело солнца колесо. Работали холмы.
А над болотом торфяным вовсю клубился гнус.

Я видел крыши и сады. Я слышал вороньё,
Садился в кресло и вставал и нарезал крути.
А в комнату входила ночь и в волосах её
то звёзды вспыхивали, то мерцали светляки.



Что-то очень странное происходит с руками Марвина;
сначала они превращаются в лианы,
потом в извивающихся змей,
изумрудные щупальца,
гигантские псевдоподии.
Над головой Марвина
проплывают трёхпалубные корабли.
Можно подумать, что Марвин утонул
и смотрит вверх сквозь толщу воды,
но это не так,
ведь корабли плывут, раздвигая облака (не волны),
а сам Марвин стоит в залитом солнцем городском парке.
Люди шумят,
движутся во всех направлениях,

не проявляя к Марвину особого интереса.
Странный тип, то и дело подносящий руки к лицу,
но мало ли в городе ненормальных?
Что касается кораблей в небе...
Ну, это просто смешно.
Гигантские псевдоподии
превращаются в кручёные морские канаты,
канаты — в прекрасные белые крылья.
Человек поднимается в воздух,
летит,
а когда силы Марвина иссякают,
огнелицый юнга
бросает ему с флагманского корабля
спасательный круг луны.

Жак

Друзья Жака, его жёны, любовницы,
родные и неродные дети
сидят за круглым столом.
Из коридора доносится лай –
это собака Жака играет с котом Жака.

За распахнутым в летнее утро окном
висят хрустальные шары
с заснеженными городками внутри.
По идее шары должны были бы упасть и разбиться,
но с точки зрения горожан, это плохая идея.

Сама квартира
напоминает аквариум с голубоватой водой,
так что распластанные на паркете морские звёзды
и резвящиеся в воздухе рыбы-попугаи
никого не удивляют.

Дородная шатенка (возможно, это горничная)
открывает шкаф,
из которого тут же начинают вываливаться
скелеты Жака.
Всего скелетов двенадцать,
но если рассматривать их в зеркале,
получается двадцать один.

Под потолком раскачивается на светло-серой нити
крепенький паучок.
Кажется, это и есть Жак.
«Прекращай валять дурака и спускайся к нам!» –
кричат ему люди за столом.
Жак смотрит на них с сомнением.
Жак не отвечает.

Корова

На спине пасущейся за деревней синей коровы
подрагивает стеклянная дверь,
толкнув которую,
вы оказались бы внутри животного,
а потянув на себя,
упали бы в облака.

Другое дело, что никому и в голову не придёт
взбираться на корову
и производить манипуляции с дверью.
Во-первых, потому что деревня пуста,
а во-вторых, потому что корова
достигает пятнадцати метров в высоту
и выглядит весьма грозно.

Но таких коров не бывает,
просто не может быть, говорят слушатели.
Да вот же она –
огромная, синяя, со стеклянной дверью,
отвечаем мы.
Вы эту корову придумали, возражают слушатели.
Это мы **вас** придумали, а корова была всегда! ■

Мш

Вадим ГРОЙСМАН

📍 Киев, Украина –
Маалот, Израиль



Фото: Игорь Улогов

Родился в Киеве (1963). Окончил Московский горный институт. В 1990 переехал в Израиль, но связь с родным городом не прервалась. В Киеве выходили мои книги, появлялись публикации, устраивались вечера.

Второй город в моей жизни – Иерусалим, в котором прожил двадцать лет. Сейчас я поселился в городке в Галилейских горах, недалеко от границы с Ливаном.

Первая публикация стихов состоялась в журнале «Пионер», вторая – через пятнадцать лет в киевской газете «Комсомольское знамя». Впоследствии стихи печатались в журналах «Крещатик», «Дружба народов», «Белый ворон», «Юность», «Новый журнал», «Новая реальность», «Стороны света», «Эмигрантская лира», «Интер-поэзия», в интернет-изданиях «Полутона», «Сетевая словесность», «Литerrатура», «Формаслов» и других.

Жизнь в уединённом месте, в горах, видимо, подходит для наступивших тощих лет, когда многие литературные связи распались, а роль поэзии сильно уменьшилась. Здесь ещё есть возможность наблюдать за природой, подводить итоги, а главное – время от времени писать слова в столбик.

Блудный сын



Блудный сын однажды видит сон –
Землю добровольного изгнания,
И слова, известные заранее,
Произносит, как впервые, он.

Как идёт по чёрному песку,
Трогает развалины священные,
Женщины выносят угощение, –
Всё на свете снится сопляку.

Просыпаясь, думает чуть свет:
«Видно, пострадаю правды ради я
В шумных деревнях Десятиградия,
На твоих дорогах, Назарет!»



Придётся ли нам говорить о былом,
Когда мы из пепла восстанем?
Ночные светила стоят над селом
В порядке своём первозданном.

Красиво и стройно собрание звёзд,
И катится в космос разверстый
Большая Медведица – хворосту воз,
Одно из крестьянских созвездий.

Ни облачка нет, ни далёкой грозы,
Ни муторных залпов орудий,
Спокойно за первым другие возы
Выводят незримые люди.



Мечутся в тёмных полях тени зимы и войны,
 Время – сухая волна – тянет и гонит вперёд,
 И, непонятно зачем, из мировой глубины
 Вспомнились эти слова: «если зерно не умрёт...»

Будто святая земля, ночь за окошком черна,
 Разное чудится в ней дереву, камню, зверью.
 Хоть и написано «смерть» на хромосоме зерна,
 Жалко тебе самому рвать оболочку свою.

Лучше в себе затаись, твёрдые ткани сомкни,
 Пусть на далёком свету бесятся ветер и снег.
 Выживешь, лёжа в земле, слушая ночи и дни
 Сердце, растущее внутрь, трудно, как первый побег.



Сваленные книги и бумаги,
 Под окном чужие колымаги,
 Серая щетина на лице,
 Голоса, не слышные отсюда,
 В раковине грязная посуда –
 Всё преобразается в конце.

Нет, напрасно в прошлое ли, в душу
 Лезем мы, как из воды на сушу, –
 Ничего оттуда не спасём.
 Дом просел, трава пошла на силос,
 Не исчезло, а преобразилось, –
 В воздухе написано на всём.

Больше никакого хоровода
 Громкого и быстрого народа,
 Никаких тебе друзей и жён.
 Окружённый бликами чудовищ,
 Ты стоишь, обед себе готовишь, –
 Жив, хотя уже преображён.

Долго ищешь мыльницу пустую,
 Моешь только нужную кастрюлю,
 Сыплешь соль в кипящую бурду.
 Если есть, подлей немного масла.
 Самому не надоела маска?
 Покажи лицо, и я уйду.



Я только страницу за месяц прочёл
О персах, минойцах и греках.
Над белым шиповником облако пчёл
С нектаром в прозрачных отсеках.

Издревле они собирают дары
Сухого и твёрдого мая,
Тяжёлые плечи царицы-жары
Крылатой рукой обнимая.

Затихли в зените, не дышат века.
Вернулось, что было когда-то.
Напрягся герой и вращает в быка,
Становится мышцей рогатой.

Узорная бабочка бьётся в окно,
Дрожит оперение Ники.
Смотрю, собираются снова в одно
Страницы разорванной книги.



Вчера я целый день болел
И, лёжа в одиночку,
Всё время видел свой предел –
Расплывшуюся точку.

Воронку в городском аду –
То дальше, а то ближе,
Куда я честно упаду,
Когда откину лыжи.

Сегодня я чуть-чуть бодрей.
Я встал, раздвинул шторы,
Увидел колбы фонарей,
Деревья и заборы.

Ну вот и радость дураку –
К земле его не давит.
Он пишет за строкой строку,
А точку кто поставит?

Вечер в городе

Над каждой крышей добрые огни
Сигналят вниз, готовят землю к ночи,
И только люди в городе одни
И музыку включают что есть мочи.

Бессмысленно гляжу по сторонам,
Как будто все желания утратил
В те времена, когда косматый Пан
Небесный строй своей сирингой ладил.

Всё было чинно в космосе пустом,
Ворота на закате и восходе.
Чем выше у лесной сиринги тон,
Тем выше и звезда на небосводе.

Гармония разрушена давно,
Никто не помышляет о высоком,
И слышно – мировое полотно
Трещит по швам от музыки из окон.

Оставлю город, в чёрный лес войду:
Играет Пан, быть может, сам не зная,
Что косную материю в волну
Преображает дудочка лесная.

Бродский в Венеции

В глубине заплывшего экрана,
Что годами с тряпкой не знаком, –
Столик в пышном зале «Флориана»,
Занятый известным чужаком.

Странен этот странник говорливый,
Резкий и картавый соловей,
Заслуживший лавры и оливы
Вместо хмурой родины своей.

Распрягай, бродячий дух цыганский!
На Сан-Марко посреди зимы
Грустный карнавал венецианский,
Маски Коломбины и Чумы.

Вроде никакого нет секрета,
 Ни туза, ни дамы в рукаве.
 Он пойдёт пешком на вапоретто,
 Глядя на витрины и кафе.

Поздно, ничему душа не рада,
 Поднялась тревога, как вода.
 Ледяная морось Ленинграда
 Берedit, как в юные года.

Перепутал милость и немилость:
 Этот город тоже на плаву.
 Белая короста проломилась,
 Приоткрыла чёрную Неву.

Как прошёл он дантовской долиной –
 Клял судьбу или жалел о ней?
 Он сказал, что оказалась длинной
 Жизнь его. Моя ещё длинней.

Молча среди мусора и пыли
 В этой тесной комнате сижу.
 Сколько б ни ласкали и ни били,
 Ничего о жизни не скажу.



Снова ту же сцену вижу я:
 Серый день над перекрёстком,
 Семенил собачка рыжая
 За рассеянным подростком.

Надуваются пернатые,
 Для скандала ищут повод.
 Безднадёжное занятие –
 Из окна смотреть на город.

Тучи тянутся полосками,
 Дребезжит сосна кривая.
 Достаю бутылку плоскую,
 В рюмку бренди наливаю.

Все меня забыли, бросили,
 Не помянут и оплошкой.
 Буду пить, и время осени
 Изогнётся чёрной кошкой.



Что говорит мне скворец-пересмешник,
С криком долбя отсыревший валежник?
Что говорит надоедливый голубь,
В окна немытые глядя, как в прорубь?
Кажется, что холодá, холодá
В наших краях навсегда, навсегда.

Катится долго судьбы колымага.
Больше не будешь проекцией Мага.
Больше не будешь *цальмо ки-дмудо*¹.
Будешь никем и умрёшь, как никто.

Дальние горы в чудовищной дымке.
Влага земли просочилась в ботинки.
Четырёхпалой зимы не боюсь,
Влагою был и во влагу вернусь.
Зимней слезой потеку по откосу.
Нечего больше добавить к вопросу.

От ожерелья священных имён
Только в ушах металлический звон.
Лучше дожить на простую четвёрку,
Сбивчивым шагом спускаясь под горку,
Шмыгая носом, блестя сединой,
Хлюпая этой водой ледяной.

Грамматика

Так мало дней – и те кончаются в тоске,
Снежинками уносятся в метели,
Пока учитель роется в портфеле,
Число и месяц пишет на доске.

Его грамматику забыть ещё трудней
От бегства памяти кричащей,
От мёртвых ангелов, кружащихся теней,
Несовершенства и причастий.

Уже в другой, надёжной стороне,
Уже исчезнувший в порыве законном
Я буду помнить, как твердил он мне
О подлежащем и распространённом.

¹ Цальмо ки-дмудо, (*ивр.*) – его образ, его подобие (*прим. автора*).



Лес пугает уханьем и свистом –
Звуками, что были до речей.
Капли с неба на траве и листьях,
Крупные, как слёзы дочерей.

Серый свет над новыми местами,
Трезвый и холодный пар земли.
Люди будто в первый раз устали,
Под сырое дерево легли.

Позади космическая драма:
Склоны тверди, звёздные дома...
Ева гладит волосы Адама.
Впереди промозглая зима.



Выдумщик чудом живёт и трудом,
Райские перья теряет в полёте.
Вот и теперь недостроенный дом
Просит у зодчего крови и плоти.

Мастер уходит, ломает верстак,
Все чертежи отправляет в корзину,
Только химеры на прежних местах
Смотрят из прошлого, пасти разинув.

Всё рассчитал – одного не учёл:
Белую дрожь тополиного пуха.
Город остался, но мастер ушёл,
Камень лишился творящего духа.

Вниз, к министерским тяжёлым дверям,
К полному цвета речному простору!
С памятью новый маршрут не сверяй:
Глянешь назад – превратишься в опору.

Линию смысла не ты изобрёл,
Целая жизнь – это дом с чертежами,
И разрывающий змея орёл
Крылья вознёс над его этажами.

Иггдрасиль

Нет покоя, сколько бы ни шёл
 Налегке под безразличным сводом,
 Потому что на священный ствол
 Можно год накручивать за годом.

В самых тесных уголках Земли,
 В толчее бедняцких поселений
 Неизменно надо мной цвели
 Птичьи крылья и рога оленей.

Не хватило благодатных слёз,
 Не случилось прислониться к дому,
 Только сердце мыслью растеклось
 Вверх и вниз по древу мировому.

Милый друг, прислушайся и ты,
 Как шумит над самой головой
 И роняет листья с высоты
 Древний ясень, древо мировое.



Тебе подвластны гибельные воды...

Арсений Тарковский

Мне подвластны гибельные воды,
 Тёплые и нежные сперва, –
 Лишние, отставшие от моды,
 Цену потерявшие слова.

В мире обязательств и покупок,
 Правды и неправды про запас
 У кого надбитый волчий кубок,
 Жабий камень у кого из нас?

Захочу – и на дверях коммуны
 Напишу магические руны,
 В шумном человеческом лесу
 Формулы чудес произнесу;

В ледяных горах перезимую,
 Празднуя победу над врагом,
 Тихо буду воду дождевую
 Заедать вчерашним пирогом.

Мистерии

Широка небесная дорога,
Долго едут гости и родня.
Под уздцы ведёт единорога
Девушка из ливня и огня.

Чтобы звонко праздновать смотрины,
Все алмазы взяты из казны.
Лапа в лапу хоровод звериный
Встал вокруг раскидистой сосны.

Всё на свете для того и живо,
Чтобы дело сладилось у них.
Вот невеста, тяжела, красива,
Резкий и стремительный жених.

Чудно повстречать звезду и зверя
В этом сне, в котором мы живём.
Пусть сольются, словно ртуть и сера,
Двухговым станут существом.

Величавы их слова и жесты,
Солнечный и месячный венец,
Но куда прольётся кровь невесты,
Там земля застынет, как свинец.

Будут рыскать кабаны и лисы,
Лев с багряным пламенем во рту,
И найдут разорванные ризы,
Скомканную белую фату.

Я проснулся. Серный или ртутный
Кружит ветер голову мою?
Волны моря на песок безлюдный
Выметают рыбу чешую.

Корень мира, высохший и чёрный,
В сумерках свисает со скалы,
И молчит, своей судьбе покорный,
Тёмный зверь, погибший от стрелы. ■

Мм

Андрей ГРИЦМАН

📍 Нью-Йорк, США



Фото: из личного архива автора

Поэт, писатель, врач. Вырос в Москве, с 1981-го в США. Жил по всей Америке и врос в культуру. Потому пишет на двух языках.

Автор более десяти книг на двух языках. Последние издания: «Личное сообщение» (поэзия) и «Далее везде» (проза, эссеистика) (издательство «Друкарський двір Олега Федорова», Киев). В печати: «Crossing the line» (Cervena Barva Press, Boston).

Многokrатно номинирован на Pushcart Prize и входил в шорт-лист, а также в шорт-лист премии Poetry Society of America. Стихи и эссе переведены на несколько европейских языков и вошли в международные антологии.

Создатель и редактор журнала поэзии «Интерпоэзия» (20 лет!).

По классификации Ахматовой предпочитает: кошек, кофе, Мандельштама.

С той стороны туманного окна

11 сентября

Опадают пепельные лица
осенью в Нью-Йорке.
Асбестовое солнце не гаснет
ни днём, ни ночью.
Многоглазая рыба на суше —
взорванный остров.
Крыш чешуя
зарастает цветами.
В гуде сирен —
безответное небо.

Сумерек астма —
в аспидном кратере порта.
Люди бредут на пожар.
Рыбы плывут — где поглубже.
Парки пусты на рассвете,
и только колеблемо ветром
нежное поле
проросших под утро сердец.

Прибежище

Вдоль незримой ограды,
Где медленный ток,
Пробегают навстречу себе
Уроборос судьбы, там местность стоит
Навсегда, как на мёртвой картине,
Здесь спокойно, не слышны гудки поездов,
Незаметны следы по осенней траве,
Мысль здесь растворима в прозрачной листве
И висит паутиной,

Пограничников нет, ни собак, ни ушей
 Нету камер, глазков,
 Но выход потеряян,
 Где-то там за оврагом, за тенью тенёт
 Растёт мыслящий бересклет
 и известно, что в этих местах
 где-то жребий измерен.
 Вдоль ограды, тропинкой, что кругом ведёт
 До предела, где столб полосатый,
 Бесконечна дорога, а что там нас ждёт
 Весть потеряна где-то когда-то.



С той стороны туманного окна
 Отец и дед сквозь дым глядят в ненастье.
 Кровавые концы разрыва связей.
 На пустыре кремлевская стена.

Вина, война, изводный суд страны,
 Оставшейся без времени и места,
 Пустынные бульвары без весны.
 И цели нет. Лишь методы и средство.

По площади, и вниз - ко дну реки
 Идут полки сквозь мразь фальшивых звуков.
 И русский стих исчадием строки
 Уже не лечит внутреннее ухо.

Отец и дед: затих медальный звон.
 Лишь рыночный, мозглявый визг и лязги.
 И все растёт огромный стадион
 Вошедший в раж от половецкой пляски.

Пока есть Плешка и Большой театр,
 Введенское. Но ветер сообщает:
 Над городом уже сгустился мрак,
 И нависает угловатый знак,
 И в сумерках в Гоморру превращает.



Что мы знаем о будущем?
Только то, что - было.
В детстве сулили райские кущи,
и на доске написана мелом
глупость. Но на великом, могучем.

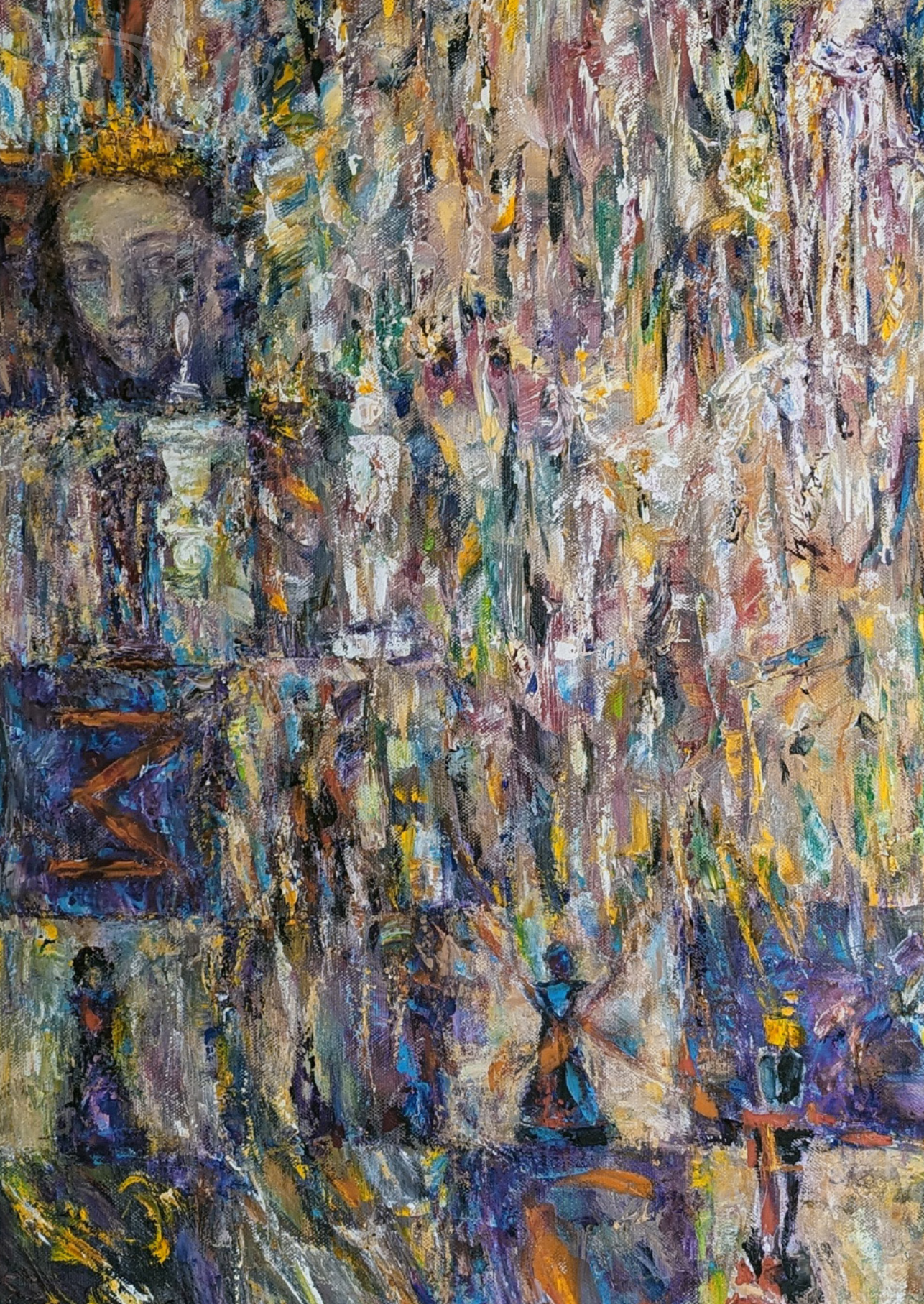
Надежда осталась в темнеющем прошлом.
Любовь спит на заколоченной даче.
Что же касается веры в калошах,
Зои Карениной, девы с веслом -
так они вечно торчат на раздаче.

Снизу пожиже – завет военкома.
Чистят стволы и бухают всенощно.
Вижу – толпятся они у парома.
Словно в атаку снова и снова.
Там, где Харон дежурит бессрочно.

Мы – в ожидании на пересадке,
переселенцы в поисках дома.
СМИ обещают на Пасху посадки.
Книга истлела в дачной беседке.
Град на холме – в облаке смога.

Вилла Боргезе

Это место, где время остановилось.
Пахнет хвоей, платаны немногословны.
Дышит прекрасным склепом, а не глухой могилой.
Мысль ящерицей скользит, слава Богу, мимо
по камню, выжженному солнцем,
тронутому старой кровью.
Наконец я спокоен. Всё со мной и более,
дышу настоем лучшего, что осталось.
Этот отвар крепче, если настоян на боли,
но на вкус не скажешь — много ли, мало.
И когда отплываешь — навсегда остаётся
брат Бернини, друг ненаглядный, сестра Мария
и небосклон непередаваемо синий,
вода из глубин бесконечно льётся, словно звучит
давно позабытое, но родное имя. ■





Алекс ТАРН

📍 Бейт-Арье, Израиль



Фото: Тамара Глисс

Родился в 1955-м. Израильский русскоязычный прозаик, переводчик, драматург, публицист. Вырос, учился и работал в Питере. В Израиле с 1989-го, живёт в поселении Бейт-Арье, в Самарии.

Автор многих книг, опубликованных в издательствах «Эксмо», АСТ, «Русь-Олимп», «Феникс», «Книжники», «Эннагон», «Исрадон» и др. Романы, рассказы, эссе и стихотворные переводы публиковались в литературных журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Звезда», «Крещатик», «Иерусалимский журнал». Две пьесы поставлены на сцене в Шяуляйском драматическом театре («Дибук», в переводе на литовский, постановка Р. Баниониса) и в Национальном молодёжном театре республики Башкортостан им. Мустая Карима («Ледниковый период», в переводе на башкирский, постановка А. Зиганшина).

Лауреат литературных премий: финальная шестерка «Русского Букера-2007» (за роман «Пепел»), Госпремия им. Ю. Штерна (за вклад в израильскую культуру, 2014), премия им. Э. Хемингуэя (за роман «Мир тесен для инопланетян», 2018), премия им. М. Алданова (за лучшую повесть русскоязычного зарубежья – «Последний Каин», 2009).

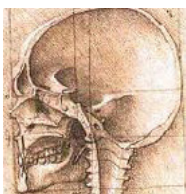
В 3-м номере «Тайных троп» была опубликована пьеса «Последний Каин», драматургическая переработка одноимённой премиальной повести.


А теперь черёд произведению, которое сам автор называет «текстом с неудачной судьбой». Войдя в десятку лучших романов русскоязычного зарубежья по списку «Русской премии-2008», он был тогда же определён литературным критиком Борисом Кузьминским, как «книга о философии блогосферы, пронизательная, изысканная по композиции и технически совершенно виртуозная». Похоже, в дальнейшем именно необычность композиции помешала «Гиршуни» – в отличие от других текстов Алекса Тарна – найти своего издателя. А может, редакторов отпугнуло использование автором «олбанского языка падонкафф» или нестандартная необходимость форматировать страницы в виде интернетовского блога... Так или иначе, но ни то, ни другое, ни третье не стало препятствием для «Тайных троп», и мы рады представить вам первое за 15 лет бумажно-электронное издание романа «Гиршуни»

Гиршуни





Записки из-под блогов

User Profile		Date of birth: не указано
User: Arkady569		Имя: Аркадий
Location: Israel		



 [Arkady569](#)

Тип записи: частная

 0
  

Я и сам не знаю... Нет, не так. Не стоит начинать с вранья. Конечно, я знаю, почему затеял писать этот блог. Мне больше некому рассказать свою историю, вот вам и объяснение. Меня не станут слушать даже в полиции, да я и не собираюсь идти в полицию, вот ещё... Да если бы и собрался, мне бы не поверили – что в полиции, что в любом другом месте. Для правды или, как выражаются в блогах, для реала, моя история выглядит слишком нереальной. В то же время для выдумки она чересчур скучна: если уж выдумывать, то непременно какого-нибудь человека-паука, или женщину-кошку, или обезьянообразного жука с женской головой и кошачьим хвостом, или, на худой конец, еврея-католика. Комбинаций не так уж много, но главное, что они по-прежнему интересуют публику.

А у меня – ни то ни сё. Но рассказать надо, потому что жжёт. Или сверлит. Нерассказанный рассказ всегда сверлит: вслушайтесь в само звучание этого слова – «рас-с-с-каз-з-з-з-з» – ну точь-в-точь разогнавшееся сверло. Говорят, в древности люди выкапывали ямку, доверяли ей свою историю,

а затем быстро заваливали землёй и уходили – без оглядки, чтобы ненароком не запомнить место. Впрочем, и из земли рассказ ухитрялся высверлиться, прорасти тростником, пусть и не мыслящим, но зато говорящим.

Этот блог – моя ямка. Я ещё не решил, следует ли сделать её подзамочной, то есть сугубо частной или, наоборот, доступной для всех. Вообще-то разница невелика. Нынешний тростник растёт из всякой ямки и отличается редкой болтливостью. Но отчего бы не поддаться иллюзии? Иллюзия – наш дьявол, и мы дружно продаём этому дьяволу собственные души, а то и дарим ни за грош.

Я помню его ещё со школы – не дьявола, а Гиршуни. Помню сначала смутно, едва различимым в серой мышинной – ещё и по цвету формы – массе светлых учеников... и если уж речь зашла о форме, то как забыть отвратительные тёмные катышки, в которые скатывалось на локтях и обшлагах её плохое сукно... или не сукно – что это был за материал?... шерсть?... или всё-таки сукно?... – сукин материал, сука-матерь, сучьи дети.

Мамины дети мы были дома, где обитала мама и прочие роскоши детства, а в школе мы были сучьи, волчьи, по цвету гадкой формы, по цвету жизни, в которую нас выкинули непонятно зачем и неизвестно почему, но уж точно – не спросив нас самих. Поглощённые необходимостью переварить эту неприятную перемену, как-то приспособиться к новым обстоятельствам, мы не обращали достаточного внимания на других товарищей по несчастью и оттого казались друг другу одинаковыми, как пластиковые пупсы: серые пиджачки, стриженные затылки, короткие чёлки над сумасшедшими от растерянности глазами.

Первые осознанные различия касались размеров. Два-три мальчика выглядели переростками, а потому выделялись мною из общей толпы, ибо представляли повышенную угрозу в броуновском движении коридора. Один из них носил фамилию Грецкий и прямо вытекающую из неё кличку «Орех». Уже тогда, в младших классах, он выглядел спокойнее и увереннее других – просто потому, что остальным приходилось много хуже, чем ему самому.

Особенная подлость жизни заключается в относительности её оценок: если тебе паршиво, достаточно сделать так, чтобы окружающим стало ещё паршивее, и тогда твоё «плохо» сразу превращается в «хорошо». Так что у Грецкого Ореха всегда находились основания быть довольным. Конечно, можно было, отбежав предварительно на безопасное расстояние, обозвать его «жирягой» или «мясокомбинатом», но даже эта небольшая радость всегда омрачалась предчувствием неминуемой расплаты. Злопамятный, как слон, Орех тщательно следил за тем, чтобы объём окружающего «плохо» не опускался ниже определённого минимума.

Но речь тут всё-таки не об Орехе, а об этом типе по фамилии Гиршуни. Аркадий Гиршуни. Мой тёзка, между прочим – я ведь тоже Аркадий... но не может же одно это служить объяснением нашей таинственной неразрываемой связи? Мало ли в мире Аркадиев? Много, очень много. Впервые я по-настоящему осознал это, когда столкнулся с необходимостью выбрать имя или, как здесь говорят, ник для этого блога. Простое Arkady оказалось занято, и программа насмешливо предложила мне присоединить к моему первоначальному выбору комбинацию цифр. Именно комбинацию, потому что занятыми оказались и Arkady1, и Arkady2, и Arkady3, и так далее, вплоть до Arkady9, на котором моё терпение иссякло, и я наугад скакнул заведомо далеко: Arkady569. Почему именно 569? Ну, во-первых, оно оказалось свободным. А во-вторых, чёрт его знает... разве мы сами выбираем свои имена?

Я начал свой рассказ с младших классов школы только для того, чтобы продемонстрировать давность нашего с ним знакомства. Аркашка Гиршуни... само звучание его фамилии представляло вызов для русского уха. Даже школьные училки, проводя переключку, непременно запинаясь об это нелогичное «гирш» и только с третьей попытки, к вящему удовольствию затаившего дыхание класса, выдавали что-либо вроде «гришуни», а то и вовсе «грешули». Будь Аркаша другим, не занимая он столь безнадежно низкое место в жестокой школьной иерархии, его непременно прозвали бы «Грешный», или «Грешник», или как-нибудь ещё в том же духе. Но он был совсем уж ничтожным, последним из последних, Аркашка-букашка, Аркашка-какашка, а понятие греха всё же подразумевает некоторую значительность, даже авторитетность, так что вроде бы напрашивающаяся кличка не подходила тут никоим образом.

Крошечный, как мышонок, он и вёл себя соответственно: сжимался в комочек, забивался в щели, прятался по углам, подальше от покрытого скользким линолеумом школьного коридора, где покатывало гогочущим Орехом дикое, безжалостное бытие – раздавит и не заметит. Его и не замечали – просто не было причины. Учился Гиршуни, насколько я помню, тоже как-то нечувствительно: достаточно хорошо, чтобы не возникало учительских подозрений в отсутствии старания, и достаточно плохо, чтобы не возбуждать ничьей зависти. Честно говоря, я почти не помню его присутствия в школе – а ведь мы просидели за одной партой целое десятилетие!

Например, если вы спросите, в каком классе Гиршуни надел очки, то я не смогу припомнить. На моей памяти у него всегда было ужасное зрение. Думаю, что он так и пришёл в школу, а может быть, прямо так и родился в своих стёклах, толщина которых заранее делала невозможной попытку разглядеть гиршунины глаза – даже если он по недоразумению поднимал к вам своё вечно опущенное книзу, спрятанное лицо. И если уж мы заговорили о родах, то у меня нет никакого сомнения в том, что он наверняка вполне осознанно не закричал, когда ему перерезали пуповину и шлёпнули по красной младенческой попке... ну разве что пискнул тихонько, по-мышинному, или ещё тише, чтобы, Боже упаси, не привлечь к себе излишнего внимания.

Почему так, кто-нибудь может мне ответить? Почему? За что? Перед кем провинилось это нелепое существо, чем заслужило эти постоянные, как осенний дождь, страдания? И не кажется ли вам, что его судьба, в сущности, ничем не отличается от...

Ах, нет, нет, это меня куда-то не туда повело, извините великодушно. Тем более что подобные вопросы я начал задавать только сейчас, по прошествии стольких лет, только сейчас, вот ведь какая незадача, а тогда, в классе, и позднее, в институте, они мне и в голову не приходили. Кстати, институт я упоминаю здесь потому, что Гиршуни поступил туда же, куда и мы с Грецким, причём на ту же специальность, о чём мы, конечно же, узнали только на первой лекции, во время переключки, когда он, сверкнув очками, пискнул своё мышинное «я...» откуда-то сбоку и сзади, но, понятное дело, не совсем сбоку и не совсем сзади, потому что быть совсем сбоку или совсем сзади означало бы выделиться хоть в чём-то, хоть в этом, хоть в такой малости.

Помню обращённый ко мне недоумённый и раздосадованный взгляд Грецкого: «Как? И это чучело здесь?» В ответ я пожал плечами. Вообще-то этого следо-

вало ожидать: на нашу, считавшуюся тогда перспективной, специальность евреев брали в тот год только туда, что, собственно, и послужило главной причиной как моего, так и Грецко-Ореховского решения. Впрочем, Орех-то, скорее всего, просто перестраховался. Он тогда усиленно занимался классической борьбой, входил в какие-то юниорские сборные и оттого был желанной добычей для любой приёмной комиссии. Тяжеловесы всегда были дефицитом во всех видах спорта, так что Орех, видимо, мог бы проскочить даже в университет.

Мог бы, да не захотел. Его громогласно провозглашаемой целью была не денежная специальность, не тонкий учёный интерес и даже не наслаждение сладкой, круто замешенной на пьянках, блуде и адреналине студенческой жизнью, а выгодная женитьба. Как говорят американские баскетбольные коучи, попав в финал, доверься тем игрокам, которые привели тебя туда. Грецкого с раннего детства приводили в финал его замечательные физические данные, и он совершенно справедливо не видел никакой причины полагаться на что-либо другое и в будущем. После института наши пути разошлись. Мне, как и прочим неподходящим для оборонных предприятий евреям, предложили «свободное распределение». В итоге я устроился на работу всё по тому же принципу «где берут», а Орех покатился дальше, к одному ему ведомым заповедным местам, где произрастали выгодные невесты, внучки маршалов, дочери академиков, лакомые плоды чресл и членов Центрального Комитета.

Контора, куда я пришёл, помещалась в здании цвета застарелой грязи, с монументальной проходной, отгораживавшей внутренний бардак от внешнего. После беседы с утомлённым начальником меня провели в полутёмную унылую комнату и указали на стол. Я сел, оглянулся и оторопел. Гиршуни сидел тут же, недалеко, близко к углу, но и не совсем в нём.

«Так, – подумал я, – допустим, первый случай – не в счёт, второй – совпадение... что же тогда третий? Тенденция?»

Будто отвечая на этот вопрос, Гиршуни смущённо кивнул мне своими очками и ещё ниже склонился над схемой... или над чем-то там ещё, не знаю: за восемь лет работы я так и не сподобился уяснить, чем мы, собственно, занимались.

Совместная служба в одном учреждении подразумевает определённую степень близости, особенно если это учреждение советское и сотрудники заняты преимущественно общением между собой – например, сплетнями, пьянкой, дежурством в очереди за импортной мебелью, игрой в шахматы или обсуждением модной новинки в области кулинарии, кино, литературы, нижнего белья, способов деторождения... добавьте что вздумается – не ошибётесь. Эта ситуация вынуждала Гиршуни время от времени выползать наружу, так что я получил возможность хорошенько рассмотреть его – впервые за пятнадцать лет знакомства.

Как я уже говорил, размерами Гиршуни не вышел. Сам по себе этот факт мало что значит – я знавал людей, которые с высоты в метр сорок поглядывали сверху вниз на гигантов баскетбольного роста. Это, в общем, не так трудно: достаточно расправить плечи, выставить вперёд живот и повыше вздёрнуть подбородок. Но Гиршуни словно специально делал всё ровно наоборот: ходил сутулясь, выставлял зад вместо живота, а плечи сворачивал внутрь наподобие краёв высохшего ломтика сыра. Он был моим ровесником, но выглядел по меньшей мере вдвое старше – в своём стремлении не выделяться Гиршуни будто бы сразу прыгнул в средний возраст, минуя чреватую опасностями молодость. Кто станет задираться к пожилому человеку?

«Не троньте меня!» – кричал весь его облик. – Посмотрите: я слаб, некрасив, ничтожен. Я не представляю угрозы даже для комара».

Не знаю, как ему удалось столь рано облысеть, причём таким изощрённо неприятным образом: длинные залысины со лба и круглая, большая, безобразно прикрытая редкими волосами плешь на затылке. Я не большой знаток обезьян, но, по-моему, сзади гиршунина голова более всего напоминала колено старого больного орангутанга. Вид спереди тоже удручал: крупный угреватый нос, тонкие, бесцветные, вечно поджатые губы и совершенно идиотские карикатурные густые бакенбарды, вызывавшие в памяти скорее Шейлока, чем Пушкина, и служившие той неперменной мастерской деталью, которая именно своей полнейшей неуместностью подчёркивает общее стилевое единство всего облика.

Передвигался Гиршуни обязательно вдоль стеночки, неравномерно, перебежками, будто рота под обстрелом. При этом он невероятным образом ухитрялся оставаться незаметным – понятия не имею как... возможно, менял окраску и сливался с фоном стены, как хамелеон? Интересно было бы понаблюдать его где-нибудь посреди поля или в центре большой городской площади, где нет стен. Впрочем, такой возможности мне не представилось и теперь уже навряд ли представится, учитывая... да...

Голос у Гиршуни был тихий, мягкий, маскирующийся под окружающие звуки. Перед тем как начать говорить, он издавал непродолжительный предупреждающий скрип, какой издаёт стартующая патефонная пластинка, а начав, часто обрывал фразы на полуслове и принимался качать головой с выражением «сами понимаете», словно приглашая собеседника продолжить за него, разделить с ним и вообще войти в положение. Не могу сказать, что он не возражал во все – случалось и такое – но всегда делал это в предельно аккуратной, впросительной форме: «А не кажется ли вам...?» – или: «Возможно, стоило бы проверить ещё раз...?» – и так далее в том же духе.

Я уже упоминал огромные очки с толстенными стёклами в роговой оправе, почти полностью закрывавшие его тонкогубое лицо. Не могу отделаться от мысли, что плохое зрение представляло для Гиршуни всего лишь дополнительный вид убежища: так страус полагает, что если не видит он, то не увидят и его. А может быть, наоборот: если смотреть на жизнь сквозь такое мощное увеличительное стекло, то мир парадоксальным образом кажется меньше – за счёт того, что фокусируешься на деталях, отвлекаясь от целого... Не знаю. Так или иначе, но угадать выражение гиршуниных глаз за мутной стеклянной стеной было практически невозможно. Он мог быть спокоен в своей крепости, полностью недостижимый для бесцеремонного чужака. Вернее, мог бы, когда бы не уши.

Уши выдавали беднягу с головой... и с телом, и с душой, и со всей его осторожной, предусмотрительной, мимикрирующей повадкой. Огромные, оттопыренные, розовые, необычайно подвижные и чувствительные, они, казалось, жили своей собственной, отдельной от остального Гиршуни жизнью. Они настораживались, вкрадчиво шевелились, гордо вставали торчком, краснели от гнева или смущения, трепетали от страха, вяли от скуки, сворачивались от неприязни. Глядя на уши, любой, даже самый тупой наблюдатель мог с высокой степенью точности определить, что творится сейчас в наглухо запечатанной, упрямой глубоко внутрь, замаскированной под дохлую мышь гиршуниной душе. Думаю, сам Гиршуни не вполне осознавал предательскую роль собственных ушей – а иначе он отрезал бы их, не задумываясь.

На десятилетие школьного выпуска мы собрались у нашей классной старосты; к моему удивлению, Гиршуни тоже пришёл. Видимо, активные девчонки, организовавшие встречу, притащили его силком – для полноты комплекта. Действительно, на вечере были все, без исключения, даже Грецкий забежал на часок-другой. На его мощной руке, сверкая шаловливыми глазками и бриллиантами, висело невинное существо лет семнадцати, похожее на оживший манекен из витрины роскошного миланского бутика.

– Мы ненадолго, – сказал Орех и тщательно растянул губы в стоматологически безупречной улыбке. – Приём в консульстве у лягушатников. Вовремя туда никто не приходит, но и слишком опаздывать нехорошо – не поймут-с...

Он явно находился если не у финишной черты, то уж во всяком случае – почти рядом, на последнем вираже победного забега. Но «почти», как известно, не в счёт; наверно, именно поэтому Орех приволок на встречу свою малолетку – в качестве вещественного доказательства грядущего успеха. Вещи на ней и впрямь были умопомрачительные. Когда, слегка подвыпив, мы приступили к непрерывному этапу такого рода встреч – поимённому рапорту о достигнутом, Орех не стал детализировать. Он просто значительно помолчал, ухмыльнулся и произнёс, пришлёпнув подругу по гладкому кожаному задку:

– У нас всё о'кей. Правда, бэби?

Лайка на бэбиных штанах была супер-труппер, возможно, из-за этого звук получился чересчур смачным. Бэби слегка смутилась, но не обиделась.

Гиршуни, как всегда, прятался где-то в районе дальнего угла, но это не помогло: всё те же настырные организаторши неумолимо вытащили его на солнышко за красное от смущения ушко. Немного поскрипев, Гиршуни еле слышно сообщил, что женился и совсем недавно родил дочку. Его обычная неуверенная интонация придавала известию странный вопросительный оттенок, как будто сам Гиршуни удивлялся тому факту, что может иметь жену и даже произвести на свет ребёнка:

– Я женат?.. У меня родилась дочь?..

Все принялись снисходительно аплодировать, а Орех наклонился к бэбиной бриллиантовой серьге и сказал, понизив голос, но и не особенно утруждая себя шёпотом:

– Посмотри на это убогое лысое недоразумение. Прямо слизь какая-то человеческая. Я бы принял закон, запрещающий таким сусликам размножаться.

Малолетка хихикнула. Гиршуни как раз сидел на стул, и я отчётливо увидел, как он вздрогнул, услышав сказанное. Было невозможно разглядеть его лицо, но этого и не требовалось: огромные уши, ещё секунду назад пылавшие маковым цветом, мгновенно побелели. В какой-то момент мне показалось, что он хочет обернуться и посмотреть на Грецкого... хотя бы посмотреть... но нет, этот маленький человечек оказался не способен даже на такой, минимальный акт протеста. «Действительно, слизь... – помнится, подумал я. – Грецкий, конечно, свинья, но по сути он прав. Чёрт знает что».

В хранилище памяти служит скупой кладовщик: он безжалостно выбрасывает в небытие предметы, лица и события, которые кажутся ему не заслуживающими внимания, хотя они-то, в основном, и составляют нашу жизнь. Возможно, так и надо... жаль только, что со временем старый служака впадает в полный маразм и принимается браковать всё подряд. Я плохо помню последующие годы,

а уж столь незначительную деталь окружения, как Аркадий Гиршуни – тем более. В какой-то момент он куда-то исчез из общей полутёмной комнаты нашего учреждения – беззвучно и незаметно, характерно для него. То ли уволился сам, то ли попал под сокращение – Бог весть. Факт, что никто об этом не жалел.

А потом моя жизнь вдруг проснулась, распрямилась, кряхтя и жалуясь на поспешность, сделала несколько пробных приседаний и вдруг разом завертелась, закрутилась, пошла кувырком, удивляя саму себя неожиданной ловкостью залихватских своих кульбитов. Я оставил город, в котором родился, страну, в которой жил, расчерченную дорожками ежедневных привычек карту, по которой ходил, думал, говорил, дышал. Впереди было всё другое, новое, странное, не такое: краски, запахи, встречи. Кстати, о встречах: сказать вам, кто был едва ли не первым старым знакомым, встреченным мною на улице?

Да-да, Гиршуни – вы не ошиблись. Как и прежде, он передвигался вдоль стенки, только вот мимикрия его отказывалась работать здесь, в слепящей яркости тель-авивского утра. Ещё бы! Таких красок в унылой палитре петербургского хамелеона попросту не водилось. Наверное, поэтому я сразу заметил его и окликнул, обрадовавшись. В тогдaшнем своём состоянии я готов был обрадоваться даже Аркадию Гиршуни. Он подошёл без особой охоты, мы разговорились.

– Знаешь, – вяло произнёс он после обмена приветствиями. – Я только тут узнал, что означает моя фамилия на иврите. «Гиршуни» буквально переводится как «меня изгнали».

– Глупости, – ответил я. – Никто тебя не изгонял. Сам уехал.

Он пожал плечами:

– Да я не об этом...

А о чём? Честно говоря, я не стал особо вникать, поражённый отсутствием всегдашней вопросительной интонации в речи моего собеседника. Считая предшествующие «здравствуй...» и «ах, и ты тут...», он произнёс целых пять утвердительных фраз подряд, что раньше представлялось абсолютно невероятным. Я уже открыл было рот, чтобы поинтересоваться, нестряслось ли с ним чего, но тут Гиршуни, словно опомнившись, опустил голову и заговорил по-прежнему. Мне сразу поскучнело, и я стал прощаться. Мы уже почти разошлись, когда он вдруг спросил, не ищущ ли я работу.

– Какая работа? – фыркнул я. – Язык бы немножко подучить.

Гиршуни нерешительно поскрипел.

– А не кажется ли тебе... – начал он свой очередной вопрос, но я перебил.

– Давай ближе к делу, Аркадий. У тебя есть что-то конкретное?

Он кивнул и начал рассказывать. «А что, – думал я, слушая его. – Это было бы самым логичным. От судьбы не уйдёшь. Как начинал с Гиршуни, так и продолжаешь. Школа, институт, работа... Если так и дальше пойдёт, то и на кладбище рядом ляжем. Прямо злой рок какой-то. А впрочем, почему злой? Ты от него когда-нибудь что-нибудь плохое видел? И всё же... всё же... есть в этом что-то неприятное, что-то такое-эдакое...»

– Ну как? – спросил Гиршуни. – Придёшь?

«А что, если сейчас ответить “нет”? – подумал я. – Просто ответить “нет” и уйти. Уехать куда-нибудь на север, в Хайфу, а то и на юг, в Эйлат, подальше от этого суслика ушастого. Ты ж сюда за новой жизнью приехал, помнишь?»

Гиршуни терпеливо ждал.

– Конечно, приду, – сказал я, ощущая себя деревенской девкой, которую не звали на сеновал так долго, что теперь приходится лезть туда по первому приглашению последнего замухрышки. – Давай адрес.

Государственная контора, в которой нам с Гиршуни суждено было служить бок о бок, представляла собой воплощённое торжество идей профсоюзного социализма. Она не производила ничего, за исключением подписей на дюжине-другой формальных бланков. Бланки содержали торжественное разрешение работать и выдавались частным бизнесам и предприятиям, владельцы которых по чистому недоразумению обуревались безумным желанием производить что-либо практически полезное. Желание это извинялось лишь тем, что упомянутые неразумные бизнесмены пока ещё не выбрались из диких капиталистических джунглей на светлую полянку социалистического будущего.

В конторе служили около тысячи человек, подписи же требовались далеко не от каждого, а только от нескольких десятков руководителей разной степени крупности. Таким образом получалось, что бедные начальники вынуждены были отдуваться за всех. Этот факт находил своё выражение в зарплате, приводя к прискорбному, с социалистической точки зрения, неравенству. Но с другой стороны, остальным работникам не приходилось делать вообще ничего, то есть – вообще, даже подписывать, а потому зарплатное неравенство признавалось всеми вполне логичным и даже заслуженным. В итоге иерархия жалования в точности соответствовала трудовому вкладу, а значит, была по-настоящему обоснованной, естественной и справедливой – в отличие от мерзкой капиталистической действительности, где каждый твёрдо уверен в том, что работает тяжелее и эффективнее прочих, а получает при этом существенно меньше, чем бесполезные начальствующие паразиты.

Характерная для победившего гуманистического учения уверенность в завтрашнем дне реализовывалась у нас в форме так называемого «постоянства». Работника, обладавшего «постоянством», было практически невозможно уволить: любые дисциплинарные санкции отскакивали от него, как вражеские стрелы от заговорённой кольчуги сказочного богатыря. Так что совсем не врут те, кто описывает социализм как сказку, ставшую былью.

Но даже в сказке кольчугу требуется заслужить или, по крайней мере, выкрасть у какой-нибудь вредоносной бабы-яги. Вот и в нашей конторе заветное райское «постоянство» предоставлялось не сразу, а только по прошествии нескольких лет чистилища. И хотя на нас с Гиршуни во многом распространялись божественные льготы «постоянных», мы тем не менее не могли, придя, как они, на службу в начале недели, записаться до самого её конца на участие в несуществующем семинаре и после этого преспокойно сидеть дома, лелея в душе законное чувство исторического оптимизма.

Как новички мы вынуждены были отсиживать на рабочем месте все положенные восемь с половиной часов, включая перерыв на обед. Это воспринималось мною как вопиющая дискриминация; вместо чувства исторического оптимизма сердце моё наполнилось чернейшей завистью откровенно империалистического пошиба, что, конечно же, лишний раз доказывало правильность моего нахождения не в раю, а именно здесь, в чистилище. Говорю только о себе – ведь тогда я не имел ещё ни малейшего представления о том, что ощущал в этой ситуации Гиршуни. Вы обратили внимание на это «ещё»? Да-да, оно тут не случайно.

Контора помещалась в огромном современном здании в центре Тель-Авива. Мы приходили к половине восьмого, причём опаздывать не рекомендовалось ввиду отсутствия вышеописанной кольчуги. Аппарат на входе с тюремным лязганьем отмечал время начала работы, мы поднимались на шестой этаж, в большую комнату, пустынную в столь ранний час, и усаживались за свои столы, расположенные на максимальном удалении от окон. В социалистическом раю близость стола к окну определялась длительностью профсоюзного стажа. Что, в общем, тоже было справедливо и даже рационально, поскольку каждый отдельно взятый стол пустовал тем чаще, чем большим стажем обладал его сиделец, который, таким образом, реже заслонял свет своим менее заслуженным товарищам. Тех, кто сидел у самого окна, мы видели так редко, что практически не помнили в лицо.

Наверное, в этом неуёмном стремлении к свету больше всего проявлялся божественный характер «постоянных». На определённом уровне стажа они начинали борьбу за персональные окна – такие, которые не приходилось бы делить ни с кем, даже с другими небожителями. Персональное окно означало персональный кабинет, а тот, в свою очередь, подлежал расширению на два, три, четыре окна – и так до бесконечности, то есть до пенсии.

Кабинетов катастрофически не хватало, что вынуждало небожителей всеми правдами и неправдами выгораживать себе отдельный закуток в общей комнате, забирая таким образом вожаденное окно в своё личное пользование. Это встречало естественное противодействие менее продвинутых «постоянных», остававшихся без света вообще. Начинался типично ангельский конфликт: война за свет между херувимами и серафимами. Нужно ли говорить, что с низкой, приземлённой точки зрения этот конфликт не имел никакого смысла: ведь ни те, ни другие на службе практически не появлялись. Но могут ли земные твари проникнуть в возвышенную логику небесных созданий? Время от времени в коридорах и комнатах рая разгорались нешуточные сражения; пригнув головы в шуме мощных ангельских крыльев, среди гордого клёкота, в облаке белоснежных перьев, мы немо внимали содроганию тверди и горнему полёту небожителей.

Но всё же подобными развлечениями нас баловали нечасто. Слишком нечасто. Большею частью дни тянулись уныло и однообразно. С утра мы обычно занимались тщательным и неторопливым приготовлением кофе – с таким расчётом, чтобы получившегося количества маленьких глоточков хватило бы до девяти. В девять из коридора слышался неторопливый перестук колёс, вызывавший в памяти разные, но в то же время взаимосвязанные образы роддома, больницы, морга и похорон, и в комнату, толкаемая толстой немолодой «марокканкой»¹, въезжала чайная тележка с термосами и выпечкой. «Марокканка» носила звучное имя, подходящее в моём понимании только стройным парижским женщинам или комнатным болонкам: Жаннет. Она садилась рядом с Гиршуни и, вздыхая, принималась гортанно жаловаться на жизнь. Кроме нас поговорить ей было не с кем, потому что не только в нашей комнате, но и на всём этаже, а может быть, и во всём огромном здании находились лишь мы – два кандидата в небожители, охранники, да ещё несколько несчастных начальников, которые, как уже было сказано, отдувались за всех в своих больших светлых кабинетах о три, а то и о четыре окна.

¹ «Марокканцами» в Израиле называют евреев – выходцев из Марокко, а зачастую и вообще из арабских стран.

Затем плавно подходило обеденное время, и мы спускались в столовую. По причине субсидированных цен в ней постоянно толпился народ: в основном друзья и родственники небожителей, всеми правдами и неправдами снабжённые соответствующими пропусками. Иногда заглядывали и сами «постоянные» – проверить, соответствует ли размер и качество шницелей результатам последнего профсоюзного соглашения. После обеда я возвращался в своё рабочее кресло и дремал с полчаса, набираясь сил перед самым приятным этапом – кружками по интересам. Заботясь о том, чтобы работа содержала как можно меньше элементов беззастенчивой эксплуатации человека человеком, профсоюз организовал для служащих с десятков различных секций – разумеется, в рабочее время. Лично я регулярно посещал китайскую гимнастику, занятия индийской медитацией и курс практической магии, а также всерьёз подумывал о танцах живота.

К трём, слегка подустав, я возвращался на место – как раз ко второму пришествию пресвятой Жаннет с её чайной тележкой. Усевшись рядом с Гиршуни, она слово в слово повторяла свои утренние жалобы. К исходу первого месяца я выучил их настолько, что затыкать уши было бесполезно: я слышал, даже не слыша. В четыре полный свершений рабочий день заканчивался, и мы с Гиршуни отправлялись по домам, укреплённые гимнастикой, просветлённые медитацией и полусумасшедшие от вынужденного, я бы даже сказал, насильственного безделья.

Почему я не сбежал оттуда сразу? Что держало меня в этом странном вертепе социалистического сюрреализма? Не знаю. Честно говоря, сначала и бежать-то было особо некуда, разве что на улицу: для поисков настоящей работы следовало прежде подучить язык, осмотреться, освоиться. А потом уход стал казаться глупым: ну какой дурак станет дёргаться, когда до перехода в статус небожителей – рукой подать? Вот получим «постоянство», а там посмотрим... – так или примерно так рассуждал я тогда. Но «постоянства» всё не давали и не давали. К исходу третьего года мне стало ясно, что одуревшие мозги находятся на пороге необратимых изменений: я поймал себя на том, что с интересом слушаю ежедневные жалобы Жаннет. Линять! – решил я. – Немедленно линять! И вот тут-то, когда я уже окончательно собрался уходить, нам вдруг дали работу. Ту самую, настоящую работу, пережиток варварской античеловеческой капиталистической формации.

Отчего это случилось? Как произошло? Трудно сказать. Единственное объяснение, которое приходит мне в голову, заключается в том, что уж больно область была новой, незнакомой: интернет. Нет сомнения, что и ей уготавливалось в нашей конторе самое что ни на есть светлое соцбудущее, но пока что... Пока это будущее ещё не наступило, интернету предстояло честно пройти весь предусмотренный марксизмом путь общественного развития, начиная... гм... ну, скажем, с рабовладения. На роль рабов вызвались мы с Аркадием Гиршуни: я – радостно, он – наверное, за компанию. «Почему рабы? – спросит кто-нибудь. – Разве вы не получали зарплату?»

Получать-то получали, но совсем за другое: за своевременный приход и уход, за чаепитие, за посещение столовой и кружков по интересам... А вот интернетом мы занимались абсолютно бесплатно. То есть работали задарма, как наши предки на пирамидах.

Формально в наши обязанности входило обеспечение компьютерной безопасности, то есть охрана внутренних секретов учреждения от посягательств злоу-

мысленных интернетовских хакеров. Секретов! Смех, да и только. О каких секретах могла идти речь, если организация не производила ничего, кроме сотни подписей в неделю? Но, видимо, этот факт и представлял собой самый большой секрет: известно, что тщательнее всего охраняется именно информация о том, что охранять, в общем, нечего.

Что ж, нечего – так нечего. От нечего делать мы и впрямь построили превосходную систему защиты. Денег никто не жалел; по первому требованию закупались дорогие устройства, программы, серверы – всё, о чём только могли помыслить наши распалённые вседозволенностью головы. Мы разделили внутреннюю сеть непроходимыми брандмауэрами на небольшие полуавтономные сегменты; десятки внимательных датчиков круглосуточно анализировали каждый пролётный байт; любое отклонение от нормы фиксировалось центральной системой контроля и вызывало немедленную защитную реакцию; обмен данными шифровался; коды и пароли менялись часто и бессистемно... Это была поистине неприступная крепость! Крепость, защищающая звенящую пустоту, ноль, зеро, гурништ².

И в то же время мы ужасно гордились этим произведением искусства ради искусства. Мы надышаться не могли на своё творение, мы ласково оглаживали его, как, наверное, оглаживал Пигмалион свою мраморную Галатею. Изо дня в день, моделируя атаку потенциального противника, мы производили всевозможные проверки, дабы убедиться в бесплодности попыток проникнуть извне в пределы наших бастионов. Несуществующий враг не дремал; соответственно, и от нас требовалось постоянно совершенствоваться, видоизменять и заново испытывать элементы оборонительной системы. Воображаемые и оттого неутомимые хакеры изобретали всё новые и новые лазейки, вели хитроумные подкопы, удлиняли осадные лестницы, обходили ловушки, подкатывали к воротам всё более и более устрашающие тараны. Они наступали со всех сторон сразу... хотя, тьфу!.. кто там наступал?.. кому на хрен сдались дурацкие секреты нашей конторы? Никому! И тем не менее, мы упорно убеждали начальство и прежде всего самих себя в несомненном наличии этой на сто процентов выдуманной угрозы. Для чего? Да просто для того, чтобы внести хоть какой-то минимальный смысл в нашу бессмысленную работу.

С этого-то всё и началось, с проверок. Вернее, с одной из них. Помню как сейчас: был вторник, середина недели, четверть десятого. Жаннет как раз завершала свой ежедневный рассказ о трудностях жизни. Гиршуни, послушно кивая, что-то тихонько настукивал на клавиатуре. Я же возился с недавно полученным кодом-взломщиком, изготовленным весьма и весьма толково. Проникнув в компьютер, эта программа маскировалась под законный фрагмент операционной системы и поселялась на диске, исподволь собирая и индексируя нужную информацию: файлы, пароли, методы, последовательности нажатых клавиш, движения мышки. Время от времени она пересылала накопленную добычу наружу, своему невидимому виртуальному хозяину.

От обычного «тройского коня» этот код отличался очень высоким качеством маскировки и удивительной адаптивностью. Даже новейшие антивирусы и брандмауэры могли обнаружить его только непосредственно на стадии втор-

² Гурништ (*идиш*) – ничего.

жения; он не реагировал на приманки, обходил самые хитроумные ловушки. Поселившись на диске, коварный «тroyн» тут же становился невидим для любой современной защиты! Ему требовалась всего лишь малая брешь, слегка приоткрытое окно, немного приспущенный щит – хоть на минутку, хоть на чуть-чуть... Но в том-то и дело, что у нас таких брешей просто не существовало! Мы действительно извели их как класс, да простится мне марксистская терминология – сами знаете: с кем поведёшься...

Каждый компьютер в здании подлежал автоматической принудительной многоуровневой защите, отменить которую имели возможность только двое – я и Гиршуни. А потому, снисходительно оценив хакерскую изобретательность, я на пробу запустил программу в нескольких рабочих сегментах сети. Как и следовало ожидать, результаты вызвали приятное чувство законной гордости: коду не удалось проникнуть ни на один диск, ни в одну машину; сервер-администратор исправно рапортовал о замеченных и успешно отражённых атаках.

Закинув руки за голову, я самодовольно покачивался на стуле. Вдыхая и стуча тележными колёсами, ушла по пустому коридору Жаннет. Гиршунины уши облегчённо расслабились и приобрели свой обычный бледно-розовый вид. Всё стихло в нашем образцовом королевстве; лишь монотонное гудение кондиционера да редкая очередь клавиш с гиршуниной клавиатуры – то быстрая, пулемётная, то нерешительная, словно даже задумчивая. Прекрасно помню, как я ещё подумал: «Он будто сам с собой разговаривает», – и только после этого перевёл взгляд с гиршуниных ушей на собственный экран. И оторопел.

На экране красовался ещё один рапорт, но не от сервера – об отражении атаки, а ровно наоборот. Запущенный мною «тroyнский конь» скромно докладывал об успешном внедрении по такому-то и такому-то адресу, а также напоминал о порядке изменений в заданном режиме отчёта, буде мне захочется оный режим изменить. Я не поверил своим глазам. Какому идиоту взбрело в голову опустить защиту на своём компе? И каким образом ему удалось это проверить – ведь, напоминаю, права на подобное действие были только у нас – единственных администраторов всей сети?

– Аркадий? – это Гиршуни обращался ко мне в своей всегдашней вопросительной интонации. – Я выйду на минуточку?

– Да выходи ты куда хочешь, мне-то что! – ответил я грубо. – Что ты каждый раз моего разрешения спрашиваешь? Я что тебе – начальник?

Он сдавленно вздохнул и принялся скрипеть. Хочет что-то сказать, понял я. Типа, поделиться...

– Ты не мог бы потом посмотреть? – выдал из себя Гиршуни. – Я тут уже третий час новую версию устанавливаю – и всё никак... почему, не знаю. Вроде как защиты все поотменял, а всё равно не даётся... что ей ещё надо?

Пожав плечами, он повернулся и бесшумно вышел в коридор.

– Эй! – сказал я ему вслед примерно через полминуты, но он, понятное дело, уже не услышал.

И в этом тоже была рука судьбы. Потому что если бы Гиршуни остался в комнате, то я бы, конечно, сразу же рассказал о том, как новый «тroyн» заскочил к нему в компьютер, заскочил лихо, с понтом, воспользовавшись временно, но очень кстати отключённой защитой. Ведь защиту свою Гиршуни отключил, можно сказать, случайно, в качестве крайней меры, отчаявшись определить причину непо-

нятного поведения новой версии одной из наших программ. Вообще говоря, это отключение не представляло из себя никакого риска – ведь наш сегмент был защищён намного лучше остальных. В нём и работали-то только две наших машины – моя и гиршунина... так чего же бояться, в самом-то деле? Не мог же он знать, что именно в этот момент я запускаю своего пробного «трояна»!

Всё это я бы выложил ему тут же, на месте, и мы бы посмеялись над невероятным совпадением, вернее, посмеялся бы я, а он бы просто поскрипел, сверкая очками и слегка дёргая уголком рта... а потом мы бы ещё многозначительно покивали, припомнив известную статистику о том, что подавляющее большинство бед приходят изнутри, а не снаружи, хотя запираются люди почему-то именно от внешнего врага, не ожидая подвоха со стороны сердца. Ну а затем, отсмеявшись и откивав, мы бы легко пришибли бедолагу-«трояна» в его потаённом убежище и продолжили бы дальше как ни в чём не бывало.

Только вот ничего этого не случилось, ничего: ни кивков, ни смеха, ни рассказа. Все остались на своих местах: я – за столом, Гиршуни – в коридоре, а «трояна» – в гиршунином компьютере. Впрочем, нет. Был ещё диалог, короткий, но содержательный – между совестью и любопытством.

– Кончай, слышишь? – сказала совесть. – В конце концов, это некрасиво.

– Так ведь ненадолго, – возразило любопытство. – Ну разве тебе не интересно узнать, что он там настукивает на клавиатуре, кому шлёт свои мейлы, как выглядит его предупредительный скрип в письменном виде, кто и как ему отвечает? Представь себе, что это канал «В мире животных», программа про сусликов.

– Подглядывать гадко, – напомнила совесть. – Читать чужие письма... фу...

– Да при чём тут это? – удивилось любопытство. – Речь идёт о сугубо техническом вопросе. Смогут наши хваленые системы справиться с этим маленьким «троянским конём» или нет? Смотри на это как на очередное испытание защиты. Спорим, Гиршуни обнаружит «трояна» к концу рабочего дня? Ну?

– А если не обнаружит?

– Спорим?

В разгар этой беседы подошёл Гиршуни – как всегда бесшумно.

– Ты меня звал?

Подумав, я отрицательно покачал головой. Любопытство победно вскинуло руки. Совесть плюнула и пошла спать.

В тот же вечер я получил первую информацию о своём ушастом соседе: имена, идентификаторы, ключ-пароль к почтовому ящику, доступ к журналу-дневнику, к фотографиям, документам, переписке, исповеди. Он весь лежал у меня на ладони, не имея об этом ни малейшего представления – он, всю жизнь прятавшийся от постороннего взгляда в тени стен и в темноте углов! И можете мне поверить – там было на что посмотреть.

User Profile

User: [Girshuni](#)

Location: Israel

Date of birth: 30.2.1960

Имя: Аркадий Гиршуни

גרשוני

 [Girshuni](#)

Тип записи: частная

גרשוני
ני 0  

Неужели меня изгнали и оттуда, из снов? Должен заметить, что сны снятся мне удивительно редко: чем это можно объяснить? Многие утверждают, что видят сны ежедневно, а уж если утверждают, причём так дружно, то отчего бы им не поверить? Да и какие есть у меня основания не доверять такому большому количеству людей? Наверное, никаких, правда? Почему же тогда я почти не вижу снов... то есть вижу, но очень-очень редко... может, раз в год, а может, и реже, трудно сказать... отчего?

Если бы кто-нибудь спросил меня, на что похожа жизнь, то я бы сравнил её с блужданием по незнакомому тёмному залу, битком набитому старой мебелью, никому не нужной рухлядью и хламом, где стулья с подломленными ножками перевёрнуты на пыльные столешницы шатких столов, где накренившийся шкаф болтает скрипучей дверцей, а выдвинутый комодный ящик напоминает вечно разъявленный рот деревенского дурачка, так что почти ожидаешь струйку слюны из его запекшегося коростой, изъеденного насекомыми уголка, и душно, и пахнет застарелой затхлостью, и лёгкие уже забыли о тоске по свежему воздуху, как будто его не осталось в природе, и нет ни воздуха, ни неба – пусть серого, пусть дождливого – любого, лишь бы неба, нет ни земли, ни деревьев, ни птиц – ничего, кроме угарной пыли и темноты, и мягких разваливающихся узлов с ветхим тряпьем, и бесчисленных углов, на которые то и дело натыкаешься то локтём, то коленкой, а то и лбом, и сердцем, и всем своим испуганным, угасшим существом.

И вот там-то, в этом зале, размеры которого неизвестны, потому что до стенки никак не добраться; то есть стенок-то там хватает, уж чего-чего, а стенок там сколько угодно: шкафных, гардеробных, буфетных... а есть ещё и такой зверь, «шифоньер» – но это всё не те стенки – не стены зала, идя вдоль которых можно было бы надеяться встретить дверь или окно, или хотя бы крохотную дырочку наружу, вовне, туда, где... ладно, не будем об этом, чтобы не расплакаться; так вот, туда, время от времени... хотя это только так говорится «время от времени», а на самом деле нету там никакого времени и быть не может, но ладно, не буду придираюсь к словам... время от времени туда ни с того ни с сего проникает свет – непонятно откуда и зачем, просто возникает вдруг, на одно очень короткое мгновение: мелькнул и нет, и его можно было бы назвать отблеском надежды, или лучом света в тёмном царстве, или ещё как-нибудь в том же оптимистическом, школьно-литературном духе, можно было бы, когда бы он не выхватывал из тьмы всё ту же душную вселенную зала, всё то же тесное пространство мебельных углов, и тюки с тряпьем, и рваные одеяла, когда бы он не делал видимой прежде невидимую, клубящуюся в воздухе пыль, когда бы не превращал обычную под-

вальную скуку, подвальную муху в огромное, разросшееся до размеров слона, отчаяние.

Вот почему я испытал такое потрясение, когда мне впервые объяснили значение моего имени; странно, но факт – я никогда не задавался вопросом, что оно значит – в отличие от другого, постоянно мучившего меня недоумения: за что, почему именно мне досталась эта дурацкая кличка, уместная разве что для персонажа мультфильма, для какой-нибудь нелепой смеси «манюни» с «чебурашей», но абсолютно не подходящая нормальному ребёнку в нормальной детсадовской песочнице – Гиршуни.

Это слово звучало абсолютной абракадаброй, что, честно говоря, несколько облегчало мои страдания: ведь бессмысленность, а следовательно, и несправедливость наказания всегда придаёт страдальцу некий ореол мученичества – хотя бы в его собственных глазах, и это необычайно важно, потому что единственное место, куда можно сбежать от рычащего мира – это ты сам, один-одинёшенек, третьего не дано: только ты и мир, брызжащий ядовитой слюной и грызущий тебя за пятки, а коли так, то хотя бы это, самое крайнее, единственное убежище должно быть, по возможности, укреплено верой в невиновность защитника, в чистоту знамени, вооружено надеждой на то, что где-нибудь там, в не различных отсюда небесах, кто-нибудь опомнится и исправит, наконец, происходящую с тобой вопиющую несообразность.

Так я и жил, справляясь по мере сил, подпитывая себя этой верой и этой надеждой, перебираясь из песочницы в класс, из класса в аудиторию, из аудитории в проходную предприятия, пока не оказался на курсе начального иврита, где весёлая преподавательница Ривка, блестя глазами и улыбаясь, переспросила: «Гиршуни? А все ли тут знают, что это значит?» – и я почувствовал, как сердце моё ухнуло в пятки – те самые, погрызаемые миром, и приготовился услышать что-то ужасное, ужасное настолько, что у меня даже не нашлось сил изобразить на лице скучающее выражение типа «а как же иначе, конечно... уж мне-то, обладателю имени, может ли быть неизвестно его значение?..» – нет, я просто сидел, забыв стыд, открыв рот и ожидая удара, который должен был сокрушить всю мою мощную, годами выстроенную оборону, и веру, и надежду, и любовь в придачу – всё, без остатка... «ну же, говори, говори уже», – думал я, а Ривка всё тянула свою профессионально-учительскую паузу, призванную хотя бы немного приподнять заинтересованность аудитории над ровным уровнем полуденной дремы, и нечего говорить, насколько кстати была мне эта заинтересованность: если бы я мог молиться в тот момент, то, без сомнения, взмолился бы о том, чтобы весь мир провалился в тартарары, включая зевающий класс и проклятую Ривку, которая всё длила и длила свой зубодробительный замах: «Что, нет? Неужели не знаете?.. Это означает...» – «Ну что?! что?! ну скажи уже... – мелькало в моей голове – что?.. вор?.. убийца?.. растлитель малолетних?.. кто я?..» – и тут она сделала умильную гримаску и нараспев произнесла: «*Гиршуни* означает “меня изгнали”; это слово составлено из двух – глагола прошедшего времени множественного числа третьего лица “*гиршу*” и местоименного суффикса “*ни*”, указывающего на принадлежность данного действия к единственному числу первого лица... Все слышали? Повторяю ещё раз: ме-ня из-гна-ли...» – «Не тебя, Ривка, – встрял наш записной классный мужлан, который всегда найдётся в любом классе, даже в самом маленьком, – тебя мы изгнать не дадим!..» – и Ривка в ответ игриво рас-

смеялась и всплеснула руками под своим париком – она была религиозной и ходила в парике и в длинном, до пят, платье, а мужлан ткнул своим волосатым пальцем в мою сторону и твёрдо сказал, как припечатал: «Его! Изгнали его! Брысь отсюда!..» – и тут уже рассмеялись все, разом проснувшись, словно обрадовавшись случаю совершить очередную пакость.

Дальнейшее я слышал плохо: Ривка уже в полной тишине, знаменующей всеобщее возвращение в спячку, бубнила об Испанском изгнании; мужлан зевал, так внимательно уставившись на коленки пышной блондинистой врачихи из Днепропетровска, как будто прикидывал, не сожрать ли её на сон грядущий, и это напоминало о рычащем мире, нацелившемся на мои бедные пятки, но, по видимому, напоминало лишь мне, потому что блондинка, напротив, только сдвигала ноги покрепче да розовела от мужланова взгляда, который даже не видела, ибо сидела спиной, а просто чувствовала затылком, шеей, лопатками, задом или чем там женщины столь безошибочно чувствуют подобные взгляды, поворачиваясь к ним то тем боком, то этим, как к солнцу на пляже, – в точности как и я поворачивался то так, то эдак к совершенно новой для меня, непривычной, обжигающей ситуации, в которой теперь предстояло жить, вернее, выживать, ибо жизнерадостное объяснение Ривки изменило её кардинально – не Ривку, а ситуацию, а впрочем, и Ривку тоже, потому что в тот конкретный момент я уже не мог смотреть на неё без ненависти – не на ситуацию, а на Ривку, а впрочем, что там – и на ситуацию тоже.

Новость же заключалась в том оглушительном факте, что мои отношения с миром вовсе не являлись недоразумением, следствием прилепленной к моему лбу бессмысленной клички, что, в общем, имеет место сплошь и рядом, и тот, кто не верит, пусть сам попробует прилепить какое-нибудь нелепое слово к любому объекту... ну, хоть слово «трактор» на лоб Моны Лизы или даже не на лоб, а на холст, или даже не на холст, а на раму – пусть попробует и посмотрит, что будет, да-да, пусть посмотрит на внезапно изменившиеся лица посетителей музея, пришедших восторгаться согласно путеводителю, пусть послушает, как они зашушукаются, захрюкают сдавленными смешками: «Глядите, глядите – трактор!..» – а при чём тут трактор?!.. ну при чём тут трактор?!.. разве что-то изменилось?.. разве померкла знаменитая усмешка?.. разве состарилось вечно молодое лицо?.. обвисла грудь?.. появился запах изо рта?.. – нет, ничего этого не случилось: перед ними всё та же Мона Лиза, каждой чёрточкой идентичная себе самой, и антураж тот же: и музей, и комната, и освещение, и даже непрменные японцы, напоминающие ходячее фото-кино-ателье... – всё то же, кроме этой косо прилепленной бумажки с корявыми, наспех нацарапанными буквами, складывающимися в абсолютно не подходящее к данной ситуации слово «трактор» – бессмысленное, глупое и, тем не менее, кардинально меняющее отношение пришедших к картине идиотов, причём самое обидное здесь то, что сама картина ни капельки не повинна в происходящем вокруг неё безумии, как и я был ни капельки не повинен в безумии, происходившем вокруг меня из-за прилепленной ко мне бумажки, на которой значилось, правда, не «трактор», а «гиршуни», но суть от этого не менялась, вернее, я думал, что не менялась, я имел роскошь так думать, пока эта религиозная дура в парике и длинном бесформенном балахоне не выскочила передо мной со своим непрошенным объяснением, как проклятый отличник в классе, выскакивающий, чтобы напомнить

склерозному учителю о заданной неделю назад и уже позабытой было домашней работе.

Так думал я все эти годы, утешая себя тем, что мои имя и внешность, определяющие всеобщее отношение ко мне, если можно назвать словом «отношение» эту едкую смесь обструкции с отвращением, так вот, я полагал, что мои имя и внешность являются не более чем такой бумажкой, вывеской, а если не вывеской, то занавеской или пусть даже скорлупой, другими словами, чем-то крайне поверхностным, несущественным, не имеющим ничего общего с моей истинной сутью, которая без скорлупы, вполне возможно, предстала бы совсем иной, например – прекрасной, как жемчужная богтичеллиевская богиня, выходящая из безобразной, морщинистой, текущей вонючей слизи раковины, да простится мне это банальное сравнение, а потому мне всего-то и требовалось что шанс, всего лишь шанс, и тогда все бы увидели... хотя это ведь только говорится «всего лишь», а на самом деле вероятность такого шанса ничтожна, и многие раковины остаются закрытыми: некоторые – на протяжении многих тысяч лет, а большинство так и вовсе навсегда, ведь море настолько огромно, а глубина его настолько страшна и непостижима, что трудно надеяться всерьёз на то, что за тобой когда-нибудь придёт ныряльщик с ножом или художник с кистью, вот и приходится мириться и со скорлупой, и с морщинистой ребристой раковиной, и со слизью моллюска, и с плавающими вокруг странными пучеглазыми существами, так и норовящими отгрызть тебе пятки... да-да, приходится мириться, и я смирился, но это было гордое смирение, смирение богини, заключённой в пожизненную тюрьму, смирение жемчуга, так и не получившего своего шанса на свет.

И что же – всё это оказалось иллюзией, ошибкой, наивной уловкой второгодника, предпочитающего объявить условия задачи бессмысленными, а саму задачу – не имеющей решения, а потом ещё и убежать во двор к приятелям в детсадовскую песочницу, о которой я уже где-то упоминал... но при чём тут песочница?.. ах, да, песочница, песок... как страус, засовывающий голову в песок в попытке избежать очевидности... погоди, погоди, а как же второгодник?.. слушай, отстань, ладно?.. что, страус не может быть второгодником?.. отчего же не может – пусть будет, тем более что это только усиливает тезис, простой, как песок: тезис о том, что на самом деле всё имеет и смысл, и причину, и следствие, что случайностей нет в природе, что понятие вероятности, не говоря уже о соответствующей теории, изобретено не кем иным, как уже знакомыми нам страусами-второгодниками, уставшими от попыток понять, что к чему, но это – в общем, а в моём частном, конкретном, чисто-конкретном случае эта глобальная закономерность бытия заключалась в точном соответствии формы и содержания, скорлупы и яйца, вывески и бакалеи, вешалки и театра, имени и сути.

«Меня изгнали...» – можно ли было точнее отразить происходящее со мной, моллюском, слизистым существом, веществом, студенистым отвратом, вообразившим себя жемчужиной?.. ха-ха... моё имя являлось последним, решающим доказательством, если таковое ещё требовалось кому бы то ни было, кроме меня, дурака: ведь если что-то пахнет слизью, липнет, как слизь, тянется, как слизь, тошнотворно, как слизь, то, следовательно, это слизь, хоть слизью назови её, хоть нет... – очевидная истина, не правда ли?.. вполне можно было бы обойтись без вывески, без имени, без слова, потому что всё ясно без всяких слов, так нет ведь, вот вам ещё и паспорт – видите, вот здесь, под фотографией, на самом авторитет-

ном из всех языков мира, крупными буквами: «СЛИЗЬ»... и теперь уже никаких сомнений, никаких, никаких.

На первый взгляд, это открытие должно было потрясти меня до самого основания – если, конечно, у слизи есть основание – и, тем не менее, не произошло ровным счётом ничего: не ударила молния, не разверзлась земля, небеса не накренились, ливни и ураганы не смыли моё утлое сознание в тёмную бездну безумия... значит, его действительно нету, основания, да?.. я продолжал жить, как жил, словно ничего не случилось, продолжал жить, удивлённо наблюдая за самим собой со стороны; всё так же рано вставал, чтобы отправить детей в школу, потому что Маша любит сладко поспать по утрам – это, пожалуй, её единственная слабость, её сладкая слабость... варил кашу, которую они уже отказывались есть, как-то очень быстро перейдя на местные детские предпочтения, выходил на пустынную, горьковатую от запаха хвои улицу, покупал фрукты с арабского лотка на углу, а потом сидел в кухне, подъедая остывшую детскую овсянку и прикидывая, стоит ли будить Машу – ведь на курсах языка мы занимались вместе... хотя нет, сказать «занимались вместе» будет чудовищным преувеличением, поскольку в итоге я *всегда* решал *не* будить и отправлялся на курсы в одиночку, что, кстати, нисколько не помешало в дальнейшем превосходному машинному ивриту, но это потом, а пока я действительно отправлялся в одиночку на эти злосчастные курсы, туда, где жизнерадостная преподавательница Ривка окончательно открыла мне глаза на самого себя... открыла ли?.. или они и так были открыты, потому что я, видимо, чувствовал всё это и без Ривки, знал давным-давно, с самого начала, просто хранил это знание где-то очень далеко, в тёмной глубине верхней антресольной полки самого крайнего, дальнего чулана, если, конечно, внутри слизи есть чуланы и антресоли – знание о том, что не беды мои являются несправедливым следствием случайного имени и отвратительной внешности, а, наоборот, имя и внешность неотвратимо и справедливо следуют из моей сути, моей судьбы и моего предназначения, так что жаловаться не на что, а нужно просто смириться, но не гордым смирением жемчужины – вот ещё, разбежался!.. а смирением слизи – обычным, бытовым, слизистым, поскольку каждый обречён быть тем, кто он есть – есть или быть съеденным, то есть обречён жить, точка.

Но всему есть предел, не так ли?.. в том числе и смирению; взять хоть, например, эти мои записки – разве они продиктованы смирением?.. конечно, нет, скорее, наоборот – смиренный Гиршуни не должен был бы писать их вообще, но именно постольку, поскольку всему есть предел, то – вот и они, записки: честно говоря, мне и самому странно ощущать, сколько всего там накопилось и как оно из меня выплёскивается, словно запруду прорвало... а всё почему?.. гм, не помню уже, надо бы заглянуть в начало... ах, да!.. хотел-то я всего-навсего рассказать о сне, необычном не столько своим содержанием, сколько своей редкостью: ведь я почти не вижу снов, считанные разы за всю жизнь – ну как тут не подумать, что я обделён даже в этом, изгнан даже оттуда – эта мысль прямо-таки напрашивается, разве не так?.. вот она и напросилась, да ещё так длинно и нудно, что я даже забыл, с чего начинал... хорошо, что в написанное всегда можно заглянуть, перевернуть страницы, несколько раз нажать на клавишу PageUp, а то и на Ctrl+Home, и читай себе, а там написано: «Неужели меня изгнали и оттуда, из снов?» – и далее по тексту.

Мне снилось, что мы идём с Машей по снегу, по тяжёлому глубокому снегу, мы вдвоём, и вокруг нет никого и ничего, только снег да снег кругом, и никакой «путь далёк» не лежит даже приблизительно, даже если очень тщательно всмотреться в ту или другую сторону – ни пути, ни замерзающих ямщиков, ни даже неба – настолько его много, этого снега, буквально повсюду, куда ни глянь, даже сверху: снег да снег, снег да снег, один только снег да ещё – наши ноги, которые приходится с трудным усилием вытаскивать из этой мёрзлой и в то же время какой-то липкой, болотной глубины: тянешь, и тянешь, и тянешь – и, главное, зачем? – для того лишь, чтобы тут же снова погрузить их туда? – да, для того лишь, и это действие настолько бессмысленно, что даже не хочется о нём думать, а мы и не думаем, мы просто идём и идём, трудно и медленно, как, видимо, ходят только во сне, потому что наяву сердце не выдержало бы и десятка таких тяжёлых шагов, и я думаю: как хорошо, что Маша – сзади: она хотя бы видит мою спину, в то время как перед моими глазами нет ничего, кроме снега и собственных ног, ныряющих, как шатуны, по колено в белую топкую трясину, и тут она говорит: «Арик, – так она зовет меня, – Арик... – Арик, я больше не могу...» – а я отвечаю, не оборачиваясь: «Возьми батарейку», – и снова вытаскиваю ногу, и снова ставлю её в зыбкое белое болото, привычно надеясь и радуясь тому, что проваливаюсь только по колено, а не по пояс, что, впрочем, уже случалось, и не раз... шаг, и ещё шаг, и ещё... и тут я вдруг понимаю, что её нету сзади, и оглядываюсь, и вижу, что Маша уже не идёт, а сидит, вернее, полулежит на снегу, глядя на меня виноватыми испуганными глазами, и как-то странно нагребает на себя снег, словно хочет закопаться в сугроб и таким образом спрятаться – от кого? – от меня?

– Маша, – говорю я. – Что случилось, Маша? Почему?

– Я больше не могу, – повторяет она. – Извини меня, пожалуйста.

– Опять жалеешь батарейки? – спрашиваю я с досадой, потому что она и в самом деле вечно жалеет батарейки, в смысле – жалеет на себя, для себя, а она ведь не может без батареек, да и кто смог бы без батареек в таком снегу и на таком холоде?

– Возьми немедленно свежую батарейку, – говорю я. – У нас их много.

Понятия не имею, откуда вдруг взялись во сне эти батарейки – чушь какая-то, правда? – человек ведь не настольные часы и не кинокамера, чтобы зависеть от батареек... хотя нужно признать, что агония живого существа очень похожа на судорожное подёргивание секундной стрелки часов непосредственно перед тем, как они останавливаются; но на этом аналогия заканчивается: ведь живой организм распадается, безвозвратно исчезает, а часы остаются жить даже без смены батарейки: достаточно посмотреть, с какой надеждой они подготавливаются к моменту, когда бегущее по кругу время дважды в сутки, строго по расписанию, равняется с ними, равняется на них, с каким усилием они пытаются зацепиться за него, пристроиться к нему, ухватиться за его потную линялую майку с неразличимым номером на спине, как отчаянно глядят они вслед мелькающим подошвам его кроссовок... отчаянно, и в то же время – время! – спокойно, потому что уже сейчас можно начинать готовиться к следующей встрече, которая неизбежно состоится ровно через двенадцать часов без нескольких секунд; ведь так, правда?.. так?.. ну как же тогда можно говорить о смерти применительно к стоящим часам? – да они живее всех живых, живее идущих!.. но горе живому существу, ли-

шившемся батарейки!.. кстати, не такая уж это невероятная ситуация: говорят, что есть какие-то приборы для сердца, они наверняка работают на батарейках, так что сон не так уж и глуп; вот только у Маши никогда не было проблем с сердцем, у неё вообще никогда не было никаких проблем, ни проблем, ни слабостей – ну разве что страсть к сладкому утреннему сну... зачем же ей тогда батарейки? – не знаю, честное слово, не знаю, но там, во сне, в этом ужасном болотном снегу, я был абсолютно уверен, что без батареек она умрет, не продержится и минуты, тем более – на таком морозе, хотя угроза эта была чисто гипотетической, потому что батареек у нас было навалом, огромное количество, и я знал это точно – обычных пальчиковых батареек, отчего-то называемых словом «ААА», больше похожим на подзаголовок картины «Крик» одного норвежского художника, чем на название сорта батареек; я специально запасся ими ещё до выхода, завернул в десяток пакетиков и разложил на столе, чтобы Маша могла распахать их по разным карманам, так, чтобы с гарантией: пусть даже вывалятся из одного кармана, но в других останется – предусмотрительно, не правда ли?.. так что теперь она и должна-то была всего-навсего сунуть руку в один из своих многочисленных карманов и нащупать пакет, а в нём – батарейки, сменить и продолжить путь... куда?.. зачем?.. – неважно, там разберёмся, главное – продолжить, и потому я никак не мог понять её странного поведения и сердился, пока ещё не сильно, но с потенциалом настоящего гнева, ведь ситуация совсем не располагала к странностям, к непонятной, ввиду огромного батарейного запаса, машиной скупости, которая, впрочем, не представляет для меня новости, хотя нет, тут я грешу против истины: это машино качество никак не может именоваться скупостью, потому что скупость обычно направлена на весь мир, скупому всегда жалко, вне зависимости от того, что нужно дать и кому – скупой просто органически не может «дать», вот и всё; у Маши же скупость распространяется только на неё саму, а в отношении всего остального мира она удивительно щедра, готова отдать последнее, даже без просьбы, и всех жалеет – и бедных, и богатых – всех, кроме себя; может быть, этим и объясняется её удивительная неспособность взять себе хоть что-нибудь, хоть шаль, хоть что, хоть полушалок, не говоря уже об этих треклятых батарейках.

– Немедленно! – командуя я. – Немедленно! Как ты можешь жалеть на себя даже такую малость? Это, в конце концов, ненормально. Это, если хочешь знать, просто болезнь какая-то. Маша, ты меня слышишь?

Но тут она начинает плакать, искоса поглядывая на меня и продолжая нагребать на себя снег, как нагребает на себя кладбищенскую землю какой-нибудь мертвец из фильма-ужасика, возвращающийся поутру в могилу, и только тогда я, наконец, понимаю, что происходит что-то очень страшное, непоправимое, безвозвратное, и я шепчу: «Что? Что случилось?» – и она отвечает, проглатывая всхлипы: «Я забыла батарейки, Арик... прости меня, пожалуйста, прости... я забыла...» – и последнее слово срывается в коротенький вой, невыносимый, но сразу же гаснущий, как будто она сама пугается его безысходного, предсмертного тона, а я стою на подгибающихся ногах, глядя на её залитое слезами лицо, на эту загибающуюся руку, на то, как Маша постепенно исчезает под снегом, превращается в холмик, неразличимый в окружающей волнистой, холмистой белизне, стою и не могу сделать ничего... почему?.. да потому, что сам я не на батарейках, чёрт бы меня побрал, проклятого калеку!.. я не на батарейках!!.. я не могу помочь ей ничем, ничем, ничем... а рука всё нагребает, и вот уже не видно ног... и вот уже...

User ProfileUser: **Milongera**

Location: не указано

Date of birth: не указано

Имя: не указан


 **Milongera**

Тип записи: открытая

 8





Отчего это на календаре всё время декабрь? Как ни посмотришь, всё декабрь и декабрь. Кратковременный перерыв на осень и – снова. Потому-то меня так и тянет на милонгу. Там тепло и светло. Там играет прекрасная музыка, и так оно всегда, и не важно, что происходит снаружи: декабрь или осень. Там танго. О, танго!

Нужны двое для танго... Кто-то когда-то сказал эту ужасную чушь, а остальные дураки повторяют. Дураки всегда повторяют. Дураки – это эхо других дураков. Толпа колышется в резонанс и повторяет одно и то же, всегда глупое. Ведь даже самая умная вещь становится глупой от многократного повторения. А пустая и незначительная, наоборот, кажется исполненной глубокого смысла, как какая-нибудь «хари кришна» или песенки Окуджавы. Дураки любят собираться в стаи и хором распевать песенки. Дураки, они дураки и есть. Стандарт, штамповка.

Импровизировать умеют только умные. Но для этого нужно оставаться в одиночестве, чтобы не мешало эхо. Настоящее танго – это импровизация. Настоящее танго – это одиночество. Нужен один для танго. Один! Нужна одна для танго. Одна! Танцующая пара – это сцепка двух одиночеств, кратковременная, как осень на фоне долгого декабря.

Вот смотрите, ведущий. Он ведёт, слушая только самого себя, свою музыку, свою душу. В его бычьих тяжёлых яйцах, в электрическом напряжении мышц, в хищном пульсировании мозжечка стучит молоток ритма. Он ведёт, отчаянно надеясь, что почти излишняя в этом процессе ведомая услышит, почувствует, сделает необходимое движение. Ведёт, преодолевая косность, непонимание и недовольство начинающих, которые, честно говоря, больше мешают ему своим присутствием. Ведёт, радуясь правильным ответам опытных, восторгаясь отсутствию сопротивления, балдея от исчезновения ведомой как отдельной самости, как самки, как ведомой вообще. Идеальное танго с идеальной ведомой – это когда ведущий не чувствует её вовсе, будто её нет рядом, будто он действительно танцует один. Вдвоём, но один! Нужен один для танго.

Или одна. Разве это танец? Нет, это жизнь. Разве это ведущий ведёт женщину? Нет, это сам Бог ведёт её, ведёт от рождения к смерти. Это на Его жёсткую направляющую руку опирается её спина, это Ему вручена её правая рука, её дыхание, трепет её живота, содрогание сердца, томление груди и ягодиц. Я одна на паркете милонги, наедине со всем миром, грубым и нежным, ласковым и безжалостным, добрым и равнодушным. А ведущий... что такое ведущий? Не более чем инструмент, такой же, как пол, стены, освещение, как динамики, из которых льётся танго...

8 комментариев

**Mashen'ka**

Тип записи: комментарий

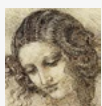
Вы меня извините, дорогая Милонгера, но, по-моему, Вы ужасно усложняете. Я, например, хожу на милонгу уже третий год и никаких таких чувств не испытываю. Просто танцую, и всё тут, получаю удовольствие. Конечно, партнёры всякие попадаются. Иной слонопотам все ноги оттопчет. Поди такого не заметишь. Вот тут я бы на Вас и посмотрела, как Вы себя в одиночестве почувствуете. И Окуджаву Вы, по-моему, зря обижаете. Я знаю очень многих людей, которые его любят, и их никак нельзя назвать дураками. Доктора наук, например.

**Milongera**

Тип записи: комментарий

Ах, Машенька, ну при чём тут доктора и науки? Мало ли дураков среди докторов? Может, он в своей ботанике доктор или там, в кривогенных криптограммах, а во всём остальном – даже не санитар. Он ведь всё своё время на эти кривогены гробит, головы не поднимает. Он о них всегда думает, даже когда на жену забирается. А когда отвлекается, чисто для расслабухи, так сразу – ну песенки распевать. Это для него суррогат такой, иллюзия жизни, желудёвый кофе. Споёт – и снова за кривогены.

Да Вы вслушайтесь в слова тех песенок, это ж оторопь берёт, какая там лажа! «Как много, представьте себе, доброты в молчаньи...» Ну разве это не враньё? Разве есть в троллейбусном молчании что-нибудь, кроме равнодушия и враждебности? Разве дворовая шпана благородна, хотя бы и двор этот – арбатский? Разве асфальт его прозрачен, а не замусорен и заплёван? Разве муравьи – красивые и мудрые, как боги? Разве играющий скрипач прижимает ладони ко лбу? В чём же он тогда, скажите на милость, держит скрипку и смычок? Всё враньё, всё! Сплошная иллюзия, даже особо не пытающаяся сойти за правду.

**Mashen'ka**

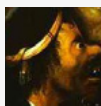
Тип записи: комментарий

Ну и что с того, что неправда? Зато красиво, и жить помогает. Не знаю, как Вам, а мне заплёванный асфальт в песнях не нужен. Мне его на улицах хватает.

**Milongera**

Тип записи: комментарий

Так ведь и я о том же.

**Juglans Regia**

Тип записи: комментарий

А че, зачот! Харошей креатифф, качиствинный. И тема сисек раскрыта. Асобино мне

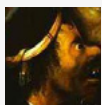
панравелось пра «томление грудей и ягодиц». Тока зачем вы их тамити в аденочку, Милонгерочка? Это ни фтему. Давайте вместе! А то у миня тожи кое што тамицца. Кстате, видь «милонга» – это па-нашиму «танцплащатка», да? А нащот одиночества – очинь жизнин на. На танцплащатку в адиночку ни хади – так па ягадиццам надают, шта патом целый месец тамицца будут. Нипадецки.



Milongera

Тип записи: комментарий

Берегитесь, господин Жуглан! Я и так слишком долго терплю ваши казарменные шуточки. Вот перестану Вас пускать к себе в блог – будете знать. Может быть, Вы этого и добиваетесь, Жуглан-Мужлан?



Juglans Regia

Тип записи: комментарий

Фигасе! Я?! Дабеваюсь?! Такова?! Ржунимагу! Жжош, радость мая? Штобы я дабевался таво, штоб миня ни пускали – это ни жизнинна. Паверти слову жунтыльмена и жун-гуана: в биседах с дамами и пелотками я всигда старался дабицца – и, замечу биз ложной скромности, абычна дабевался! – пряма пратевапаложнава. Как песал паэт: «И в спальню, видя в этом толк, пускали негодяев.» Хатя какой я, нах, нигадяй? Я разве шта падонак. Я хароший, гаспажа Милонгера. Я страсный и нежный портнер вросцвети танцивальных спасобнаств. Ниужели вам ни хочицца пазнакомицца са мною паближи? Мы бы вместе такой шейк адчибучили, хе-хе... А то што? – Пириписываемси уже целую вечнасть, а Вы мне так и ни росказали, где имина находецца ваша танц-плащатка? В Маскве? В Модриди? Ва Фриско? В Токиа? В Ганконги? В Тельавиви? На Монхетени? Ась? Ау-у-у!



Milongera

Тип записи: комментарий

Ау. Всему своё время, господин Мужлан. Да и зачем Вам сейчас адрес моей милонги? Во-первых, он постоянно меняется: я редко танцую долго в одном месте, надоедает. А во-вторых, что Вы станете там делать? Вы ведь даже не начинающий и не сможете отличить гиро от калеситы³. Поищите пока в своём Бруклине подходящие курсы, возьмите уроки, а там посмотрим. Ваш поэт прав: в негодях есть толк. Они обычно не кривят душой собственной, а души чужие освобождают от всяких дурацких иллюзий. Каждый раз, когда я слышу, как какого-нибудь царя или полководца называют освободителем, я думаю: то-то же, наверное, негодяй был!

Конец комментариев

³ Гиро, калесита – танцевальные па.



 Milongera

Тип записи: частная



На чём я остановилась? Ах, да: ...как динамики, из которых льётся танго. Я пришла на милонгу в середине танды⁴ и заметила его почти сразу. Высокий японец, слегка суховатый, но очень ладный и координированный. Он танцевал с одной из постоянных посетительниц – молоденькой блондинкой по имени Шели, не слишком опытной, хотя и не совсем зелёной. Она лажала примерно на каждом шаге, но класс ведущего виден прежде всего в умении скрадывать орехи ведомой. Что японец и делал, причём неплохо.

Впрочем, мне не дали слишком долго разглядывать нового тангуэро. Ведущих всегда мало, но дело даже не в этом. Парня, который меня прихватил, я знала уже давно и никогда не позволяла ему к себе приближаться. Отказывают на милонге очень просто: игнорируют приглашающие взгляды – и всё тут. Но в тот раз я засмотрелась на японца, потеряла бдительность и не вовремя улыбнулась. Улыбка относилась только и исключительно к шелиной неуклюжести, но вышло так, что именно в тот момент я встретила глазами с пареньком, и он получил замечательную возможность истолковать мою реакцию как долгожданное разрешение подойти.

Затем он в течение двух минут оттапывал мне туфли, а я, кусая губы, дожидаясь ближайшего момента, когда можно будет произнести поспешное «благодарю вас», что на негласном языке милонги означает в данных обстоятельствах лишь одно: «Уходи прочь и никогда больше не осмеливайся поднять на меня глаза!» Через некоторое время закончилась и танда. Японец, вежливо улыбаясь, проводил Шели к её стулу. Мы встретились взглядом.

Слава Богу, он понял и подошёл ко мне сразу же, когда начался первый танец следующей танды. Потом мы протанцевали несколько часов подряд, не расставаясь даже на вальсы, и это было почти восхитительно. Такой ведущий попадается редко – не чаще нескольких раз в год. Хотя, честно говоря, и этот новый японец оказался далеко не идеален: чересчур властен, слишком уж разыгрывал из себя мачо. Или в данном случае следует сказать «самурая»? Но когда мне удавалось отвлечься от этого прискорбного проявления весьма распространённой мужской глупости, тогда... тогда я получала, наконец, то, ради чего прихожу на милонгу, то, что ищу всем своим существом, всей душой, всем сердцем, всем телом.

Я получала своё чудесное, несказанное одиночество. Вокруг всё пустело, как воздух в чьём-то старом стихотворении; исчезали постылые глупые лица, слюна растянутых в фальшивой улыбке губ, влажные руки, рубашки с полукружиями пота. Неведомо куда улетучивались запахи, спёртая духота, отвратительная взвесь кашельной мокроты и гриппозных вирусов, гнилостные миазмы ртов... –

⁴ Танда – очередной танец на милонге.

вся та пакость, которой приходится дышать в любом месте, где толкнутся люди. Раздвигались, падали стены, улетал ввысь потолок, последней прекращалась музыка... и вот – я оставалась совсем одна в морозной чистоте прекрасной гармонии, одна – наедине с Ним, наедине с Ведущим, танцующим мою ведомую жизнь к одному Ему лишь ведомому итогу.

А потом всё вдруг кончилось. Мы стояли на тёмной улице вместе с несколькими последними посетителями милонги; владелец зала, ворча, запирает дверь. Японец коротко поклонился и ушёл. Он не спросил моего имени, меня не интересовало, как зовут его: зачем? Какая разница? Разве дают имена собственные инструментам, пусть даже очень качественным? Молоток должен оставаться молотком, скрипка скрипкой. И я была благодарна своему случайному партнёру, своему случайному инструменту за эту безошибочную точность заключительного па нашего танца.

Даже больше: именно эта безымянность расставания, его подчёркнутая отчуждённая небрежность вернули мне, хотя бы и тенью, эхом, дальним отголоском то восхитительное чувство одиночества, которое я испытывала во время танца. Это было необыкновенно и ново. Я никогда ещё не переживала ничего подобного вне танго. У меня просто перехватило дыхание, когда я осознала смысл происходящего. Боясь двинуться, чтобы не спугнуть чудо, я стояла на тротуаре, думая о том, как было бы замечательно избавиться от этой своей последней, почти наркотической зависимости – от танго. Ведь если можно достичь похожего ощущения вне милонги, то...

И тут этот кретин тронул меня за плечо. Клянусь, я уже забыла о нём – о том пареньке, который нагло использовал мою случайную улыбку для того, чтобы под видом танца неуклюже и невпопад подергать меня туда-сюда под музыку.

– Простите, – сказал он. – Мне так хочется познакомиться с вами. Уже очень давно. Но вы, наверное, и сами заметили. Меня зовут...

Он назвал имя. Я сделала знак немедленно замолчать, я замотала головой, я зажмурилась, зажала уши руками в тщетной попытке вернуть, задержать уходящий призрак моего праздничного одиночества... куда там! Проклятье! Ну надо же, чтобы чёрт послал мне этого идиота именно в такой важный момент! Задыхаясь от бешенства, я повернулась к пареньку.

– Что с вами? Вам плохо? – обеспокоенно спросил он и наклонился, заглядывая мне в лицо. – Я вас провожу. Где вы живёте?

Я едва удержалась от того, чтобы не ударить его. Ненависть слепила меня так, что я насилу выдавила сквозь стиснутые зубы несколько отрывистых слов.

– Оставьте... зачем?... не троньте...

Совершив этот подвиг человеколюбия, я повернулась и быстро пошла прочь. К моему отчаянию, идиот и не думал уходить. Скорее всего, моё поведение, напротив, послужило для него лишним подтверждением того, что я не в себе, что мне требуется срочная помощь. Ночь сочилась мелким противным дождём, пустые мокрые тротуары блестели в свете фонарей; вокруг нас не было никого, даже уличных проституток, обычных в это время и в этом районе города. Скорее всего, они попрятались от непогоды в подворотни, а может, просто, отчаявшись дожидаться работы, отправились по домам: ну какой клиент выйдет по горячей нужде в такую холодную, мерзопакостно слезливую ночь? Разве что самый изломанный извращенец...

Я шла быстро, время от времени сбиваясь на бег, но мой незванный спаситель не отставал. Он то многословно увещевал меня, преграждая дорогу и семена задом, как спешащие в свою зону баскетболисты, то приставными шагами подпрыгивал сбоку, у самого уха, то горячо выкрикивал что-то вслед, когда мне удавалось на мгновение оставить его позади при помощи особо хитрого маневра. Наверное, со стороны, при взгляде из окрестных подворотен, мы казались характерной для здешнего пейзажа парой, а именно проституткой, ссорящейся со своим сутенёром.

Я не разбирала ни слова из того, что он говорил. Я хотела только одного: своего одиночества. Разве это так много? Ну что им всем от меня надо? Зачем им я, когда вокруг так много других людей, жаждущих общения и оттого неизмеримо более несчастных? Так я твердила себе тогда в своём неутихающем бешенстве.

Конечно, в тот момент меня преследовали не абстрактные «они все», а всего лишь конкретный экзальтированный дурачок, вообразивший себе влюблённость или ещё какую-нибудь чушь... нашёл себе Неточку Незванову, кретин... но трудно было не усмотреть в этой погоне очевидный символ моего проститутского рабства, моей насильственной кабалы, моего состояния по стойке раком перед миром-сутенёром, суевающимся вокруг меня, суевающимся на мне, и сбоку, и сзади, и как ему вздумается. Несчастному пареньку доставалось за весь мир; и что с того, что бедняга и представить себе не мог не только силу, но и природу моего чувства?.. Он совершенно очевидно не понимал происходящего, ну ни капельки, ни ухом ни рылом... но что с того?.. что?.. а мир? – а мир понимал? Мир-то ведь тоже не понимал ровным счётом ни черта, и этот факт лишь усиливал сходство и, таким образом, доказывал справедливость моей конкретной ослепляющей ненависти.

Сначала я направлялась туда, где оставила машину, но, уже увидев её, поняла, что не смогу выжить под ливнем уговоров, увещеваний, предложений помощи, который немедленно обрушится на меня, стоит мне только приостановиться для того, чтобы открыть дверцу, залезть внутрь самой и закрыть дверцу, не дав залезть ему. Я подумала о споре на тему – возможно ли вести машину «в таком состоянии», который мне наверняка придётся вынести. Я представила, что, даже оставив меня в покое на этот раз, он способен записать номер, узнать по нему адрес и потом докучать уже серьёзно, ежедневно, начиная со следующего утра, когда ему потребуется узнать, благополучно ли я доехала...

Прокрутив всё это в голове, я прошла мимо своей недоумевающей «тойоты», как мимо чужой, даже не посмотрев в её сторону. Дождь усилился; возможно, это слегка охладило пыл моего благодетеля. Во всяком случае, он уже не изрыгал прежние потоки слов, а просто следовал за мной, изредка повторяя, что он непременно меня проводит, потому что не может отпустить женщину одну, «в таком состоянии, в такое время и в таком районе».

Мы прошли арку между двумя небоскребами и повернули направо, в сторону моста над хайвеем. Думаю, я уже тогда знала, что сделаю, хотя, возможно, ещё не осознавала этого. Я просто ускорила шаги. Паренёк забеспокоился.

– Прошу вас, скажите, где вы живёте, – взмолился он, когда я выбежала на мост. – Я вас отвезу! Прошу вас!

Внизу лежало полусонное, почти пустое в предрассветный час русло хайвея. Я резко остановилась и, схватившись за перила низкого ограждения, наклони-

лась. В тридцати метрах подо мной, предупредительно зарычав ввиду моего непрошеного внимания, пронёсся тяжёлый грузовик.

– Не бойся! – закричала я ему вслед. – Мне нет до тебя дела! Ты для меня никто! Никто!

– Не делайте этого! – произнёс тревожный голос у меня за спиной. – Я не позволяю, слышите?! Не надо отчаиваться. Утром всё покажется иначе, вот увидите!

Я повернулась. Мимо пронёслась машина, на секунду осветив фарами и мост, и мир, и затаившееся в нём танго. Паренёк стоял в полуметре от меня, вытянув обе руки в мою сторону. Мною вдруг овладело удивительное спокойствие. Я даже улыбнулась.

– Что ты от меня хочешь?

– Отойдите от перил, – сказал он. – Просто отойдите от перил.

Я снова улыбнулась и сделала шаг, затем ещё один и ещё. Паренёк тоже шагнул, постепенно перемещаясь в пространство между мною и ограждением, словно преграждая мне дорогу к пропасти, двигаясь осторожно, как охотник, который опасается спугнуть дичь. Думаю, бедняга так и не успел понять, кто в этой ситуации был дичью, а кто охотником.

Он даже не вскрикнул, когда я сильно толкнула его в грудь обеими руками. У него не было ни единого шанса спастись. Слишком уж низкое там ограждение. Слишком уж неожиданно всё произошло. Неожиданно даже для меня.

Перед тем как вернуться назад, к машине, я огляделась. Я стояла на мосту одна, совсем одна. Никого вокруг. Полное одиночество. Настоящее одиночество. В третий раз за эту удивительную ночь. Душа моя разрывалась от восторга, как во время настоящего танго. Снизу, издали, будто из другой вселенной, послышался стон тормозов, свист покрышек по мокрому асфальту, звук удара. Мост содрогнулся в такт сладкой судороге моего счастливого сердца. Никогда ещё мне не дышалось так хорошо. Зрение до странности обострилось; я различала самые мелкие, самые дальние и тонкие вещи: каждую шербинку, каждую трещинку мира, каждую капельку его дождя, идущего не только вне меня, но словно бы и внутри, будто между мною и всем остальным пространством не осталось никаких перегородок, ничего, будто мы стали единым целым: я – миром, а мир – мною, и про это новое существо нельзя было даже сказать, что оно одно-единственное во всем мире, потому что оно само и было всем миром. Не чуя под собой ног, я добралась до «тойоты».

Спуск на хайвей был перекрыт, по мощёным откосам метались красно-синие блики патрульных машин и карет скорой помощи. Молоденький полицейский разворачивал подъезжающие машины, что-то коротко объясняя и показывая рукой направление.

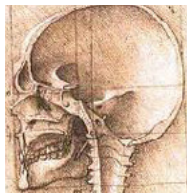
– Закрыто, госпожа, – сказал он, когда очередь дошла до меня. – Придётся вам спуститься южнее. Знаете, как проехать?

– А что случилось?

– Самоубийца! – полицейский возбуждённо дёрнул щекой. – Сиганул с моста прямо под грузовой фургон. Мало что сам убился, так ещё и шофёр в шоке. Наехал, не успел затормозить. Что людям не живётся? Совсем сдурели... вы проезжайте, проезжайте...

Что ж, я спорить не стала. Самоубийца так самоубийца. В конце концов и самоубийц всегда толкает кто-то: это ведь только кажется, что они прыгают сами.

Я вернулась на пустынный проспект и, сделав недолгий крюк, спустилась на хайвей двумя километрами южнее. Снаружи ещё только начинало светать, но на душе у меня давно уже, не умолкая, заливались жаворонки. После убийства мир определённо стал лучше, и я не видела никаких причин, отчего бы не улучшить его ещё больше.



 Arkady569

Тип записи: частная



Гиршунин дневник поразил меня. Я и представить себе не мог, что такой ушастый суслик способен к столь многословному самовыражению. А эти бесконечные, болезненно длящиеся предложения, будто пишущий отчаянно боится поставить точку и оттого продолжает нанизывать на почти уже исчезающую ось смысла всё новые и новые, неизвестно к чему причастные и деепричастные обороты, сложные иерархии подчинений и припадочные придаточные, на скорую руку скрепляя их кривыми закорючками запятых, дрожащими от напряжения канатиками тире и союзами, изношенными вдрызг от чрезмерного употребления!

Зачем? Почему? Наверное, Гиршуни молчал так долго, что теперь, подарив самому себе возможность высказаться, он затруднялся даже на мгновение приостановить рвущийся наружу поток. А может, он просто боялся смерти, хотя бы и такой маленькой, как обычная точка: ведь точка – это тоже в некотором роде смерть.

Гиршуни начал вести свой сетевой дневник относительно недавно, около полугода назад, если положить за точку отсчёта моё первое проникновение в его компьютер. В самом этом факте не было ничего необычного: подобных дневников и журналов, именуемых на профессиональном жаргоне «блогами», развелось к тому времени в Сети видимо-невидимо. Каждый более или менее регулярный интернетовский пользователь непременно заводил себе как минимум один блог, а некоторые – так и по несколько блогов одновременно. Подавляющее большинство журнальных записей представляли собой обычный перечень повседневных событий, банальное пережёвывание отрывки уже многократно переваренных тем, скучные оценки и суждения, безапелляционность которых не уступала их же посредственности.

И тем не менее, блогосфера оказалась для многих настоящим прорывом: люди впервые получили возможность высказаться до конца. Ведь в обыденной жизни никто никого не слушает; любым разговором овладевает крикун, да и того постоянно перебивают и не дают закончить начатое. А знаменитое «молчаливое большинство»? Разве оттого оно молчаливо, что хочет всего лишь слушать дежурного оратора, шамана, властителя дум? Как бы не так! Молчаливое большинство изнемогает от желания сказать какую-нибудь чушь, дурацкую, но свою – да только кто ж ему даст, такому безязыкому и безмикрофонному? Но мало того: даже и те, кто с микрофоном, никогда не в состоянии выговориться: поджимает эфирное время... вот она, рекламная пауза, а там и футбольный матч...

так что пожалуйста заткнуться, уважаемый властитель дум, уж извините, другим тоже надо.

То ли дело – блог! Мели, сколько вздумается, никто не остановит, не перебьёт, не влезет посреди самого косноязычного предложения, не прервёт полёт самой бескрылой мысли. И ведь говорят, и говорят, и говорят... вот ведь счастье-то, вот ведь сбилось, вот ведь наконец-то...

– Ну ладно, говорят, – скажете вы. – А кто-нибудь это всё слушает... или, правильнее сказать, читает? Есть такие?

– А чёрт его знает, – отвечу я. – Может, и читает. А может, и не читает. Что это меняет, в конечном-то счёте? Вы думаете, того, кто с микрофоном, кто-нибудь слушает? Читает? Ерунда! Разве человек по природе своей – читатель? Нет, нет и нет. Каждый человек по природе своей – писатель, вот как. Писатель блогов.

Удивительно ли, что жизнь в блогосфере, да и в интернете вообще, намного ближе к истинной реальности, чем та, что снаружи? Наша наружная жизнь виртуальна до обидного: разве мы созданы для такого постылого псевдосуществования? Разве происходящее с нами вне интернета – следствие нашего свободного выбора? Разве мы решаем, где родиться и родиться ли вообще? Нет, нас забрасывает в мир, в его конкретное место самая невероятная случайность: случайная встреча случайных партнёров, их случайная случка, случайный сперматозоид, случайно добравшийся до случайной яйцеклетки, случайный выбор между абортom и рождением, случайная трезвость акушерки, случайная подмена в роддоме.

Разве мы выбираем воспитателей, систему обучения, направленность образования? Родись мы на десяток столетий раньше – и Земля стояла бы для нас на трёх слонах; сейчас она вроде как вертится, но и это виртуально: кто поручится, что ещё через пару сотен лет не станут учить иначе? Разве ограниченность скудного круга наших знакомств не делает иллюзорным выбор друзей?.. жены?.. мужа? Разве так называемые новости, о которых мы слышим из телевизора, не искажены, не инсценированы, а то и просто придуманы? Да, да и да, а значит, и новости с полным на то основанием можно назвать виртуальными. Но подумать только: вся эта завиральная виртуальность полностью определяет наше поведение, ход наших мыслей, которые таким образом, в свою очередь, становятся виртуальными! Вывод? Нет ничего виртуальнее так называемого «реала»!

Ну можно ли сравнить эту навязчивую, насильственную неадекватность наружного виртуального бытия с сияющей реальностью Интернета?! Здесь, в блогосфере, в благосфере, ты наконец-то становишься истинным хозяином своей судьбы: ты сам выбираешь свою самость, самкость или самцовость, сам задаёшь себе любое имя, возраст, национальность, пол. А если выбранное обличье тебе надоест, ты можешь с лёгкостью поменять его на другое или даже существовать одновременно в нескольких вариантах.

Здесь можно знакомиться и дружить на основании настоящего, взвешенного, личного выбора, единственный недостаток которого заключается лишь в том, что область его чересчур огромна и ограничивается лишь общностью языка. Здесь можно рвать отношения раз и навсегда, не опасаясь навязчивости бывшего приятеля или постылого соседа. Здесь не увидишь неопределённых гримас, загадочных улыбок, многозначительного пожатия плеч: всё описывается словами – то есть максимально точно, однозначно, и любые непонятки могут быть выяснены тут же, на месте.

Здесь тебя всегда выслушают до конца, не перебивая, – просто потому, что нет никакой возможности перебить, остановить твои руки, торопливо терзающие клавиатуру всеми десятью пальцами или, наоборот, осторожно выцеливающие каждую клавишу по отдельности, поодиночке, как курица зёрна. И пусть себе выцеливают... потому что – куда торопиться? Здесь у тебя всегда хватит времени ответить всем и каждому. И если человек действительно рождён для свободы, то интернетовская реальность подходит ему больше любой другой. Настоящая пропасть для истинно свободных людей...

Гиршуни вёл свой дневник в закрытом режиме, помечая все свои записи как частные, видимые лишь ему самому. Ну и, конечно, потенциальному взломщику. На первый взгляд, эта закрытость противоречит заявленной выше цели блога: без помех рассказать кому-нибудь свою историю, быть, наконец, услышанным. Но это только на первый взгляд. Помните... кстати, обратите внимание на это моё обращение: кому оно адресовано, как вы думаете? Ведь мои записи тоже *пока* частные! Смотрите, какой парадокс: я обращаюсь к неизвестному «кому-то» и одновременно прилагаю все усилия, чтобы этот «кто-то» не увидел ни слова. Я защищаюсь сложной системой программ, ежедневно меняю пароли, возвожу стены и укрепления... и в то же время... – зачем?

Помните, в самом начале я рассказывал вам о ямке, в которую несчастные, лишённые блогосферы люди нашёптывали свои секреты? Помните, я ещё сказал, что этот блог – моя ямка? Принцип и в самом деле тот же. Нету на свете секрета, который не вылез бы в конечном счёте наружу – из ямки, из блога, из подвала швейцарского банка, из самых дальних нор и пещер. Рано или поздно найдут, выкопают, взломают. Вопрос лишь – кто? Кем он будет, этот взломщик? Знаете? Нет? Вот! В этом-то вся и штука!

Потенциальным взломщиком может быть кто угодно, практически каждый. А это означает, что, нашёптывая в ямку, вы сообщаете свой секрет всем, всему человечеству! Поделись вы историей с соседом, с другом, с женой – это будет всего лишь одна конкретная персона... или две, или три, или сто. Да разве таких малых чисел просит душа? А вот тайна, похороненная в ямке, рассказана миллионам! Миллиардам! Понимаете ли вы это, мои неведомые взломщики? Не ямка это вовсе, а огромный рупор, громкоговоритель, сирена огненная. Вот вам и весь парадокс.

Так что частный характер гиршуниного дневника не мог меня обмануть: одинокий голос ушастого суслика предназначался ушам всего человечества – ни больше ни меньше. Как, впрочем, и мой... но речь тут не обо мне, правда ведь? Или неправда?.. О чём это я? Ах, да: не мог меня обмануть. Удивительным было другое: этот трус даже в частном дневнике не посмел отказаться от своей проклятой фамилии! Подумайте: он ведь мог взять любое прозвище – хоть Марадона, хоть Шварценеггер, хоть Роберт Льюис Стивенсон! Любое имя! И не только имя, но и всё, что с этим именем связано – весь багаж ассоциаций: силу, красоту, железную выдержку, интеллект, фантазию – что угодно. Мог – но не взял, не осмелился... жалкий, ничтожный шлемазл⁵.

Зато он осмелился на другое. Вы не поверите, да и я сам обалдел, взглянув на историю гиршуниных путешествий по интернету: наш суслик взламывал чу-

⁵ Шлемазл, или шлимазл (*идиш, жарг.*) – мягкотелый, невезучий, неудачник.

жие дневники! Что, в общем, неудивительно. Те, кто не в состоянии вырабатывать собственные соки, живут чужими. Обычно их называют паразитами, крадущими живую кровь. В случае Гиршуни это была кража со взломом – интернетовским взломом.

Чаще всего он присасывался к четырём конкретным блогам. Каждый из них содержал и публичные записи, доступные всем, но Гиршуни этим отнюдь не удовлетворялся. Я уж не знаю, каким путём он раздобыл пароли для входа в частные, скрытые дневники ничего не подозревающих блогеров. Может, случайно – типа того, как мне удалось влезть в его комп. Может, намеренно – заслав бедным дохам какого-нибудь хитрого «троянского коня»: я уже упоминал, что в этой области мы достигли определённых высот.

Первый блогер звался странным словом «Жуглан». Вернее, странным оно казалось мне тогда... сейчас-то... а впрочем, обо всём по порядку. Другая жертва гиршуниного взлома – Милонгера – частенько дразнила Жуглана, переименовав его имя на «Мужлан», и ей нельзя было отказать в правоте. Думаю, что Жуглан завёл себе публичный блог, имея целью исключительно прекрасный пол, по коему и до коего он явно был большой ходок и охотник. Грубый и громогласный, он канал под Ноздрёва, хотя в нужные моменты даже мог продемонстрировать определённую начитанность – не более стандартного интеллигентского набора, но всё же.

В остальное время Жуглан говорил сальности, пересказывал скабрёзные анекдоты и непрестанно объяснялся в любви, расхваливая собственную мужскую доблесть и гарантируя осаждаемым дамам неземное блаженство. Поразительно, но эта гремучая смесь имела несомненный успех – если судить по частным записям жуглановского дневника, где он аккуратно документировал детали своих побед – вплоть до самых интимных подробностей, включая размеры, разы и объёмы.

Чем этот мужлан так заинтересовал моего Гиршуни? Неужели только тем, что являл собой полную его противоположность? Впрочем, вполне вероятно, что ушастого суслика привлекал язык *падонкафф*, которым пользовался Жуглан. Мода на этот сетевой жаргон уже кончалась, но нет-нет да и находились любители писать «как слышится», подчёркнуто пренебрегая всеми правилами русской грамматики. В определённом смысле сетевой жаргон являлся продолжением, свидетельством, атрибутом всё той же реальной интернетовской свободы, о которой я уже говорил – свободы, которой так не хватало людям в задёрганной, давящей, тоталитарной и при этом насквозь виртуальной, иллюзорной, ненатуральной, так называемой «внешней реальности».

Жуглан был, пожалуй, самым последовательным адептом *падонкаффского* языка из всех, кого мне приходилось встречать. Подавляющее большинство *падонкафф* то и дело сбивались на «правильное», «внешнее» написание – просто потому, что им лень было пробовать каждое слово на слух. Они были не в состоянии соблюдать даже единственное правило, которое заключалось в том, чтобы писать не по правилам! Что ж, возможно, именно это и делало их настоящими *падонками*... В противоположность лентяям, Жуглан старательно выверял каждый звук: можно только представить, сколько времени у него уходило на написание каждой фразы!

На момент моего внедрения в гиршунин комп Жуглан вёл интенсивную осаду девушки по имени Милонгера: досаждал ей дурацкими комментариями, назна-

чал свидания, умолял «ацтигнуть тилифончик или, хотя бы, мыло» и так далее. Поразительно, но, видимо, Милонгере это нравилось. Иначе трудно объяснить, почему она включила именно Жуглана в крайне узкий круг блогеров, которым было дозволено видеть и комментировать публичную часть её журнала. Кроме него, в этот круг входила некая Машенька – ничем не примечательная москвичка – и ещё одна девица, израильтянка, тянувшая свой армейский срок где-то в районе Рамаллы. Израильтянка звалась Антиопой и писала, скорее всего, с единственной целью хоть чем-то занять себя во время изнуряющего безделья ночных дежурств.

Уже упомянутая здесь Милонгера привлекала особенное внимание Гиршуни и, нужно сказать, неспроста. Почти каждая запись в её журнале состояла из двух частей: публичной, примечательной разве что чрезмерной резкостью суждений и навязчивыми перепевами на тему одиночества, и частной, секретной, которую Милонгера, видимо, полагала надёжно укрытой от чужих глаз. Здесь она давала волю воображению, изобретая поистине детективные продолжения невинных «публичных» историй. Почитав милонгеровские «секреты», можно было заключить, что речь идёт по меньшей мере о безжалостном серийном убийце. Думаю, никакой здравомыслящий человек не мог бы принять эти выдумки за чистую монету. Но был ли Гиршуни здравомыслящим?

User Profile

User: [Juglans Regia](#)

Location: Brooklin, USA

Date of birth: маладой ищо

Имя: Жуглан'с Рыгающий



[Juglans Regia](#)

Тип записи: открытая

10



Фчера привел домой бирьоску. Фсегда хотел аддраить пелотку из ансамбля «Бирьоска». Была у миня такая мичта. А што, низзя?

Кто-то мичтает о маршальском жезле, а кто-то – о пелотках. Я – о пелотках. А о бирьоске из ансамбля «Бирьоска» я мичтал ищо тогда, когда даже не знал, што она пелотка. Наверна, так. Мне тогда было лет пять, может, шесть. Их показывали по ящичку, а я играл на ковре перед йолкой. Это было под Новыйгот, как щас помню. Я тогда очинь верил во фсякий креатифф про Детмароза и фсе такое. Взрослые метались в своих преднавагодних хлопотах, а я играл на ковре и ждал Детмароза и ево Снигурку. Вокруг пахло, как абычна пахло тогда ф такие моменты.

У савецкава Новава года был такой асобенный запах, какова нет сичас уже нигде, можете мне поверить. Я щас живу ф Бруклине, но дело ни в этом. Дело ф том, што это вопрос не только места, но и времени. Канешна, ф Бруклине той атмосферы не вассаздать, это ясно. Но её не вассаздать уже даже и в Расии. В Расии так не пахло уже во времена пиристройки. Пачиму – не знаю. Вроде фсе то же. Салат алиевье, шпроты, йолка, марозный воздух с приаткрытава балкона и привычный креатифф с Мяхковым и ево пелоткой по ящичку.

Наверна, это ищо не фсе. Наверна, так. Наверна дело ищо в надежде, вот што.

Тогда, я помню, было много надежд. На што? А хрен ево знает. На лутшее. Просто на лутшее. А Новыйгот был, типа, ежегодная кульменация. Наверна, так. А потом надежды, типа, стали сбывацца, и тут выиснилось, што никакие это не надежды, а гавно-креатифф. Што надеялись на самом деле на хутшее, а вовсе не на лутшее, такое вот фигасе. Короче, пришлось надежду покоцать, штоб больше не вrada. Ну, а с нею и Новыйгот акачурился. Наверна, так.

Но вернемся ф то давнее время, когда Новыйгот был ищо жифф. Когда мне было пять, а может, шесть, и я играл на ковре и ждал Детмароза и ево Снигурку, а надо мной играл и пел телеящик. И вот там-то, ф том телеящике, я вдруг и увидел ансамбель «Бирьоска». Я помню тот момент до сих пор. Они ходили так, будто ног у них не было вофсе! Будто под длинными юпками был самокат с мотор-чеком или ищо што. Они улыбались красивыми лицами, разводили красивыми руками, а я смотрел на них и думал тока о ногах. Есть они там, под юпкой? Или нет?

Этот вапрос о бирьоскиных ногах мучил меня потом фсю жизнь, причём к ево перваначальному варианту я по мере взросления поастаянно добавлял всё новые и новые продолжения. Например: есть ли они там, под юпкой, и если есть, то какие? Длинннннны? Прямые? Или кривые и валасатые, как у папы? В десять лет я начал представлять, как низаметно забираюсь туда под юпку и хожу вместе с ихними голыми ногами, а снаружи так и не видно совсем ничиво, а я внутри, а они голые, а я семеню между ними и боюсь фсглянуть наверх, патамушта там может не оказацца трусофф.

Ещо черес пару лет я уже осмеливался смотреть вверх, хотя каждый такой раз стоил мне мокрова пятна на простыне, патамушта оказывалось, што трусофф диствительнo нет. Смешно сказать, но меня до сих пор волнуют те воспомина-ния. До сих пор! Как я стою между длинннннх и голых бирьоскиных ног, смотрю вверх, и душа моя замирает, а там нет ничиво, то есть ни тока трусофф, а вапще ничиво, кроме темноты, страшной и влекущей темноты. И я думаю: а вдрук она щас начнёт приседасть? Что случицца тогда со мной? И от одной этой мысли моя ищо не вполне достроенная боллистичиская ракета взрываицца, как новогодняя хлопушка, и я выплюскиваю свой сладкий и липкий страх прямо на простыню.

Наверна, поэтому я потом с ума сходил по длиннннх юпкам. Наверна, так. Фсе эти мини-шмини и джинс в обтяжку меня никогда не волновали. А вот длинная юпка... асобенно если типа бирьоскинавo сарафана – эта вапще. Тут я фсегда начинал заводицца нипадеццки.

Я и невинность свою потерял из-за юпки. Мне тогда исполнилось тринаццать. Абычна мы ездили летом в Ыстонию около Чуцкова озера. Снимали на хуторе. Мужа у хозяйки не было, зато была дочь, на три года меня старше: толстоватая и на лицо очень даже не очень, хотя гуляла вофсю, со фсей Ыстонией. Так ей кричала ейная мамахен, наша хозяйка: «Ты гуляешь со фсей Ыстонией, праститутка!» Абычна они дрались по утрам, причём Наташка – её звали Наташка – давала своему мамахену сдачи софсем нипадеццки. А мамахену было абидно, само собой. За Наташкой приезжали вечером на машинах, и она выпархивала из дома на облаке духофф, сверкая голыми ляжками и накрашенная, как Чингачгук.

– Опять? – кричала ей вдагонку мамахен, выскакивайа из сарайа – она вечно была то ф сарайе, то ф хлеву, то на огороде, патамушта хозяйство было большое, а она одна. – Опять?! Ой, горе мне, горе! Кто тебя потом возьмёт, такую раздолбанную?

– Моя долбилка, я и гуляю! – огрызнулась Наташка. – У тебя у самой заросло, вот и завидуешь!

Хлопала дверца машины. Хозяйка плевала и уходила назад ф сарай. Возвращалась Наташка под утро и спала до обеда, а потом просыпалась, выходила во двор, и начиналась очередная ссора, переходившая в драку. Такая вот была эта Наташка.

Вы, наверна, решили, что она-то и стала моей первой пелоткой? А вот и нет! Наташка ходила ф миниопках или в бекини и патаму не волновала меня вофсе. А вот ейный мамахен... Хозяйка фсегда носила длинный сарафан с передником, простой полотняный сарафан, даже без вышиффки. Абычная рабочайа крестьянская одежда, поразительно похожая покромом на бирьоскину. Поразительно.

Ближе к концу лета на озере устроили какой-то местный праздник – не то русский, не то ыстонский. Моя мама с сестрой уехали ф горад до вечера – подальше от пьянки, которайа гудела с савова утра по фсиму побережью. Я ехать отказался: меня больше фсиво интересовал тогда хозяйкин сарафан. Ф честь праздника она надела другой – красный, с вышиффкой, и красивый передник, сафсем не грязный и даже не застиранный. Накануне за Наташкой никто не приехал, а потому утро прошло без драки. Мать и дочь даже перекидывались шутками, а ф полдень за обедом выпили по стакану. Меня обедать позвали, но вотки не налили. Хозяйка сказала:

– Тебе, жирибенак, не предлагаю, а то мать заругает.

Так она меня звала – «жирибенак», и мне это нравилось.

Было ищо светло, когда у дома остановилась машина с пьяными парнями, и Наташка выпархнула к ним нафстречу, уже готовайа на фсе сто. Как она успевала так быстро переадецца и на Красицца – до сих пор не понимаю. Хозяйка в это время вязала за домом корзину: такой характер – ни секунды не могла без дела, хотя бы и ф праздничном сарафане.

– Опять?! – заголосила она. – Ты же обещала, блятища!

– Тибя не спросила! – отвечала Наташка. – Мое добро, не твое!

– Да запись ты, давалка проклятайа! – хозяйка уперла руки в боки и совершила свой традиционный плевок.

– Сама ипись с лапатай! – не осталась в долгу Наташка.

Свои последние слава она прокричала уже в окно отъезжающих жыгулей. Хозяйка ищо раз плюнула, вытерла лоб ладонью и пошла в дом. Я как раз сидел на крыльце и вырезал перочинным ножиком узор на коре толстой осинової палки. Это было мое любимайе занятие, патамушта с крыльца был лутше фсево виден весь двор, а значит, и сарафан. Наверна, так. Помню, што палка была очень сукаватайа, но мяхкая.

Хозяйка прошла мимо меня, блиско задефф полой сарафана. От неё пахло ко ровой и солнцем. Я услышал, как звякнула дверца буфета, потом графин об стакан, потом стакан об стол, потом снова зашлепали по полу её босые ступни. Наверна, именно в этот момент я понял, што сичас што-то случицца, што-то очень важное, но ищо не знал, што, а просто сидел с бьющимся сердцем и ждал, прислонив перочинный ножик к палке, как бутга к чьему-то горлу.

Она вышла на крыльцо, вставила ноги в свои разношенные резиновые калоши, ф которых абычна ходила снаружи, и снова прошла мимо меня, задефф сарафаном и пахнув молоком, солнцем и воткой. Она прошла, спустилась с крыльца и... ничиво не случилась. Ничиво. Я ждал, опустив голову к своему ножкику. Она сделала несколько шагофф и вдрук остановилась, бутга чево-то вспомнифф. Потом

обернулась и посмотрела на меня. Прошло уже столько лет, но я до сих пор бутта вижу её, стоящую посреди двора. Вижу её сумрачное неулыбающееся лицо. Вижу её светлые глаза, вдрук стафшие черными. Вижу её полураскрытый рот и блеск слюны на зубах. Фсе эти знаки, значения которых я тогда ещё не понимал вофсе и которые так ясны мне типерь. Вижу её сарафан, её бирьоскин сарафан.

– Ну что ты фсе на меня смотришь? – сказала она, фсе так же без улыпки. – Фсе смотришь и смотришь... второй месяц... ты же ищо жирибеначек. Или уже нет?

Я не смок вымолвить ни слова, да и што я сказал бы, если бы даже мок? Она повернулась и пошла ф сарай к своей корзине. Она скрылась за дверью. И тут я положил свой ножик и палку на крыльцо. Я фстал. Я был как на афтопелоте. На афтопелоте к своей первой афтопелотке. Или нет. Наверна, я проста не мог вынести того, што перестал видеть её бирьоскин сарафан. Наверна, так.

Когда я вошёл ф сарай, она не плела корзину. Она просто стояла там лицом ко фходу, прижав обе руки к животу, как бутто удерживайа што-то, рвущееся аттуда наружу.

– Ну што? – сказала она, когда я остановился в дверях. – Пришёл фсе-таки...

Я подумал, што это вопрос, што она, типа, спрашивает, зачем я тут, и тогда я показал на сарафан, патамушта он и ф самом деле был причиной фсему.

– Сарафан, – сказал я шепотом, хотя никто не мог нас услышать.

Она усмехнулась. Она отняла руки от живота, подняла их вверх и сделала што-то, от чево волосы, собранные до тово под платком, вдрук хлынули, как вода из ведро, одним махом. И руки упали вместе с волосами по обе стороны сарафана.

– Сарафан... – сказала она, трогайа пальцами ткань. – Вот што тебе интересно... сарафан?

Я молча кивнул. Мне было трудно дышать из-за сердца.

– Хочешь посматреть? – она начала комкать ткань, забирая её в кулаки по обим бокам, так што подол сарафана дрогнул и пополз вверх.

Я снова кивнул. Под сарафанам диствительнo оказались голые ноги. Длинные белые голые ноги. И никаких трусофф. Я закрыл глаза, патамушта боялся умереть.

– Нравицца? – спросила она откуда-то близко. – А теперь давай пасмотрим, што там у тебя выросло...

Наверна, ей тоже понравилось то, што она увидела. Наверна, так.

Сначала мне было очень нелофко, и ей приходилась фсе делать самой. Но она не жаловалась. Она фсе шептала што-то про жирибеначка и просила прощения непонятно у ково. Она мычала, вцепившись зубами ф собственное запястье, патамушта иначе её услышали бы на соседнем хуторе. Я был уже достаточно большой, штобы понимать, што это не от боли, и от этова чувствовал себя ищо более нелофко, бутта это был кто-то другой, а вофси не я, сопливый озабоченный подросток, который ищо десять минут, полчаса, час тому назад сидел на крыльце, ковыряя перочинным ножиком какую-то дурацкую палку.

Она возилась со мной, пока не устала – я понял это по её вдрук обмякшему отяжелефшему телу, которое было до тово похоже на горячую упругую пружину. Она даже поднялась с трудом, со фсдохом. Поднялась, одёрнула сарафан, собрала волосы под платок и ушла на озеро, даже не оглянущись. А я остался ф сарае привыкать к новому себе. Я привык быстро.

Когда мать с сестрой вернулись из горада, я, как фсегда, сидел на крыльце, хо-

тя и не стругал палку. Я просто сидел и смотрел на вечер, который поднимался из-за леса, как край хозяйкинова сарафана.

– Ты что, выпил? – спросила мать. – А ну дыхни!

Я дыхнул. Мать посмотрела на меня испуганными глазами. Думаю, она сразу фсе поняла. Наверна, так. Но што она могла сказать? Я диствительно ничиво не пил.

Наутро я проснулся ишо затемно и лежал с открытыми глазами, прислушиваясь, когда она, наконец, зашлепает босыми ступнями на своей половине, и это нетерпеливое ноющее ожидание тоже было частью моего новова «я». Это новое «я» вышло на двор почти сразу за нею. Она ждала меня там же, ф сарае. На этот раз я сам задрал подол её сарафана и не закрывал глаз. Мы торопились как на пожар и сами горели как на пожаре, и она снова мычала и кусала запястье.

Черес день мать увезла меня ф Питер, почти на неделю раньше запланированного. До сих пор не могу понять, чево она так испугалась. Бутто ф Питере не было пелоток и сарафанофф. Может, ревновала? Наверна, так. Они с хозяйкой были примерно одново возраста. Наташка тоже эти два дня ходила присмирившая и смотрела на свою мамахен во фсе глаза, бутта тока-тока увидела.

Вот такая исторья.

10 комментариев



Milongera

Тип записи: комментарий

Ну и?..



Juglans Regia

Тип записи: комментарий

Ни понял. Што «ну и?..», радость майа?



Milongera

Тип записи: комментарий

Как это что? Взгляните в начало своего, как Вы выражаетесь, «креатива» – чудовищного, как всегда. Вы начали с того, что привели домой «бирьоску».



Juglans Regia

Тип записи: комментарий

Фигасе! А я и забыл! Чесна-пеанерска забыл. Я фсигда так, дарагайя Милонгерочка. Стоит мне пра свой первонач песню зависти, так сразу аба фсем забываю. Вирнее, аба фсем, тока ни а Вас. А Вас, Милонгерочка, я думаю пастаянна. Я задумчевый, хтя и виселый рыцар вашива пичальнава образа.

**Mashen'ka**

Тип записи: комментарий

А и в самом деле, господин Жуглан. Нехорошо обрывать на полуслове. Что было дальше?

**Juglans Regia**

Тип записи: комментарий

Ага! Любапытствуйте, милачка? Вот то-та и ано! Вот эта-та вас, женщин, и губет. Вам ниприменна нада знать, «што была дальши»! Я бы вас прегласил, штобы паказать, но ни магу. Я люблю другуйу.

**Milongera**

Тип записи: комментарий

Какую другую? Бирьоску?

**Juglans Regia**

Тип записи: комментарий

Диривяшки ни ф щот, душа майа. Бирьоски, асинки и прочее дубьо. Серце майо отдано Вам, Вам адной. Зачем жи Вы рвёте ево на куски, как тузик грелку?

**Antiopa**

Тип записи: комментарий

Милонгера, я вот в чего не въезжаю: почему Вы терпите этого бабруклинского афтара? Неужели Вам приятны его пошлые шуточки?

**Juglans Regia**

Тип записи: комментарий

А вас, барышня, никто, кажицца, ни спрашеввал. Вам што, скушна там в вашей рамале или как её там? Я, канешна, протифф арабонафф и дажи ежигодна здаю па десить баксав на жертвы тиррора, но если вы продолжити ругацца, то я ни откажусь здать на вас лична. Фтыкайте?

Конец комментариев

User Profile

User: [Antiopa](#)

Location: Israel

Date of birth: ну, допустим, 31.06

Имя: ну, допустим, Аня.


 [Antiopa](#)

Тип записи: частная



Рани, Рани, Рани. Рани, Рани, Рани. Рани, Рани, Рани. Рани, Рани, Рани. Такая у меня молитва. Рани – это мой парень, так его зовут: Рани, Раанан Цви. А напарницу мою зовут Светка. Светку привезли сюда в четыре года, так что в садике она сразу стала Лиорой – это, типа, Светка по-местному. Светка-Лиора говорит: «Ты как раненная этим Рани. Давай уже, очухайся, дура».

«Дай» – это по-местному значит «хватит», а вовсе не то, что можно подумать. Тем более что дала я ему давно, ещё в школе. Рани был мой самый ранний, самый первый. Первый и последний. Потому что, кроме него, мне никого не нужно. Никого. Делать это с другими? Бр-р-р... Я себе такого просто представить не могу – тошнит. Только Рани. Рани, Рани, Рани.

Мы познакомились на вечеринке в Магшимим. Светка сказала:

– Поедем в Магшимим, там классная тусовка с бассейном, а диджеем вроде как сам Капод обещается.

Это сейчас Светка ещё и моя напарница, а тогда она была просто самой близкой подругой, типа сестры или даже ближе. Типа руки или ноги. Говорящая нога такая. Вот нога эта мне и сказала:

– Поедем в Магшимим. Бери купальник. Чем открытее, тем лучше, чтоб не позориться.

Магшимим, если кто не знает, это такой богатый *ишув*⁶, с крутыми виллами. Если и не миллионеры, то детки ихние. Бассейны двадцатипятиметровые на четыре дорожки, лужайки под пальмами, садовая мебель – чистый Беверли-Хиллз. Самое то для хорошей вечеринки. Я уж не знаю, как Светка в тамошнюю компанию ввинтилась. А вообще-то, чего не ввинтиться? Нам тогда было по семнадцать лет, все при всём, прямо хоть на обложку. Светка – натуральная блонда, а я так и вообще рыжая. Где это видано, чтоб таких двух тёлочек да на вечеринку не пустили? Ну разве что на гомогейскую, чтобы, типа, не совращать честных гомиков с пути истинного. Но та тусовка была смешанная, то есть стрейты, видимо, составляли большинство. А может, и нет, сейчас не поймёшь.

Приехали нормально, около полуночи. На ком – не помню. Тогда многие наши приятели только-только на права сдали и возили за так, лишь бы покрасоваться. Там уже вовсю транс играл, парни и девчонки балдели на лужайке. Все босиком, в купальниках, в плавках. Покачаются под музыку, подрыгают ногами и в бассейн – типа, охладиться. Шарав⁷ тогда стоял страшный, даже ночью не продохнуть. За диджеским пультом, точно, сам Капод, Ёжик то есть. Его так из-

⁶ Ишув (*ивр.*) – селение.

⁷ Шарав (*ивр.*) – сухой, жаркий ветер из пустыни восточного и южного направления.

за причёски звали: иглы во все стороны. Щупленький такой, крохотуленький, прямо тату негде выколоть. Но работал, как сумасшедший, – хоть всю ночь напролёт, даже, наверное, полярную. Я любила на него смотреть: руки мелькают, блестят от пота, губы шевелятся – пам-па-пам-па-пам... узенький лоб подрагивает, а глаза бродят где-то вверху, в темноте, причём каждый глаз – по своему, типа, отдельному маршруту.

Может, он косым был? Не знаю, не скажу. Я его видела только за работой, этого Ёжика. Вот об этом я и думала тогда, сидя на бортике бассейна и болтая в воде ногами: косой он в натуре или просто обкуренный? Светка продолжала отплясывать, а мне надоело. Люди вообще делятся на две категории: одни любят двигаться, а другие – наблюдать за движением. Вот, например, мы со Светкой принадлежим к разным группам. Она, как я уже говорила – ноги, а ногам сам Бог велел отплясывать. А я – глаза, я наблюдаю. Мы – идеальная пара, и это сразу станет ясно всем, когда эти «все», наконец, решатся доверить нам настоящее дело. Скорей бы уж.

Но тогда я ещё и понятия не имела обо всём этом буджерасе⁸ – дело, не дело... настоящее, не настоящее... Тогда мне было семнадцать, год с лишним до армии, и я просто сидела на краю бассейна в Магшимим, болтала ногами, смотрела на пьяного ёжика Капода и думала: косой он, когда не обкурен, или, наоборот, нормальный братан, как все? Тут-то он и подсел ко мне, Рани. Рани, Рани, Рани. Подсел ко мне, а я подседа на него.

– Хай, Джинджит⁹! – сказала я, едва он открыл рот.

Парни часто заводят разговор со мной именно с этой фразы, так что со временем я научилась произносить её за них, для экономии. Рани поразился.

– Откуда ты знала?

Я пожала плечами. С этого момента можно было продолжать в двух направлениях. Если я хотела отшить, то обычно говорила: «Думаешь, трудно догадаться? Ты бы сильно удивился, братан, если бы узнал, насколько мужской мозг примитивен». Но Рани понравился мне с первого взгляда, а потому я выбрала другое продолжение.

– Читаю мысли, – сказала я, сделав загадочное лицо.

– Биг дил, что там читать, сестрёнка? – ответил Рани. – Мужской мозг вообще примитивен.

Он сказал это и улыбнулся. То есть улыбался он и прежде, с самого момента, как подошёл, но та улыбка была небольшой, осторожной, как *йорэ* – первый осенний дождик... Или как рассветная полоска над восточными горами, если смотришь с Масады или от Эйн-Бокека... Или нет – она была как аплодисменты на рабат-га-шаронском корте, когда наши ведут пять-ноль в последнем сете, но нужно ещё взять шестой, решающий гейм на своей подаче, а потому радоваться на всю катушку формально ещё нельзя, хотя, по сути, уже можно. А потому перед розыгрышем хлопают слегонька, сдержанно, насколько слово «сдержанно» применимо к нашей горячей публике. Но вот очко выиграно, и тут-то и начинается настоящая радость: люди вскакивают, вскидывают вверх руки – кто обе, а кто одну, а кто просто, скрючившись, потрясает сжатым кулаком: типа, йеш!¹⁰.. йес!..

⁸ Буджерас (*араб.*) – головная боль.

⁹ Джинджит (*ивр.*) – Рыжая (*ивр. калька с англ. ginger*).

¹⁰ Йеш (*ивр.*) – есть.

есть!.. наша взяла!.. и прыгают, и кричат от радости, и обнимаются, и хлопают так, что слышно до самого Яффо.

Такой была настоящая, полная Ранина улыбка. Я увидела её тогда, в Магшимим, и немедленно умерла. Я просто закончила своё существование в качестве самостоятельной, отдельной от Рани личности, сущности, вещности. У меня не было опции сопротивляться: разве можно сопротивляться внезапной смерти? Он назвал своё имя, которое я с первого раза не расслышала, и потом пришлось узнавать у других – жутко неудобно, но я вообще тогда ничего не слышала, только смотрела на него и говорила какие-то глупости, наверное, невпопад, не знаю, потому что себя я не слышала тоже, а насчёт имени – какая разница?.. – я пошла бы за ним, даже если бы он звался Махмуд, или Кристиан, или Чингачгук Большой Змей. Но он звался Раанан Цви, Рани Большая Улыбка. Рани, Рани, Рани.

Цви – распространённая фамилия среди «тайманцев»¹¹. По-русски «цви» означает «олень». У моего оленя шелковистая кожа, чуть заметно подрагивающая, когда проводишь по ней губами или подушечками пальцев. У моего оленя гибкое гладкое тело, сильные мышцы, заряженные лаской и движением. У моего оленя удивительный разрез глаз, обычно смеющихся, иногда смущённых, иногда задумчивых, иногда нежных. Такими их знаю я. Наверное, бывали они и другими: злыми, вызывающими, хищными, прищуренными в створе прицела... не знаю, не видела, но и не удивилась бы, увидев. К тому моменту, как мы познакомились, Рани служил в Ш-13, в «шайетет»¹², знаменитой Тринадцатой эскадре, морском спецназе. Он был из тех, кого научили неделями в одиночку жить под водой, убивать голыми руками и выполнять невыполнимые задания. Не совсем как в кино, но похоже. Он был старше меня всего на три года, а повидать успел много всякого такого, о чём не говорят и не спрашивают.

А я и не спрашивала. Зачем? Когда чашка и без того полна, то даже одна лишняя, пусть и самая маленькая капелька может испортить всё. Кап – и полилось, поди удержи.

До той тусовки в Магшимим я была нормальной рыжей девчонкой, которую звали... ну, скажем, Анна и которая смотрела на себя реально, ну, то есть обычно, как девушки смотрят в зеркало. Кого вы видите в зеркале? Правильно, себя. Одну себя, правда? Да и может ли быть иначе?

Оказалось, что может. После той вечеринки я разделилась на три отчётливо разные части. Первая, самая большая, называлась счастье и помещалась в районе груди. По всем параметрам она напоминала воздушный шар. По всем. Например, счастье распирало меня, как воздух распирает воздушный шар. А ещё мне казалось, что я постоянно лечу – опять же, как на воздушном шаре, понимаете? Не на самолёте, внутри гудящей моторами железяки, и даже не как птица, на крыльях, которыми употеешь размахивать, а именно на шаре – в тишине, без всяких усилий и шума, одна посреди всего неба, среди молчания и поскрипывающих шершавых верёвок. На воздушном шаре ты можешь лететь, даже когда сидишь, или лежишь, или ходишь. И тут важно ещё, что он именно воздушный, потому что счастье – это прежде всего воздух, много воздуха, очень много воздуха: ведь полёт возможен только тогда, когда он есть, воздух.

Вторая часть – удивление – находилась в голове. Я была поражена тем, что та-

¹¹ «Тайманцы» (от ивр. Тайман, то есть Йемен) – название йеменских евреев.

¹² Шайетет (ивр.) – эскадра.

кое вообще возможно. Я всё время думала об этом. Я оглядывалась вокруг и не видела никого, кто носил бы в груди что-то, хоть отдалённо напоминающее моё счастье. Не думаю, что я ошибалась – ну разве можно скрыть от постороннего глаза такую махину, как воздушный шар? Я ощущала себя настоящей инопланетянкой и оттого впервые в жизни испытывала трудности в общении с другими: ну о чём могут беседовать жаворонок и землеройка? Хотя нет, они как раз могут найти общую тему – ведь даже жаворонок время от времени, устав, опускается на землю.

Но в том-то и дело, что я не опускалась: я постоянно жила в воздухе, меня носило поверху моё счастье, мой воздушный шар, и мне не приходилось работать крыльями. Ну как было всему этому не удивиться? Не спросить – почему именно я? Почему не другие, знакомые и незнакомые? Почему не натуральная блонда Светка, которая объективно превосходит по ряду показателей не только меня, но и, например, толстогубую раскрученную куклу Анжелину Джоли? Почему не сама Анжелина Джоли – ведь она так раскручена?! Почему?

Моя третья, наименее приятная, часть помещалась в животе. Я ужасно, до колик, до тошноты, боялась, что всё это закончится. Ужасно. Наверное, это и называется Страхом. Не могу сказать, что я ничего не боялась раньше. Конечно, боялась. Боялась темноты и пауков, и сунуть руку под куст, и смотреть на воду с моста. Боялась контрольной, зубного врача, боялась потеряться в незнакомом месте, боялась смерти – не своей, а родительской, потому что свою смерть я не могла представить вовсе... Я много чего боялась. Но это была всего лишь боязнь, понимаете? Не страх, а боязнь: что-то маленькое, детское, понарошечное, как кефирчик для ребёнка.

А тут был самый настоящий страх. Страх кончины. Наверное, только тогда я впервые и поняла, что такое смерть – когда влюбилась. Да. Вот я и произнесла это слово – любовь. Любовь. Летучая смесь счастья, удивления и страха. Рани, Рани, Рани. Мой олень, мой тайманский принц.

Мы сидели на бортике бассейна, болтали ногами и языком, смеялись. Мы говорили обо всём и, странное дело, это походило не на разговор, а на точечную ликвидацию, как ракетой – по машине какого-нибудь хамасника в Газе. Все, о чём мы только ни заводили разговор, немедленно исчезало, испарялось без следа.

– Интересно, Капод косой или подкуренный? – говорил Рани.

– Блин! – отвечала я. – Я как раз об этом думала, когда ты подошёл.

– Не иначе как родство душ! – делал он напрашивающийся ход.

– Не подбьезжай так быстро, вылетишь в кювет, – надменно отвечала я, обмирая от макушки до самых пяток.

Мы оба снова смотрели в сторону Капода, но на его месте уже клубилось облако, косоглазое игловолоосое облако, мелькающее потными плечами.

– Слушай, а какой объём бюста у твоей подружки? – спрашивал Рани.

– Сто, – мрачно хмыкала я, прибавляя совсем немного.

– Сантиметров или дюймов? – шурился он.

– Процентом! – припечатывала я, и мы оба покатывались со смеху, а когда поднимали глаза, то там, где только что покачивалась Светка в обнимку со своим очередным лётчиком, уже топталась неясная бесформенная тень, тень Светки и лётчика, и остальных танцующих.

– Ну и манго у них тут, – говорила я, имея в виду вовсе не манго.

– Где? – недоумевал Рани, оглядываясь.

– Вон! – показывала я. – Да не там! Куда ты смотришь? Вон там! – обманом, обманом, хитрым женским обманом зарабатывая возможность поднять, наконец, неподъёмную руку и потрогать его за плечо – о, оленья, оленья кожа... и получая при этом разряд в три тысячи вольт... о, смерть моя, любовь моя...

– Это не манго, это папайя, – отвечал он, немного хрипло и после паузы, потому что током ударило и его тоже, а тем временем сад, и папайя, и лужайка вокруг плавно превращались в туман, в бесформенное ничто, как прежде Капод, и Светка с лётчиком, и прочие танцующие.

– Я знаю, – так же хрипло говорила я, глядя ему прямо в глаза и впервые ощущая тот самый воздушный шар – от увиденного там, в глазах... и тот самый страх – от возможной ошибки или от того, что он уйдёт, не спросив телефона... и то самое удивление – от того, что мы вдруг остались вдвоём – два инопланетянина, вернее, одно инопланетное существо посреди неопределённого, несущественного, излишнего окружения.

Так мы разговаривали, очень недолго, потому что почти сразу же из тумана материализовалась сердитая Светка и сказала, что она, конечно, готова проявить понимание, но всему есть границы, даже пониманию, даже нашей с ней сестринской любви, и по этой причине она, Светка, не собирается ждать тут до полудня. Особенно когда все способные ходить давно уже разошлись, неспособные дрыхнут вповалку наверху, и только она, как ангел-хранитель, пасёт двух воркующих голубков. И вообще, нам с тобой, красавица, пора в школу, родители устали стоять на ухах, а у тебя, братан, небось, отпуск кончается, так что давайте-ка закругляться, при всём моём уважении...

И тут только я увидела, что уже почти рассвело, что на пустой лужайке и впрямь остались только мы и предутренний, пока ещё прохладный ветерок, таскающий по траве скомканные салфетки и одноразовые стаканчики, да ещё чей-то зацепившийся за ветку папайи лифчик прощально машет нам своими осиротевшими крыльями. И я снова испугалась, что всё закончилось и теперь придётся умирать.

Рани повёз нас домой на своём допотопном «эскорте», увидев который, Светка заявила, что сядет спереди, потому что если уж смерть, то лицом к лицу, а не на заднем сиденье. И вообще, водитель должен смотреть на дорогу, а не вбок, на пассажирку, понятно? Но Рани всё равно смотрел большей частью на меня: я видела в зеркальце его оленьи глаза, которые возвращались ко мне, как привязанные, как два привязанных оленя – к своему хозяину, и воздушный шар распирали изнутри мою грудь, в животе поднывал страх кончины, а в пустой до звонкости голове металось от стенки к стенке неимоверное удивление от того, что всё это происходит именно со мной.

Прощаясь, Рани протянул мне руку, а я протянула свою, и это было наше второе касание за весь вечер, и Светка насмешливо сказала откуда-то издали:

– Что, даже не поцелуетесь? Только не под трансформатором, ладно?

А мы действительно не могли целоваться, потому что это было бы не просто чересчур, а очень-очень чересчур. Через улицу на столбе действительно был трансформатор... но при чём тут трансформатор?

– При чём тут трансформатор, Светка? – машинально спросила я, глядя вслед отъехавшему Рани.

Мне не было никакого дела до трансформатора. В животе у меня крутился, нарастая, страх, и я пыталась понять его причину.

– При чём тут трансформатор?

– Как это при чём? – засмеялась она. – От вас такие искры бьют, что запросто электричество во всём микрорайоне вырубить может. А мне ещё бойлер включать, помыться хочется...

И тут я вспомнила: он так и не взял моего телефона!

– Светка, – сказала я. – Он так и не взял моего телефона... и ещё: я даже не слышала его имени, а фамилию он не говорил вовсе... что теперь делать, Светка?

Светка громко, с подвыванием, зевнула.

– Дура ты рыжая, вот что. Твой он со всеми потрохами, поверь моему глазу. Никуда не денется. Ну почему это рыжим дурам всегда везёт, а умным и красивым блондам – нет? – она снова зевнула. – Хотя везение, честно говоря, относительное. Парень он, конечно, картинка, но я бы на твоём месте ещё двадцать раз подумала: эти тайманцы страсть как ревнивы. Восточная ментальность. Зарежет он тебя, сто процентов зарежет. Или разобьётся нафиг на этом его «эскорте»... ты слышала: там всё ревет и стонет, как Днепр широкий. Пошли спать, что ли?

«Как Днепр широкий»... Светку привезли сюда из Днепропетровска в трёхлетнем возрасте, так что никакого Днепра она помнить не могла, а тем более – знать, как он стонет. В машинах она тоже ничего не петрила... короче, слова насчёт Днепра и «эскорта» я пропустила мимо ушей. Зато в парнях Светка разбиралась – дай Бог всякой: Рани и в самом деле был «картинка»! Я благодарно чмокнула подругу в щеку, и мы пошли спать – ведь школьный автобус отходил уже через полтора часа. И я заснула сразу же, и летала во сне, и летала, проснувшись, и в автобусе, и в школе, и после школы – особенно после школы, потому что Рани ждал меня на выходе, и тут мы уже сразу обнялись, потому что за эти несколько раздельных, невместных часов успели привыкнуть к мысли, что можно обняться и при этом остаться в живых.

Говорят, что любовь похожа на смерть, и даже в ТаНаХе¹³ об этом написано. Так и есть, но не в плохом смысле, а в том, что и то, и другое – это, типа, всё. Всё. Конец, за которым уже больше нету ничего. Типа, приплыли. Такое ощущение полной и самодостаточной окончательности. Как у какого-нибудь особенно хитрого фрагмента в паззле на сто миллионов деталей: всю дорогу его пристраивают и так, и эдак, и туда, и сюда, к тому краешку и к этому – и всё не выходит, всё не ай-я-йй, то углом упрётся, то выемку оставит, то ещё что. И вдруг – щёлк! Встал! Встал в то единственно возможное место, где всё правильно, всё подходит, где для каждого бугорка, для каждой извилинки, ямки, выбоины, ущербины, для каждого крохотного уродства, для каждой красоты и для каждого, сколь угодно загогулистого, вывиха есть своё, специальное, точное, только им подходящее соответствие. Разве это не чудо? Разве это не конец – конец поисков, конец сомнений, конец паззла?

Светка, выслушав меня, сначала заржала: «Любовь зла – полюбишь паззла...» – а потом заплакала и сказала, что вообще-то ей, как лучшей подруге, положено завидовать мне смертной завистью и даже попробовать отбить Рани, потому что

¹³ ТаНаХ (*ивр.*) – ивритская аббревиатура, обозначающая три части Священного Писания: Тора, или Пятикнижие Моше (Моисея), Невиим (Пророки), Ктувим (Писания). «К» в конце слова оглушается, потому что ТаНаК, а ТаНаХ.

так поступают все уважающие себя лучшие подруги, но она, Светка, не может, просто не может. Она сказала, что ей на нас дышать страшно, настолько это красиво, что если уж не самой, так хоть посмотреть... короче, в лучшие подруги она не годится и вообще никуда не годится, и всё закончилось нашим совместным десятиминутным плачем и двумя опухшими от слёз мордами, так что больше я таких разговоров со Светкой не заводила, себе дороже.

Красиво или не красиво – не знаю. Наверняка для многих со стороны мы смотрелись более чем странно. Рыжая веснушчатая ашкеназка¹⁴, напрочь обгорающая от пятиминутного пребывания на солнце, и почти коричневый тайманец: кожа у Рани была оленья не только наощупь, но и по цвету – примерно такой же промежуточный оттенок приобретают оливки осенью, перед тем как окончательно почернеть.

Светка смеялась:

– Как ты за него замуж выходить будешь? Только представь себе ваших папаш рядом! Это ж сдохнуть!

И впрямь. Более несхожих папаш трудно было придумать. Мой – такой маленький, щуплый очкарик, вечно смущённый, вечно лысый, вечно заикающийся интеллигент, типа Вуди Аллена, только ещё безобразнее. Ранин – тоже маленький, но коренастый, коричневый и морщинистый, как ствол умершего от старости оливкового дерева, с седыми пейсами, свисающими из-под натянутой на самые уши вусмерть заношенной шапки, когда-то чёрной и шерстяной, одетого в такой же, вусмерть заношенный, когда-то чёрный и шерстяной костюм, – и это в любую погоду, что в дождь, что в шарав! Тайманский иврит Раниного отца походил на слитный птичий клёкот, русский иврит моего – на тяжёлые, раздельные удары топора – бух, бух, бух... друг друга они не могли понять в принципе, хотя вроде бы говорили на одном и том же языке.

Ну и что? Это нас мало волновало. Тем более что они ни капельки не возражали – скорее наоборот. Не знаю, чем я так нравилась Раниному отцу, но то, что нравилась – это без сомнения. Наверное, своей экзотичностью – уж больно выделялась моя бледнолицость на фоне жгучих тайманских смуглянок, садившихся в субботу за семейный стол. А может быть, старый Цион Цви видел во мне свидетельство силы своего цепкого рода – рода восточных медников и ювелиров, волею судеб оказавшихся без гроша на чужом и непонятном Западе и уже во втором поколении притащивших в дом не только достаточно денег, но и дипломы инженеров, врачей и биржевых брокеров, чиновничьи льготы, офицерские погоны и, как венец всему, – местную красноголовую белокожую дуру, влюблённую не то что по самые уши – по самые корни своих рыжих, цвета тайманской меди, волос.

Что же касается моего отца, то он взирал на Рани с восторгом, который даже не пытался скрыть.

– Знаешь, – сказал мне как-то он. – Твой Рани в точности такой, каким я хотел бы родиться. Сильный, смелый – настолько, что ему даже не надо об этом рассказывать – все и так видят.

Он сказал это совсем без горечи. Есть такая горечь, с которой обычно говорят: вот, мол, хотел бы, да не вышло. Тут её не было. Но я всё равно почувствовала себя неловко за него. Понимаете, это сложно. С одной стороны, я должна была бы

¹⁴ Ашкеназка (от ивр. Ашкеназ, то есть Германия) – представительница ашкеназского, то есть европейского еврейства.

обрадоваться: ведь он хвалил моего Рани. Но с другой стороны... он ведь мой отец, понимаете? И в этом его признании была какая-то окончательность, очень неприятная для моего отца, а значит, и для меня.

– Ерунда, папа, – сказала я как можно строже. – Полнейшая ерунда. Ну при чём тут рост и вес? Он подлиннее, ты покорооче – ну и что? И потом, он родился тут, а ты там. Разные вещи.

Он улыбнулся, но так, что у меня что-то лопнуло в сердце.

– Конечно, разные. Об этом-то я и говорю. Благородным нельзя стать, девочка, им можно только родиться. Благородный – это, по определению, рождённый во благе и на благо. Как ты. Как твой тайманский принц.

Он помолчал и снова улыбнулся – но на этот раз уже совсем по-другому.

– Вы замечательно породистые существа. Ваши щенки будут брать первые призы на всех выставках.

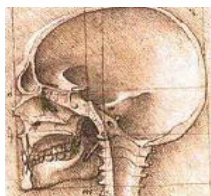
Тут я, конечно, завопила и стала тыкать его в бок кулаками, а он смешно отмахивался, пока мы оба не расхохотались и не обнялись, как это происходило всегда, когда нам было хорошо вдвоём.

«Тайманский принц». Именно мой отец придумал для Рани такое прозвище. Не могу сказать, что оно мне сразу понравилось: «принц» – ещё куда ни шло, но зачем акцентировать на происхождении? Тайманский или датский – какая разница? Главное, что принц.

– Видишь ли, – объяснял мне отец. – Нас, ашкеназов, так много били по голове и так долго гоняли из угла в угол по всей Европе, что это не могло не сказаться на осанке. Присмотришься к тем же принцам датским: их фигура всегда наклонена немного вперед, а глаз слегка косит в сторону. Почему, как ты думаешь?

– Интеллект придавливает, – насмешливо отвечала я. – Трудно таскать такую умную голову, вот и клонятся. Правильно?

– Если бы! – смеялся отец. – Они наклонены, как бегуны на старте, да и косят по той же причине: чтобы вовремя уловить момент, когда нужно будет снова вжать голову в плечи и дать дёру. А теперь глянь на своего тайманского принца! Он прямой! Прямой! Ну не чудо ли?



 Arkady569

Тип записи: частная

 0

Антиопа стала моим первым открытием. Собственно, я мог бы догадаться и раньше, почему именно за её блогом так пристально следил Аркадий Гиршуни. В самом деле, если прикинуть возраст... Вообще-то мы никогда не разговаривали с Гиршуни на семейные темы. Зачем? Мне было совершенно до лампочки, сколько детёнышей встречают моего ушастого суслика, когда после рабочего дня он возвращается в свою норку – два?... три?... пять?... А может, даже больше: ведь суслики известны своей плодовитостью. Меня также мало интересовало состояние здоровья его жены – скорее всего, скромной, домовитой и некрасивой, хотя и наверняка очень задастой, как это и положено порядочным сусличьим самкам. Выяснять все эти детали? – Нет уж, увольте.

Зато наша профессиональная плакальщица Жаннет иногда пыталась вызвать Гиршуни на откровенность. Большей частью она прерывала свои бесконечные жалобы на жизнь вопросами косвенного характера, типа:

– Ну вам-то это, конечно, известно не хуже меня... у вас ведь свои семейные болячки, правда?

На эти заходы Гиршуни обычно отвечал неопределённым скрипом, который вполне можно было истолковать как безоговорочное согласие, что Жаннет и делала к вящему удовлетворению обеих сторон.

Впрочем, время от времени «марокканка» отваживалась и на прямую атаку, например:

– У вас ведь трое детей, не так ли?

Или:

– Напомните мне – у вас старшая дочь или сын?

Или даже:

– А где сейчас работает ваша жена?

В такие моменты Гиршуни демонстрировал нехитрые, но действенные уловки: то исчезал под столом в поисках обронённой ручки, то всплывал руками и впивался глазами в экран монитора, будто бы обнаружив внезапную, требующую немедленного действия неисправность, а то и просто хватался рукою за щеку, изображая острый приступ зубной боли. Жаннет не настаивала: в конце концов, её главной целью было высказаться самой, и вопросы она задавала не из любопытства, а из вежливости.

Таким образом, мои скудные познания о гиршуниной семейной жизни ограничивались лишь тем, что я смог вычитать в его собственном блоге, да случайными воспоминаниями – вроде того, с Орехом и его малолеткой на десятилетии класса, где Аркадий столь неожиданно и нелепо возвестил о своей женитьбе и о рождении дочери. В блоге, например, упоминалась жена Маша и «дети» – именно так, во множественном числе, но без указания на их количество, пол и возраст. Зато воспоминание о встрече класса позволяло сделать заключение, что, вероятнее всего, старшая дочь Гиршуни находится в настоящий момент в армии, как и все девушки-израильтянки её лет. Отчего бы тогда не предположить, что Антиопа – это на самом деле она и есть? Такое предположение прекрасно объясняло бы гиршунин интерес к её блогу. Двадцатилетние девицы редко посвящают родителей в свои тайны – возможно, это и подвигло не в меру заботливого папашу на взлом дочернего дневника?

Я тщательно перечитал те места, где Антиопа упоминала своего отца. всё прекрасно сходилось: и рост, и лысина, и толстые очки. Не стану скрывать – мною овладел азарт охотника. Взломанные ушастым сусликом блога представляли собой части какой-то головоломки, и теперь, когда в моих руках оказался первый намёк на первую разгадку, мне вдруг ужасно захотелось составить полную картину, раскрыть все связи, вытащить на свет божий всех мертвецов, зарытых во внешне безобидном гиршунином садике. Вы спросите: с чего я взял, что там вообще что-то зарыто? А я вам на это отвечу: перечитайте-ка ещё раз его дневник! Вникните в тоскливую страсть этих нескончаемых предложений! Почувствуйте разрушительную силу этой угрюмой зажатости, этой стиснутой до упора стальной пружины! Неужели вы и теперь полагаете, что всё там чисто?

Но прежде всего я хотел удостовериться в истинности своего предположения.

Знаете, допустимо ошибиться на пятом, седьмом, десятом шаге, когда уже наработана какая-то база, когда всегда можно вернуться немного назад и сделать новую попытку, имея под ногами твёрдую почву прежних, надёжно доказанных фактов и умозаключений. Но ошибка на первом же этапе грозит гибелью всей затее. А потому я отнёсся к проверке со всей серьёзностью.

Проще всего было бы взломать базу данных отдела кадров или бухгалтерии. Не может такого быть, – рассуждал я, – чтобы Гиршуни скрывал своё семейное положение ещё и от налоговых служб, жертвуя ради этого значительными денежными скидками. Хотя, честно говоря, с него случилось бы... я вполне мог себе представить, что этот суслик предпочитает платить налог на бездетность и бессемейность, лишь бы не раскрывать перед чужими глазами вид на содержимое своей драгоценной норки.

Но от идеи взлома бухгалтерской базы данных меня остановило другое соображение: я побоялся вспугнуть Гиршуни. Он, без сомнения, заподозрил бы неладное, даже если бы я надёжно замаскировал свои действия какими-нибудь текущими работами по установке последних фиксов и пэтчей. Нет, я не боялся того, что он побежит доносить – нет, нет... у самого рыльце в пушку... ворон ворону глаз не выклюет. Просто я опасался, что моя подозрительная активность заставит Гиршуни либо свернуть свою собственную шпионскую работу, либо подвигнет его на тщательную проверку уязвимости персонального компа. Логично, не правда ли? Во всяком случае, я поступил бы на его месте именно так. Ведь если ты вдруг обнаруживаешь, что твой напарник имеет обыкновение лазать куда не надо, то отчего бы не предположить, что он может попробовать на прочность и твою дверь?

Рассмотрев возможные варианты, я решил действовать напрямую. Самых свехосторожных защитников обычно застаёт врасплох именно простейшая лобовая атака. Ещё бы – они-то больше всего готовились к отражению хитрейших обходных маневров...

– Кстати, Аркадий, – лениво протянул я, перекидывая зубочистку из одного угла рта в другой. – У тебя ведь сейчас дочка должна быть в армии? Я не ошибся?

Мы только-только вышли из зала, где закончили обедать, и теперь стояли на лестничной площадке. Учрежденческая столовая размещалась на первом этаже, наша комната – на седьмом; я задал свой невинный вопрос в момент, когда Гиршуни поднял руку, чтобы нажать на кнопку вызова лифта. Кстати, моё «кстати» выглядело абсолютно уместно: до этого мы как раз с известной гордостью рассуждали о том, что ухитрились опробовать и установить последнюю версию одной из защитных программ существенно раньше своих армейских коллег, хотя им, в отличие от нас, действительно было что защищать.

– Я не ошибся?

Гиршунина рука упала, он покраснел и скрипнул, как рассохшаяся табуретка. Я терпеливо ждал. Он снова скрипнул.

– Что? – переспросил я.

– Почему? – еле слышно прошепел суслик.

– Что «почему»?

– Почему так долго нет лифта?

Ха! Неужели он действительно рассчитывал избавиться от меня так же легко, как от толстухи Жаннет? Я вынул изо рта зубочистку и повысил голос.

– Так что с дочерью-то? Где она служит? Небось, по твоим стопам, в компьютерной части? А? Ну, колись!

Гиршуни молча помотал головой.

– Нет? – обрадовался я первому признаку контакта. – Неужели в боевых?

– Угу, – тихо подтвердил он и беспомощно посмотрел вверх. – Но где же лифт? Почему в пустом здании лифт всегда занят? Это ведь странно, нет?

– Ничего странного, – рассмеялся я. – Какой-то ты сегодня рассеянный, дружище... Чтобы лифт пришёл, нужно по крайней мере нажать кнопку... вот так...

Лифт-то я вызвал, но хватки не ослаблял:

– Значит, в боевых... неужели в Газе? Вы с женой, наверное, с ума сходите... Как её зовут-то?

– Кого? Жену?

Гиршуни поднял голову. Глаза его подрагивали за толстыми стёклами очков, как рыбы в аквариуме.

– Да не жену... дочь как зовут, ту, что в Газе?

Подошёл лифт, и Гиршуни схватился за ручку его двери, как за спасательный круг. Мы вошли в кабину. На сей раз ушастый суслик не оплошал и немедленно нашёл кнопку нужного этажа. Лифт дрогнул и пополз вверх. Он был стар, одышлив и скрипел, как Гиршуни.

– Послушай, Аркадий, – сказал я. – Это, наконец, просто невежливо. Ты игнорируешь мои вопросы. Я тебя чем-то обидел?

– Обидел? – переспросил Гиршуни, напряжённо вглядываясь в ползущие за вентиляционной решёткой тени. Это выглядело так, словно он изо всех сил пытался помочь механизму, подтягивая кабину вверх своим близоруким взглядом. – Меня?

– Знаешь, это переходит все границы, – воскликнул я, изобразив на лице выражение оскорблённого достоинства. – Ты открыто надо мной издеваешься. За что? Только за то, что я поинтересовался именем твоей дочери? Любой нормальный человек просто взял бы и ответил. Любой, но не ты. Ну что б тебе, в самом деле, не сказать «Маша» или «Анна»...

Гиршуни передёрнуло, да так, что мне показалось, будто это лифт дёрнулся на своих дряхлых тросах. Честно говоря, я никак не ожидал такой реакции. Признаюсь, что я даже немного испугался... испугался ещё до того, как Гиршуни вдруг вскинул голову и вцепился своими совершенно сумасшедшими зрачками в моё лицо, а руками – в мою рубашку. Тут мне уже стало страшно настоящему.

– Откуда? – прошипел он, привставая на цыпочки. Теперь была его очередь не ослаблять хватку. – Откуда?

– Что «откуда»? – пролепетал я. – О чём ты? Опомнись, Аркадий...

Мне было некуда деться в тесном пространстве кабины, наедине с обезумевшим сусликом. Смертелен ли укус мелкого грызуна? Ещё как, если грызун болен бешенством! Я решительно не знал, что делать. Не представляю, чем бы всё это кончилось, если бы трудящемуся в очередной раз не пришёл на помощь его верный друг-профсоюз. Лифт остановился, дверь лязгнула, Гиршуни неохотно выпустил меня и отвернулся. Вошли два небожителя, разом заняв кабину белоснежным ворохом ангельских крыл. «О, ангелы-хранители! – подумал я. – Вы спасли меня от неминуемой гибели!»

– ...слишком много о себе думает, – зловеще произнёс один из небожителей, продолжая прерванный разговор. – Пожалуй, стоит позвонить Амосу.

– Гм... – второй задумчиво почесал не по-ангельски волосатое брюхо, рвущееся наружу из-под мятой рубашки и приспущенных брюк. – Так уж прямо и Амосу...

– А почему бы и нет? Он такой же член комитета, как и мы.

– Гм... – отвечал второй, просовывая руку ещё глубже в штаны. – Гм...

Лифт достиг, наконец, нашего, седьмого этажа. Не помню, чтоб когда-нибудь на это уходило так много времени. Гиршуни вышел первым и, не оглядываясь, быстро направился в комнату – как всегда, вдоль стенки, слегка касаясь её пальцами левой руки, словно отыскивая дорогу в лабиринте. Я же замешкался. Я срочно составлял новый план действий. Самым разумным было бы обратить всё в шутку, но, как нарочно, в голову не лезло ничего, кроме не слишком подходящего вопроса: «Да что ты, белены объелся?» Отчаявшись придумать что-либо другое, я пристроил на лицо выражение максимальной беззаботности и вошёл в комнату. Гиршуни уже сидел на своём месте.

– Эй, Аркадий, – бодро пропел я, обращаясь к его плешивой макушке, едва видной из-за огромного монитора. – Пиши жалобу в профком. Сколько нас в этой тошниловке травили, но такого, чтоб белену подавать... это уже слишком... извини, дружище, за проявленную бестактность... хотя, нужно заметить, что и ты тоже...

Макушка дёрнулась, и сбоку от монитора выплыло маково-алое ухо, огромное, как парус капитана Грея.

– Я попрошу тебя на будущее, – Гиршуни говорил тихо, но очень внятно, даже твёрдо, то есть абсолютно несвойственно своей обычной манере. – Я попрошу тебя впредь поднимать в разговоре со мной только и исключительно профессиональные вопросы, связанные с работой. Только и исключительно. Я понятно выражаюсь?

– Понятно, – отвечал я с фальшивым недоумением.

Парус качнулся и уплыл обратно за монитор. Теперь можно было перевести дух и подбить бабки, чем я немедленно и занялся. Итак, старшая дочка Гиршуни действительно находилась на тот момент в армии, причём, видимо, в боевых частях. А если и не в боевых, то уж во всяком случае не в джобной теплице типа тель-авивской Кирии¹⁵, а где-то в глубинке, на территориях, где постреливают – в точности, как и блоговская Антиопа. Далее, скорее всего, её звали именно Анна – а иначе как объяснить столь бурную реакцию ушастого суслика на мой совершенно невинный вопрос? Анна... Антиопа... наверняка неспроста у этих имен одинаковый первый слог! В общем, сомнений не оставалось.

В качестве своего юзерпика гиршунина дочь выбрала рыжую бабочку. Почему? Не только ведь из-за цвета? Интернетовский поиск принёс быстрый ответ: бабочку звали не как-нибудь, а Антиопа. И, что особенно интересно, то же самое имя носила царица амазонок. Таким образом, всё сходилось: и первые буквы имени, и рыжий цвет, и намёк на воинственный характер её нынешнего занятия. Никогда мною не виденная Анна Гиршуни и блоговская Антиопа – одно и то же лицо! Можно было считать это совершенно доказанным.

¹⁵ Кирия – правительственный комплекс в центре Тель-Авива, в котором располагаются и офисы и службы Минобороны и Генштаба израильской армии.



Girshuni

Тип записи: частная



Ну что им всем от меня надобно? Зачем? Почему им не хватает того, что я и так весь на виду, весь на морозе, открытый всем ветрам, ухмылкам и взглядам... отчего им непременно требуется ещё и вывернуть меня наизнанку, как чемодан, – так, чтобы не осталось ничего, ничего не досмотренного, не пересчитанного, не измятого толстыми пальцами проклятых жирноволосых таможенников – какая гадость! – почешут в сальной, пересыпанной перхотью голове и снова – назад, в чемодан, в меня: щупать, дёргать, мацать, перебирать мои трусы, носки и фотографии, мою душу, сердце и селезёнку... ну что, что вы рассчитываете там обнаружить?.. что, чего не было бы в любом другом чемодане? – неужели же моя сердечная мышца чем-то отличается от прочих?.. нет ведь, правда? – разве что много горше на вкус, а может, и этого нет, может, все они горьки в одинаковой степени; откусишь и сморщишься: что за пакость это человеческое сердце, сплошная горечь, горечь, горечь, и зачем только его так любят выгаскивать на свет Божий, на свет таможенных ламп, вываливать вместе с другими внутренностями на исцарапанный пластик досмотрового стола, брать в руки, сжимать, чтобы капало, откладывать на время в сторону, брать снова, задавать издевательский вопрос, ронять по небрежности или намеренно, самодовольно ухмыляться, глядя, как перекрученный болью обладатель лезет за ним под стол – подбирать сердце с заплёванного пола, отряхивать от пыли, крошек и семечной шелухи... куда?.. куда понёс?!.. ишь ты... давай-ка его сюда, назад, на стол, за ушко да на солнышко, мы с тобой ещё не разобрались, понял?.. ты понял, сволочь?!.. мы с тобой ещё только начали!.. начали разбираться, понял?.. а разбираться – это от слова «разбирать»: ты ведь весь такой сборно-разборный, понял, а в настоящий момент даже более разборный, чем сборный, уж не обижайтесь, гражданин, должность у нас такая – разобрать, а соберут другие, если соберутся, ха-ха... как это сердце неразборное? – ещё как, мариванна, вот, гляди, клапан, а вот второй... кстати, зачем тебе два, а?.. контрабанду везёшь, сволочь?.. что значит «у всех два»?.. ты на других-то не кивай, ты за себя умеешь отвечать, понял, сволочь?.. почему «сволочь»? – да потому что тебя сюда сволокли, в эту таможенную, на этот стол, под эти лампы, на этот свет Божий, потому и сволочь, а кто же ещё?

А и в самом деле, кто же ещё?.. чего уж там, хватит выкобениваться, назвался гвоздём, полезай под молоток, назвался груздем – полезай... а я не назвался... всё одно – полезай!.. и вот он я – в кузове, в кузове автобуса, вместе со всеми груздями, со всеми грудями, со всеми гвоздями, едем, качаемся, покачиваем головами в такт движению, как же молотку-то, каково ему теперь, молотку, попадать по качающимся гвоздевым головкам?.. а ты за молоток не волнуйся, твоё дело гвоздевое, железное, ты стой, где воткнули, держи голову выше, жди своего часа... как это – «часа»?.. за что же так долго-то: мало что – по голове, так ещё и целый час... скажи спасибо, что не больше – вон в автобусе массовик-затейник уже полдня рассказывает старые анекдоты – это что, лучше?.. нет, не лучше, это хуже...

да что ж ты такой весь из себя негативный? – глянь-ка вокруг: все смеются, все до одного, все эти грузди, трясут грудями, звенят гвоздями, всем смешно, и только ты кривишься... кривой гвоздь хуже татарина, лучше сделай усилие, а то ведь заметят, а уж коли заметят, то пиши пропало... что?.. что вы сказали?.. я?.. я не смеюсь?.. да что вы, да как вы могли подумать... конечно, я смеюсь, конечно... я – как все, мне ужасно смешно, ужасно, ужасно... ха-ха-ха... проклятый массовик... ужасно, ужасно... и тут массовик сказал: ничего, господа, это бывает, мы, господа, которые, так сказать, живущие в бешеных ритмах нашей, так сказать, прогрессивной современности, частенько которые забываем о смехе, об этой, так сказать, чудесной возможности отдохновенного, которая расслабиться и запастись здоровой энергией созидания на всю, так сказать, последующую, которая рабочая, неделю, а потому нас с вами ожидает в гостинице потрясающее, супер, ультра и контра замечательное мероприятие, которое, так сказать, наверняка долгожданное всеми вами... ха-ха-ха... семинар смеха, повторяю для тех, которые: СЕМИНАР СМЕХА!!! – да-да, это и в программке записано, вот здесь, на второй странице, можете сами удостовериться, и уж вы, господин, будьте добры не манкировать, так сказать, ни разу... эй, господин, я к вам обращаюсь!.. я?!.. ко мне?!.. да-да, именно к вам, вы, который с ушами... ха-ха-ха... без обид, ладно?.. мы ведь все тут, которые с ушами... – я?!.. что я?.. зачем?.. – как это «зачем», господин с ушами... вас, кстати, как зовут? – и тут все грузди, хором: гиршуни!.. гиршуни!.. подать сюда гиршуни!.. – ха-ха-ха, какое славное фамилие... да затем, господин гиршуни, что вам совершенно необходимо в самом, которое, срочном порядке научиться этому превосходному, так сказать, качеству смеха, которое для отдохновения и зарядки, а мы уж, будьте покойны, вас просто так не отпустим, правда?.. – и грузди, хором: правда, правда! ...мы уж проследим, чтобы вы от нас, так сказать, не ускользнули, не ухлестнули, не улизнули... – и грузди, хором: ойе!.. проследим, проследим!

Вот это и в самом деле называется «попал»; и чёрт меня догадал родиться... а при чём тут «родиться»? – да при том, что с этого всё и началось, вот при чём, сначала родиться, а потом докатиться, а потом согласиться на эту идиотскую поездку, именуемую на местном сленге «гибуш», что означает «сплочение» – коллектива, понятное дело, чего же ещё... нужно было взять больничный, отсидеться, но показалось неудобно: уже столько лет подряд я «заболеваю» именно в гибельные дни гибуша, то есть два раза в год, и все уже смеются: гиршуни, мол, опять подхватил гибуш... я сделал бы так и на этот раз, да только вот накануне ко мне специально подошёл, специально снизошёл какой-то профсоюзный бонза среднего размера, поймал меня за локоть в столовой: это тебя зовут гиршуни?.. – меня... – что ж ты так, парень, не годится... а я совсем не ожидал, сидел себе, задумавшись, над тарелкой супа – и вдруг... что такое, говорю, что такое, я всегда голосую... – а я и впрямь всегда голосую, как стойкий оловянный гвоздик, стою, где воткнули, и голосую – за то, чтобы меня оставили в покое, только и исключительно за это... – бон-бон-бон, – захохотал бонза таким странным смехом, который звучал, как эхо от ударов по полуму бронзовому истукану – бон-бон-бон... ну ты даёшь, гиршуни, какие выборы, я ж тебе за гибуш толкую, ну почему ты такой болезненный, это ведь общественное мероприятие, товарищ, нельзя так, профсоюзный комитет старается, добывает денег, чтобы работники организованно поимели заслуженный отдых, чтобы сплотить коллектив во имя

задач, а ты, понимаешь, болеть затеял, нехорошо получается, не по-товарищески, тем более что поездка-то – на халяву, ну какой работник не любит, когда на халяву... а может, тебе не нравится быть работником, тогда так и скажи, бон-бон-бон... – нет, нет, уважаемый господин, мне нравится, я и голосую... – а коли нравится, тогда и разговору нету, гиршуни, тогда я очень, очень надеюсь увидеть тебя на гибуше, ты пойми, товарищ: за тебя уплотнено, так что, смотри, проверю!.. бон-бон-бон... – и вот я здесь, в кузове, бонзой уполномоченный, бронзой уплотненный, коллективом сплоченный, вот он я, груздь, вот он я, гвоздь... пожадуйста, оставьте меня в покое!

Тра-та-та, тра-та-та, мы везём с собой кота... а я взял подушку, хорошо бы никто не заметил; я упаковал её в чемодан, занимает уйму места, так что больше ничего, считай, и не поместилось... не брать же два – два!.. чемодана всего на полтора дня – так я думал, пока не увидел некоторых груздей с грудями, которые взяли по три, а то и по четыре больших сундука и ещё целый выводок сумочек-баульчиков поменьше, такие чемоданные комплекты, длинные, как список действующих лиц классической пьесы, я часто вижу их в магазинах: медведь-папа, медведь-мама, медведь-дядя, который явно метит на папино место, медведь-сын, который «быть или не быть» – конечно «быть», сынок, а иначе куда же положить сапоги и ту жёлтенькую кофточку с распродажи в Мейсиз, не говоря уже о башмаках, в которых шла она за гробом мужа, куда?.. а вот и изящный чемоданчик-офелия, при первом взгляде на него становится ясно: не жилец, уж больно subtilen, и далее по списку до самого маленького сундучка-пажа: он только на первый взгляд наименее значителен, но содержит самые важные вещи: духи, помаду, пачку презервативов и обрывок салфетки с телефоном, из-за которого – обрывка, а может, и не обрывка, а самого мальчика-пажа, с которым спит даже не мама, а папа... не важно... из-за которого, собственно говоря, и завязалась эта ужасная, неправдоподобно кровавая история, грозящая отправить на свалку весь вышеописанный дорогой, пахнущий кожей, звенящий замочками и стучащий колёсиками комплект, комплект, какого у меня, например, не будет никогда, да и зачем мне такой нужен, зачем?.. мне и одного-то чемодана много, я почти и не езжу никуда – не потому что неинтересно, а потому что ненавижу гостиницы, просто ненавижу... даже не сами гостиницы, а гостиничные номера, гостиничные кровати и особенно гостиничные подушки: они насквозь пропитаны мыслями, надеждами и страхами предыдущих постояльцев, и мне оттого кажется, что стоит только опустить на них голову, как она сразу начнёт пухнуть, утрачивать с таким трудом устроенную и с таким трудом поддерживаемую видимость порядка, превращаясь в огромный сумасшедший дом, где каждый бродит сам по себе, бессмысленно повторяя свою бессвязную мантру, или не бродит, а скромно стоит у стены, постукивая в неё лбом, достаточно тихо, чтобы не слышали санитары, но достаточно сильно, чтобы пришибить рвущийся наружу страх, или не бродит и не стоит, а сидит, уставившись в экран выключенного телевизора, и прозрачная струйка слюны стекает из уголка его рта на пол, в лужицу, по которой – шварк!.. чтоб ты сдох, псих ненормальный!.. – проносится сумасшедшая швабра безумной уборщицы тёти Крыси – шварк!.. шварк!.. – в палату для буйных, где все очень привязаны к своим кроватям... отвяжите меня, пожадуйста, ну что вам стоит, я никогда больше не стану кусать нянечек, они, как выясняется, невкусные... такой вот невообразимый бедлам, ну зачем мне это?.. нет

уж, дорогие гостиничные хозяева, мне ваша подушка не нужна, ешьте сами с волосами, у меня своя, пуховая, там хоть и тоже бедлам, но зато свой, воображимый, знакомый, домашний такой бедлам, ручной, можно сказать, работы: ведь жизнь – нелёгкое ремесло, и подушка в этом ремесле – один из самых главных, самых нужных верстаков – именно на нём мы мастерим наши сны, наши мечты, наши крылья, избавляемся от навязчивых страхов, выдавливаем или пробуем выдавить застарелые кошмары, сортируем воспоминания: это в рамку и на стенку, это – за пазуху, это – закопать и придавить, чтоб не выползло... всё там, на ней, на подушке, она потому так и называется, что по душе любому ремесленному человеку, который умеет ценить хороший инструмент... а я умею, уж что-то, а ценить я умею... зашёл в номер – он у меня отдельный, я специально доплатил, слава Богу, была такая возможность... так... что у нас тут... Господи, как я ненавижу гостиницы!.. впрочем, об этом я уже говорил... теперь распаковаться – открыл чемодан, вынул подушку и скорее в неё носом, ртом, лицом, душой – и дышать, дышать, глушить эти мерзкие гостиничные запахи... хорошо, что я не собака, ведь у собак обоняние во много раз тоньше, чем у людей, только представить себе: заходишь в номер, а там пахнет всеми, кто был тут до тебя, а их тысячи, и каждый пахнет по-своему!.. как, должно быть, плохо, как тесно оказаться в компании тысяч и тысяч чужих в такой маленькой комнатке!.. какое счастье, что я их не чувствую, а то было бы просто невыносимо... хорошо, что она со мной, подушечка моя дорогая, славная моя... уснул.

Тук-тук... неужели ко мне?.. наверное, нет... затаиться, не двигаться, авось пронесёт... это ж который час? – девять, живот подвело, вчерашний ужин пропустил, сегодня на завтрак не пошёл, нужно бы спуститься поесть, там вроде как кормят до одиннадцати; консервов-то не захватил, всё место в чёмодане подушка заняла, подушечка моя, поду... тук-тук!.. чёрт, похоже, всё-таки ко мне... ну что им от меня надо, ну что им неймётся, будь они... бум!.. бум!.. это уже ногами, не иначе... а вот не открою, и всё тут!.. могу я спать и не слышать, могу ведь, правда?.. вот я и... – эй, гиршуни!.. гиршуни!.. ха-ха-ха... открывай, гиршуни, всё равно не уйдём!.. – а вы уверены, что он там?.. может, погулять вышел?.. – уверен, сто процентов уверен: я в бинокль смотрел, с крыши, через окно, там он, спит ещё, барсук эдакий!.. – ах ты, чёрт, что же это я так оплошал?.. шторы-то и в самом деле не задёрнуты, ну надо же, какая беспечность, устал вчера от этого автобуса, как ткнулся в подушку носом, так и заснул, нет чтобы занавесками озаботиться... что ж теперь делать-то?.. открывать?.. не открывать?.. – открывай, гиршуни, всё равно ведь достанем!.. – а может, с ним случилось чего?.. я его и на ужине вчера не видела, а вы?.. – и я не видел... – а на концерте фокусника?.. – нет, ха-ха-ха, туда я и сам не пошёл, мы с ребятами на стриптиз рванули... – хи-хи-хи, ах вы, проказники... – гиршуни, открывай, слышишь, там только тебя и ждут, Амос сказал: без гиршуни не начинать, открывай!.. – а давайте коридорную позовём; она тут как раз где-то на этаже убирается... эй, девушка!.. – ну всё, теперь уже точно достанут, откроют, ворвутся кодлой, дышать, вонять, ржать, толкаться, хлопать по плечу, а главное – ползать по мне своими липкими гадкими гляделками, как вшами: у них взгляды, как вши, как мерзкие тифозные вши... а я к тому же и не одет, это же просто катастрофа, всего обмажут, нет уж, лучше уж встать, лучше уж сдать, пока ещё хуже не стало... кто там?! минуточку!.. подождите минуточку, я только оденусь!.. – ну, слава Богу, объявился... гиршу-

ни?.. – да-да, я сейчас, подождите минуточку, я сейчас... – какую минуточку, гиршуни, мы тебе уже целый час стучим, разве это в кайф – заставлять людей ждать на пороге?.. не чужие, чай, некрасиво... – извините, заснул я, извините, не слышал... – да ладно, гиршуни, чего там, бывает, пошли быстрее, только тебя ждут... – ждут?.. а зачем?.. почему именно меня?.. разве я что-то обещал, где-то обязался?.. – ну ты даёшь, парень, ну ты ваще, ну ты астронавт, а как же семинар по смеху?.. – по чему?.. – по смеху!.. неужели забыл, вчера в автобусе говорили, а сегодня утром Амос специально напомнил: мол, без гиршуни не начинать, у человека проблема, надо помочь, не бросать в беде, так что пойдём, пойдём, ну что ты упираешься, не бойсь, не выгоним, давай, давай, ну не тащить же тебя силой... – хорошо, я пойду, вот только переоденусь и пойду... – да на фига тебе переодеваться?.. сойдёт и так, а вообще-то, как хочешь, переодевайся, мы у тебя в комнате подождём... – нет-нет, пойдёмте, пойдёмте, вы правы, сойдёт и так... это ж представить себе: я переодеваюсь, а они тут же, в комнате, смотрят, ползают по мне своими вшами-взглядами или ещё хуже того: начнут заглядывать в чмодан, а он пустой!.. пустой!.. или станут мять подушку, а то и улягутся прямо с головой на кровать, на подушку, с них станется – прямо на мою подушку – своей сальной головой, полной липких и вшивых взглядов... ну уж нет, лучше не надо, лучше пойти добровольно, семинар так семинар, мало ли семинаров я вынес в своей жизни, одним больше, одним меньше, ничего страшного... ага, ничего страшного, а в животе-то поднывает... хотя, это, наверное, от голода, конечно, от голода, ну чего ты так боишься, дурачок, ну что они тебе смогут сделать такого, чего бы уже не сделали в прошлом?

Большая комната, квадратная, двадцать на двадцать метров, не меньше, ковровое покрытие на полу, стены крашенные, тележка массовика с магнитофоном и ещё каким-то разноцветным разухабистым добром: мячики, шарики, ленточки, палочки, косточки в ряд... или нет, это с другого семинара... а вот и сам массовик, круглая морда клинического идиота, улыбка, наклеенная от уха до уха: так, господа, все на месте?.. ага, и гиршуни с нами, здравствуй, гиршуни, мы любим тебя, гиршуни... ха-ха-ха... стоп, команды смеяться не было, делаем всё по команде, договорились?.. итак, встали, господа, встали в круг, шире круг, господа, но не совсем, не совсем, а так, чтобы чувствовать жар, так сказать, соседнего тела... почувствовали?.. это важно: жар, который соседнего тела... итак, господа, почему так важно смеяться, ну, кто знает?.. никто не знает?.. так, продлевает жизнь?.. так, так... повышает половую функцию?.. так, так... будут ещё которые мнения?.. улучшает аппетит... так, молодцы, все ответы правильные, господа!.. позвольте, для начала, научную справку: смех, с академической точки зрения, представляет собой, так сказать, физиологическую вибрацию мембраны, которая приводит в действие, так сказать, важнейшие механизмы, которые труда и жизнедеятельности человеческого организма... но это всё теория, не ради которой мы тут, так сказать, собрались... а важно в этой теории то, что смеяться, господа, следует даже тогда, когда вам не смешно, понимаете, повторяю для тех, которые: смеяться важно, даже когда не смешно, и это потому, что, во-первых, крайне полезно для здоровья, аппетита и половой функции, а, во-вторых, которые, приводя в действие мембрану, мы воздействуем обратным фидбеком на смехотворный центр мозга, который, раздражаясь, вызывает к жизни реальное чувство смеха, которое вибрирует, в свою очередь, мембрану, и так далее, к новым, так сказать,

перспективам, которые улучшают... на этом позвольте завершить теоретическую академию и перейти, так сказать, которая практика... итак, подняли руки, выше, выше, потрясли, потрясли, молодцы!.. а теперь я включаю музыку... ааха-ха-ха-ха-пум-пум-пуп... так, а теперь делаем на счёт: на счёт «раз» держим руки наверху, а когда я скамандую «цхок!»¹⁶, то сразу опускаем руки, которыми хватаемся за живот и начинаем колебать вибрацию мембраны... я специально делаю это, пока никому ещё не смешно, чтобы дать вам почувствовать этот важный обратный фидбек на произвольное колебание мембраны... итак, начали: раз!.. ааха-ха-ха-ха-пум-пум-пуп... цхок!.. сильнее колебать, сильнее!.. эй, которые, сильнее!.. ещё сильнее!! не слышу!.. так, молодцы, уже лучше, уже лучше... раз!.. ааха-ха-ха-ха-пум-пум-пуп... цхок!.. цхок!.. и вот я, гиршунни, уже в такт трясусь вместе со всеми, и старательно поднимаю вверх руки, и честно хватаюсь за живот, и тщательно сотрясаю мембрану, и добросовестно пытаюсь хохотать, и у меня получается не хуже, чем у остальных, и я говорю себе: вот видишь, гиршунни, а ты боялся, ничего страшного, ты сам видишь, ничего страшного, но тут они вдруг начинают действительно хохотать, и ты тоже, ты уже не просто кашляешь, изображая смех, а именно что смеёшься, так что, выходит, не врал имбецилзатейник насчёт «обратного фидбека», а вдруг она и в самом деле существует, эта мембрана и её колебательные вибрации, а вдруг это никогда уже не кончится, раз начавшись... я оглядываюсь вокруг и вижу людей, которые корчатся от хохота, и я тоже корчусь, а ведь мне совсем не смешно, мне страшно, и им, наверное, тоже, и я плачу, не стыдясь своих слёз, потому что это якобы слёзы смеха, якобы – потому что смех тут ни при чём, потому что на самом деле меня переполняет печаль, жуткая, никогда ещё мною не испытанная печаль, которая, так сказать, затопляет мою кашляющую смехом, блюющую смехом душу, всё моё больное, раздираемое на части существо, изрыгающее столь полезный для аппетита и половой функции звук... мне ужасно грустно, я плачу, глядя на них и на самого себя; в комнате нет зеркал, но они и не требуются, достаточно просто оглянуться и увидеть себя, несчастное и убогое создание, главным отличительным качеством которого является именно убожество, ничтожество, унижительная нищета духа... как мы отвратительны, двуногие грузди, как мало в нас истинного, безропотного, органичного благородства, столь свойственного всему живому – всем, кроме нас!.. взгляните, как благородно они живут, все эти муравьи, рыбы и собаки, как вступает в игру щенок, вывесив язык, закидывая попу и улыбаясь во всю свою радостную морду; взгляните, как они умирают, с каким спокойным достоинством принимают они свою участь, свой безвозвратный уход, так, словно знают что-то такое, что неизвестно и непонятно нам, нищим ублюдкам, неизвестно откуда взявшимся недоразумениям, струпьям и перхоти бытия... раз!.. ааха-ха-ха-ха-пум-пум-пуп... цхок!.. никогда ещё в жизни мне не было так грустно – не плохо, а именно грустно, безысходно, бесповоротно, отчаянно грустно... за что это нам?.. за что?

¹⁶ Цхок (*ивр.*) – смех.

User ProfileUser: **Mashen'ka**

Location: Москва

Date of birth: весёлый день странного
месяца года Жаворонка

Имя: Машенька


 **Mashen'ka**

Тип записи: открытая

 8





У меня завтра день рождения, так что жду поздравлений. Только, пожалуйста, не возражайте. А то в прошлый раз господин Жуглан затеял со мной спор, утверждая, что свой предыдущий день рождения я праздновала всего две-три недели тому назад. Он, помнится, даже подсчитал точное количество дней: восемнадцать. Ну и что? Разве нас не учили ещё в школе, что всё зависит от системы счисления? Одни считают так, другие иначе. У кого-то в году двести дней, у кого-то тысяча, а у большинства моих знакомых так и вовсе переменное число: то триста шестьдесят пять, то триста шестьдесят шесть... или сколько?.. – триста шестьдесят четыре?.. никак не могу запомнить. Я и в своём-то календаре путаюсь, а уж в чужих и подавно.

Мой календарь тоже переменный, как и у всех, как и у вас, господин Жуглан. Иногда год в нём длится ужасно долго. Самый длинный на моей памяти соответствовал примерно пяти вашим. А иногда он совсем коротенький, как тот, восемнадцатидневный. Бывает и ещё короче, но это уже редкость.

Почему я считаю года именно так, а не иначе? По той же причине, что и все остальные – из соображений удобства. Сами подумайте: ну зачем вообще требуется измерять время? Только для того, чтобы знать, когда чему приходит пора, правда, ведь? Вот, допустим, крестьянин какой-нибудь вспахал, посеял, собрал, а потом ему говорят:

– Давай снова.

А он, допустим, спрашивает:

– А почему именно сейчас?

А ему и отвечают:

– А потому что год прошёл.

– Ну, если год, – говорит крестьянин. – Тогда конечно, тогда и в самом деле пора.

И идёт сеять заново. Вот он для чего, календарь-то, если вдуматься.

Ну а я ничего не сею, мне крестьянское расписание ни к чему. Жизнь моя спокойна и постоянна, кругов никаких не выписывает. Ещё когда в школе училась и в институте – куда ни шло. Там понятно: переводят человека в старший класс или на другой курс – вот тебе и год. Но теперь, на работе... ну никаких примет, хоть ты тресни. День ещё ладно: встала – легла, работа – дом. Неделя – тоже: работа – выходные. Месяц... что ж, можно и тут циклы отыскать, особенно женские. Но год? Год?

Мне это кажется таким очевидным, а ведь в голову так сразу и не приходит, правда? Да и как придёт, если мы с детства привыкли верить на слово? Чему нас

только ни учат, как нам только ни врут, а мы и уши развесили. Добро бы что-нибудь незначительное, такое, что прямо нас не касается. Например, мне говорят: ты живёшь на планете Земля, она круглая, есть на ней страна Америка, там был президент по имени Кеннеди, и его застрелили. Всё это может оказаться стопроцентной ложью, выдумкой. Я не видела ни космоса, ни формы своей так называемой планеты. Я не бывала в Америке, да и что я там забыла? Но даже если меня привезут туда и скажут: «Вот, Машенька, это Америка!» – где гарантия, что и тут они не смошенничали? Повозили-повозили кругами – да и завезли в какой-нибудь кинопавильон, где всё специально подстроено? Нет гарантии, ну разве что не слишком правдоподобно: станут ли так много возиться в мою честь? Но в принципе-то – нет гарантии, нет ведь?

А уж про Кеннеди и вовсе полнейший пшик: что за проблема такую красивую сказку сочинить и поставить? Никакой проблемы. Хороший драматург, грамотный продюсер, несколько миллионов на рекламу, и вот уже вся эта, якобы круглая, как дура, планета свято уверена в том, что так оно и было. Вот уже напечатан в книгах, журналах, учебниках портрет рыжего красавца, и все-все-все, включая эскимосов и папуасов, смотрят, кивают и говорят:

– А, ну как же, это ведь Кеннеди. Его ещё застрелили...

– Да с чего вы взяли, что это правда?

– Ну как же, это ведь все знают: вон и тот эскимос, и этот... видишь, кивают...

Вот и я киваю. Не потому, что верю, а потому, что мне, в общем, всё равно. Ну какая мне разница – был ли на самом деле такой президент, и была ли у него Америка, и была ли у Америки пуля, прилетевшая в президентскую голову по точной дуге, тщательно обогнув по дороге предполагаемую круглизу предполагаемой планеты Земля? Да никакой! Да пусть себе будет так, если это кому-то важно. Мне-то что? С такими незначительными глупостями я спорить не собираюсь.

Но если дело касается лично меня, тут уж увольте. Тут уже понарошку не пойдёт, себе дороже. Я знала это всё с самого детства. Откуда? Сказали. Сказали, а я и поверила. Почему поверила именно этому, а не про Кеннеди – ведь про Кеннеди тоже просто «сказали»? Потому что это было больше похоже на правду. Так я различаю. Допустим, мне что-нибудь говорят, а я немножко так голову наклоняю и вслушиваюсь: похоже на правду или нет? И что-то изнутри самым буквальным образом отвечает:

– Похоже...

или, наоборот:

– Нет, враки...

или:

– Непонятно... ты лучше пока кивни от греха подальше и отложи, а потом ещё раз проверим.

Если уж на то пошло, расскажу и о том, кто меня всему этому научил. Началось с моей бабушки. Когда я возвращалась из школы, бабушка всегда сидела на скамеечке у входа в парадную: боялась нашего лифта и нашей лестницы, вернее, тех, на кого я могла там наткнуться. Она встречала меня в любую погоду, даже если морозило так, что было холодно бежать, не то что сидеть. Школа располагалась через пустырь. Выкатываясь на улицу после последнего урока, я сразу смотрела в сторону дома и видела там толстую неподвижную фигуру моей сто-

рожевой бабушки. Издали она и впрямь походила на каменного льва у входа в какой-нибудь дворец.

– Бабуля, ну зачем, ты же замерзнешь! – кричала я, подбегая.

– Ничего, ничего, – неизменно отвечала бабушка. – Лучше я умру от простуды, чем от горя.

Но умерла бабушка не от простуды и не от горя, а от инсульта. Умерла в одночасье: вечером легла, а утром не проснулась. Встречать меня со школы стало некому; за неимением иного решения мама повесила мне на шею французский ключ, похожий как две капли железа на такие же ключи, болтавшиеся на шеях других моих одноклассников. С одним, но очень существенным отличием: помимо ключа, я таскала на себе тяжеленное бремя страха. Я думала: не зря ведь бабушка не хотела пускать меня одну в подъезд, не говоря уже о лифте! Не иначе как это связано с нешуточной опасностью, даже с горем, большим настолько, что от него можно умереть...

Я поделилась своими сомнениями с мамой.

– Вот ведь глупости! – воскликнула мама с фальшивой уверенностью. – Ничего с тобой не случится. Другие дети ходят, и ты тоже...

В этом месте она запнулась и замолчала, а папа спросил, не оборачиваясь от телевизора:

– Ты у Маргариты Степановны выясняла? Может, она...

– Что «она»?! – закричала мама, словно её ударили. – Что «она»?! Она такая же пьянь, как и все остальные! Лучше уж никому! Не дом, а кабак! Кабак! Сил моих...

Последние слова мама выкрикивала, уже убегая на кухню, так что окончания я не расслышала, но этого и не требовалось: фразу «сил моих больше нету» мама произносила как минимум по десять раз на дню. Нечего и говорить, что после этой неудачной попытки прояснить ситуацию мне стало ещё страшнее.

Сама смерть представлялась мне неопасной – в виде моей умершей бабушки, которая сидит на скамеечке где-то там, неизвестно где, терпеливо поджидая, когда я, наконец, покажусь на дальнем краю пустыря. Но вот горя мне решительно не хотелось. Слово «горе» ассоциировалось с мамиными слезами и с отцовской беспомощностью, что само по себе являлось достаточно пугающим комплектом. И всё же труднее всего оказалось противостоять неопределённости угрозы: я никак не могла предположить, что именно ожидает меня на лестнице или в лифте. Ну почему, почему я не добилась в своё время четкого объяснения от бабушки? Тогда мне хватало того, что она со мной, а теперь, когда бабушка пересела на другую скамейку, вдруг оказалось, что спрашивать некого. Смерть – это когда уже не можешь спросить о том, чего не удалось выяснить вовремя.

Взрослому страху обычно требуются детальные приметы: всякие когтистые слизистые лапы, слюнявые клыки, пыточный станок, кровь, стекающая с зазубренного ножа, блестящие никелированные инструменты для выдергивания ногтей. Но сознание десятилетней девочки в состоянии путаться ещё и чего-то совсем неопределённого – такого, что невозможно представить в виде конкретного существа или предмета – это-то и есть настоящий, чистопородный, беспримесный ужас.

Он охватывал меня немедленно, едва лишь я открывала дверь в наш полутёмный, воняющий кошачьей и человеческой мочой, загаженный, обожжённый, изуродованный подъезд. Затаив дыхание и стараясь не смотреть в тёмные провалы коридоров, разбегавшихся в обе стороны от обугленных почтовых ящиков,

я кралась мимо исцарапанной двери лифта к первому лестничному маршу, который вёл вверх, к свету, к окну, откуда ещё видны были улица, пустырь и школа – всё то, что принадлежало обыденному, привычно-спокойному миру. У окна я на мгновение переводила дух, хватая из заоконного пространства добавку душевных сил, – подобно тому как тонущий, всплывая, выхватывает из воздуха ещё один глоток жизни, и продолжала свой панический бег домой, на третий этаж, к спасению, ключ от которого болтался под моим перехваченным судорогой горлом.

Подъезд был полон звуков вполне конкретного происхождения: где-то хлопала дверь, в подвале ссорились кошки, крысы затевали судорожную возню в мусоропроводе, шуршали шаги, журчали трубы, гудел трансформатор, насвистывали сквозняки, да и сам дом вздыхал и позёвывал, как вздыхает и позевывает любое человеческое жильё. Но для меня... для меня всё это обычное многоголосье сливалось во всеобъемлющую какофонию ужаса. Это Оно, неведомое и оттого ещё более страшное, ворочалось в коридорных тупиках, потягивалось, просыпалось, принималось, поблескивало бесчисленными глазами, скалило зубы, цокало когтями по ступенькам... Оно уже почуяло меня здесь, в своих владениях, Оно уже собирается в погоню, выползает из своей ужасной норы, преследует меня! Я слышала за собой мягкие шлепки его шагов, невнятный шорох его движения, я чувствовала на своей спине его жадный взгляд, его жаркое вонючее дыхание.

До своей квартиры я добегала, уже почти обезумев от страха, нащупывала ключ, с пятой попытки втыкала его в разношенный замок и распахивала дверь ровно настолько, чтобы успеть просочиться в образовавшуюся щель – просочиться и тут же захлопнуть, отгородиться, спастись, прислониться спиной к родному коричневому дерматиону, весело подмигивающему блестящими ребристыми шляпками обивочных гвоздиков: «Ты дома, Машенька, ты дома. Бояться больше нечего. Ты дома».

Так продолжалось изо дня в день, с редкими перерывами на выходные. Но я знала, что удача не может сопутствовать мне бесконечно, что однажды я споткнусь, упаду, прилипну к стене, зацеплюсь за железную решётку перил, скачусь со ступенек прямо в лапы, прямо в зловонную пасть торжествующего Оно. И вот однажды это действительно произошло. Уже добежав до двери, я в ужасе обнаружила, что ключа на моей шее нет. Ключ потерялся, исчез, а я даже не заметила, как это произошло, как оборвалась ленточка, которая удерживала его на моей шее, которая удерживала меня в живых над пропастью страшного Оно, неотвратимо подступающего к самым моим ноздрям.

Я отчаянно ударилась в дверь всем телом – она даже не дрогнула. Я вжала кнопку звонка – он сочувственно отозвался мне из пустой квартиры, словно говоря: «Прощай! Я здесь, внутри, а ты – снаружи. Ты никогда больше не увидишь того, что вижу я: ни кухни, ни прихожей, ни обёрнутой одеялом кастрюли с картошкой в углу дивана, ни маминого платья на стуле, ни отцовского телевизора, ни узора обоев, ни даже этого коричневого дерматина с моей стороны входной двери... Прощай! Ты уже не наша...» И это было так обидно, так несправедливо, так страшно, что я чуть не умерла от горя и обиды прямо там, на месте. Помню, в моей голове промелькнуло, что бабушка наверняка имела в виду именно такую ситуацию.

И тут из общего, грохочущего в моих ушах гама подъездных звуков вдруг явно выделились чьи-то шаги. Сначала еле слышные, словно крадущиеся, они постепенно становились всё громче и громче... они приближались... они направлялись в мою сторону! Чьи-то!.. Это сейчас я говорю «чьи-то», а тогда у меня не было на этот счёт никаких сомнений: меня настигало Оно, собственной персоной. Не в силах встретить его лицом к лицу, я отвернулась от лестницы, уткнулась лбом в дверь своей родной, но такой недоступной теперь квартиры и зажмурилась.

Ритм шагов замедлился, затем ускорился, затем замедлился снова. «Скорее бы уж», – думала я, обмирая от страха. Наконец Оно остановилось прямо у меня за спиной, переступило с ноги на ногу и поинтересовалось голосом, показавшимся мне громовым:

– Ты чего вопишь? Что случилось?

Только теперь я обнаружила, что кричу, вернее, скулю на одной тонкой пронзительной ноте. Ещё я поняла, что Оно не уничтожило меня немедленно, а это могло означать его определённую склонность к переговорам, то есть к оттягиванию развязки. Я инстинктивно ухватилась за представившуюся возможность. Сначала я перестала визжать, а потом осторожно попробовала завязать знакомство:

– Ты... Оно?

Оно озадаченно помолчало, хмыкнуло и переспросило:

– Оно? Вообще-то нет, но если это поможет... Тебя что, домой не пускают?

Слушай, может, повернёшься?

Я повернулась. Передо мной стоял щуплый очкастый мальчик примерно моего роста, со школьным ранцем на плече. Лицо его показалось мне смутно знакомым, но я не смогла вспомнить, откуда. Впрочем, времени вспоминать не было. Очкарик настолько не тянул на образ ужасающего Оно, выглядел таким комичным контрастом с моей недавней всепоглощающей паникой, что я вдруг начала хохотать, столь же безудержно, как боялась за минуту до этого. Наверное, вместе с истерическим хохотом из меня выплескивалось напряжение, скопившееся за несколько недель устрашающих путешествий по лестничным маршам нашего подъезда.

Я прямо-таки корячилась от смеха, а мальчик всё так же недоумённо топтался передо мной – нескладный, мешковатый, некрасивый, смешной, с ушами, огромными, как у Чебурашки. Вот пишу об этом сейчас, по прошествии стольких лет, и вижу его так же ясно, как тогда, каждую деталь: школьный пиджак, купленный на вырост – экономно, но не слишком оправдано, поскольку бедняга рос явно медленней планового графика, отглаженный пионерский галстук, жидкие волосы, толстые стёкла очков и, главное, эти уши, уши... ой, не могу...

Но, учитывая обстоятельства нашей встречи, думаю, никто не удивится, если я скажу, что в тот момент он показался мне прекрасным. Ещё бы. Очкастый мальчуган повлиял на меня больше, чем кто бы то ни было во всей моей последующей жизни. С тех пор я уже не боялась ничего и подъездов в том числе. Потому что мир вовсе не страшен. Наоборот, он красив и чуден. А зло и ужас живут только в нашей голове, мы сами придумываем для себя всех этих Оно. Причём некоторые увлекаются настолько, что раздувают Оно внутри самих себя, а другие видят в первых подтверждение своим придуманным страхам. Глупости. Достаточно открыть глаза, повернуться и посмотреть. И увидеть щуплого смешного очка-

рика с чебурашкиными ушами. Так я думаю, так я живу. Возможно, это тоже неправильно, но – что такое «правильно»? Как говорил Че, правильна та модель, которая облегчает существование. Причём чем сильнее облегчает, тем она правильной.

– Ты что, дура? – обиженно спросил мальчик и повернулся уходить.

– погоди, – сказала я. – Я не над тобой смеялась. Я потеряла ключ и испугалась.

– Испугалась? Чего?

– Не знаю... – пробормотала я с тем беспомощным выражением, которое безотказно действует на мужчин всех возрастов. – Страшно...

Конечно, мне уже было не страшно – ведь ровно минуту назад я перестала бояться раз и навсегда. Мне просто не хотелось, чтобы он уходил, не хотелось – и всё.

– Хочешь пойти ко мне? – неуверенно проговорил он. – Тебя зовут Маша, я знаю.

Мальчик выжидательно посмотрел на меня, и тут я вспомнила. Он жил на четвёртом этаже, в сорок восьмой квартире, которая находилась прямо над нами. Мы знали их как очень тихую семью. Обычно соседи сверху всегда слышны: кто меньше, кто больше, а кто и вовсе невыносимо. Музыка, радио, шаги, детский плач, семейная ссора, шумные гости... Этих же не было слышно в принципе, так, словно верхняя квартира пустовала. Мальчик ходил в ту же школу, что и я, но на два класса старше. Два года в десятилетнем возрасте – пропасть; стоит ли удивляться тому, что я не знала его имени? Во дворе он не появлялся... понятия не имею, как я его узнала вообще. Нужно было срочно что-то придумать, и я придумала.

– Ага, – сказала я. – Маша. А ты – Че.

Мальчик удивился.

– Почему Че? Сначала – Оно, теперь Че...

«Из-за чебурашкиных ушей! Че Бурашка!» – почти что выпалила я, но вовремя остановилась. Не годится обижать своих спасителей, особенно если не хочешь оставаться одной, без ключа, перед запертой дверью.

– Как Че Гевара, – сказала я вслух, изображая третьеклассную наивность. – У нас дома его портрет висит. Папа говорит, что это самый главный освободитель и защитник.

– Ну а я-то тут при чём? – Че покраснел, незаметно подтянул живот и выпятил грудь.

Я чуть снова не расхохоталась.

– Ну как же... я вот боялась...

– Ладно, – перебил меня он, маскируя смущение грубостью. – Нечего тут. Пошли.

Так мы и подружались – я и мой Че, освободитель испуганных и угнетённых. Это была странная дружба. Настолько странная, что я её даже немножко стеснялась. Ведь другие видели только очки, и уши, и всю его нелепую повадку, абсолютно не предназначенную для нормального общения. Что, в общем, понятно: на моей памяти Че не довелось спасти никого, кроме меня, да и то по чистой случайности. Не проходи он в тот день по лестнице, мы так бы никогда и не встретились. Думаю, это стало бы настоящей катастрофой для меня и для моего будущего. Потому что именно Че научил меня правильному взгляду на вещи.

Помню, как я в первый раз спросила его: «Почему ты думаешь, что это правильно?» – не помню уж, по какому поводу. Мы сидели тогда вдвоём на крыше нашего дома – мы всегда если встречались, то только вдвоём: из-за моего нежелания показаться рядом с ним на людях и из-за его полной непригодности к любой компании. Перед нами лежал безликий район уже начавших понемногу рассыпаться хрущёвских блочных коробок, а за ним – железная дорога, лес и поля, которые серели по мере приближения к горизонту, как будто хотели притвориться небом.

– Почему? – переспросил Че и покосился на меня, словно прикидывая, стоит ли доверить мне столь важную тайну.

«Ну вот, – подумала я. – Сейчас наверняка разведёт какую-нибудь школьную хреномуть. Как же! Они ведь в шестом классе уже физику проходят, задаваки...»

– А ты наклони голову, – сказал он. – Вот так. И слушай.

– Что слушать?

– Слушай, правильно или нет. Просто прислушайся получше.

Если бы я была года на два постарше, я бы наверняка посмеялась над ним, как смеялись над ним все вокруг. Но мне было десять лет, а ему двенадцать, и он проходил физику, химию и другие премудрости, которые ещё и не снились мне, убогой третьекласснице. Плюс к этому он как-никак спас меня от страха. Поэтому я честно, хотя и недоверчиво, сделала, как он сказал: наклонила голову и прислушалась. Сначала я не слышала ничего, кроме недовольного бурчания паршивой школьной котлеты в животе. Помню, что я уже совсем собралась фыркнуть и послать Че куда подальше, как вдруг котлета смолкла, и откуда-то, непонятно откуда, отчётливо прошелестел ясный ответ, всего одно слово: «Правда...»

Я даже вздрогнула от неожиданности и осмотрелась вокруг: не прячется ли кто за вентиляционной будкой? Нет, никого. Мир улыбался, выжидательно поглаживая на меня и обмахиваясь, как веером, серебристыми метёлками тополей. На станции за линией домов свистнула и застучала копытами набирающая ход электричка.

– Ну что? – поинтересовался Че. – Слышала?

– Подожди... – остановила его я. – Я хочу ещё...

– Э, нет, – засмеялся он. – На один вопрос – один ответ. Он тебе не попка, чтобы повторять. Да и зачем? Умному и одного раза достаточно, а дураку, сколько ни долдонь, всё равно не поможет.

– Он? Кто – «он»?

– Как это «кто»?.. – Че вскочил и обвёл руками вокруг себя. – Он! Ты что – не видишь?

Я посмотрела и увидела. Ну конечно. Это он, мир, нашёптывал правильные ответы. Всё – и пустырь, и школа, и серые растрескавшиеся коробки домов, и небо, и тополя, и свистящий табун электрички, и неясный горизонт – всё это звенело на одной и той же – правильной ноте, как одна струна, в такт, в унисон! Поразительно, что я не слышала этого прежде. Поразительно, что этого не слышал никто из моих знакомых, даже взрослые, даже родители... никто, кроме этого некрасивого, нелепого очкарика! Но почему он, почему? – Возможно, именно в силу его безобразия и нелепости: для бедного Че, изгнанного отовсюду, вернее, не принятого нигде, просто не существовало иного выхода, как искать значения и смыслы вовне, а не внутри человеческих амбиций и комбинаций...

Так или иначе, но он нашёл, а я... я воспользовалась. Но в этом ведь нет ничего плохого, правда? В конце концов, это был его свободный выбор – рассказывать мне о правильных вещах. Не мог же он врать лишь для того, чтобы скрыть эту премудрость! Тем более что я, по его же словам, была чрезвычайно способной ученицей.

– Ты удивительно подходишь миру, – говорил Че, блестя своими очками. – Ты такая же красивая и соразмерная, как он. Вы просто созданы друг для друга.

– Ага, – смеялась я. – Когда вырасту, выйду за него замуж.

Уши у него вспыхивали, как неоновая реклама на универмаге. Че вообще очень болезненно воспринимал любые разговоры о моём будущем или о моих отношениях с мальчиками. Не знаю, на что он рассчитывал, с его-то внешностью. То есть знаю, но... Но в конце концов, всему есть предел. Дружба дружбой, а любовь... Нужно сказать, что у меня никогда не было недостатка в поклонниках, никогда. Я ухитрялась скрывать их существование от Че лет примерно до девятнадцати. Да, до девятнадцати. А потом рано утром он спускался по лестнице и увидел, как я расстаюсь у двери со своим тогдашним кавалером – родители уехали на дачу, ну и... Мы были так поглощены прощальным поцелуем, что не услышали шагов: Че всегда ходил тихо-тихо, словно боялся нарушить равновесие мироздания. Поэтому я не смогла рассмотреть выражение его лица. Наверное, это к лучшему – одним ужасным воспоминанием меньше. Достаточно того, что у меня в памяти остался его затылок с едва намечавшейся плешью – он начал лысеть очень рано. Больше мы не встречались.

8 комментариев



Antiope

Тип записи: комментарий

Машенька, а календарь? Вы обещали рассказать про календарь.



Mashen'ka

Тип записи: комментарий

Ах, да, милая Антиопа, я и забыла. Этому календарю меня научил тоже Че. Он говорил, что мой день рождения приходится на день счастья. Знаете, такого полного, ничем не замутнённого, когда всё сияет – и внутри, и снаружи. У Вас ведь бывает такое, правда? Ну вот, например, если Вы с любимым. У Вас ведь, наверное, есть любимый?



Antiope

Тип записи: комментарий

Вы меня извините, но я на такие вопросы отвечать не намерена. Кому какое дело – есть у меня любимый или нет?

**Juglans Regia**

Тип записи: комментарий

У ей дуло ат пулимета – любимай, пардон май френч. Вы, Машинька, ваще – нашли с кем а люпви расгаваревать. Ана ж сапок салдаццкий, а ни деффка. Лутше мне атветте: и скока вам гатков па этаму вашему калиндарю?

**Mashen'ka**

Тип записи: комментарий

Господин Жуглан, я бы очень просила Вас воздержаться от грубостей в моём блоге. А лет мне сильно за двести. Точного числа я не помню.

**Juglans Regia**

Тип записи: комментарий

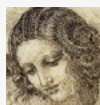
Гы... стараваты вы, душинька, стараваты...

**Milongera**

Тип записи: комментарий

Господин Мужлан, будьте любезны заткнуться, а то я рассержусь. Машенька, ну зачем Вы позволяете ему хамить?

Впрочем, это вопрос риторический. А вот конкретный: отчего это Вы с Вашим Че решили, что мир непременно прекрасен и соразмерен? Знаю, знаю: Вы сей час ответите, что нужно слегка наклонить голову и прислушаться. Но что если я и голову наклонила, и прислушалась, а вот ответ получила прямо противно положный?

**Mashen'ka**

Тип записи: комментарий

Я не решила, дорогая Милонгера, я это увидела – причём именно таким образом, как Вы и предположили: наклонила голову и прислушалась. Не знаю, почему у Вас так не выходит или получается другой ответ. Возможно, Вам что-то мешает. Только не надо отчаиваться, ладно? Когда-нибудь Вы непременно это услышите, я нисколько не сомневаюсь. Непременно.

Конец комментариев



 Milongera

Тип записи: открытая

 6



Обычно я меняю милонги как можно чаще. Надоедают одни и те же лица, одни и те же взгляды, одни и те же речи: произнесённые вслух или только намеченные приоткрытым ртом, услужливо примолкшим дыханием, дрогнувшими губами, слюной, блеснувшей на уже готовом развязаться языке, – речи, ещё не высказанные, но такие заранее известные, скучные до выворота скул и заворота кишок... зачем, зачем? Зачем вы это говорите, для чего вам необходимо постоянно выбрасывать в пространство ничего не значащие слова, этот мусор, эти мизмы? Неужели вы так боитесь жить? Боитесь настолько, что любая ясность, любая тишина, любая пауза воспринимаются вами не как возможность оглянуться, наконец, вокруг и хоть что-то, наконец, рассмотреть, а как угроза, как что-то ужасное, что-то такое, с чем невозможно справиться, от чего и убежать нельзя, а потому непременно нужно окружить себя чернильной завесой, как осьминог, или колючками, как кактус, или вонью, как скунс, или словами, как вы? Неужели вы сами не видите, какие вы при этом жалкие и мерзкие – все вы?

К счастью, во время танды предписано молчать. Хотя даже тут попадаются говоруны, которые нет-нет да и подбросят словечко... Но не о них сейчас речь. Хотела-то я рассказать о своей вчерашней милонге.

Она не самая близкая ко мне, да и помещение, честно говоря, не очень подходит: зал для игры в баскетбол. Ну и, понятно, идиотский гладиаторский антураж, сопутствующий любому спортивному сооружению: трибуны, табло, режущее глаза освещение и ввевшийся в стены запах конского пота. Отчего это спортсмены так пахнут лошадьми? Когда я смотрю на всех этих бегунов, прыгунов и футболистов, то не могу избавиться от чувства, что у них вот-вот вспучатся сзади трусы и оттуда, из-под коротко подрезанного хвоста вывалятся на арену несколько дымящихся конских яблок. И никто этому нисколько не удивится, а сами спортсмены, всхрапнув, только поведут породистым крупом да переступят с ноги на ногу в ожидании свистка. Они ведь всегда ожидают свистка, не правда ли?

И тем не менее, я люблю приезжать на эту милонгу – из-за города, в котором она находится. Это очень строгий город – самый строгий из всех, где мне приходилось танцевать. Строгий, молчаливый и какой-то отдельный от своего населения. Обычно ведь города представляют из себя прямое продолжение людей – всех этих своих *-елей*: основателей, строителей, зрителей, воителей, жителей... Города и их горожане в одинаковой степени беспечны или коварны, приветливы или опасны, чопорны или распутны. Этот же город – иной, словно и не руками человеческими выстроен. Он словно существует параллельно самому себе, независимо от себя, от своих зданий, жильцов, автобусов, полицейских, пассажиров, рынков, продавцов и покупателей. Ему словно бы наплевать на это: и на дома, и на рынки, и на людей. Такое впечатление, что он останется на месте, даже если всё это собрать одним махом и унести. И не просто останется, но даже и не заметит, не обратит внимания, как будто на самом деле выстроен он не на земле,

а над нею – в небе или где-то между небом и землёй в непонятном, не видимом нами измерении.

Оттого и танго в нём особое. Я уже говорила об отрешённости настоящих тангуэрос, о том, что нужен один для танго. Так вот, этот город очень похож на такого отрешённого ведущего: в нём поразительно легко почувствовать себя одинокой.

Я постаралась приехать не слишком поздно, потому что здешняя милонга закрывается на два-три часа раньше обыкновенного, как, впрочем, и другие заведения в этом месте. Тем не менее шла уже третья танда. Вдоль длинной стороны зала были расставлены столики и стулья, где сидели ведомые и пары – те, что пришли вдвоём или планировали танцевать вместе. Одинокие ведущие располагались в противоположном конце, на трибуне, что придавало традиционному обряду приглашения – кабасео – довольно-таки неприятный привкус. Кабасео состоит из обмена взглядами, еле заметными кивками и улыбками; есть определённая трудность проделывать этот деликатный процесс, когда потенциальная ведомая сидит на баскетбольной площадке, а потенциальный ведущий – на трибуне, откуда обычно, то есть во время матчей, слышится площадная ругань в адрес судьбы и идиотские речёвки типа: «Шайбу! Шайбу!» – или: «Бомбу! Бомбу!» – или что они там ещё вопят.

Несколько ведущих были мне смутно знакомы, но именно смутно, поэтому я не торопилась сделать свой выбор, а просто сидела у столика, потягивая сок из стакана.

– Вы не откажете мне в одном танце?

Я вздрогнула от неожиданности. Передо мной стоял щуплый, лысый, маленького роста мужчинка в толстенных очках. Понятия не имею, как он ухитрился подойти так незаметно.

– Что вы сказали? – переспросила я, чтобы выиграть время.

Подобное «лобовое» приглашение само по себе является грубым нарушением ритуала. Но в данном случае оно усугублялось ещё и откровенно никчёмной внешностью приглашающего, что делало его демарш запредельной наглостью. Эта-то запредельность и остановила меня: имей парень внешность Алена Делона, я бы немедленно отбрила его в самой грубой форме. Мужчинка развёл руками. Огромные уши его пылали.

– Извините, – пролепетал он, делая шаг в сторону. – Я понимаю... вы мне, конечно, отказываете.

– Подождите, – остановила его я. – Садитесь.

Честно говоря, меня разбирало любопытство: откуда это чучело взялось и на что рассчитывало? Мужчинка вздохнул и после некоторого колебания подчинился.

– Вы что – новичок на милонге? – спросила я по возможности мягче, дабы не пугать несчастного. – Такая форма приглашения тут не...

– Я знаю, госпожа, – перебил он. – Я именно поэтому...

– Именно поэтому?

– Ну да. Видите ли, я танцую уже четвёртый год, брал классы и вообще... но у меня очень серьёзная проблема: я ужасно боюсь отказа, просто ужасно боюсь, и потому совершенно не могу отважиться на приглашение, ну никак не могу, ну никак...

Последние слова он произнёс с неподдельным отчаянием и поднял на меня лицо, до того виновато опущенное. При этом меня не покидало неприятное чувство, что именно лица-то я и не вижу – из-за этих чудовищных очков, которые не просто прикрывали глаза, но делали их некоей переменной величиной, произвольно плавающей от размеров булавочной головки до выпученного рыбьего зрачка.

– Ну-ну... видела я, как вы отважиться не можете...

– Да нет, – заторопился он. – В том-то и дело, что это я тренируюсь. Мне один опытный человек сказал, что я просто должен привыкнуть к тому, что мне отказывают. Что это только поначалу неприятно, а потом, когда наберёшь достаточно много отказов, то уже и без разницы, как с гуся вода, – это его точные слова, госпожа: «Без разницы, как с гуся вода». Понимаете? Он сказал, что нужно выбрать несколько самых красивых женщин или таких, которые уже сидят с кавалером – то есть ситуации, когда отказ гарантирован – и приглашать их одну за другой. Я спросил его, сколько нужно набрать отказов, чтобы стало «без разницы»...

Очкарик замолчал, прерванный и одновременно успокоенный моей улыбкой. Возможно, я повела себя бестактно, но, думаю, на моём месте улыбнулся, а то и рассмеялся бы всякий.

– Ну и сколько? – поинтересовалась я.

– Не менее ста, – он сделал робкую попытку улыбнуться в ответ. – То есть ему самому понадобилось около ста, а мне, наверное, потребуется больше, потому что очень уж неприятно.

– Ну а если вам вдруг не откажут?

Бедняга пожал плечами.

– Посмотрите на меня, госпожа, – печально произнёс он. – Такой вариант мне не грозит.

Что и говорить, он был совершенно прав. Мы немного помолчали. Диджей поставил «Примавера Портена» – последнее танго текущей танды.

– Надеюсь, вы на меня не сердитесь... – сказал мужчинка с прощальной интонацией и начал привставать.

– Наоборот, – завершила его я. – Ведь ваше приглашение, по сути, является комплиментом: я не сижу с кавалером, следовательно, вы занесли меня в категорию «самых красивых женщин», не так ли?

– Так, – серьёзно отвечал он. – Вы очень красивы и превосходно танцуете. Я видел вас в...

Он перечислил несколько милонг, известных и не очень. Я и в самом деле бывала в каждой из них.

– Странно, что я вас совсем не помню.

Он смущённо пожал плечами.

– Обычно я для храбрости снимаю очки.

– Ну так снимите! – приказала я.

Увы, даже без очков его трудно было назвать красавцем. Зато я вспомнила, что и в самом деле видела, как он танцевал – с одной из платных ведомых, довольно умелой инструкторшей.

– Ага, теперь припоминаю, – сказала я. – Вы танцевали с Кларой. Конечно, до Хорхе Диспари вам далеко, но у вас есть и баланс, и ритм, и лёгкость. Пожалуй, я приму ваше приглашение.

– Простите?.. – бедняга выглядел совершенно оторопевшим.

– Нет уж, теперь это вы простите, – решительно оборвала его я. – Пригласили, так извольте отвечать. Мы с вами танцуем следующую танду.

Мужчинка оглянулся, словно ища, где спрятаться, и, не найдя ничего лучшего, надел очки. Но я не собиралась давать ему передышки.

– Немедленно снимите вашу стеклянную броню. Я же видела – вы прекрасно танцуете и без неё.

Он подчинился. Он положил очки на стол и беспомощно осмотрелся. Скорее всего, он видел вокруг себя только расплывающиеся цветные пятна. Он был, конечно, урод, но в тот конкретный момент это был очень красивый урод, несмотря на всю свою несуразную, плешиво-носатую ушастость. Он походил на неизбалованного, даже забитого ребёнка, который вышел во двор с новым велосипедом, и теперь и счастлив, и смущён, и напуган этим огромным событием, которое разом переводит всю его жизнь в новое, многообещающее и в то же время очень тревожное состояние.

Обычно человеческие лица глупы, скучны и унылы; думаю, что и лицо моего очкарика не составляло исключения... но иногда, очень редко, они словно освещаются изнутри, как китайский цветной фонарик-калейдоскоп; и на этом ярком, сияющем фоне начинают мелькать, сменяя друг друга, узоры радости, сомнения, надежды, страха, и снова радости, и снова надежды. Именно такие узоры мелькали перед моими глазами в ту ночь, в том отрешённом от земли городе, в провонявшем конским потом баскетбольном зале, превращённом в милонгу на несколько коротких часов. Нечего и говорить, что я залюбовалась столь редким зрелищем.

– Я не очень твёрдо веду, – вдруг сказал он, словно припомнив что-то. – И знаю мало сиквенсов. А если вы любите близкое абразо, то должен вас разочаровать...

– Самое то, – парировала я. – Запомните: чем лучше ведомая, тем меньше она хочет, чтобы ей диктовали каждое движение. Что же до сиквенсов, то танго – не компьютерная программа. Больше сиквенсов я ненавижу только близкое абразо. Грудь ведущего – это не сосна, а я – не медведь, чтобы об неё тереться. Усвоили?

Он улыбнулся в ответ – улыбкой почти счастливого человека. Перерыв заканчивался, вот-вот должна была открыться следующая танда.

6 комментариев



Juglans Regia

Тип записи: комментарий

И фсе? Ну-у, так мы ни дагаваревались. Нихарашо, дарагая Милонгерочка, абрывать на самам интиреснам. Што дальши та было? Нибось бычьих яиц у этава танцора ни абнаружилось, хе-хе...



Milongera

Тип записи: комментарий

Отчего же вы так в этом уверены, господин Мужлан? В тихом омуте, знаете...

**Juglans Regia**

Тип записи: комментарий

Йирунда, дарагая Милонгерочка. Ф тихам омути ни водицца ничиво, кроме тины. И кроме стаячей вады там ничиво ни стаит. Настоящи бычачьи яйца можна абна- ружить тока у быка. Магу такжи придлажить сибя. Ни верите – приежайте, пакажу. Или скажити адрисок, я сам падъеду, с висами.

**Milongera**

Тип записи: комментарий

С весами? А весы-то зачем?

**Juglans Regia**

Тип записи: комментарий

Хе-хе... а как жи па-вашиму мы станим яйца взвешевать? Биз висофф-та ни- спадручна, хе-хе...

**Antiopa**

Тип записи: комментарий

Вот же пошлая мразь... тьфу!

Конец комментариев

**Milongera**

Тип записи: частная



0



Итак, перерыв заканчивался, вот-вот должна была открыться следующая тан- да, и тут к нашему столику подошёл мужчина лет сорока. Подошёл и сразу же уселся, не дожидаясь приглашения, словно предъявив невидимому контролёру входной билет в виде полуутвердительного «можно?».

– Нельзя, – ответила я тоном, не оставляющим ни малейших сомнений в моём искреннем возмущении.

Мужчина благожелательно хохотнул и остался сидеть. Он явно принадлежал к одному из самых неприятных человеческих типов, именуемому мною «СС» – «самец самодовольный». Высокий, без малейшего намёка на брюшко, с тяжёлой многозначительной спиной и медальным профилем, которым он, видимо, особо гордился, ибо, разговаривая, поворачивался к собеседнику боком, гордо обозре- вая перпендикулярные разговору дали.

– В чём дело? – поинтересовалась я, потихоньку свирепея. СС-ы бесят меня каждым своим движением. – Вам что-то от нас нужно?

Самец снова хохотнул и опустил глаза к ширинке, словно приглашая самый важный свой орган посмеяться вместе с ним.

– Ну зачем же так недружелюбно? – произнёс он мужественным баритоном. – Во-первых, это всё же общественное место, не так ли? Включая и данный столик. Следовательно, оно доступно и такому скромному представителю общественности, как ваш покорный слуга... извините, я не представился...

СС вытянул в моём направлении красивую ладонь с розовыми ухоженными ногтями:

– Боб.

– Хоть баобаб, – отозвалась я, тщательно дождавшись, пока рука не опустится, безответно повисев над столиком. – Мне-то какое дело? А касаясь общественности данного места позвольте вам напомнить, что даже в общественном туалете не ломятся в занятую кабинку.

Он снисходительно улыбнулся. Он не смутился ни на йоту. Его спина оттого и выглядела многозначительной, что за ней вповалку лежали поверженные в прах мужчины и поверженные в трах женщины. Этот болван был решительно непробиваем.

– Но есть и во-вторых, – баритон самца вдруг приобрёл бархатный оттенок. – Во-вторых, я намеревался сплясать с вами сальсу-другую.

Он так и выразился: «Сплясать сальсу-другую».

– Я не танцую сальсу, – ответила я.

– Ну тогда танго.

– Танго уже обещано мною этому господину.

– Кому-кому? – изумленно спросил СС, впервые поворачиваясь ко мне анфас – исключительно для того, чтобы сориентировать свой ударный профиль в направлении моего маленького очкарика. – Этому, что ли?

Очкарик пискнул. Он уже надел очки, так что выражение глаз было опять неразлично, зато уши сменили свой цвет с ярко-красного на снежно-белый. Он слегка приподнялся на стуле, поёрзал и передвинулся к самому краешку. Самец насмешливо поднял брови.

– Ну, с этим-то кавалером мы договоримся, – сказал он уверенно. – Не правда ли, дружище? Вы ведь не станете возражать, если я сделаю кружок-другой с вашей прекрасной дамой? Обещаю вернуть её в целости и сохранности... как говорится, усталую, но довольную... хо-хо-хо...

Очкарик снова пискнул. На него было жалко смотреть. В зале заиграла музыка – танго «д'Ариенцо». Я стукнула ладонью по столу.

– По-моему, вам ясно объяснили: это танго обещано другому.

Самец улыбнулся и снова оборотился ко мне профилем. Своей подвижностью его голова напоминала избушку Бабы-Яги.

– Извините, но есть проблемы, которые должны решаться только между мужчинами, – мягко заметил он. – Вовлекать туда женщину означает проявлять неуважение прежде всего к ней.

Я закусила губу. На этот раз наглец был безусловно прав. В чём, в чём, а в петушином этикете он склевал не одну собаку.

– Итак? – избушка снова повернулась к лесу задом, к очкарику передом. – Я уже вижу, что вы согласны. Спасибо вам огромное.

Маленький мужчинка начал привставать. Руки он держал сцепленными перед собой, словно собирался поклониться.

– Я... – пролепетал он. – Я, конечно... со своей стороны... пожалуйста, я готов...

– Да как вы можете? – возмутилась я, не веря своим ушам. – Вы готовы?! К чему? Вы что, уступаете этому... этому...

Нечасто я затрудняюсь подобрать нужные слова, но это был именно тот случай. Очкарик повернулся ко мне. Выражения глаз я, конечно, не разглядела – лишь запотевшую броню очков и мучительно искривлённый рот.

– Простите... – выдавил он. – Это не из-за вас, это из-за меня... вам будет лучше с ним... со мной совсем плохо... это я вам верно говорю, я знаю...

– Да что вы за меня-то решаете? Лучше! Откуда вам знать, что мне лучше?!

Но он уже пятился мелкими шажками, сцепив руки на груди и кивая, как китайский болванчик. Я вдруг поняла, что ужасно устала. Ужасно. Нечего было и думать о танго этим вечером. Нужно снимать туфли и уходить. Мешочек со сменной обувью лежал здесь же под стулом; я наклонилась вытряхнуть его на пол, и в этот момент чёртов самец коснулся моей руки.

– Вы что, не собираетесь со мной танцевать?

– Пошёл вон, – сказала я. – Если ты ещё раз посмеешь коснуться меня, я крикну, и ты попадёшь в полицию.

– В полицию – это хорошо... – он ухмыльнулся. Теперь он смотрел прямо на меня, да и вся его повадка как-то неуловимо изменилась. – Честно говоря, госпожа, я и есть полиция. Полицейский следователь, если точнее.

– Да хоть сам премьер-министр, – сказала я и продолжила спокойно расстегивать ремешок.

У меня превосходные туфли для милонги, просто превосходные... наверное, поэтому мои руки ни капельки не дрожали и не суетились. Повторяю, я не дрогнула ни единой жилкой.

– Надеюсь, ещё не придуман такой ордер, который обязывает танцевать с полицейским?

– Танцевать – нет... – согласился он, многозначительно покачивая головой.

Смысл этой многозначительности был более чем ясен. У нас, мол, ордеров и без танцевального хватает, госпожа, так что не мешало бы вам озаботиться, если есть чем... а у вас ведь есть чем озаботиться, госпожа, не так ли? Наглец самым очевидным образом брал меня на испуг. Но я и бровью не повела. Я спокойно закончила переобуваться, встала со стула, накинула куртку и, не попрощавшись, пошла к выходу. Спиною я чувствовала его взгляд, взгляд охотника. Ничто не приводит меня в большую ярость, чем взгляд охотника. Я не согласна существовать в качестве дичи. Я ненавижу охотников.

Из динамиков ритмичными толчками выплескивалось танго. Мало того что не получилось потанцевать, так теперь за мной ещё и охотились. На выходе я оглянулась: за столиком уже никто не сидел. «Что ж... – подумала я. – Только попробуй...»

На улице стояла ночь, полная чистого прозрачного воздуха. Я глубоко вдохнула и почувствовала себя лучше. Этот город умел убивать, но умел и врачевать, не прилагая к тому никаких усилий, – просто так, по ходу дела, в зависимости от настроения, даже не меняясь в лице. В самый раз для меня. Терпеть не могу со-

чувствия, этой липкой чужой сопли на моём воротнике: нет ничего более мерзкого в инвентарном наборе человеческой фальши. Злоба и то лучше – по крайней мере честнее. Когда им наконец удастся меня утопить, то, ради Бога, пусть сделают это с неприязненным выражением лица. Не надо изображать скорби!

Стоянка была рядом, но если уж город предложил прогуляться, то не следовало упускать такой возможности, и я взяла его под руку. Мы медленно шли мимо светящихся витринами торговых аркад, думая каждый о своём, бескорыстные в своём случайном соседстве. Никто не обгонял нас. По каменным щекам стен ползали фиолетовые тени, редкие прохожие тихо брели навстречу, оставив внутрь себя отрешённые взгляды, – так, словно им некуда было торопиться. Часы на площади показывали половину второго.

– Мне пора, – сказала я своему попутчику. – Спасибо за прогулку.

Город равнодушно промолчал. Вместо него с преувеличенной бодростью ответил кто-то другой:

– Ну наконец-то! Вот вы где! А я обыскался...

Я оглянулась: в пяти шагах сзади, на фоне витрины ювелирного магазина светился знакомый медальный профиль.

– Как тебе это нравится? – сказала я городу. – Господин охотник собственной персоной.

– Глупости, – презрительно отвечал город. – Здесь охочусь только я.

– Смотри же... – предупредила я. – Сегодня меня уже один раз уступили. Надеюсь, ты поведёшь себя иначе...

– С кем это вы разговариваете? – поинтересовался самец-следователь, подходя ко мне вплотную. – Ах, мобильный...

Я сделала вид, что сдергиваю с головы наушник, и повернулась лицом к охотнику. Так безопаснее всего. Вид спины лишь ещё больше мобилизует их гадкие инстинкты.

– Что вам от меня нужно?

– Ну почему вы так неприветливы? – он огорчённо причмокнул. – Я всего-то и хотел проводить вас к вашей машине. Знаете, поздно уже... красивая женщина, одна, в этом районе... неровён час...

– Мне не требуются провожатые. Будьте добры оставить меня в покое.

СС развел руками.

– Не могу, уж извините. Мужское достоинство не позволяет.

– Видишь? – шепнула я городу. – Этот мерзкий петух не успокоится, пока не перетопчет всех, кто кажется ему курицами.

– Не бойся, просто иди вперёд... – прошелестел город мне на ухо.

Что ж, прямо так прямо... я двинулась в указанном направлении.

– Вы уверены, что правильно идёте? По-моему, стоянка направо... – медальный профиль не отставал, покачивался справа и сверху от моей головы.

Но я и не думала отвечать. Зачем? Во время танды не принято разговаривать. Особенно когда у тебя такой надёжный ведущий, как город. Я просто держалась заданного ритма, как и подобает ведомой, а потом вовремя почувствовала, что сейчас последует левое гиро, и повернула за угол. Город вознаграждал меня улыбкой. Мы танцевали впервые, но делали это на редкость согласованно. Одно тело, четыре ноги. Надоедливый охотник повторил наше па, а затем как-то суетливо забежал вперед и преградил нам дорогу. Мы с городом вынуждены были остановиться.

– Да что же вы так бежите? – почти обиженно проговорил охотник. Он слегка запыхался. – Почему? Что я вам такого сделал, а?

– Да он и в самом деле наглец... – усмехнулся город.

– Пропустите меня! – потребовала я.

– Подождите! – охотник крепко ухватил меня за руку повыше локтя. – Вы ведь так же убегали и от них, не правда ли?

– Вы делаете мне больно, – я произнесла это с ледяным спокойствием, но внутри меня клокотала ярость. – Отпустите руку.

– Это ведь вы их убили? – сказал он, уставившись мне в переносицу, как следователь в дешёвом детективе. – Почему?

– Отпустите руку, – повторила я.

– Отвечайте!

– Я понятия не имею, о чём вы говорите. Отпустите руку.

– Почему вы сбросили с моста того парня? Отвечайте! У нас есть описание женщины, и оно совпадает с вашим. Вы и сейчас ведёте себя более чем странно...

– Отпустите руку, вы делаете мне больно!

Охотник разжал пальцы, и город, воспользовавшись этим, немедленно сделал салудо¹⁷ и сразу за ним – очо. Да, этот кавалер явно не собирался уступать своё право на танец...

– Остановитесь! – кричал нам застигнутый врасплох охотник. – Я вам приказываю, остановитесь!

Его шаги гулко стучали позади, а мы... мы стремительными восьмерками неслись вниз по тёмной пустой улице, в ритме быстрых шагов танго «д'Ариенцо». Это было замечательно, замечательно!.. Но вот танго смолкло, город бросил меня в последнее гиро и остановился. Конец танды. Я поблагодарила ведущего и огляделась. Мы стояли в тёмном маленьком дворе – из тех, которые называются даже не дворами, а задворками, задворками дешёвых едаден, пабов и ресторанов. Тут и воняло соответственно: отбросами и мочой. В метре от меня высился огромный мусорный бак, размерами напоминающий бульдозер. Впрочем, не только размерами: внутри бака что-то скрежетало и позвякивало.

– Вы долго собираетесь от меня бежать? – охотник, тяжело дыша, шёл ко мне с улицы. – Хотите, чтобы я надел на вас наручники за сопротивление должностному лицу при исполнении...

– Нога... – шепнул мне город откуда-то сбоку. – Я подвернула ногу...

– Я подвернула ногу, – жалобно повторила я. – Вот... не могу ступить.

– Ногу... – самец расправил плечи и хмыкнул. – А вот нечего бежать, тогда и не подвернёшь. Дай-ка посмотреть... что тут у нас с ногой...

Он наклонился. Не знаю, как очутился в моей руке обрезок стальной трубы. Думаю, что и тут город помог. Мне оставалось лишь размахнуться и ударить со всей силой, на какую я была способна. Я угодила ему точно по затылку, но самец, что и говорить, попался не из последних. Он даже не упал, а только опустился на одно колено, как подбитый боксёр, постоял так секунды две, а затем стал выпрямляться, пока не встал во весь рост, опираясь спиной о мусорный бак.

– Ну что ты стоишь, как засватанная? – вежливо осведомился город. – Бей!

Я снова ударила охотника – прямо по медальному профилю. Он отшатнулся, смягчая удар, и плавно перевалился в бак.

¹⁷ Салудо, очо – танцевальные па.

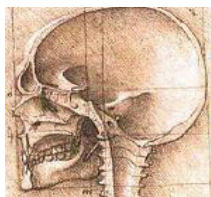
– Всё, – сказал город. – Теперь можешь идти домой... Эй! Трубу-то оставь...

Я бросила трубу в контейнер, вслед за охотником. Мусорный бульдозер вдрут дрогнул, зажужжал, дёрнулся прежде не замеченный мною трос, стальная стенка бака с ужасающим скрежетом сдвинулась и... поползла, сминая на своём пути всё содержимое. И тут я наконец поняла: этот контейнер действительно был не простой, а из тех, что снабжены прессующим устройством для плотной упаковки мусора – обычно бумажного или картонного. Только на здешних задворках в него пихали не только картонные коробки, но и все, что под руку попадет, включая овощную гниль, говяжьи кости, битую штукатурку, пищевые отбросы, стекло... и вот теперь – незадачливого самца-охотника.

Из бака послышался полузадушенный стон, хруст... снова хруст...

– Иди домой, – повторил город у меня за спиной. – Милонга закрывается.

И я пошла на стоянку, к своей машине. Никогда заранее не скажешь, окажется ночь удачной или нет. Иногда приходишь на милонгу, а там хороший диджей, зал прекрасен, ведущие – первый сорт, так что думаешь: вот уж теперь отведу душу... а потом всё летит наперекосяк, всё не так, как надо. А иной раз и жизнь уже проклянёшь, и с надеждами расплюёшься, а настоящее танго – вот оно, ждёт тебя в самой последней, прощальной танде. Не зря говорят, что лучший танец получается под самый конец, когда все уже порядком подустали: ведь милонга – это танцующее отчаяние, а усталость – его щадящая разновидность.



 **Arkady569**

Тип записи: частная



Сказать, что я увлёкся охотой – значит, не сказать ничего. Я постоянно думал о Гиршуни и о его... как бы их определить?... – поднадзорных блогерах. Я думал об этом, просыпаясь, думал, засыпая, думал в течение дня и наверняка продолжал думать во сне. Чем больше деталей открывалось мне из записей в их открытых и секретных дневниках, тем сложнее и изощрённее складывалась общая картина головоломки.

Взять хоть эту Машеньку... Раньше её присутствие в сфере гиршуниных интересов казалось мне совершенно необъяснимым – пока вдруг не выяснилась эта старая, ещё детская, школьная история, рассказанная Машенькой с такой очаровательной непосредственностью.

Получается, что Гиршуни был влюблён ещё в школе! Я попытался припомнить девочку, подходящую под машенькины описания. Наша школа и в самом деле стояла на пустыре, по краям которого тут и там торчали уродливые дома, похожие на нечищенные зубы. В какой из этих домов она возвращалась после уроков? Поди теперь узнай... Нет иерархии жёстче и непреодолимее, чем детская и подростковая: маленькие люди безгранично презирают младших и безропотно принимают презрение старших. Мог ли я теперь воскресить в памяти девочку, которая много лет назад существовала двумя классами ниже меня? Скорее всего, я сталкивался с ней во дворе, мельком, но и тогда, наверное, смотрел мимо, сквозь, не замечая.

Впрочем, тёплое, домашнее слово «двор» не слишком подходило для монструозных ячеек советского новостроя, именуемых «микрорайонами» – этого сюрреалистического торжества квадратно-гнездового, зарешеченного метода, который знаменовал полную и окончательную победу социализма над человеческим лицом и применялся повсюду: в сельском хозяйстве – при высадке картошки, в обществе – при посадке людей на должности и в тюрьму, в градостроительстве, в спорте, в культуре и во всех прочих областях несчастного, спёртого бредовой идеей человеческого духа.

«А этот квадрат, дети, называется гнездом...» – ну как, скажите мне, как квадрат может быть гнездом? Гнездо – это ведь что-то округлое, тёплое, сонное, заботливо обмазанное глиной, чтоб не поддувало, с торчащими во все стороны веточками и перьями, с мягким пухом под ухом, с горячим маминым животом, с копошащимися под боком живыми комочками братьев и сестёр, что-то, из чего не хочется вылезать, что-то, из чего не вылезает, а вырастаешь, и это единственная причина, по которой туда уже никак невозможно вернуться, даже если очень хочется, и ведь действительно хочется, но нет – никогда, никогда. Это – гнездо. А квадрат – он квадрат и есть...

Наш квадрат, наш микрорайон, наше продуваемое со всех сторон, унылое, уродливое, неуютное по определению, издевательское по замыслу и душегубное по исполнению «гнездо» было ограничено даже не улицами – ибо в самом слове «улица» заложена немилая квадратно-гнездовому сознанию улиточная кривизна – а проспектами. Их длиннющие имена отражали бесконечную протяжённость и несуразность социалистической мечты: проспект Народного Просвещения, проспект Подводника Кожемякина, проспект Партизана Николаева и проспект Кима. Обманчивая краткость последнего таила в себе засаду: на самом деле это была аббревиатура. В полной официальной форме название подразумевалось как «проспект Коммунистического Интернационала Молодёжи».

Впоследствии Ким без каких-либо объяснений был переименован в Подпольщика Михайлова. Я прекрасно помню недовольство жильцов микрорайона по этому поводу. Перемен тогда боялись все. Квадратно-гнездовой метод жизни предполагал полную и окончательную неизменяемость, так что любое, даже минимальное движение, включая дыхательное, неминуемо порождало в головах граждан противоестественные сомнения в основах бытия. Потому-то сердобольные власти и старались ограничить совсем уж неизбежные изменения одной лишь словесной сферой, например, переименованиями улиц. Думаю, начальники интуитивно понимали, какой взрывной потенциал заложен даже в мельчайшей, незначительной перемене: будучи непререкаемо устойчивыми с точки зрения самой правильной в мире теории, квадратные гнёзда оказались поразительно несопрягаемы с неправильной кривизной жизни. Чуть дёрнулся тут, чуть подвинулся там... глядь – и всё с таким трудом воздвигнутое сооружение зашаталось, накренилось, задрожало... неровён час – рухнет. И ведь рухнуло в итоге, рухнуло... Может, не следовало даже переименовывать?

Сердцем нашего микрорайона был пустырь, а сердцем пустыря – курган, то есть рукотворный холм – плод творческого подхода строителей к проблеме вывоза мусора. Возможно, в своё время, сгребая сюда бульдозерами обломки бетонных конструкций, заросшую цементом опалубку, клубки ржавой арматуры, пустые бумажные мешки, мятые жестяные бочки и прочую разнообразную пре-

лесть, они честно собирались убрать за собой – потом, в светлом будущем, когда представится такая возможность. Просто такой возможности не представилось, вот и всё. Обещанное светлое будущее не наступило, а тёмное настоящее торопило громадьём планов. А потому, устав ждать обещанного, строители присыпали получившуюся гигантскую грудку землёй и ушли по нескончаемым проспектам вперёд, к новым квадратным гнёздам.

Поскольку под курганом лежал не матрос Железняк, служивший в других местах естественным удобрением, а каркас железяк, бетона и вредного асбеста, то на нём и не росло ничего, даже бурьяна. Ничего не росло и вокруг, словно бедняга-пустырь никак не мог отойти от шока, вызванного появлением столь уродливого прыща на его щеке – в остальном, в общем-то, ровной, хотя и несколько осповатой от простительно неглубоких ямок. В летнюю часть года курган представлял собой неприятную помеху для игры в футбол; осенью и весной размокал вместе со всей скользкой глинистой окрестностью, что, наверное, сбивало с толку перелетных птиц, которые вполне могли принять его сверху за слона, заснувшего посреди африканского пруда.

Зато зимой курган превращался в замечательную ледяную горку – гордость нашего микрорайона. Его длинная, наиболее пологая сторона стекала к пустырю широким чёрным языком, отполированным до зеркальной гладкости штанами и шубками окрестной ребятни. Взрослые парни, поддатые и злые, катались «на ногах», то есть стоя – в одиночку или в визгливой сцепке с такими же поддатыми и злыми деваками. Дети поменьше отходили в это время в сторонку, чтобы большие не зашибли – благо что катание «на ногах» долго не продолжалось: наскучив забавой, компания уходила – куда-нибудь, если было куда, или в никуда, если некуда было.

Наверное, и Машенька когда-то стояла там, пережидая, держа в обросшей ледышками варежке задубевшую верёвку от санок. Наверное. Поди упомни всех стоявших там малышей... Как странно, что она всплыла сейчас в этом интернетовском блоге, абсолютно незнакомая, чужая и в то же время – близкая и узнаваемая каждой чёрточкой нашего бывшего мира, нашего квадратного гнезда, нашего общего корня, который как-то ухитрялся вытягивать нужные для жизни соки из пустыря, где не росло ничего, кроме ржавой арматуры.

Кем она приходилась Аркадию Гиршунни теперь? Судя по машенькиному дневнику, окончательное её расставание с безнадёжно влюбленным Че произошло ещё в ранней молодости, и с тех пор они больше не встречались. Последнее было трудно себе вообразить, учитывая, что люди проживали в одном подъезде. Наверняка могли случайно столкнуться у лифта или увидеть друг друга в окно. Хотя, зная Гиршунни, я не удивился бы ничему...

С другой стороны, примерно через шесть лет, то есть на праздновании десятилетия нашего школьного выпуска, он был уже не только женат, но и имел дочь неизвестного возраста. Впрочем, почему «неизвестного»? Учитывая, что Антиопа сейчас служит в армии, можно вычислить и её тогдашний возраст... так... сколько это будет?... – три года! Следовательно, получается, что Гиршунни женился в возрасте двадцати двух – двадцати трёх лет, то есть всего лишь через год-два после якобы «последней» встречи с Машенькой. Причём женился на девушке по имени Маша.

Как хотите, но подобные совпадения *в реале* не встречаются. Конечно, есть лю-

ди, которые способны быстро забывать тяжёлые потрясения, но принадлежит ли Гиршуни к их числу? Нет-нет, что вы, что вы... Скорее всего, виртуальная Машенька блогов и реальная Маша, жена Гиршуни, представляли собой одно и то же физическое лицо. Вы спросите: зачем тогда интернетовской Машеньке понадобилось скрывать факт своего замужества с Че? Наиболее вероятный ответ я уже приводил в предыдущих записях: дело в том, что многие используют блог как своеобразный прогон альтернативного варианта жизни.

Типа того: а что случилось бы, если бы в определённый критический момент... а впрочем, почему обязательно «критический»?.. разве знаем мы о нём, что он именно критический?.. – ничего мы не знаем, даже в голову не приходит. Вот мы выходим за дверь и слышим, как в пустой уже квартире раздаётся телефонный звонок. Вернуться? Не вернуться? И вовсе не обязательно, чтобы на другом конце провода оказалась английская королева – возможно, кто-то просто ошибся номером. Но возвращения будет достаточно, чтобы опоздать на тот самый автобус, где... или проехать тот самый перекресток пятью минутами позже, чем... или, спускаясь по лестнице, упереться глазами в ту самую распахнутую дверь, на пороге которой твоя заветная и единственная в короткой ночной сорочке, приподнявшись на цыпочки и прижавшись всем телом, целует взасос сияющего довольством жеребца...

Всё это так очевидно, что не нуждается в пояснениях. Сколько об этом говорено – не перечесать, сколько фантазий на эту тему названо пустыми, сколько придумано трезвых пословиц насчёт пролитого молока, по которому не плачут, сколько песен призывают: «Не гляди назад, не гляди...»

Вот так уж прямо и «не гляди...» А если очень хочется? А если вдруг подарить вам такую бесценную возможность, да ещё и совсем безопасно, без отрыва от вашего текущего варианта? Не то чтобы текущий вариант был плох, вовсе нет. Вы ведь тогда сначала поцеловали своего на славу потрудившегося жеребчика, а уже потом со всей осторожностью приоткрыли дверь, причём не всю сразу, а потихоньку, щёлочкой, прислушиваясь к лестничным звукам и придерживая одной рукой, в то время как другая с шутливым возмущением отбивалась от похабных попыток прихватить вас за оставшиеся без присмотра филейные части, и, уже после всего этого, окончательно убедившись в полной безопасности завершающего маневра, вытолкнули своего случайного любовника наружу, отделавшись от вопроса «позвонишь?» неопределённым пожатием голого плеча – вытолкнули, чтобы забыть уже к середине дня, вечером которого ваш другой, не временный и случайный, а постоянный и очень серьёзный, но такой нерешительный поклонник, наконец, отважился поцеловать вас в щёчку и предложить руку и сердце, на что вы, подумав, согласились, и вышли за него замуж, и родили ему детей, и прожили, в общем, достаточно хорошую жизнь... хотя, когда это, спрашивается, счастья бывает достаточно?

Не так уж и плохо, правда? Но отчего бы не допустить, что жеребчик попался тогда особенно ненасытный? Что, чрезмерно возбуждись от прощального поцелуя, перешедшего в более объёмную программу действий – есть ведь такие любители, которые обожают делать это буквально на пороге – заерзал, путаясь в пуговицах и поясах, потерял равновесие и, ухватившись за ручку двери, нечаянно распахнул её в максимально неудачный момент, не оставляющий сомнений даже у самых невинных толкователей? Как бы тогда сложилась жизнь, а, Маша?

И вот садится такая Маша за компьютер и создаёт себе блог, где она и не Маша вовсе, а Машенька – та самая, не вовремя увиденная своим потенциальным супругом. И Машенька эта начинает пробовать жить: учится ходить, говорить, у неё мало-помалу обнаруживается и прошлое, и настоящее, и будущее. Она общается со своими интернетовскими друзьями, причём их у Машеньки даже больше, чем у Маши, рассказывает им о себе, и они верят. И хотя она поначалу всё время помнит, что это всего лишь игра, но другие-то верят, верят!.. и так заразительна эта чужая вера, что очень скоро вместе с другими начинает верить и она сама. И вот уже абсолютно живая, реальная Машенька твёрдой походкой выходит в самостоятельную жизнь.

Во многом она похожа на Машу, но это не Маша, нет!.. Это только в первые месяцы совместного существования они говорят одним голосом, что объяснимо: всё-таки слишком многое их объединяет; но чем дальше, тем меньше вы обнаружите сходства между Машей – толстой домашней клушей, матерью семейства, женой неприметного тель-авивского суслика, и Машенькой – воздушной москвичкой, таинственно свободной, вслушивающейся, наклонив голову, в шелест приводных ремней огромного мира, живущей по своему, особому календарю, внятному лишь посвящённым.

Сначала Машенька появляется в среднем всего на полчаса в сутки, когда Маша, оторвавшись от бесконечных домашних дел, ухитряется, наконец, отогнать детей от компьютера. Но мало-помалу машенькина доля в ограниченном двадцатичетырёхчасовом пироге суток возрастает: Маши становится всё меньше, а Машеньки всё больше. А уж время сна принадлежит Машеньке почти безраздельно. Более того, у неё есть все шансы не только выжить, но и пережить Машу! В самом деле, о внезапно переставшей писать Машеньке могут вспоминать ещё несколько лет, а кто вспомнит почившую Машу? Разве что дети помянут дважды в год, да и то мимоходом... От Машеньки останется её блог, а что, кроме могилы, останется от Маши?

Так кто же из этих двух женщин реальнее?

Не знаю, разделял ли Гиршуни такую точку зрения, но за alter ego своей жены – за её блогом – он следил весьма пристально. Возможно, его волновало постепенное уменьшение Маши в пользу Машеньки? Возможно, он боялся, что однажды жена исчезнет вовсе, замётённая пургой интернетовской переписки, – помните этот его сон про батарейки? Так или иначе, но повышенное внимание Гиршуни к блогам Машеньки и Антиопы было легко объяснимо.

Чего я никак не мог понять, так это другого: какую роль играла в гиршуниной жизни вторая пара – Милонгера и Жуглан. Ну что такого интересного находил мой ушастый суслик в «падонкаффской» фене стареющего мачо и в психопатических фантазиях любительницы танго? Почему именно они? Я долго мучился догадками, пока, наконец, очередная запись Милонгеры не дала частичный ответ: Гиршуни знал её лично, наблюдал за ней в разных танцевальных залах... или как они там зовутся? – милонгах?.. Более того – она ему явно нравилась, хотя он долго не решался подойти, а когда всё-таки подошёл, то и тут ухитрился облажаться по самые уши.

Это придало сюжету новый поворот. Прежде всего, выяснялось, что Гиршуни был не таким уж домашним сусликом, каким казался на первый взгляд. Уж не оттого ли он так тщательно следил за своей Машей, что сам нет-нет да и высовы-

вался из норки, а то и пошныривал по окрестным пампасам в поисках всевозможных экзотических милонгер?

Другой немаловажный вывод заключался в том, что Милонгера проживала здесь же, в Стране¹⁸. Почему я так решил? Потому, что Гиршуни слишком редко выезжал, чтобы иметь возможность часто видеть её за границей. И ещё: в городе, описанном в последней милонгеровской записи, чётко угадывался Иерусалим: он часто действует на психов особенным образом, а Милонгера, без всякого сомнения, была сумасшедшей на всю голову. Взять хоть эту её навязчивую манию: ну зачем нормальной женщине воображать себя серийным убийцей? Я ещё раз внимательно перечитал её блог, стараясь связать не слишком определённые описания с конкретными приметам известных мне мест. Теперь всё выглядело намного понятнее.

Например, тот зал, где Милонгера танцевала с японцем, мог располагаться вблизи Алмазной биржи, в даунтауне Рамат-Гана. Этот нависающий над Аялонским хайвеем район днём напоминал странную рощу, где из низкого кустарника уродливых сараев и трухлявых трёхэтажных пеньков барачного типа торчали, теряясь в небесах, стройные стволы современных высотных зданий. С наступлением темноты даунтаун переходил в полное распоряжение ночной индустрии греха: публичных домов, слегка замаскированных под массажные кабинеты, стриптиз-баров, бильярдных, подпольных игорных притонов, пип-шоу и летучих отрядов уличных проституток. Не исключено, что среди всего этого многообразия размещалась и милонга, возможно, даже и не одна.

Биржа находилась не так далеко от нашей работы: остановках в пяти, не больше. Когда я впервые об этом подумал, мне стало не по себе. Уж не собираюсь ли я туда отправиться? Согласитесь, это было бы уже чересчур. Одно дело – шарить исподтишка в соседском компьютере, и совсем другое – устраивать реальную слежку за реальным человеком. Не слишком ли далеко я захожу? Конечно, слишком! Конечно! Никуда я не пойду, ни в какой даун-таун!

– Аркадий... Аркадий...

– А? Что? – вскинулся я.

Гиршуни удивлённо смотрел на меня, высунувшись из-за своего монитора.

– Ты что-то сказал?.. – проговорил он в своей обычной полувопросительной манере. – Спросил? Повтори, я не расслышал.

– Нет-нет, ничего...

Я потряс головой, возвращаясь к... к чему, а?.. ну признайся, ты ведь хотел сказать «к реальности», не так ли? – Так. Ну и что? – Как это «ну и что»? Не ты ли совсем недавно утверждал, что ещё неизвестно, кто реальнее: Маша или Машенька? А коли так, то какая, к чёрту, разница между виртуальной слежкой за чьим-то блогем и реальной... – нет, только не «реальной», надо найти другое слово, чтобы окончательно не запутаться... но какое?.. может, «обычной»?.. ладно, пусть будет «обычной»... – и обычной слежкой, когда идут за человеком, маскируясь метрами и случайными прохожими, а не количеством промежуточных серверов, когда высматривают его в стекле витрины, а не в программных логах, когда устают глаза и ноги, а не глаза и руки? Какая, к чёрту, разница? – Между чем и чем? – Между руками и ногами, мать твою...

¹⁸ Имеется в виду историческое название «Страна Израиля». В разговорной речи его зачастую сокращают до одного слова.

– Аркадий...

– А? Что?

Гиршуни снова смотрел на меня, ещё удивлённее прежнего. Наверное, я снова что-то произнёс вслух.

– Извини, – сказал я. – Я сегодня не в своей тарелке. Не обращай внимания.

Он пожал плечами.

– Хочешь, чтобы я тебя заменил?

– Заменил? – переспросил я и тут только вспомнил: на сегодня мы запланировали общий системный апдейт, который в нормальных фирмах обычно производится только ночью, дабы не мешать дневным пользователям.

Вообще говоря, здесь эту процедуру можно было бы проделать и днём, ибо, с точки зрения нулевой загрузки работой, все двадцать четыре часа суток характеризовались в нашей конторе похвальным социалистическим равенством. Но, признав этот факт, мы поставили бы под сомнение и свою собственную полезность.

– Нет, нет, спасибо, я справлюсь.

Гиршуни с сомнением покачал очками.

– Не волнуйся, – повторил я. – В полночь заряджу, в три тридцать проверю, а в перерыве вздремну. У меня и будильник есть.

После обеда я ушёл домой, немного покомарил и вернулся в половине двенадцатого. Незнакомый, странного вида ночной охранник, весь в дредах и пирсинге, долго изучал мой пропуск, самым очевидным образом недоумевая, что может понадобиться здесь нормальному человеку в столь поздний час. Ха!.. Нормальному!..

– Неотложная работа, – пояснил я. – Компьютеры.

– Ага! – понимающе ухмыльнулся охранник и вернул карточку. – А ещё говорят, будто это они нам служат, а не наоборот... Ладно, проходи, братишка.

Вестибюль изобиловал зеркалами; справа, слева и спереди синхронно перемещались во всех направлениях мои многочисленные двойники. Я оглянулся – двойники были и сзади. В какой-то момент мне показалось, что среди них промелькнула знакомая тщедушная фигура Аркадия Гиршуни. Смешно сказать, но я вдруг испугался, сам не зная чего. Понятия не имею, что на меня нашло: ночные работы выпадали по несколько раз в год, и никогда – понимаете, никогда – я не чувствовал ничего похожего.

– Что случилось? – с насмешливым участием спросил охранник, наблюдавший за мной из каптёрки. – Неужто отвёртку забыл?

Я вернулся к нему. В маленьком помещении клубился сладкий, отнюдь не табачный дым.

– Скажите, тут сейчас ещё кто-нибудь работает? Я имею в виду – в этом здании.

– Никого, – охранник подёргал себя за массивную ушную серьгу, словно проверяя, не спрятался ли кто у него в ухе. – Только ты и я... А что, неудобно?

Он снова ухмыльнулся.

– Да нет, – сказал я, досадуя на свою непонятную трусость. – Просто хотел узнать. Мой напарник тоже думал прийти.

Охранник рассмеялся.

– Напарил тебя твой напарник! Но ты, братишка, не мандражируй. У меня здесь все площадь как на ладони. Никакой Фредди Крюгер не проскользнёт...

Он указал на стойку с мониторами, на экранах которых в хорошем темпе тасовались картинки пустых коридоров, комнат и лифтовых кабин.

– А если и проскользнёт, тоже не беда: мы ведь с ними кореша...

– С кем кореша? – не понял я.

– С ними, со всеми... – прошелестел он преувеличенно зловещим шёпотом, округлив красные от травки глаза. – И с Фредди, и с Кровавой Рукой, и с привидениями. Тут ведь полно привидений, братан. И призраков...

И тут, вы не поверите, этот кретин прокричал петухом и принялся прыгать вокруг меня на одной ноге, приговаривая:

– Призрак бродит по конторе, призрак коммунизма!.. Призрак бродит...

Я плюнул и пошёл к лифтам. Чёрт знает, кого присылают... трудно найти людей в ночные смены, вот и берут всякую шуштуру. Неприятное чувство не проходило. Нажимая на кнопку седьмого этажа, я отчего-то припомнил, как в этом вот самом лифте Гиршуни схватил меня за грудки, как тряс, привставая на цыпочки и царапая острыми булавками сумасшедших зрачков. Экая травма... такое не забывается... Скрипящая кабина подтянулась до третьего этажа и вздохнула, готовясь к следующему броску. За вентиляционной решёткой подрагивали усталые тени. «Как тогда...» – подумал я и вдруг почти физически ощутил чье-то присутствие у себя за спиной. Я оцепенел, боясь даже пошевелинуть пальцем – не то что повернуться. Я слышал его тихое, но отчётливое дыхание, чувствовал его взгляд на своей незащитной шее, улавливал лёгкое подрагивание пола, когда он переносил тяжесть тела с одной ноги на другую. Лифт медленно полз вверх, а я умирал от страха.

– Гиршуни, это ты? – прошептал я.

Он молчал. Обернуться? Нет? Лифт щёлкнул и остановился. Седьмой этаж. Двери раскрылись, я шагнул в коридор и оглянулся, как с крыши прыгнул. Как и следовало ожидать, лифт был пуст. Сердце моё колотилось и прыгало, как тот обкуренный дредноут вниз; честное слово, я бы не удивился, если бы из моей грудной клетки вдруг послышалось: «Призрак бродит по конторе...»

Повторяю, понятия не имею, что на меня нашло. Я успокоился, лишь усевшись на своё привычное место и тронув пальцами клавиатуру, чтобы ввести имя и пароль. Система послушно открылась, приветствуя и поздравляя, как маршал на параде. Здесь, за брандмауэрами, в окружении мощных серверов и хитрых аплайенсов, я наконец-то чувствовал себя в полной безопасности. Это был мой мир, спокойный, логичный, упорядоченный, моя реальность, не сравнимая с дикими вывертами неуправляемого хаоса, плещущего снаружи, за пределами моего двадцатидвухдюймового экрана. Здесь можно было не бояться ни Фредди Крюгера, ни Гиршуни...

Подожди, подожди... с каких это пор ты боишься Гиршуни?.. Я тряхнул головой, сбрасывая с себя остатки наваждения, и приступил к работе. Вскоре бэкап закончился; завершив подготовительные процедуры, я запустил апгрейд. Теперь работа весело бежала по намеченному желобку – сама собой, не задавая вопросов и не требуя указаний. Моё вмешательство могло понадобиться не раньше, чем часа через три. Три часа... три часа... куда деть три часа?

Я вышел в коридор: тут было очень тихо – в отличие от комнаты, где уютно гудели компьютеры и кондиционеры. Здание же молчало, но молчало оглушительно – так, что уши закладывало от напрасных попыток уловить хоть что, хоть

какой-нибудь заваливающий звук: шарканье шагов, скрип двери, обрывок разговора. Ко мне вернулось прежнее ощущение неловкости. Меньше всего я хотел, чтобы это, пока ещё небольшое, беспокойство снова разрослось до размеров паники, как недавно в лифте.

Увы, возвращение в комнату не помогло: меня не покидало чувство, что кто-то следит за мной, повсюду, в каждый момент, в каждой точке. Я поймал себя на том, что всерьёз обдумываю, не спрятаться ли мне под стол. Особенно неприятным был вид пустого гиршуниного места, его стола, компьютера, клавиатуры, мышки... господи, да она шевелится!.. как живая... господи!.. Не в силах сопротивляться панике, я выскочил из комнаты и, минуя лифт, побежал по лестнице вниз. Я не мог больше одновременно оставаться и в этом здании, и в рассудке. Что-нибудь одно...

В зеркальном вестибюле навстречу мне бросились десятки моих двойников. Растолкав их, я добежал до входной двери – закрыто! Я повернул к каптёрке. Прикольный охранник неподвижно сидел на полу, вытянув широко расставленные ноги. Глаза его, как и ноги, смотрели каждый в своём собственном, самостоятельном направлении: правый – в правое никуда, левый – в левое ничто. «Мёртв!» – ужаснулся я, но тут охранник моргнул и с некоторым усилием собрал глаза в кучу.

– А, это ты, Фредди, – проговорил он почти приветливо, глядя куда-то мимо меня. – Хочешь курнуть?

– Вы не могли бы открыть... – начал было я, но доблестный страж гневно мотнул своими дредами.

– А тебя кто спрашивает? Ты, блин, кто? Ты, блин, привидение! Ты, блин, должен молчать, когда люди разговаривают! – он ещё секунду подержал меня в фокусе совершенно сумасшедших зрачков и снова перевёл взгляд куда-то вбок, словно разговаривал с кем-то, стоявшим прямо у меня за спиной. – Ну, так как, Фредди?

Я задержал дыхание, чтобы ненароком не выплюнуть бьющееся под самым языком сердце и осторожно обернулся. Не знаю, кого я боялся увидеть больше: Фредди Крюгера или Гиршуни. Но там не было никого, кроме моей тени, деликатно подрагивавшей на стене. К ней-то и адресовался обдолбанный идиот. Отдышавшись, я отступил на два шага и слился с Фредди.

– Ага... – протянул охранник, лукаво грозя пальцем. – Нашёл себе тело, да? Хи-итрый... Так что – курнёшь?

Напрягшись, я попытался представить, что мог бы отвечать в таких случаях Крюгер, но в голову почему-то лез только Гоголь.

– Поднимите мне веки... – прогудел я голосом Вия. – Откройте мне двери... Выпустите меня на волю...

Сбрендивший дредноут восторженно свистнул и поплыл открывать.

По улице вдоль тротуара неторопливо трусил потный тель-авивский ночной ветерок. Даже сейчас, в половине второго город не спал. Мимо проносились машины, шли люди – весёлые, отрешённые, влюблённые, сердитые, всякие. И это выглядело штатно, нормально: действие в Тель-Авиве не прекращалось ни на минуту, как в танцевальном марафоне. Ненормальным в этой обыденности был разве что я. Я, всегда такой спокойный, уравновешенный, подчёркнуто рассудительный и трезвомыслящий! Уму непостижимо! Что, что могло настолько выбить меня из равновесия? Голова моя кружилась, мысли разбегались.

Я присел на скамейку и вспомнил глаза охранника, разъехавшиеся по разным

углам, словно поскандалившие супруги. Неужели всё из-за него? Вот ведь история... кому рассказать – не поверят... с тенью он моей разговаривал! Вообразаемый Фредди был реальнее для этого психа, чем живой человек! Это ж надо так накуриться!

– Ага, а сам-то, сам-то... – я сжал голову руками.

Кто от компьютерной мышки шархнулся, как от гадюки? Кто от зеркал бежал? А в лифте-то, в лифте?.. Вот стыдоба... Так что не надо о реальности, дружок, не надо... Ещё неизвестно, кто из вас троих трезвее: ты или охранник... или даже Фредди Крюгер...

Или Гиршуни. Гиршуни... Этому-то точно лучше всех. Небось дрыхнет сейчас дома на прохладных простынях рядом с женой своей Машей. Эх, нужно было соглашаться на предложенную замену. Я пощупал лоб: не заболел ли? Чёрт его знает, может и заболел... Припадая на передние лапы, подвалило такси, из мерцающего зелёным салона высунулся шофёр в солнцезащитных, не по времени, очках:

– Эй, братишка! Не подскажешь, где тут Арлозоров?

– Так ты ж на нём стоишь...

– Да ну?! – он крутанул носом, взвыл газом.

«Ну? И кто же здесь ненормальный?» – почти радостно подумал я и тут только, в самый последний момент, выхватил взглядом из отъезжающей уже машины, там, на заднем сиденье: вот же он! Вот! Знакомый очкастый профиль, узкие плечи и, главное, уши – единственные такие во всем мироздании, спутать невозможно. Гиршуни!

Я вскочил и бросился вслед за машиной, грозя кулаком, разевая рот в беззвучном от внезапного недостатка воздуха крике:

– Гиршуни! Гиршуни!

Меня душила ярость. Этот подлец следил за мной! Это он преследовал меня в якобы пустом здании, тянул ко мне свои сусличьи лапки из зеркальной кутерьмы вестибюля, прятался за моей спиной в лифте, подглядывал из-за угла в коридоре! Это его осторожное, бесшумное, навязчивое присутствие ощущалось мною каждую минуту... даже здесь и сейчас! Машина давно уже скрылась из виду, а я всё бежал за ней... зачем? Вот именно, зачем? Я вдруг обнаружил в себе твёрдое убеждение, что, ответив на этот вопрос, пойму и все остальные недоразумения этой безумной ночи. Это было уже что-то, не правда ли? Хотя какая-то путеводная звезда в окутавшей меня душной черноте. Устав, я перешёл на шаг, но двигался по-прежнему быстро, чтобы не потерять нить.

Итак, зачем? Почему мне так важно не упускать Гиршуни из виду, а попросту говоря, следить за ним? Тщетно пытался я сосредоточиться: мысли беспорядочно суетились в голове, неотличимые друг от дружки, как вестибюльные двойники, а психованный Фредди Крюгер, крича петухом, скакал между ними на одной ноге и размахивал первичным призраком коммунизма.

– Что, Фредди? – я погрозил ему пальцем. – Нашёл себе тело, да?

Фредди жизнерадостно рассмеялся.

– Если не ты, то кто-нибудь другой...

Я встал, как вкопанный. Вот оно! Наконец-то я понял: мне нужно следить за Гиршуни потому, что иначе он будет следить за мной! Как это сказал Фредди: если не я, то кто-нибудь другой. Не ты, так тебя... Как просто! Мог бы и раньше

догадаться... Сумбур в голове унялся; я глубоко вздохнул и огляделся. Казалось, ночь просветлела вместе со мной. Я стоял в самом конце улицы Арлозорова, на углу автовокзала. Впереди шумел моторами хайвей, а за ним, сбившись в тесную неровную кучу, темнели небоскрёбы рагат-ганского даунтауна. Алмазная биржа. Та самая, где я думал поискать милонгу, описанную в блоге танцующей психопатки. Ноги сами привели меня сюда – умные ноги.

Я свернул налево, обогнул автовокзал и пересёк Аялон по новому мосту, рядом с гостиницей «Шератон». Удивительно, но мне как-то не случалось бывать тут прежде, хотя мимо проезжал, наверное, тысячу раз. Огромные офисные здания выглядели покинутыми; за прозрачными пуленепробиваемыми стенами скупо освещённых пустых вестибюлей неподвижно восседали охранники – солидные, внушительные, не чета моему давешнему дредноту. Зато на улицах кипела ночная жизнь: там, где днём утомляли глаз облезлые стены старых халуп, теперь всю сиял цветной ослепительный неон, подмигивали светящиеся вывески, крутились красные мерцающие колёса доморощенных «мулен руж», подпрыгивали розовые слоны, плейбойные зайцы и прочая характерная для подобных мест живность.

На узких тротуарах, предъявляя товар бедром, стояли, прогуливались, светили огоньками сигарет уличные проститутки во всеоружии боевой раскраски. Мимо, пристально разглядывая предложение, медленной колонной двигался спрос – клиенты на автомобилях. Время от времени череда машин останавливалась, и это означало, что кто-то решил справиться о цене или о перечне услуг. Женщина низко наклонялась к открытому окошку и сильно прогибалась в поясе, дабы продемонстрировать покупателю качество передних объёмов, а остальным интересующимся – объём задних качеств. Никто не гудел, не сетовал на короткую заминку. Переговоры заканчивались быстро; проститутка выпрямлялась и либо садилась в машину, либо, презрительно отставив руку с сигаретой, возвращалась на тротуар. Движение возобновлялось до следующей остановки. На перекрёстках лениво пошевеливались сине-красные плечи полицейских патрулей. Они явно были здесь своими, ничуть не выделяясь на общем фоне неоновых кроликов, слонов и бутфорских сердец.

Но я... нечего и говорить, что я чувствовал себя неловко на этой ярмарке. В отличие от других, я пришёл сюда не для того, чтобы продавать, покупать, наблюдать за порядком или даже просто глазеть. Не знаю, чего я ожидал... не гигантских же указателей или выбитых на граните слов «Гиршуни был тут»? Напрасно я вглядывался в вывески, надеясь увидеть слово «милонга»: все упоминания о танцах встречались здесь исключительно в контексте стриптиза. На углу улицы Туваль меня окликнула проститутка.

– Эй! Ты, наверное, меня ищешь, правда?

Она заступила мне дорогу, так что я вынужден был остановиться. Сегодня мне определённо везло на экзотические знакомства. Выражением глаз девушка напоминала дредоносного охранника с моей работы. Вполне возможно, что они пользовались одним и тем же зельем. Одежда ночной труженицы состояла почти исключительно из блестящих кожаных ремней разной толщины. При этом несчастная плоть её, очевидно обиженная столь беспардонным садо-мазохистским отношением, буйно рвалась наружу, свисая из межременного пространства мягкими и сдобными на вид валиками.

– Вообще-то, нет, – вежливо отвечал я. – Я по делу.

– По делу, а?... Ты тут в третий раз проходишь. Боишься спросить, что ли?

«Может, и в самом деле спросить? – подумал я. – Она тут завсегда, должна знать про милонгу...»

– Сто пятьдесят за раз, – сказала проститутка, неправильно истолковывая мои сомнения. – Качество гарантируем.

Она обеими руками подперла свой внушительный бюст и покачала его вверх-вниз. Заскрипели ремни – отчаянно, как на танцующем Мересьеве.

– Здорово, – согласился я. – Но я-то хотел спросить о другом...

Девушка отпустила свои прелести и уперла руки в боки.

– А о другом и деньги другие. Да ты скажи, миленький, не стесняйся. Я ведь всё умею...

– Где тут танго танцуют? – неловко спросил я, понимая, что не оправдываю её профессиональных ожиданий. – Мне говорили, что в этом районе есть милонга...

– Ах, ты из этих... – презрительно сказала она, разом поскучев и как бы даже сдвунувшись. – Танцуешь и поёшь? Тогда дуй отсюда... тут люди работают...

– Я ж не бесплатно, – заторопился я. – Вы мне только расскажите, а я заплачу. Вот, смотрите...

Увидев пятидесятишекелевую банкноту, проститутка кивнула, хотя презрения и скуки по-прежнему не скрывала.

– Пойдѐшь во-он туда... – она сложила банкноту в длину и, скрипнув ремнями, сунула её за голенище высокого сапога. – Свернёшь на Бецалель, там слева большой серый дом. Вход со двора. И зачем вас только рожают, таких уродов...

Во дворе дома на улице Бецалель стояла крошечная темнота, и мне пришлось остановиться, чтобы хоть немного адаптировать глаза. Вокруг воняло горелым мусором и слышалось какое-то нервное копошение – не то кошачье, не то крысиное. Глаза мои отказывались привыкать к отсутствию освещения, да и сомнительно было, стоит ли упорствовать: уж больно место не соответствовало. Я уже решил, что сбруйная девушка обманула, как вдруг на стене зажѐгся тусклый фонарь – как выяснилось, над входом в полуподвальное помещение, и тут же в открывшуюся дверь хлынули одновременно и свет, и звуки танго. Вышедший мужчина включил карманный фонарик и двинулся в мою сторону. Я не видел его лица. Вот будет смешно, если это окажется Гиршуни...

Но надо было торопиться, пока свет вновь не погас. Я поспешил ко входу в милонгу. Наверное, я шагнула из темноты слишком неожиданно для мужчины с фонариком. Сначала он даже отшатнулся и лишь потом, мазнув меня лучиком по лицу, приветливо кивнул. Нет, он был слишком высок для Гиршуни.

– Уф, как я перепугался... – сказал мужчина, явно принимая меня за кого-то другого. – Здравствуйте. Свет, как видите, ещё не починили. Давайте я вам посвечу...

В дверь я входил с сильно бьющимся сердцем: ведь тут, внутри, могли оказаться и Гиршуни, и его Милонгера. Человек, сидевший за столиком у самого входа, махнул мне рукой как старому знакомому.

– Нужно платить? – спросил я.

Он улыбнулся немного устало, как улыбаются старой, многократно проверенной шутке.

– Ваш абонемент ещё в действии.

В полнейшем недоумении я прошёл в зал: то ли я и впрямь сильно смахивал на одного из завсегдатаев, то ли новичков здесь всегда принимали именно так. Последнее выглядело не лишённым смысла: начальные порции наркотика обычно даются бесплатно.

Помещение оказалось на удивление большим; места хватало не только для пяти-шести пар, выделявавших кренделя на паркете, но и для небольшого буфета с напитками и печеньем. За столиками, глядя на танцующих, сидели ещё несколько мужчин: партнёрш тут явно не хватало на всех. Я взял пиво, выбрал самого безобидного на вид паренька лет двадцати и подсел к нему. Судя по глуповато-восторженному выражению лица, он был здесь новичком, хотя и наверняка намного более информированным, чем я. Для начала лучше не придумайшь. Музыка взмыла вверх, потрепетала, как жаворонок в зените, и растаяла. Пары оставались, продолжая держаться друг за друга и, по всей видимости, ожидая продолжения. Паренёк перевёл на меня сияющие глаза, словно приглашая разделить с ним восторг, который казался ему чрезмерным для одной человеческой души.

– О, да... – кивнул я, изображая понимание. – Вы давно сюда ходите?

– Нет-нет, что вы! – воскликнул он, поражённый самой возможностью такого дикого предположения. – Меньше месяца. Я начал брать уроки совсем недавно. Понимаете, до этого я пробовал только сальсу. Сальса и танго! Это даже и сравнивать нечего, просто небо и земля, небо и земля... ну, вы-то знаете...

Я снисходительно улыбнулся. Так улыбается немолодой многоопытный бонвиван, выслушивая сбивчивый рассказ своего шестнадцатилетнего племянника о первом поцелуе.

– Конечно, мой друг, конечно...

Снова грянула музыка, и пары немедленно припали к ней, как жаждущий к кружке с водой. Мне стало скучно и неприятно. В любом танце есть что-то непристойное, как в публичном обнажении... Что же? – Наверное, самозабвение. Человек не должен забывать о своей самости, о том, что он человек. Ведь человек – это животное плюс набор ограничений. Уберите от нас этот набор ограничений – и не останется ничего, что отличало бы нас от мартышки, онанирующей перед посетителями зоопарка. Вот и танец – разновидность такого мартышечьего бесстыдства.

На сей раз, закончив онанировать, пары не остались на паркете, а разошлись – кто к столикам, кто к буфету. Перерыв, понял я.

– Не правда ли, она великолепна? – выдохнул паренёк и с энтузиазмом дёрнул меня за рукав.

– Неплоха, неплоха, – без заминки подтвердил я, не имея при этом ни малейшего понятия, о ком идёт речь. – Э-э, молодой человек, не могу ли я попросить вас об одном одолжении?

– Да-да, конечно!

– Видите ли, я прилетел сегодня утром из Бостона и совсем не знаю здешние милонги. Эту мне рекомендовали ещё там, хотя рекомендовавший и не скрывал, что руководствуется... э-э... воспоминаниями пятилетней давности. А мне хотелось бы получить... э-э... более свежий взгляд на вещи. Начиная, например, с вас...

– С меня? – переспросил он с искренним удивлением. – Но не лучше ли вам спросить у местных завсегдатаев? Уверю вас, их опыт...

Я остановил его движением руки.

– Я ведь сказал «свежий взгляд на вещи», не так ли? Согласитесь, трудно отыскать на этой милонге взгляд свежее вашего.

Паренёк широко улыбнулся. Мои резоны звучали для него лестно. В конце концов, свежесть была пока что его единственным тангуэрским достоинством.

– Тут вы правы. Мой учитель тоже говорит, что многому учится у новичков... – он немного помолчал, барабанил по столу пальцами в ритме только что закончившегося танца и, видимо, собираясь с мыслями. – Ну, что сказать... это довольно старая милонга, лет пятнадцать минимум. Очень хороший состав, есть настоящие тангуэрос из Буэнос-Айреса. Да, да, представляете себе?! Из самого Буэнос-Айреса! Вот... ну, что ещё? Десятки постоянных абонементов...

– Десятки? – перебил я и с подчёркнутым недоумением оглядел полупустой зал. – Вот уж не подумал бы... здесь не больше двадцати человек, включая нас с вами.

– Ах, нет! – воскликнул паренёк. – Тут дело в другом...

Он наклонился к столу и заговорил негромко, постреливая глазами по сторонам, как говорят о чём-то если и не совсем запретном, то уж во всяком случае – не совсем рекомендованном.

– Понимаете, тут недавно произошла ужасная трагедия. Действительно ужасная. И это ужасно на всех подействовало. Просто ужасно.

Паренёк откинулся на спинку стула и смерил меня многозначительным взглядом. Я недовольно покачал головой.

– Знаете, дорогой мой, на Востоке говорят, что даже от стократного повторения слова «халва» во рту не становится сладко. Вот и вы произнесли своё «ужасно» по меньшей мере пять раз, но, поверьте, я не понял из этого ровным счётом ничего.

Он испуганно зыркнул по сторонам. Мне было почти жаль его. Бедняга... Тайна похожа на кишечные газы – бурлит, болит и рвётся наружу, а, вырвавшись, оказывается всего лишь кратковременной вонью.

Интересно, что за скелет прячется в здешнем шкафу? Я снова подумал о Гиршуни. Вот будет забавно, если я услышу сейчас что-нибудь вроде: «Понимаете, был тут один такой ушастый очкарик. И, представляете...»

Гм... что бы такое представить?

Ну, например: «И, представляете, зарубил топором старушку-процентщицу, многолетнюю спонсоршу милонги...»

Или ещё того круче: «И, представляете, вдруг превратился в бешеного суслика, всех перекусал, и с тех пор мы все – вампиры...» И, обнажив клыки, – прямоком к моей шее: «А-а-а!...»

Паренёк вздохнул, поборов, наконец, сомнения. Вот так. Газы всегда побеждают.

– Ладно, – сказал он. – Вам расскажу, только, пожалуйста...

– Конечно, конечно... – сказал я, зевнув прямо в его взволнованное лицо. – Могла. Причём не простая, а свинцовая. На крови клясться не стану, но вы ведь и так поверите, правда?

Он торжественно кивнул, но продолжал молчать. Непосредственно перед выхлопом тайна всегда делает вид, что успокаивается.

– Итак... – напомнил я.

– Итак... – отозвался он. – Был тут один такой парень. Обычный, ничем не примечательный.

– В очках? – не выдержал я.

Паренёк с недоумением взглянул на меня.

– Понятия не имею. Но не в очках дело. Дело в том, что он ходил сюда полтора года и ничем не выделялся. А потом...

– А потом?..

– А потом вдруг взял да и покончил с собой... – еле слышно прошелестел он. – И не просто так, а ночью, непосредственно после милонги. Прыгнул с моста прямо под грузовик.

Меня как током ударило. Знаете, как это бывает, когда лягушечье тело вдруг выпрямляется и твердеет на волне предельной вибрации, а потом опадает, наподобие измочаленной тряпки? Уверяю вас, это происходит вне зависимости от желания несчастной лягушки. Вот и я тоже совсем не хотел пугать своего собеседника. Что же делать, если паренёк обратил внимание на мою реакцию? Не сомневаюсь, что он тут же горько упрекнул себя за несдержанность. Уверен, что он счёл своим долгом немедленно успокоить впечатлительного гостя. Так или иначе, но слова хлынули из него, как дерьмо из прорванной канализации. Слова, знаете ли, хороши только в очень дозированном виде. В состоянии потока они вредны, если не омерзительны.

Паренёк рассказывал мне о том, как все тут были потрясены, о том, что сказал Бернардо Б. и что ответила ему Мария М., о всеобщем смятении, поразившем эту небольшую, но очень сплочённую секту – ведь, я надеюсь, вы уже поняли, что речь идёт о секте, потому что какой нормальный человек станет дрыгать ногами по ночам три раза в неделю, полагая это к тому же смыслом своего существования?.. Он говорил о духовном кризисе, о необходимости осмыслить и перевести дух, а если уж о духе, то и о судьбе, о непознаваемости тангуэрского промысла и о прочей, извините за выражение, хреномути... а я... я думал лишь о том, что чёртова психопатка как минимум не соврала в конечном результате, хотя наверняка навоображала с три короба в деталях.

И парень, словно откликаясь на эти мои мысли, особым образом пригорюнился и сообщил, что многие тангуэрос приписали себе персональную вину за самоубийство товарища.

– Что вы имеете в виду? – спросил я.

– Понимаете, – прошептал он, низко наклонившись над грязной столешницей. – Они чувствовали себя так, как будто сами столкнули несчастного с моста. Буквально, своими руками. Понимаете, совесть...

Тут я не выдержал и ответил ему так грубо, что просто не могу привести эти свои слова здесь. Терпеть не могу, когда льют крокодиловы слёзы да ещё и говорят при этом о совести. Мерзость. Мерзость. Мерзость.

Он замолчал, а потом и вовсе отошёл, пересел за другой столик. В зале играла эта их пошлая музыка, вся сотканная из фальшивых вздохов и потаённого пердежа, пары онанировали на паркете, а неохваченные онанистками онанисты потихоньку посасывали пиво – единственную настоящую, стоящую вещь во всем этом гадком эксгибиционистском театре.

Почему я не уходил, почему продолжал сидеть, тем самым невольно уподобляясь остальным присутствующим идиотам? Не знаю... наверное, просто хотел додумать, представить себе, что мог чувствовать в этой ситуации Гиршуни... или даже не Гиршуни, а шизанутая Милонгера, в блог которой он залез без всякого

на то разрешения. Кстати, может статься, что взлом дневника Милонгеры был для Гиршуни всего лишь попыткой излечиться, избыть чувство вины за гибель одного из сектантов...

Потому что сама Милонгера, если судить по её блогу, приняла на себя вину в прямом, буквальном смысле: вообразила, будто она своими руками столкнула беднягу с моста... Что ж, нельзя отрицать, что в этом была определённая доля истины. Тут ведь в чём дело: да, иступлённый онанизм заменял сектантам реальность, но в самом этом факте нет ничего плохого. Живи себе в этой подмене хоть всю жизнь – кому мешает? Проблема, она в чём? Проблема, она в столкновениях.

Как было бы просто, если бы разные реальности могли существовать вместе! Но они не могут – как плюс с минусом. Две разные реальности – это не два разных воздушных шарика, это воздушный шарик и иголка, вот ведь в чём вся гадость! Ты можешь самозабвенно онанировать целую ночь под свою пошлую музыку и быть совершенно счастлив, а потом выйти на мост, взглянуть на мир и наткнуться на иголку – и лопнуть, просто лопнуть и всё, стать шкуркой, стать пшиком, лопнуть – и точка, точка. Точка!

– Простите?

Я поднял голову: передо мной стоял кто-то.

– Да?

– Мы закрываем. Пожалуйста...

Я осмотрелся: зал был уже пуст, музыка смолкла, буфетчик пересчитывал свою скудную выручку. Я встал, пошатнулся, но справился со своей неожиданной... как бы это сказать?... – несоразмерностью.

– Неужели это я?

– Конечно, это вы, – отвечал кто-то. – А мы – это мы, и мы закрываем.

Я вышел во двор. Фонарь над входом горел, хотя теперь уже можно было обойтись и без него. Почему? Да вот же – на часах около шести. Светает. Я опустил голову, чтобы не видеть чересчур много лишнего, и пошёл вперёд.

Вопрос: «Куда вы идёте?»

Ответ: «Вперёд».

Оценка: «Пять».

Почему именно пять? Ведь на часах около шести... Я шёл и шёл, а потом поднял голову и увидел арку, и вспомнил блог Милонгеры, и порадовался совпадению обстоятельств – не потому что обстоятельства были так уж хороши, а потому что радостна была сама возможность совпадения: ведь факт совпадения означает повторяемость, а повторяемость означает наличие смысла. А когда есть смысл – это хорошо, вы согласны? Я чувствую, что запутал вас, бедные... Но это не страшно, поверьте: вот сейчас мы выйдем на мост и всё распутаем, вот увидите.

Я миновал арку и повернул направо, на мост. Уже почти совсем рассвело, но я не видел ничего из-за слёз. Меня всего, до души моей, обливали слёзы, как жидкий шоколад – твёрдое мороженое, как стихия – стихию, сам не знаю почему, наверное, из-за усталости. Я шёл по мосту, один на мосту. Проезжали машины, но мало, так что не в счёт. А что в счёт? Я не знал, я остановился, я подошёл к невысокому ограждению и посмотрел вниз.

Внизу лежало полусонное, почти пустое в этот предзакатный час русло хайвея. Я взялся за низенькие перила и наклонился, чтобы разглядеть побольше.

Почему-то это казалось мне особенно важным. В тридцати метрах подо мной, предупредительно зарычав ввиду моего непрошеного внимания, пронёсся тяжёлый грузовик.

– Пошёл в жопу! – прокричал я ему вслед. – Пошли вы все в жопу! Сволочи!!!

Сзади скрипнули тормоза.

– Эй, ты! – произнёс чей-то тревожный голос у меня за спиной. – Ты это... кончай, слышишь?

Я обернулся. В открытое окошко притулившегося к тротуару ярко-жёлтого «геца» на меня смотрело немолодое смутно знакомое женское лицо.

– Простите? – изумлённо переспросил я.

– А ну, садись! Давай, давай...

Женщина решительно перегнулась через пассажирское сиденье крохотного автомобильчика и приоткрыла дверцу. При этом послышался явственный скрип ремней, и я вспомнил: это была та самая ночная проститутка, которая указала мне дорогу к милонге. Только теперь поверх своей рабочей сбруи она натянула затрапезный фланелевый халатик – из тех, что надевают домохозяйки, когда им становится окончательно наплевать на то, как они выглядят. Прежнее, уличное своё лицо женщина смыла, а может, сколола, как скальвают слой штукатурки: ни тебе подрумяненной загорелой гладкости, ни мерцающих теней, ни длинных летающих ресниц, ни ярко намалеванных губ... а вовсе даже обвисшие щёки, набрякшие веки, безобразные круги под глазами, щелевидный старушечий рот и усталость, усталость, усталость.

Я пожал плечами и подчинился. Знаете, как когда-то пелось в популярной песне: «Если женщина просит...» В конце концов, я никуда не торопился. Женщина облегчённо вздохнула и тронула автомобиль.

– Редко увидишь машину такого цвета, – сказал я, чтобы что-то сказать.

– Вкус такой... – она повернула направо. – Проститутки любят яркое. Тебя куда подбросить?

– Да вот езжай прямо по Арлозорову...

Женщина кивнула, перестроилась и встала перед светофором.

– Слушай, – не выдержал я. – Ты что, днём людей развозишь?

Она искоса взглянула на меня.

– Никого я не развожу. А что тебя оттуда оттащила, так это... зачем мне грех на душу? И вообще... Сиганёшь оттуда, потом Аялон перекроют, а мне домой надо, в Ришон.

– погоди, погоди, – сказал я, начиная что-то понимать. – Ты что, решила, что я с моста прыгать собрался? С чего это вдруг?

Сердито фыркнув, она всплеснула руками.

– Да мне-то почём знать! У меня, знаешь, танцы совсем другие.

Светофор переключился, и мы ускорились вниз по улице Арлозорова.

– Нет-нет, подожди, – настаивал я. – Ну стою я на мосту. Ну смотрю вниз. С чего ты взяла... да ещё и так, что остановилась, да ещё и увезла... хрень какая-то...

– Хрень, да?.. – она трянула головой, словно говоря: «А-а, что тебе, дураку, объяснять...» – Хрень?.. Ну и ладно, пускай будет хрень. Далеко ещё?

– Останови здесь.

Она свернула к тротуару.

– Назад не пойдёшь?

– Зачем? Что я там забыл? Смотри: в этом вот здании мне зарплату дают... – я взглянул на часы. – Четверть седьмого. Самое время отбить начало рабочего дня. Спасибо за тремп¹⁹.

Я открыл дверцу, и тут она сказала:

– Не возвращайся туда, слышишь?

В принципе под словом «туда» могли подразумеваться сразу несколько вариантов: например, весь район Алмазной биржи, или мост через Аялон, или даже здание моей работы... Но женщина-то имела в виду именно милонгу – я понял это, не глядя на неё, по одной лишь интонации.

– Да что это такое? – я решительно захлопнул дверцу, всем своим видом показывая, что не сдвинусь с места, пока не получу объяснения. – Ты можешь наконец растолковать мне, что происходит?

Женщина смотрела испуганно.

– Я и сама не знаю.

– Не знаешь? – переспросил я, начиная злиться. – Тогда к чему весь этот балаган? Слушай, кончай мотать мне нервы...

– Я тут ни при чём, – торопливо проговорила она. – Я тогда была нездоровая, и дождь, и вообще...

Она замолчала. Наш разговор всё больше и больше напоминал мне ночную беседу с пареньком из милонги. Две тайны за одну ночь... не слишком ли много вони на меня одного?

– Ну... и вообще... – подтолкнул её я.

– Я закончила работать рано, – сказала она, глядя в одну точку. – Всё равно клиентов в непогоду много не бывает. Села в машину и поехала. Как сейчас, через мост. Только тогда было ещё темно, совсем темно, и дождь, мало что разберёшь. Но кое-что я увидела...

Резко повернувшись, она вцепилась мне в руку.

– Увидела достаточно, понимаешь? Если бы я остановилась... или просто притормозила... тогда, возможно, ничего бы не случилось, понимаешь? Но я ведь не знала, не знала...

– Не знала чего?

– Что это случится... Он упал на шоссе прямо перед семитрейлером, у меня на глазах! Это было ужасно, ужасно! Ты представить себе не можешь, что с ним стало! Ужасно! Ужасно!

«Как сговорились, – подумал я. – Вот ведь идиоты... “ужасно”, “ужасно”... заладили, как попки. Жизнь вообще не подарок. Причём иногда настолько, что приходится заканчивать её прыжком с моста под грузовик».

– Ну и что? – сказал я вслух. – При чём тут милонга?

– Как это? Ещё как при чём! Потом, знаешь, сколько сплетен ходило об этом случае? Говорили, что парень как раз вышел из милонги. Тогда он, сегодня ты... Ты не представляешь, как я испугалась, когда увидела тебя на мосту. Ещё и дорожку тебе туда показала!

– Куда?

– В милонгу...

Я зевнул. Всё-таки бессонная ночь сказывалась.

¹⁹ Тремп (*ивр., жарг.*) – поездка автостопом, на попутной машине, своеобразный способ взаимопомощи в районах, где слабо развит междугородный общественный транспорт.

– Спасибо тебе, конечно, за заботу. Только, по-моему, людям просто жить скучно, вот и придумывают себе всякие страсти-мордасти... – меня снова одоледа зевота, и я вынужден был отвернуться, чтобы не разевать пасть прямо в лицо собеседнице. – Ты вот себя винишь и милонгу проклинаешь, а они там, бедные, знаешь, как переживают?.. Сколько времени прошло, а всё опомниться не могут. Одержимы комплексом вины. Буквально. Словно он тогда не сам сиганул, а они его столкнули, коллективно и в ритме танго...

Женщина молчала, но как-то особенно. Знаете, бывает такое молчание, которое можно услышать, настолько оно звенит, словно чреватое комарами или напряжением ещё не сказанных слов. Я повернул голову и уткнулся в её глаза под припухшими черепашьими веками. Не знаю, чего там было больше – страха или презрения.

– Он не прыгал, – раздельно произнесла она. – Я видела, как его столкнули. На мосту было две фигуры. Две, а не одна. И я видела это своими глазами.



 **Juglans Regia**

Тип записи: открытая

 7

Тут мне один опрос прислали по интырнету. Нащот ырудиици. И был там вопрос про Бунена. Бунен – это пейсатель такой, аффтар, если кто не знает. Ващце-то с ырудиицей у меня полный затык, но Бунена я как раз знаю. Бунен мне, можно сказать, жизнь поломал. Одну из. Патамушта не скажу, бутто у меня их семь, как у кошки, но на четыре уже точно набираецца.

Бунена я фсегда читал и перечитывал с удовольствием, патамушта он очень умел раскрыть тему сисек. Асобино нас объединяла любовь к длинным юпкам. Думаю, што если б я был на месте Бунена, я бы вопще с ума сошел. Просто убился бы апстену бани. Патамушта тогда фсе пелотки в деревне ходили тока ф сарафанах типа как у бирьоски, а Бунен жил именно тогда и именно в деревне. Нет, потом-то, когда ему дали нобилиффскую премию за грамотное раскрытие темы сисек, тогда он уже в деревне не жил. Но тогда он был уже старый и пробавлялся воспоминаниями.

Но ф прошлом, ф молодости и в деревне, когда фсе пелотки вокрук бегали исключительно ф сарафанах... это было, блин, ваще! Чистая, атборная жесь! Как прецтавлю, так яйца ломит, чесслово, ломит! Неудивительно, што Бунен так атжог. Уж он-то понимал в длинннннх юпках не хуже моево.

А жызнь мою поломал евонный креатифф «Руся». Есть у нево такой рассказ в опщем сборнике креативофф под названием «Темные аллеи». Многие читают, што это лутшее, што написал Бунен, и я с этим согласен. Развивая этот тезис, я бы даже сказал, што Бунен – лутший русский пейсатель, што «Темные аллеи» – лутшее у Бунена и што «Руся» – лутшее ф «Темных аллеях». И это апсалютно стопудово.

Штобы уж вофсе закончить о «Темных аллеях», скажу, што само название это кажецца мне очень точным. Ежели кто подумал, што речь тут идет о саде или там о парке, то он просто ничиво не догоняет. Не ф парке тут дело и не ф саде.

Темные аллеи – они не на земле и не на небе, а фтопке – ф голове то есть. Темные аллеи – это на самом деле извилины головнова моска. Наш моск состоит из извилин, если кто не знает. Так вот, эти извилины очень разные. Есть такие, которые широкие и хорошо освещенные. По ним мы гуляем ежедневно и даже не одни, а с гостями. То есть нам не в лом пригласить туда ково хошь – хоть жену, хоть друга, хоть мать-старужку. Настолько там фсе на виду, ф тех светлых аллеях. И не тока на виду, но и известно заранее. Типа тока скажешь «а», как тебе сразу же фсе отвечают «б», а за этой «б» уже послушно выглядывают «в», и «г», и «д», и так далее, строго по алфавиту.

Но стоит тебе сойти с этих светлых аллеей куда-нить ф сторонку, как фсе сразу меняецца. Там уже и света поменьше, и дорожки поуже, и ветки временами нависают, так што приходицца отводить их рукой, и нет-нет да лежит поперёк пути ствол упафшево дерева. Фсе это не так страшно: через дерево можно перешагнуть, ветки не очень-то и мешают, и света вообще-то хватает. Но тем не менее, всяковолюбова сюда уже не позовешь. Зачем людям зазря спотыкацца? А на инвалидной коляске тут уже точно не проехать. Но самое неприятное заключаицца ф том, што от этих полусветлых аллеей атходят вбок... кто? Или, пардон, што? – Правильно!.. – вбок от них атходят они самые – темные аллеи. Вот о них-то и писал Бунен.

Света там не бывает даже ф самый солнечный день, а про фонари эти аллеи не слышали ф принцыпе. Там бурелом, там колючки хватают тебя за лицо, там лехче споткнуцца, чем сделать шаг. Даже сам хозяин моска не фсегда решаецца туда войти. Почему? Темно патамушта. И пахнет непривычно, нехорошо пахнет: то ли оттово, што под кустом насрано, то ли от трупа полуразлажифшевося, то ли от твоих же сопственных трусофф, которые надо было бы постирать, да лень было, вот ты и атбросил их подальше от вот той вон полусветлой аллеи, где когда-то поимел очень хорошую пелотку вон под тем вот развесисястым деревом. Догоняете?

Тогда спрашиваецца, кой хрен туда лезть? А-а-а... в этом-то фся и фишка... Патамушта именно там, ф темных аллеях проживает наше настоящее «я». Не «а»-«б»-«в»-«г»-«д», которые колбасяцца на светлых дорошках и даже не «п»-«р»-«с»-«т», которых можно при желании обнаружить в полусветлых местах, а самое што ни на есть «я». И кроме как там, ф темноте, ево нигде больше не водицца. И это самое «я», как любое живое существо, хочет жить. Оно хочет фсево: кушать, драцца, ходить под куст и трахать пелоток. Затем-то и приходицца нам туда отправаляцца – штобы принести ему фсе это.

Тут кто-то недогоняющий может спросить: а фсе же, кой хрен? Разве низзя фсе эта совершать на светлых и полусветлых аллеях? Разве нету там подходящих кустофф? Разве не сыскать среди тамошних гостей хороших пелоток с шустрой попой? Разве ты сам не говорил про удобное развесисястое дерево? Канешна, отведу я тому недогоняющему. Фсе это есть и на свету. Вот тока одна беда: меня там нету. Патамушта, как я уже атметил, «я» живет тока там, ф темноте. Такая вот грусная история. И Бунен, как лутший пейсатель, понимал это лутши фсех.

Фпервые я прочитал ево гениальный креатифф «Руся» в возрасте девяти лет и с тех пор читал не переставая. И каждый раз находил што-то новое. Патамушта этот короткий рассказ неисчерпаем, как темная аллея. Едет чилавек с женой на юк, и вдрук поед астанавливаецца на какой-то мелкой станции, даже полустанке, там, где он и астанавливацца-то не должен. И чилавек смотрит из окна на на-

звание станции и вдруг видит вход в темную аллею. И там, в этой аллее, – ево давняя пелотка Руся ф жолтом сарафане, пелотка, с которой он трахался когда-то давным-давно. И он входит туда, в аллею, патамушта не может не войти, патамушта на самом деле там находицца ево «я». Патамушта настоящий он живет там фсегда, догоняети? Там, а вофсе не ф поезде, из окошка которова он смотрит ф ту самую минуту.

Поезд и жена, и купе, и проводник – это фсе светлая аллея, по которой он бутта бы катицца, но в реале-то он живет в темной! Жена, понятное дело, это фсе чувствует – жены вопще ф такие вещи въежжают поразительно быстро – и начинает за нево цепляцца, патамушта женам фсегда влом атпускать нас к самим себе. Жены предпачитают, штобы мы фсю жызнь прогуливались с ними под ручку на свету, сцуки. Но чилавек Бунена ухитряецца очень-очень умно от нее отвязацца: он говорит коротко и ни с чем не спорит, и тогда этой гадине приходицца ацтупить, патамушта просто не за што зацепицца.

И вот наконец жена проваливаецца ф сон, хотя лутше бы провалилась на рельсы или даже фтопку, а чилавек остаецца один и уходит ф свою темную аллею, к жолтому сарафану на голо-смуглое тело ф темных родинках, ф болотные заросли, где даже солнечным днем нет света из-за томительново марева, курева, порева. Он гуляет там, и это он, настоящий, живой, а в вагоне сидит фсево лишь ево шкурка, пустая шкурка, и дрыхнет жена, сцуко, и вагон шпарит себе из Бабруйска в Бабруйск, но чилавеку и дела нету – ведь он гуляет. Он гуляет до рассвета, и даже настолько привыкает к своей свободе, что утром, когда жена, сцуко, снова начинает цепляцца, он не выдерживает и атвичает ей, хотя и непонятным для нее албанским языком, но атвичает, а она, сцуко, и рада, патамушта тем самым он как бы признаецца, што всю ночь гулял, и теперь она за это будет целый год возюкать ево рылом в гадкой ненатуральной пыли своих проклятых светлых дорожек.

Вот такой гениальный креатифф. Што я мог понять в нем ф девять лет? Много. Во-первых, там имеецца жолтый сарафан на голо тело, а ф сарафанах я уже тогда очень даже разбирался. А во-вторых, из рассказа следовало, што не один я такой урод со своими темными сикретами, про которые, как я уже знал, никому низзя рассказывать и которые отгово казались мне стыдными и плохими. Из рассказа же следовало, што взрослые люди тоже имеют свои тайны, свои темные аллеи. И што они, как и я, избегают приглашать в эти аллеи других, даже самых близких, но не патамушта стыдно, а патамушта другие испугаюцца или не поймут, или фсе испортят, или и то, и другое, и третьє вместе. То есть зло находицца вофсе не в наших темных аллеях и не в нас самих, а наоборот – в других, ф тех, кто топчецца снаружи, пяля к нам в душу своими трусливыми любापытными глазками.

Позднее, когда я подрост, креатифф Бунена научил меня, как надо расговаривать с этими другими – ф точности так, как герой рассказа расговаривает со своей женой: коротко и ни с чем не спорить. А когда уже софсем невоготу, переходить на албанский.

Но главное, главное, што я запомнил из буненсково креатива – это албанская фраза главново героя. Ф переводе с ево албансково диалекта на мой она звучит так: «Пелотка, от которой прешься так, как ни от какой другой никогда в жызни». Што это значит? Это значит, што иногда чилавек может повстречать такую

пелотку, што уже не забудет ее никогда. Вообще говоря, у каждой пелотки есть своя изюменка, каждую чем-то помнишь. Например, была у меня одна, которая всегда аставляла в ванной черные следы, как бутга пришла туда напрямиком со строй-плащатки, где смолу варят. Или с плащпалатки, где дурь шмаляют. А сама была абычной парекмахершей. А другая кусалась – не во время траха, што было бы нормально, а проста так, под настроение, штобы рот чем-то занять. И так далее.

Но это фсе не в щот. А в щот – это когда чилавек реально прецца. Прецца так, што фсем асталным низачот. Так, што потом, заходя ф свои темные аллеи, он видит сначала ее, потом ее, а потом снова ее. Как тот пассажир из буненского креатива. Как же так? – спросите вы. – Ты же сам говорил, што там живет наше собственное «я». При чем же тут какая-то посторонняя пелотка? А вот при том. Типа живете-то там вы, но хозяйничает-то она. А? Как вам такая жесь?

Должен сказать, што поначалу подобная постановффа вопроса меня даже удивляла. Чесно говоря, я находил ее неправдападобной. Думал, што тут Бунен чересчур отжег. Патамушта, в опщем и целом, фсе пелотки похожи, как две капли слюны, ф том смысле што тебе совершенно наплевать на предыдущую, когда ты дрючишь следующую. А те йезюменки, о которых я говорил – так то ж йезюменки, ну скока их есть в большом котле? Вот вы, например, котел плова употребляете, а там, как и положено: риса положено, мяса положено, моркови положено, и еще многа чево... и ф числе этова «многа чево» положено ишо несколько йезюменок. И вот вас, допустим, спрашевают: ну, как плов был? Вы што, станете про йезюм фспоменать? Нет ведь, правда?

Так я себе понимал, пока не фстретил свою хозяйку темных аллей. Мне тогда было семнацать. Дисятый клас, сисятый клас. Я к тому времени уже долбился вофсю. Без ложной скромности, в нашей школе я перетрахал фсех, у ково не было принципиальной проблемы расдвинуть ноги, фключая абеих школьных медистер и уборщицу Светку. Последняя аставляла мне за это ключ от кладоффки, где было очень удобно запирацца с ачередной пелоткой прямо во время урокофф. Я был чимпионом микрорайона по дефлорации. А может и горада. Я делал это очень качественно, и многие пелотки, зная об этом от подруг, предпочитали лутше пройти этот нелехкий процесс со специалистом, чем пускать вопрос на самотек со своим неумелым воздыхателем.

Не сощетать, скоким пелоткам я дал таким образом путеффку ф жизнь: блондинкам и брюнедкам, стройняшкам и толстушкам, вертким визгливым крикушам и сумрачным охающим обмирашкам – я любил их фсех, практичизки никому не аказывая. Мы – и я, и ачередная она – фсегда точно знали, зачем мы здесь и што нам надо одному от другой и одной от другова. Потом мы сразу разбегались; продолжения, если и были, то очень нечасто. Плюс к этому моим важным правилом было никогда не трепацца. Короче, деффчонки нигде не могли сыскать секса безопаснее, ну разве што на Тау-Кета, где трахают почкаванием, но тока не на нашей планете.

Канешна, пелотки меня использовали. Это как началось с той хозяйки хутора, так и пошло и поехало. Ну и што? Можно падумать, што сам я от этово страдал. Я получал свое удавольствие и не тока чисто телесное. Со временем это превратилось в удавольствие профессианала. Профессианала-настройщика. Я научился видеть в пелотках сложный музыкальный ынструмент. Когда я брал их в руки, они поначалу принимались звенеть без толку, фсеми своими струнами сразу.

Прислушавшись, я безошибочно определял главную струну, трогал ее, и она отзывалась сильной и чистой нотой, а остальные примолкали, словно в испуге. Но я не позволял им спрятаться; оставив на время главную, я гладил их чуткими пальцами, не торопясь, но и не мешкая, чтобы они не успели забыть звук своей старшей сестры... Я вызывал их к жизни поочередно, одну за другой, пока они все не начинали звенеть в унисон, одним мощным аккордом, от которого гудит гриф и сводит судорогой деку, и вибрируют даже пальцы ног, и дрожит душа, и мне приходится зажимать ей рот, чтобы не сбежалась вся школа, хотя кладовка и находится далеко на отшибе, в подвале, в трех этажах от завуча и директора.

Вопщем, в десятом классе я был уже в некотором роде академиком музыклиторных наук. Академиком – и семнадцатилетним мальчишкой, который ищю кое-что любил. Например, бороцца – я занимался классической борьбой, причем очень неплохо, на уровне юношеской сборной города. Или – посидеть с друзьями. Или – подрыгаться на вечеринке, то есть потанцевать. Не знаю почему, но я очень любил танцевать. Танцевать, бороцца и трахатца. Наверна, в танцах, борьбе и трахе есть весьма много опщево и прежде всево – два чюффства: чюффство ритма и чюффство партнера. Наверна, так.

Трахатца я ходил в кладовку, на флэт, под куст, в сортир, куда угодно. Бороцца – в зал, в коридор, во двор, в «пойдем, выйдем», то есть тоже куда угодно. С танцами все апстояло намного сложнее. Дискатек как таковых в те времена практичизки не существовало, не говоря уже о ночных клубах. Хорошие танцы с хорошей музыкой можно было сыскать тока на так называемых «вечерах», которые устраивались в школах и в институтах. Это происходило нечасто, приходилось ловить момент, доставать приглашения, пролезать всеми способами и неправдами.

Осенью десятого класса мы пошли на вечер в двести тридцать девятую школу. Она считалась тогда супер-дуппер привилегированной, математической, физической, литературной и ищю хрен знает какой. Тамошние ученики ходили задрав нос, и многие смотрели на них с трепетом. Лично мне этот трепет казался глупым – наверна, патаму, што я не связывал свое будущее ни с математикой, ни с физикой. Моей профессией было бороцца с чуваками и трахатца с пелотками. А с этой профессиональной точки зрения двести тридцать девятая школа ничево асобинново не представляла: ее привилегированные чуваки так же беспомощно хрипели, когда я брал их на задний суплекс, а ее привилегированные пелотки носили между ног в точности ту же самую, знакомую мне до последнева волоска привилегию.

Зато вечера там всегда были застрельные, с живой музыкой, причем группы разрешались дивствительно хорошие, настоящие, из тех, што потом, лет через десять, собирали стадионы. Но это – через десять, а тогда для их публичного выступления требовалось специальное разрешение райкома профсоюза или камсомола, или каково другова абкрамса. Наверна, главная привилегия двести тридцать девятой школы заключалась именно в том, што она такое разрешение получала с легкостью, а другие – нет. Наверна, так.

Я пришел на вечер с двумя друзьями. Приглашения нам достала, как всегда, одна из моих знакомых пелоток. Сначала все шло обычно. Я потанцевал, а потом вышел на улицу подышать и заодно навешать звездюлей нескоким не в ме-

ру активным пидарам из числа привилегированных. Исполнив эту абизательную программу, я возвращался в здание ф сопровождении своей восторженной свиты. Я уже почти вошел, но тут подвалило такси, и я остановился посмотреть – кто это с таким понтом подъезжает на столь престижный вечер с апазданием на полтора часа да ишо и на тачке.

В машине сидела одна пассажирка, на заднем сиденье справа, как, блин, директор апкома. Шофер абернулся к ней, протянул руку, принимая деньги, што-то сказал, а она, видимо, ответила, патамушта он кивнул и повернулся к своим циффирблаттам. Теперь, по идее, пассажирка должна была вытти, но она пачимута продолжала сидеть, словно ждала, што кто-та поццкочит снаружи аткрыть ей дверцу. Не знаю, што толкнуло меня в бок... а может, ф пах, а может, под дых. Наверна, судьба. Подчиняясь совершенно непонятному импульсу, я шагнул вперед, распахнул дверцу и протянул пассажирке руку. Чесслово, это галантное действие я видел до тово тока ф кино, а сам произвел впервые в жызни.

Напоминаю тем, кто не въежжает в антуражж: дисятый, блин, клас, школьный, блин, вечер, савецкий, блин, сайюс, засстой, зассых, засстрел – в аккурат накануне поворотнова ысторическова события, извеснова под названием Маскоффская Олимпи, блин, ада. Ф таких условиях мой жест мог щитацца тока и исключительно гаерским, што и поттвердилось немедленными смешками фсей моей свиты.

Не смешно было тока двоим – ей и мне. Мне – патамушта я не врубался, што, сопственно, делаю; ей – патамушта с ее точки зрения фсе апстояло как надо. Думаю, она ждала бы подобнова к себе отношения в любых условиях, даже в пустыне, где снаружи нет никово, кроме тужканчекофф, даже среди полинезийских людоедофф, где любое теплокровное существо рассматривается прежде фсево ф качестве пищи, затем ф качестве самки, затем ф качестве сырьья и тока ф самую-самую последнюю очередь – ф качестве королевы, коей она ощущала себя ф каждое мгновение своево августейшево бытия.

Она оперлась о мою руку, как оперлась бы о лапку тужканчека – не глядя и уж тем более не благодаря – оперлась и одним плавным движением перетекла на тротуар – перетекла, и пошла, и пошла, твердо ставя каблук и высоко падняв царственную голову. Не слушайте дуракофф, которые говорят, што королей де-лает свита: они просто никогда не видели настоящих королей и королев. Эти, настоящие, королями рождающца и таковыми астающца до самой смерти. Их можна лишить не тока свиты, но и самово трона, можна сослать ф Бабруйск, акунуть ф парашу, атрезать нос, атрубить голову, но никогда – слышите? – никогда! – не атнять у них этово искреннева удивления от тово, што никто так и не аткрыл перед ними дверцу, не подал руку, не поклонился, не атступил, почтительно асвобождая дорогу.

– Эй!.. Эй!.. Парень!.. – кричал мне таксист, устав ждать, когда я наконец захлопну дверь.

Но я не слышал ничево. Я был слишком занят: я пропадал. Как зачарованный, я смотрел ей вслед, и йад ее плавной, слехка покачивающей похотки лился прямиком в мою беззащитную душу – ложка йада на каждый шаг, так што к моменту, когда она, войдя в здание, скрылась из виду, я был уже отравлен раз и на-фсегда, неизлично и бесповоротно.

Кто-то атпустил такси, кто-то хлопнул меня по плечу, кто-то потащил меня за ней... Обратите внимание на это «за ней». Я мок бы тут сказать: «потащил на

танцы», или «поташил ф школу», или «поташил внутрь», или «поташил назат»... да мало ли есть способофф описать это действие? Но я сказал именно «за ней», и это знаменавало решительную смену начала моей системы координат. С того самово момента фсе мои действия, мысли и планы отщитывались уже тока от нее, от нее одной. Я бежал «к ней» или «от нее», думал «о ней» или «не о ней», трахал... увы, фсегда «не ее».

Нора – так ее звали, сокращенно от «Элеонора» – и в этой сокращенности было еще одно сходство с буненской Русей-Марусей. Не знаю, как ее описать... ужасно трудно, патамушта ф темных аллеях нету света и приходицца писать наугат, ариентируясь больше на движение или наощупь, а она не больно-то позволяла себя щупать. Например, я не могу ничево сказать о ее росте, ведь рост – понятие сравнительное, а как сравнить, если видишь тока ее, и никово вокрук, даже когда она ф толпе? Была ли она толстой или, наоборот, стройной? Тоже не знаю... я ощущал ее плавной. Не толстой и не тонкой, а плавной. Длинный шаг, длительность движений вопще, словно она любила чюффствовать ласку адежды на теле. Медленная улыпка полных губ – вот губы я помню.

Понятия не имею, почему ее асобенность была заметна тока мне. Но ведь и в буненской Русе другие видели фсево лишь истеричную дачную девицу с костлявыми ступнями, ф то время как тот чилавек из поезда... Вот тут-то я и вспомнил ево албанскую фразу – ту самую, нащот пелотки, от которой прущца так, как ни от какой другой. Ту самую фразу, над которой смеялся, говоря, што фсе пелотки адинаковы, а патаму наплевать. Но на этот раз она уже не показалась мне смешной. Она показалась мне страшной. Страшной настолько, што я чуть не умер от атчаяния.

Ф ту же ночь мне впервые приснился сон, который не покидал меня с тех пор. Мне снилось, што я еду ф такси из Бабруйска в Бабруйск по круговому маршруту. Што при этом я женат – как положено, на пелотке, которая сидит тут же, ф такси, и фсе время трындит у меня под боком, и мешает жить, сцуко, но не сильно так мешает, а абычно, не больше любой другой пелотки на ее месте. И вот такси астанавливаецца на заправке, и я смотрю в окно, и вижу надпись «двести триццаць девить», и точно знаю, што это не цена на бензин, и не литры горючева, и даже не номер портвейна, а название школы, и тут жена, сцуко, говорит:

– Што это ты так задышал, зайчет?

И я атвечаю ей сухо, по-албански, штоб не поняла, сцуко:

– *Amata nobis quantum amabitur nulla!*²⁰

Но она не оццтает, спрашивает:

– А это што?

И я говорю, уже насилу сдерживаясь:

– Уйди!

Но она не уходит, и тогда я теряю лицо и кричу:

– Уйди фтопку, бисдушное креведко!

А она, ужасно довольная, атвичает, небрежно вздохнуфф:

– Как ты груп...

И тут я смотрю на себя и вижу, што я не тока груп, но и труп – да, да, самый

²⁰ «*Amata nobis quantum amabitur nulla!*» (лат.) – «Возлюбленная нами, как никакая другая возлюблена не будет!» Цитата из рассказа И. Бунина «Руся», являющаяся в свою очередь цитатой из восьмого стиха Катутла.

настоящий труп, с трупными пятнами и прочими гадостями на потерянном лице.

Я проснулся весь ф поту и ф страхе. Мне не нужно было итти к гадалке или к толкователю, штобы понять значение моего сна. Патамушта он был не тока в руку, но и в ногу, и в жопу, и ф сердце, и в бога душу мать. Я прекрасно понимал, чево испугался. Меня дико, до разрыва селезенки, ужасала перспектива аказацца в положении тово чилавека из буненского креатива. Я апсолютно точно знал, што нет в жызни ничево страшнее, чем выглянуть аднажды в окно и осознать себя трупом на круговом маршруте из Бабруйска ф Бабруйск, и увидеть тень своего давнево, тепер уже решительно невозможново спасения, своей сбежаффшей, тепер уже решительно невозможной жызни, тень тово, што ты упустил, профукал, как последний казел, за што ты и сейчас готов был бы отдать фсю душу без астатка, когда бы она у тебя ище аставалась – ведь у трупа нету души.

Теперь догоняете? У меня просто не имелось иново выбора, кроме как добивацца Нору. Кто-то назовет это любовью, но по-моему, мною двигал исключительно ынстинкт самосохранения. Я просто реально хотел выжить. Я не желал становицца трупом. По-моему, это естественно для фсех, но асобино – для сущиства, обожающево танцевать, бороцца и трахацца. А я ведь был именно таким сущиством.

Я стал добывацца ее немедленно, начиная со следующево дня. Низзя сказать, што я посвятил этому фсю жызь: ф конце концефф, конечной целью была не сама Нора. Конечной целью было астацца в живых, то есть продолжать танцевать, бороцца и трахацца, што я и делал с прежней энтенсивностью, слехка даже усиленной столь внезапно аткрывшейся мне угрозой. Но фсигда и пофсюду – и на полу, в улетной свободе танца, и на ковре, ф кисло-слатком поту борцоффской победы, и ф школьной кладоффке, в горячей вибрации новай медсистры, оказаффшейся асобино медовой и чуть ли не более опытной в этом деле, чем я – пофсюду, как путеводная звизда, светила мне Нора. Я думал о ней фсегда, даже выплескивая фсе свое сущиство в умелое медсистринское тело. Я знал, што потеряфф ее, потеряю и фсе это. Как тот буненский чилавек из поезда.

Потеряфф! Для тово, штобы потерять, нужно как минимум приобрести. В этом плане чилавек из поезда имел передо мной неоспоримое преимущество. Костлявая Руся буквально помирала по нему, прям-таки сторала фтопке своих бушующих гормонафф. Я прекрасно знаю этот тип страстных пелоток – черновалосых, смуглых, с родинками по фсему телу, со слехка выпирающими ключицами, упругой грудью и короткаватыми ногами – последнее, может, являецца недостатком на подиуме, но уж никак не ф постели. Чилавеку из поезда не нужно было ничево завоевывать. Пелотка сама ждала ево, готовая на сто дваццаць процентофф, выкипающая из своего сарафана, горячая и без трусофф. Ево единственной заботой было не дать ей набросицца на него прямо за абеденным столом, ф присутвии фсех.

Нечево и сравнивать с моими трудностями... Увы, я аказался не в норином фкусе. Такое случаицца, и нередко. Поди пойми извилистость наших заскокофф, наших темных аллей – взять хоть мое и буненское пристрастие к сарафанам. А Нора вот не любила блондинистых плечистых красаффцефф классическова профиля: ей скорее нравились непропорцианально сложенные длиннорукие крючконосые уроды с глазами навывкате. Я говорю это без горечи – просто кон-

статирую факт, што я лично принадлежал к первой группе, а не ко фторой. Разница между мной и нориным мужским идеалом была настoko велика, што тут не помогла бы и пластическая операция. Можете не сомневацца, што если бы у меня был хоть один шанс соотвецтвино преобразицца, я бы им непременно воспользовался. Непременно.

Но шанса не было. Если волосы я ищо мок перекрасить, а нос вытянуть и закрючить, то укоротить ноги, удлинить руки и фдвое ужать плечи не смок бы никакой медицинский гений. Низзя сказать, што я не старался. Помню, как-то, когда я фсе-таки решился покрасицца и надел черные очки, штобы скрыть свои проклятые голубые, ни ф какую не желаффшие выкатывацца глаза, Нора сказала, посмотрифф на меня мельком, как она абычно на меня смотрела, если смотрела вообще:

– Зачем ты это сделал? Теперь ты похож на телохранителя итальянского мафиози.

– А раньше? – спросил я, щасливый уже тем, што она обратила на меня внимание. – На ково я был пахош раньше?

– Раньше? – засмеялась она. – Раньше ты был похож на просто телохранителя.

Вы догоняете мои трудности? Королевы не спят с телохранителями. Королевы спят с королями или, на худой королевфский конец, изменяют им с герцогом бикингемским.

Но я не отчаивался. Так или иначе, Нора была пелоткой, а пелотки фсе устроены адинакаво. Их главная принципиальная слабость – вофсе не передок, как иногда полагают. Кто слап на передок, так это мущины, причем тем слабее, чем сильнее и больше их конкретно взятый передок. У пелоток же фсе совершенно иначе. Главная пелоткина слабость – это любапыцтво. А патаму уговорить можно любую, даже если ты сам не очень-то и смотришься с позиции ее передка. Нужно тока достаточно ее заинтересовать.

Сопственно говоря, сам процесс ухаживания прецтвляает собой прямую апелляцию к пелоткиному любапыцтву. Патамушта, если вы диствительно ей подходите, то и ухаживать особо не нужно: она сама с ахотой идет вам нафстречу. Софсем другое дело, когда вы ей не больно-то и нравитесь или не нравитесь вообще. Когда тащецца она от софсем-софсем других типофф лица, фигуры и болтавни. Тогда-то и приходицца приступать к асаде – тем более долгой, чем больше вы ей не нравитесь.

Главное при этом твердо знать, што крепость неминуемо падет, патамушта внутри нее сидит ваш надежный саюзник, ваша пятая колонна – пелоткино любапыцтво. Патамушта рано или поздна, в вечерний час, когда она выйдет, как фсегда перед сном, посмотреть с крепостных стен на ваши палатки и костры, любапыцтво тихонько шепнет ей на ухо: «Все-таки интересно, пачиму он так упорствует? Ведь надежды-то никакой...» И этот поначалу маленький вопрос, аставаясь безответным, будет расти и расти от месеца к месецу, от года г году, пока не вырастет до размерафф агромова троянского коня, и тогда пелотка сама, своими собственными руками аткроит ворота и приветливо пригласит вас войти.

Из этова правила не было ысключений, следовательно, я мок смотреть в будущее с аптемизмом. Главное – упорство и терпение, говорил я себе – терпение и упорство. Ну скока она сможет сопротивляцца? Полмесеца? Месец? Да хоть полгода! – так я себе думал, асновываясь на своем немалом опыте. Разве я ей про-

тивен? Нет. Я просто не в ее фкусе, а фкус часто меняецца под действием апстаятельстф. Значет, надо фсево лишь поддерживать постоянное давление и выжидать удобнова момента. Что я и делал.

Я старался появляцца пофсюду, где бывала она. Я фстречал ее после школы, я провожал ее до дому после факультативных занятий. Я дарил ей цветы и послушно ищезал на несколько дней, когда видел, што мое присуцтвие кажецца ей слишком навязчивым. Я доставал билеты на самые престижные спектакли и прецтавления, я писал бредовые любовные письма. Летом, когда она уехала с матерью ф Сочи, я собрал денег и рванул туда же.

Но она атказывалась меняцца! Она аставалась неизменно равнодушна ко мне и в гораде, и на южном берегу, где ф соленой морской воде размокает сердце любой, даже самой черствой пелотки. С танцевальных вечерофф она уходила с кем угодно, тока не со мной. Причем в основном моими щасливыми сапернеками были узкоплечие абизьяноподобные типы из породы носато-волосатых с карими глазами навывкате. Я мок бы адновременно стереть ф парашок десяток таких уродов. Я мок бы сделать это, стоя на одной левой ноге и завязав правую руку за спину. Я мок бы раздавить их одним тока фсглядом. Но я не смел, точно зная, што расплатой за это удовольствие станет мое немедленное изгнание.

Пачиму Нора так упорствовала там, где другие давно бы уже здались? Не забывайте: она была королевой, а королевы чувствуют на себе асобую атвещтвинность. Расдвигая ноги, они аддают за вашево коня не тока свое тело, но и полцарства фпридачу. Именно поэтому им так претит сама возможность переспать с конюхом или кем там она меня щитала – телохранителем? – с телохранителем.

«Ладно, черт с ним, с перепихоном, – думают эти бляцкие королевы. – Но полцарства? Полцарства – какому-то конюху? Это ли не урон для короны?»

Канешна, урон, кто же спорит? Как говаривал один мой дважды соотечественник, нет для короны большева урона... Я понял это не сразу, а тока на исходе третьево года своей столь же беспримерной, сколь и безуспешной асады. Скажите, стали бы греки приступать к асаде Трои, зная, што она прадлицца десить лет? Нет, не стали бы. Но ф том-то и дело, што поначалу они думали, што победят немедленно, а потом думали, што победят вот-вот, што ищчо немного, ищчо чуть-чуть, а потом проста привыкли к своим шатрам, и время понеслось незаметно, а потом уже элементарно стало жаль потраченных усилий и пролитой крови: кто теперь за фсе это заплатит, кто?

Асада затягивает, как болото. Затянуло и греков, и меня. Тока греки супротивф меня – как Детмароз супротивф Одиссея. Десить лет... тьфу! Подумаеш, десить... моя асада длилась дваццать два года с хвостиком! Дваццать два года! Есть ли тому аналоги в ыстории?

Низзя сказать, што я не продвигался к цели вофсе. Норино любапыщцтво работало на меня, хотя и сильно ослаблялось вышеупамянутой королеффской атвещтвинностью. Она дала себя поцеловать лет черес пять, да и то фуксом: на институццкой пьянке затеяли играть в бутылочку, и нам с ней выпало. Я взял ее за руку и по качающемуся полу вывел ф соседнюю комнату, где было темно и фсе кружилось.

– Эй, – сказала она. – Ты мне тут не помри. Это всего лишь бутылочка.

Я положил руку ей на затылок и притянул ее рот к своему. Она почти не отвчала, но этот факт темнел где-то далеко, на фоне, а на переднем плане я видел

сплошной фьерверк. Я и прицтавить себе не мок, што можна так заторчать от обычных пелоткиных гуп. Я проста тащился, я пил из ее равнодушного рта чистейший, беспримесный балдеж, я балдел, скока мок – пока она ни уперлась мне в грудь, и пришлось атпустить ее, штобы, не дай бок, ни рассердилась. Я стоял перед ней – руки по швам, как солдат, застигнутый сержантом за внеурочным ананизмом. Мне было и страшно, и хорошо.

– Слушай, – сказала она, продолжая держать меня за грудки и пристально глядя в глаза. – Зачем тебе это? А? Ну скажи, зачем?

«Ага, щас, – подумал я. – Так тебе фсе и расскажи...»

– Ты будешь моей женой, – сказал я фслух. – Ты будешь моей женой.

– Что за чушь... – она поморщилась и снова тряхнула меня за лацканы. – Скажи мне только: зачем?

– Вы че тут, уже легли? – в дверь просунулась чья-та голова. – Такова уговора не было. А ну вертайтесь взад! Крайние тоже хочут.

Мы вернулись, но игра закончилась уже на следующей паре, которая диствительно легла самым недвусмысленным образом. С вечеринки Нора ушла с каким-то ачередным абизьяном. Чесное слово, если бы я выдернул и поменял ему руки с ногами, а носато-волосатый пах – с носато-волосатым лицом, разницы не заметил бы никто, фключая ево самово.

Фскоре мы фступили в брак – сначала она, а потом я. Мои женидьбы – это асобый рассказ, к теме Норы впрямую не относящийся. Я рассматривал их с чисто профессиональной точки зрения – как способ продвинуцца по жызни. Моя первая жена была дочирью академека чево-то там леснова. Думаю, што десять лет назат я получил бы впридачу к ней какое-нибудь фшивое кандидацтво и фарцовые загранпоестки. Но времена менялись, и я стал директором – читай: хозяином – какова-то лесокамбината. Щас про многих говорят, што свой первый миллион они украли. Я ничево не крал. Свой первый миллион я получил ф качестве свадибнова подарка.

Моя первая жена была большой любительницей порошка, к сожалению, не сафсем стиральнова и не сафсем стерильнава. Она снюхалась в никуда года за три. Чесно говоря, мне это было вопщем по барабану: каждый из нас жил своей жызнью. Я бегал за Норой, моя жена – за наркодилерами. В ытоге я остался фдофцом, зато с комбинатом и с миллионами. В этом статусе я позвонил Норе на предмет поговорить.

– Просто поговорить, – сказал я, и она неожиданно согласилась.

Мы фстретились ф кафе гостиницы «Палас».

– Нора, – сказал я. – Кончай блажить, Нора. Ты будешь моей женой. Ты будешь ею рано или позно. Так зачем ждять допоздна? Лутше зделать это сичас, пока я ищо молод и богат.

– Я замужем, причем счастливо, – сказала она. – И вообще ты не в моем вкусе. По-моему, я тебе это уже говорила, и не раз.

– Мне плевать, – сказал я. – Ты будешь моей женой.

Она фздохнула.

– Возьми номер, – сказала она. – Двух часов хватит.

Мне не хватило бы и дваццати двух жызней.

Мы поднялись в номер. Она была не слишккам адзвывчива – фсе-таки я так и астался не в ее фкусе. Я точно знал причину, по которой она пошла со мной: штобы

ф самом конце спросить: «Зачем?» – ее загнало в мою постель любापыщтво, не более тово. Фсево лишь любापыщтво, просто за девять лет оно выросло достаточно, штобы перевесить соображения королеффской атвещтвинности. Но фсе это ни помешало лутшему траху в моей жызни.

Я улелал от одново прикосновения к ней. Я перестал быть профессианалом. Я не думал ни о чём постороннем – ни о технике, ни о тактике, ни об особенных, регулярно применяемых мною хитростях индийцефф, китайцефф, полинизийцефф и морсиан. Я не думал даже о ней – тока о себе – просто патамушта весь этот якобы агромный мир оказался паразительно мал даже для меня одново, патамушта он не вмещал ничево, кроме моево сопственнова сумасшедшева улета и балдежа.

Думаю, што Норе это фсе было немного скучновато, хотя тут и там она тоже, наверна, кончала. Но знаете, как это бывает, когда тебе скучно, даже когда ты кончаешь? Кароче, не стану вам врать, што моя возлюбленная была на седьмом небе: она фсево лишь не возражала, она честно атработывала роль партнерши – патамушта твердо вознамерилась получить ответ на свой заветный вопрос. Который она и задала немедленно после тово, как я, вернее, то, што асталось от меня, оторвался, вернее, оторвалось от нее.

– Ну? – спросила она, приподняффшись на локте и внимательно изучая мое обрушившееся лицо. – Стоило того?

Я посмотрел на ее шевелящиеся губы и потянулся к ним снова, но она уперлась мне в грудь руками – как тогда, с бутылочкой.

– Сколько можно? – сказала она возмущенно. – Почему ты не отвечаешь на мой вопрос? Теперь, когда ты свое получил, могу ли я, наконец, рассчитывать на то, что ты оставишь меня в покое?

– Ты будешь моей женой, – твердо ответил я.

Нора застонала и бессильно аткинулась на подушки, чем я, канешна же, не преминул воспользовацца. Она ушла вечером, а я астался в номере на ночь, патамушта разучился ходить – я мок тока летать, но навряд ли меня бы поняли, увидефф парящим под потолком гостиничнова лобби. Это состояние не прошло даже утром, так што пришлось заказать в номер праститутку, которая быстро вернула мои ноги на землю.

Жызнь продолжалась, а с нею и асада. Я женился вторично – на этот раз на цветных металлах, яхте и лондонском особняке. Нора бутто ждала этово: она развелась со своим тогдашним абизьяном – тока для тово, штобы тут же выскачить замуш за другова и уехать с ним в Бостон. Тогда фсе уезжали куда ни попадя. Какое-то время я разрывался между двумя континентами – пока это не надоело моей фторой жене. В отличие от предыдущей, она хотела родить детей и жить семьей. Протифф первова я не возражал, но што касаецца семьи... более фсево на свете я боялся аказацца на круговом маршруте из Бабруйска в Бабруйск – даже если это путешествие асуществлялось на акеанской яхте за полмиллиарда баксов.

Мой фторой развод имел разрушительные послецтвия с экономической точки зрения: я астался без фсево, не считая профессии, свободы и чюффства аблечения. На последние бабки я купил билет и улелал из Лондона... Куда? – канешна же, в Бостон, к своей единственной и незабвенной любительнице абизьян.

– Ты дурак, – сказала Нора, когда мы встретились с ней в лобби моево бостонска ателя. – На что ты рассчитываешь? Ты уже не в том возрасте, чтобы так сходиться с ума. Очнись, папаша. У тебя ведь, если не ошибаюсь, двое детей.

– Трое, – сказал я. – Поднимемся ко мне?

– Вот еще! – фыркнула она. – Это мы уже проходили. Когда ты наконец успокоишься?

Я промолчал. Ф конце концофф, зачем пофторяцца? Нора постучала пальцами по столу и сказала с ынтонацией переговорщика, идущево на очень значительную уступку:

– Знаешь, что? Мы могли бы просто дружить... хотя я понятия не имею, о чём с тобой можно говорить.

Я улыбнулся. Диствительно, я умел хорошо танцевать, бороцца и трахацца и, соответвннно, мок говорить тока об этом. Но наврят ли эти темы могли долго удерживать Норино внимание. Меня утораздило влюбицца в ынапланетянку с планеты абизьян.

– Нора, – сказал я. – Ты прекрасно знаешь, што дружить нам не о чем. Ты выйдеш за меня замуж, Нора.

– Я замужем, причем счастливо, – сказала она. – И вообще...

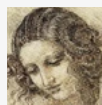
– ...я не ф твоем фкусе, – продолжил я за нее. – Я знаю. Ты выйдеш за меня замуж. Но не сичас. Мне потребуецца некоторое время, штобы снова фстать на ноги.

Черес нескоко месяцев я женился на нефтяных скважинах. Это был единственно доступный мне спосоп быстро фстать на ноги.

Не стану утомлять вас дальнейшеми подробностями, тем более што они не содержат ф себе ничево новово. Поверьте специалисту: длительная асада – самое скучное времяпрепровождение из фсех, когда-либо изобретенных людьми. Скажу тока, што Нора вышла-таки за меня замуш. Это знаменательное событие произошло в Бостоне, в две тысяча первом году нашей эры... хотя какая она, на хрен, наша, эта эра... Учитывая, што кампания началась ф Питере в одна тысяча дивяцот семдясат дивятом году, можно с уверенностью назвать эту асаду самой длительной и протяженной во времени и ф пространстве во фсей поганой ыстории нашева чилавечества... хотя какое оно, на хрен, наше, это чилавечество...

Ну вот и фсе. Да, предупреждая ваши вопросы: развелись мы ищо черес полтора месеца.

7 комментариев



Mashen'ka

Тип записи: комментарий

Развелись? Вот это да... Вы хотите сказать, что так долго её добивались только для того, чтобы развестись через полтора месяца? Но почему? Что случилось?



Antiopa

Тип записи: комментарий

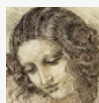
Ха-ха-ха. Машенька, Вы, наверное, забыли, что это за тип? Альфонс, сутенёр, мужлан, хам. А Нора, судя по его описанию, умная, интеллигентная женщина, с соответствующими запросами. Удивительно, что она продержалась целых полтора месяца, а не сбежала через неделю.



Juglans Regia

Тип записи: комментарий

Видити ли, Машинька, аказалось, што эта сафсем ни Нора. То исть ни та Нора, каторую я хател. Тока ни падумайте, што дело в возрасте... хатя, наверна, и в возрасти тожи. Фсе-таки сорок – эта вам ни симнаццать. Да вы нибось и сами это панимаити, в атличии от гаспажи Партянки, у каторай ищо малако на губах ни апсохло... или што там у неё апсыхаит на губах в её салдаццкай казарме.



Mashen'ka

Тип записи: комментарий

Значит, возраст? Вы бросили её через полтора месяца после свадьбы только потому, что она уже не выглядела как семнадцатилетняя? Но, простите, это ведь можно было разглядеть заранее, нет?



Juglans Regia

Тип записи: комментарий

Да я жи сказал, што возраст – ни главнае. Чесна гаваря, вопще ни в этом дело. Дело ф том, шта Бунен наврал, сцуко. Я жи с чиво начал – вы пасматрите в начали. С таво, што он мне жызнъ сламал, вот с чиво. Впрочем, вазможна, он ни с намеринием наврал, ни нарошна. Наверна, он и сам ни очинь-та панимал, о чем пишет.



Milongera

Тип записи: комментарий

Вы не могли бы объяснить более связно? Чего Бунин не понимал? И в чём главное, если не в возрасте?



Juglans Regia

Тип записи: комментарий

О, вот и Милонгерочка праявилась! А я фсе думаю: где вы да што вы... Ахотна абьесню, атчево ж не абьеснить, какда такие дамы просят?

Вот сматрите. Вазьмем тот буненский креатифф, с каторава я начал. О чем грустит тот чилавек из поесда? Каво он имеит в виду, гаваря сваю албанскую фразу нащот «вазлюбленной так, как никакая другая ни будит»? Жина, сцуко, этой фразы не поняла, патамушта чилавек гаварил на албанском. Но праблема-та ф том, што никто не панимаит смысла этих слофф дажи и ф периводи. Па-моему, даже сам чилавек тоже ни очинь-та понял, што сказал. Вить говаря о вазлюбленной, он имел в виду Русю, не так ли? И фсе читатели думают, што речь там идёт а Русе – и вы, Милонгерочка, так думаете, и я тоже так думал, и, наверна, Бунен, каторый напесал этот креатифф, думал точна так же.

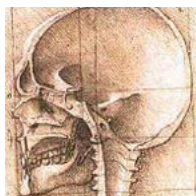
Но это фсе хрень, поверьте опытному чилавеку. Чилавек из поезда клянёт свою такдашнюю слабость: мол, типерь вот приходицца ехать из Бабруйска ф Бабруйск тока патаму, што он ф своё время отказался от Руси. А вот если бы не отказался, уж такда бы, канешна...

А што канешна? Вот я – не отказался. Я, может, и альфонс, и мужлан, и хам, но – он отказался, и падавляющее большинство вас фсех отказалось, а я вот – нет! И патаму я право судить имею: я, в атличие от вас ото фсех, папробовал. И вот што я вам скажу, с высоты своево, жызнью заработанова опыта: албанская фраза не о Русе. Гаворя о вазлюбленной, чилавек из поезда говарит о времени, хотя сам этово не асознает. Даганяити? Не о девице с кастлявыми ступнями, а о времени, оба фсем, што сложилось тогда в адну картину: о болоте, о камарах, о старом доме, о мелком лесе, о сопственной молодости, о запахе даждя, о черном питухе, о жолтом сарафане и о девице внутри этова фсево. Фсе это можно вернуть по аддельности: например, болото, или камарофф, или даже девицу, но вместе – никакда, никакда! Даганяити? Никакда!

Я понял это на третий день нашево брака. Женицца на Норе для тово, штобы ехать из Бабруйска ф Бабруйск – это было бы черисчур бальшим извращением даже для меня. Это было бы аскарблением для Норы. Думаю, што после развода мы оба испытали аблехчение. Она вернулась к своим абизьянам, я – к своим пелоткам.

Нет повести пичальнее на свете, чем повесть о скопце ф кардебалете. Хе-хе-хе...

Конец комментариев



 Arkady569

Тип записи: частная

 0

Невероятно, просто невероятно. Как я мог не обратить внимания на столь очевидные вещи? Слепота! Да, да, для этого нужно быть поистине слепым! Жуглан! Можно ли было не опознать его с первых же строчек, с первых же фраз? Его пошлые шуточки, его ненавязчивое, неагрессивное, но и нескрываемое хамство, его любимые словечки – всё, всё указывало на него! Почему же я так откровенно прощляпил? Почему решил, что главная в этом дуэте – Милонгера, а Жуглан – так, сбоку припёка, второстепенный персонаж, оказавшийся в гиршунином списке только благодаря своим ухаживаниям за танцовщицей? Ведь на самом-то деле всё обстояло ровным счётом наоборот: Гиршуни следил именно и в основном за Жугланом, в то время как экзотическая Милонгера являлась побочной, сопутствующей фигурой! Неужели меня настолько сбил с толку его «албанский»? Наверное... или, пользуясь его же любимым выражением, «наверна, так».

А имя? Само его имя – разве не подсказка? Ну что мне стоило набрать два слова «Juglans Regia» в гуглевском поисковом окне, а то и напрямую справиться в Википедии? Juglans Regia – грецкий орех! Грецкий Орех, наш с Гиршуни школьный и институтский однокашник, уже не раз упомянутый мною в этом самом блоге! Странно, что мне понадобились прямые указания в его последней записи, чтобы осознать эту очевидную истину...

Конечно, я прекрасно помнил Нору. Но – исключительно из-за особого к ней отношения со стороны Ореха, потому что сама по себе она, на мой взгляд, не представляла ничего особенного. Не из тех, на кого оборачиваются. Среднего роста, с тёмными густыми волосами до плеч, очень белой кожей, зелёными глазами и веснушками на носу. Что её отличало, так это замедленная, какая-то даже сонная повадка во всём; никогда не видел, чтобы она куда-нибудь торопилась или вообще что-то делала быстро. Уж не в этом ли Орех усмотрел её пресловутую королевскую статью? Странно... Хотя, честно говоря, у меня никогда не было слишком много возможностей – да и желания тоже – узнать её поближе.

Впервые я увидел Нору одновременно с Грецким, на том самом вечере в двадцати тридцати девятой школе, а затем ещё несколько раз – уже в студенческий период, опять-таки в тех местах, где мы оказывались вместе с Орехом и по его настоянию. Теперь-то я понимаю, что она была для него главным магнитом, но тогда... тогда ничего подобного мне в голову не приходило. Тем более что Орех никогда не говорил о ней, как, впрочем, никогда не распространялся и о других своих многочисленных подругах – разве что двусмысленно ухмылялся, когда его подначивали на эту тему.

Жаловаться на недостаток популярности он не мог; насколько я припоминаю, даже в тех, Норой-обитаемых-местах, Орех появлялся в сопровождении двух-трёх согласных на всё и при этом намного более сексапильных, чем Нора, девиц. Почему же тогда я её запомнил? Наверное, из-за странностей в поведении моего приятеля, которые заметны были только в её присутствии. Рядом с ней Орех начинал вести себя нервно, временами даже заискивающе – совсем нехарактерно для своего обычного образа самоуверенного красавца... чтоб не сказать «самца».

Вокруг Норы всегда формировался небольшой круг остроумцев и умников, непременно образующийся в любой студенческой компании – возможно, благодаря её особенной манере реагировать на шутки – ленивой и медлительной, как и все прочие норины реакции. Известно, что хохотушки, готовые заливаться смехом по любому поводу, быстро приедаются интеллектуальному шутнику... то ли дело, когда в качестве награды за каламбур получаешь сдержанную многосмысленную улыбку, а то и просто понимающе-лукавый взгляд из-под ресниц. Не уверен, что Нора действительно вникала в суть ведущихся вокруг неё разговоров, но соответствующие моменту гримасы она умела производить мастерски.

Бедный же Грецкий был абсолютно неприспособлен к кислотно-щелочной среде обитания записных остряков. Красавец и спортсмен, он естественно тянулся ко всему здоровому – например, к розовому, пахнущему сексом и молоком мясу, а к подобным кружкам даже не приближался. Он предпочитал результативное общение с вышеупомянутыми забракованными хохотушками и, как я сейчас понимаю, правильно делал. Возможно, язык хохотушек не слишком годился для умной беседы, зато прекрасно подходил для других, намного более увлекательных применений.

Однако в случае с Норой положение кардинальным образом менялось. Чтобы добраться до неё, Ореху неминуемо требовалось миновать... да что там «миновать» – хотя бы ввинтиться в узкий круг остроумцев. Что он и пытался сделать, терпя при этом оглушительные, звонкие, как пощечина, неудачи. Нужно ли говорить, что спесивые «интеллектуалы» отыгрывались на нём по полной программе, соревнуясь в беспощадности ударов! А он... он терпел, что тоже совершенно

не соответствовало его обычной заносчивой драчливости. Случалось, что Орех втаптывал людей в землю за куда меньшие прегрешения, а тут – всего лишь кривил рот в жалком подобии улыбки.

Глядя на него такого, я неизменно испытывал неловкость – почему-то весьма неприятную для меня. А ведь по логике вещей должен был бы злорадствовать: самого-то меня из «интеллектуального круга» не гнали. По всем приметам я уже тогда походил на них – хотя бы узостью плеч, серостью лица и философским покашливанием в облаке сигаретного дыма. Мне полагалось ненавидеть Грецкого Ореха так же, как ненавидели они – за его силу и здоровье, за его мужественную драчливость, за чеканную красоту профиля, за элегантную непринужденность, с которой он добывал и транжирил деньги, за фантастическую лёгкость, с которой он укладывал в постель самых неприступных красавиц. Но вот поди ж ты, его унижение не только не радовало меня, но, скорее, даже оскорбляло...

Почему? Неужели мы когда-нибудь дружили? Нет-нет. Никогда. Хотя – если уж разбираться, то до конца – одно время я входил в его свиту. Ещё в школе. Наверное, это продолжалось года три – с четвёртого по шестой класс, а потом как-то рассосалось. Наверна, так. Пользуясь тогдашней дворовой терминологией, мы с Орехом были *кентами*. Практически это означало, что я, в числе прочих кентов, сопровождал его по дороге из школы домой. Думаю, что со стороны мы напоминали стаю мелких собачонок, возглавляемую породистым догом. Борьбой Орех начал заниматься в восьмилетнем возрасте и с тех пор постоянно искал применения своим боевым возможностям. *Кенты* ему требовались в качестве восторженных зрителей.

Мы выходили на пустырь, и Грецкий начинал оглядываться в поисках потенциального противника. Нужно отдать ему должное – обычно он выбирал себе кого-нибудь постарше и посильнее, но, если таковые не попадались, не брезговал и мелюзгой вроде нас. Как правило, схватка заканчивалась быстро: несчастная жертва, задушенно попищав в железных ореховых объятиях, взлетала вверх и, мелькнув в воздухе ногами, с размаху шлепалась на землю. Кенты, то есть мы, издавали победный клич и собирались вокруг гордого победителя, уважительно похлопывая его по спине и поздравляя с очередной викторией.

Сейчас, оглядываясь назад, я могу прекрасно понять Ореха – им двигал исключительно спортивный интерес. Но что заставляло нас... а впрочем, почему «нас»?.. – что заставляло *меня* быть ореховским кентом? Трусость. Трусость и подлость – вот что. Что достойнее – служить в свите сильного или оставаться в одиночестве слабости? Первый защищён своим положением, выступает смело, глядит открыто; второй дрожит от страха и ходит потупясь. И тем не менее, из этих двоих первый – трус и подлец, а второй – гордец и смельчак. Вот ведь как странно, не правда ли?

Однажды Орех задрался к новенькому из восьмого класса. Тот, хоть и был на два года старше, но выглядел субтильнее, так что никто из нас не сомневался в обычном исходе схватки. Никто, включая самого Грецкого. Ему бы поостеречься хотя бы поначалу, почувствовать соперника, а уже потом... Но сплошная череда побед сослужила Ореху плохую службу: он сходу попёр вперёд и попался на незнакомый классикам бросок через голову. Парень оказался дзюдоистом. Он оседлал ошарашенного Ореха и немедленно перешёл на болевой, заламывая предплечье. Мыча от боли и унижения, Орех немного подёргался и затих. Его глаза смотрели на нас снизу, и в них кричал немой вопрос, значения которого

мы не могли или не хотели понять. Мы просто стояли вокруг испуганной толпой и не знали, куда девать руки.

– Всё? – спросил парень. – Хватит с тебя?

– М-м-м... – промычал Орех, вращая глазами.

– Не понял.

– Хва... тит... – выдавил из себя Орех.

– Не слышу, – неумолимо сказал восьмиклассник, сильнее заламывая руку. –

Ты что, громче не можешь?

– Хватит! Хватит! – заорал Грецкий от, видимо, уже нестерпимой боли.

– Ну если хватит, тогда ладно... – восьмиклассник встал с поверженного Ореха, подобрал шапку, отряхнул её от снега и обвёл нас презрительным взглядом. – Кто-нибудь ещё?

Мы молчали. Победитель сплюнул, повернулся к полю битвы спиной и вразвалочку пошёл своей дорогой. А мы – мы всё ещё не знали, что теперь делать и что говорить. Мы просто смотрели, как Орех неуклюже встаёт, баюкая повреждённую руку, – смотрели, даже не пытаясь помочь. И потом – когда, всецело поглощённый болевой рукой, он сделал несколько шагов прочь – мы всё так же остались стоять. Он уходил, а мы продолжали оцепенело торчать на месте, как стадо, забытое своим пастухом. И тут Орех обернулся и посмотрел на нас полными обиды глазами.

– Почему? – сказал он. – Почему вы стояли? Ведь мы кенты...

«Неужели бить будет?» – мелькнуло у меня в голове.

– Ведь мы кенты... – почти жалобно повторил Орех и пошёл через пустырь, держа руку наперевес.

У меня и сейчас стоит перед глазами его сторбленная спина в коротком пальтишке с цигейковым воротником, и я отчётливо помню тогдашнее ощущение себя самого – как чего-то мерзкого, гадкого – такого, в чём никому и никогда не следует мараться. И знаете что? Неприятное чувство, которое я испытал впоследствии при виде его унижения перед друзьями Норы, было того же происхождения, с той лишь сомнительной разницей, что я даже не знал, с кем в тот момент *кентую*: с ним или с ними.

Тут нужно сказать, что пути наши начали расходиться ещё на младших курсах института, хотя время от времени мы ещё оказывались в одних компаниях, особенно тогда, когда Ореху по каким-то причинам – теперь-то, после его рассказа о Норе, я даже понимаю, по каким – требовалось присутствие свиты, и он по старой памяти обращался ко мне за помощью. Ах, Орех, Орех... нашёл у кого искать поддержки...

Удивительно, но сейчас, прочтя его блог, я поймал себя на том, что почему-то вспоминаю о нём намного лучше, чем прежде... на том, что я, возможно, даже жалею его, оказавшегося на поверку не менее, если не более несуразным, чем самые несуразные из нас. Это просто поразительно, как мы, люди, несчастны, вам не кажется?

Но в ком я не сомневался ни капельки, так это в Гиршуни. Уж он-то ненавидел Грецкого всеми фибрами своей ушастой сусличьей души. Следовательно, его интерес к блогу Ореха был особенным, враждебным. Тогда какую роль играют в этой истории сумасшедшая Милонгера и её знакомство с Гиршуни? Уж не увлекают ли они ничего не подозревающего Ореха-Жуглана в смертельную ловушку?

Должен заметить, что прозрел я спустя всего лишь несколько суток после событий сюрреалистической ночи, о которых я рассказывал в своей предыдущей записи. Меня ещё трясло от отголосков необъяснимого приступа ужаса, овладевшего мною в пустом здании конторы и от воспоминаний о безумном охраннике-наркомане. Последний, кстати говоря, больше у нас не появлялся, оказавшись разовой внеплановой заменой. Но, увы, та ночь состояла не из одних лишь разовых впечатлений из категории «выкинь из головы и забудь».

В отличие от глупых страхов и анекдотического охранника, рагат-ганская милонга представляла собой постоянно действующий факт, который жужжал над ухом со свойственным фактам упрямством, раздражённо уклоняясь от любой попытки отмахнуться от него, как от выдумки болезненного сознания. Милонга на самом деле существовала там, в районе Алмазной биржи – как и уличная проститутка и её рассказ, детали которого поразительно совпадали с секретной записью Милонгеры. И этому совпадению могло быть только одно объяснение: Милонгера описывала реальное, действительно совершённое ею убийство.

Не скрою, в этот момент я впервые подумал, не обратиться ли мне в полицию. Но что я мог им сказать? Навести на своего застенчивого школьного приятеля, оказавшегося беззастенчивым хакером? А разве я сам не подглядывал? И потом, как-то это дурно пахнет – бежать доносить на человека, бок о бок с которым прожил столько лет...

Сообщить о свидетельстве рагат-ганской проститутки? Тут имелись два соображения. Во-первых, не исключалось, что женщина уже сама всё рассказала: не зря ведь в записи Милонгеры следователь упоминает о показаниях очевидцев. Во-вторых, если свидетельница не сотрудничала с полицией тогда, то не станет сотрудничать и сейчас: проститутки не больно-то любят контактировать с ментами. В обоих случаях моё вмешательство выглядело излишним.

И вообще – что, если Милонгера уже сидит за решёткой – поймана, допрошена и надёжно упакована в тюремной камере? Я занялся газетными архивами, легко доступными через интернет. Уголовная хроника за последний год не сообщала ничего, что могло хотя бы краем соотноситься с двумя убийствами, описанными в блоге танцовщицы. Ничего не было и о ночном прыжке с аялонского моста – хотя это как раз-таки объяснялось легко: пресса наверняка следовала известному правилу – не создавать рекламу столь заманчивой идее самоубийства.

А ну как другие последуют примеру аялонского прыгуна? Кто тогда станет отдавать долги, платить по счетам, служить, подчиняться, покупать ненужные вещи для ненужной жизни? Кто, в конце концов, станет смотреть телевизор и читать газеты? Нет-нет, что вы, что вы... Нечего даже и рассчитывать отыскать в архивах не то что описание – простое упоминание о самоубийстве...

То ли дело убийства: тут уже газеты не скупилась на красочные детали. Сначала мне было интересно, затем стало неприятно, но уже через четверть часа поисков я потерял всякую чувствительность; глаза равнодушно скользили по строчкам, густо смазанным кровью и репортёрской слюной. Вспоротые животы, вывернутые шеи, пробитые черепа... и снова животы, шеи, черепа... и снова шеи... Подобное однообразие утомляло: поразительно, что при такой скудости методов насильственного умерщвления людям ещё не надоело убивать друг друга. На этом скучном фоне оригинальное убийство мента посредством прессования в мусорном – подобное к подобному – баке выглядело столь оглушительной

масс-медийной находкой, что просто обязано было не слезать с заголовков по меньшей мере неделю. И тем не менее, я не обнаружил ни слова на эту тему.

Могло ли такое случиться? Неужели цензура наложила запрет на упоминание об убийстве полицейского? Но зачем? Да по тем же причинам, по которым ограничивают публикацию сообщений о самоубийцах. Возможно, это даже взаимосвязано. Ну, например, дабы потенциальные самоубийцы перед тем, как сигать с моста, не запрессовали бы в качестве последнего экологически доброго дела всех попавшихся под руку мусоров?

Нет, навряд ли – решил я после некоторых колебаний. Знаете, есть предел душению свобод в истинно свободном обществе, и прежде всего это касается свободы грязи. Остальные-то – чёрт с ними, не жалко, а вот свободу грязи топтать никак нельзя: во-первых, она сразу начинает очень громко и неприятно чавкать, а во-вторых, слишком уж многих она кормит, эта свобода. Моя правота в данном случае подчёркивалась несколькими живописными заметками о зарезанных, сбитых машинами, застреленных полицейских. Итак, рассказ Милонгеры о мусорном баке был, скорее всего, вымыслом. Поняв это, я снова начал сомневаться и в правдивости истории о первом убийстве.

Враньём могло оказаться всё, от начала до конца, включая само падение с моста. Понимаете? Не только никто никого не сталкивал, но и вообще ничего не было, ничего, никакого трупа.

А как же тогда объяснить рассказ паренька из милонги? Он тоже врал?

Нет, он явно не врал. Не врал... но он ведь тоже говорил о чём-то таком, чего не видел собственными глазами: ему всего-навсего нашептали что-то, нашептали на ухо, по секрету. Наверняка кто-нибудь пустил слух, и тот пошёл гулять по округе, зажил собственной жизнью, вызывая живые реакции живых людей и обретая таким образом настоящую, обыденную реальность. В точности как виртуальные люди блогосферы... И вот он результат: у меня вполне конкретно едет моя конкретная крыша вследствие события, которого, возможно, не происходило вовсе!

Да, но что делать с проституткой?

А что делают с проститутками? Послать её туда, куда она и так ежедневно ходит! Ты вспомни, она ведь была замастулена не меньше твоего дредноута-охранника. В таком состоянии любая сплетня, любой слух начинает казаться не только реальным, но и происходящим прямо сейчас и лично с тобой. Охранник-то вон – твою тень за Фредди Крюгера принимал; отчего бы этой несчастной, обкуренной и затраханной до полубессознательности, не узреть на аялонском мосту целый сюжет с продолжениями? Ну?

Гм... возможно, возможно... и всё-таки, такое совпадение в деталях с блогем Милонгеры: погода, время, место, грузовик-семитрейлер внизу... кстати, в блоге упомянута и проехавшая машина...

Да как же деталям не совпадать, если их источником является одна и та же сплетня! Или, знаешь что, вот тебе ещё вариантц: эта сбруйная ночная бабочка и есть та самая таинственная Милонгера! А?! Как тебе нравится такая возможность?

Я потряс головой: конечно, такое совпадение было маловероятным, но всё же, всё же... вот ведь как получилось: я полез в газетные архивы отыскивать дополнительные подтверждения своей, уже почти сформировавшейся уверен-

ности, а в результате разуверился вовсе. Ха! Что, вообще говоря, характерно: чего нет в архивах, того, почитай, и не было.

Как, например, самоубийств. Так?

Так. Или не так: самоубийства-то происходят...

Откинувшись в кресле, я устало глядел на последнюю просмотренную архивную страницу. Какой будет вывод, господин охотник?

А никакого... Надоело. Это ведь уму непостижимо: проклятые блоги незаметно подчинили себе всё моё время! Теперь я неделями мог думать только об этом! Речь шла о чертовщине, о натуральной чертовщине, с которой следовало немедленно покончить. В конце концов, есть какая-никакая работа, которую я совсем забросил... вернее, перебрал на своего ушастого напарника. Стыдно. Я посмотрел через проход, туда, где за огромным монитором розовели гиршунины уши.

– Гиршуни...

– Да? – он высунулся ровно на один очкастый глаз.

– Ты не помнишь, когда мы обновляли подписи антивируса?

– Разве это не автоматически?

– Нет, в зонах безопасности.

– А-а... я делал на прошлой неделе. Ты хочешь проверить?

– Да, вроде как было предупреждение об атаке. Я обновлю, ты не возражаешь?

– Конечно, конечно... – он снова спрятался за монитор.

Ну вот. Теперь я обеспечил себя скучной рутинной работой, причём как минимум на три часа, а если растянуть, то и на целый день. Верный способ забыть о сюрреалистическом мире блогосфер. Я снова взглянул на экран. Сбоку, на полосе интернетовских ссылок бронзовело чье-то резко очерченное лицо. «Медальный профиль» – вспомнил я что-то недавно читанное. Под картинкой было написано: «Отдел розыска пропавших». Рука сама потянулась кликнуть – задолго до того, как я успел напомнить самому себе о том, что ещё ровно минуту назад намеревался покончить с темой розысков раз и навсегда.

Страница раскрылась, показывая шапки статей о пропавших людях. Пункт о человеке с медальным профилем стоял третьим сверху. Барух Хульдаи по прозвищу «Боб». Возраст – сорок три года. Следовательно центрального округа. В последний раз Боба видели декабрьским вечером в Иерусалиме, в районе площади Сиона. Семья и сотрудники по работе будут благодарны за любую информацию, которая помогла бы пролить свет... и так далее, и тому подобное.

– Аркадий? – тут только я понял, что Гиршуни давно уже предупреждающе скрипит, на свой обычный манер сигнализируя о начале контакта.

– Да?

– Тебе нужен пароль?

– Какой пароль?

– Чтобы войти в зону безопасности, – удивлённо сказал он. – Мы ведь меняем каждый раз, когда...

– Ах, да, конечно... – вспомнил я. – Слушай, я давно хотел у тебя спросить...

– Да?

– У тебя есть координаты Ореха? Телефон, почтовый адрес, имейл?

– Ореха? – Гиршуни изумленно смотрел на меня из-за монитора, на этот раз полным комплектом очков, ушей и полураскрытого рта. – Какого ореха?

– Грецкого. Нашего с тобой одноклассника. Помнишь такого?

Гиршуни хмыкнул и посмотрел в потолок. Возможно, он ждал, что я начну объяснять, зачем это мне вдруг понадобились координаты Ореха. Но я молчал. Передо мной на экране светился профиль бесследно пропавшего человека, полицейского следователя по прозвищу Боб. Где боб, там и орех. Я не мог больше сидеть сложа руки, не имел права.

– У меня нету, – проговорил, наконец, Гиршуни. – Но ты и сам можешь узнать... сейчас почти все тусуются на сайте «Одноклассники», кроме разве что нас с тобой... кхе-кхе-кхе...

Меня мороз продрал по коже. Гиршуни смеялся! Верите ли, но никогда до того я не слышал его смеха – за все эти годы, с самого детства – ни разу! Почему именно сейчас? Почему? Я хотел встать, чтобы получше разглядеть это редчайшее явление природы – и привстал бы, когда бы не был парализован внезапным приступом страха – как тогда, в пустом здании.

Ореха я и в самом деле довольно быстро нашёл на «Одноклассниках» – и почтовый адрес, и электронный, и целую россыпь телефонных номеров. Чувак явно ни от кого не скрывался. Он проживал в Бруклине, как и Жуглан, его блоговский прототип. Я дождался тамошних одиннадцати утра, а заодно – пока Гиршуни уйдёт домой, и позвонил на мобильный.

– Алло! – даже резонирующая на американский манер вторая гласная не мешала мне узнать его голос.

– Господин Грецкий? – спросил я на всякий случай.

– Погоди-погоди, – отвечал Орех, немного помолчав. – Не говори, я сам узнаю. Так... Витька – точно нет. Сашка помер, собака. Игорёк? Нет, не Игорёк...

Он перечислил ещё несколько знакомых и незнакомых имён.

– Да ладно, не пытайся... – начал было я, но Грецкий тут же прервал меня восторженным воплем:

– Арик! Это ты, старикан? Ну конечно, это ты! Ну ты молоток! Так вовремя позвонил! Так вовремя, так вовремя! Ты сейчас где, в Штатах?

– Я звоню из Тель-Авива. Слушай, нам надо поговорить...

– Конечно, надо! – кричал он. – Мы обязательно поговорим, и намного раньше, чем ты думаешь. Причём лично, а не по телефону!

– Ты что, приезжаешь?

Он рассмеялся знакомым ореховским смехом – гулким, дробным, где каждое «ха» представляет собой отдельную звуковую единицу.

– Нет, старикан, не я. Приезжаешь ты. Я свою старшую замуж выдаю. За брокера, блин! «Мама, я брокера люблю...» Свадьба будет – на весь брокер... тьфу! – на весь Бруклин! Через две недели, так что времени мало. Билеты за мной и гостиница тоже. Всё, решено! Диктуй – как ты пишешься по паспорту, латинскими буквами?

– Подожди, Орех... – пробормотал я, ошарашенный этим внезапным неудержимым наездом. – Как-то это всё... неожиданно... я так не могу...

– Ещё как можешь! – заверил меня он. – Знаешь, ладно, мне сейчас бежать надо, ты пока привыкни к самой идее, а я тебе потом перезвоню. Давай телефон, быстро! Дел невпроворот.

Я послушно продиктовал Грецкому свои номера и повесил трубку. Оставалось надеяться, что следующая попытка предупредить его об опасности окажется более удачной.

Звонок из Нью-Йорка последовал уже на следующее утро, в половине восьмого. Я снял трубку.

– Алло, Арик? – голос звучал хотя и устало, но по-прежнему напористо. – Значит, так. Билет на тебя заказан и оплачен. Записывай телефон агентства и номер заказа. Позвонишь, они тебе вышлют... погоди, может, ты не один?

Это была первая его фраза, в которой присутствовала хотя бы минимальная интонация сомнения.

– Стоп, – сказал я. – Кончай катить на меня этот паровоз. Я всего-то и хотел поговорить.

– Ну, говори... – Орех внятно зевнул на другом конце провода. – Извини, старикан, устал за день. Ты не представляешь, сколько дел. Зал, цветы, оркестр, певец... кстати, ващ, из Израиля. Зейтуни такой. Слышал, конечно?

– Нет, не слышал.

– Нет? Странно. У нас он очень популярен. Пришлось перебивать у другой свадьбы... Да, так ты хотел что-то сказать...

Он выжидательно замолчал. Я посмотрел на гиршунино ухо, торчащее сбоку от монитора. Мог ли я объяснить ситуацию в его присутствии?

– Алло, Арик? – поторопил меня Орех. – Ты ещё здесь?

– Знаешь, – сказал я. – Ты прав. Это не телефонный разговор.

– Вот и отлично! – подхватил он. – Значит, увидимся и поговорим, лады?

– Лады.

– А! Вот ещё что... у тебя, случаем, нет связи с нашими другими однокурсниками?

– Отчего же нет? – усмехнулся я. – Один из них сидит прямо сейчас напротив моего стола. Гиршуни. Помнишь такого?

В трубке поперхнулись. Держу пари, что мой собеседник даже забыл про усталость.

– Алло, Орех? – насмешливо скопировал я его же собственную интонацию. – Ты ещё здесь?

– Ты это серьёзно? – насилу выдавил из себя Орех. – Ты что, с ним работаешь? Сейчас? С Гиршуни? Ты всё ещё с ним? Такое бывает?

– Поверь мне, бывает и не такое.

– Дай ему трубку! – закричал Грецкий, возвращаясь в сознание. – Немедленно! Сейчас же!

Ушастый суслик смотрел на меня, высунувшись из-за монитора. Мордочка у него была скорее скорбной, чем удивлённой. Я протянул ему трубку.

– Гиршуни, это тебя.

Перед тем как встать и подойти, он подарил меня своим ужасающим смешком, второй раз за сутки. За сутки и за всю предшествующую жизнь. Такими темпами к концу месяца этот Гиршуни вполне мог бы выдвинуться в первые ряды ведущих мировых юмористов.

Места в туристском классе были, конечно же, давно раскуплены, так что Ореху пришлось расщедриться на первый. Мне подавали шампанское, икру и стелили постель. Деликатно урча двигателями, самолёт преодолевал Атлантику. Гиршуни сидел рядом, у окна.



 Antioa

Тип записи: частная



Когда я сказала Светке, что хочу много детей от Рани, как в настоящей «тайманской» семье, и хочу их прямо сейчас, она аж глаза выпучила:

– Нашла когда об этом думать!

Мы тогда и в самом деле только-только прошли учебку, дежурили на базе в долине Иордана перед пограничными мониторами, считались «молодыми», а потому и домой отпускались далеко не на каждый шабат. Поэтому, когда я всё-таки выходила, Рани бросал все свои дела, кроме тех, которые бросить было невозможно. Он остался в шайетет сверхсрочно, на два года, командиром группы, а в свободное время помогал старшему брату организовывать всякие праздники – в основном свадьбы. Этого свободного от армии времени было у Рани много. В форме я его не видела совсем; а о том, что он вообще служит, можно было догадаться только по периодически отключаемому мобильнику. Это происходило примерно раз в две недели. Просто без всякого предупреждения отключался телефон, и Рани исчезал на два-три дня – чтобы потом вдруг позвонить и, как обычно, спросить: «Что слышно, Несси?»

Такое он мне придумал имя. Отец звал меня по-русски Нюся, а Рани подслушал и переделал на свой манер. Он говорил, что это очень точно отражает моё существо. Что он, мол, думал, что таких, как я, в природе не бывает, что все рассказы о таких – выдумки для лохов, как про лох-несское чудище, что он был уверен в этом стопроцентно, пока я не всплыла перед ним из бассейна на той вечеринке, как Несси из своего озера. Ну и, кроме того, «нес» на иврите означает «чудо», так что сами понимаете. В общем, мне нравилось, хотя вредная Светка и проходилась по этому поводу при каждом удобном случае, особенно за столом. Типа, ты, мол, Анюта, особо не разбедайся, а то ведь и впрямь станешь, как Несси. Или, если я во что-нибудь не врубалась: «Это ничего, Несси, что у вас, у динозавров, головка маленькая. Зато задница большая». Но я не обижалась. Такую подругу, как Светка, ещё поискать. А что завидует – так можно ли было мне не завидовать?

– Что слышно, Несси?

– Нормально, – говорила я, потому что спрашивать, где он был и почему отключил телефон, было совершенно бесполезно: Рани не отвечал даже намёком, вообще ничего, ни слова. – А у тебя?

– Тоже нормально. Когда ты выходишь? В шабат?

– Нет, милый. Светку опять полиция поймала.

– Опять? За что теперь?

– Да мало ли. За расклешенные штаны. Как из автобуса вышли, так сразу эти гадкие бабы из военной полиции и привязались.

– Ну а ты тут при чём?

– А я за компанию, как всегда. Теперь мы обе без отпуска. Приедешь?

– Приеду.

Светка с воинской формой не состыковывалась в принципе. Они просто не подходили одна другой ни в чём. А поскольку переделать Светку было занятием заведомо безнадёжным даже для нашей непобедимой армии, приходилось переделывать форму. Вообще-то девчонки-солдатки всегда что-то ушивают, расклинивают, приталивают – чтобы одежда хотя бы не висела мешком, как это изначально запланировано великими модельерами Генштаба. Но Светка подняла переделку на вовсе недостижимую высоту. Думаю, только очень предвзятый взгляд мог распознать исходные штаны и гимнастёрку в обтягивающих, расклепанных, едва прикрывающих попу джинсах и глубоко декольтированной, тщетно старающейся дотянуться до пупка блузке. Военная полиция подобной предвзятостью не страдала, а потому наши со Светкой путешествия из дома на базу и обратно напоминали спецназовскую операцию в глубоком вражеском тылу. Самым опасным местом являлась автобусный вокзал в Иерусалиме, где мы делали пересадку: она прямо-таки кишела патрулями.

Чаще всего мы попадали в когти одной особенно вредной сучке-маньячке. Она ходила с погонями лейтенанта, хотя выглядела всего на год старше нас. Или на два. Короче, только-только закончила, зараза, офицерские курсы, вот и зверствовала со свежими силами. Можно было предположить, что она специально следила за Светкой по спутниковой связи, чтобы заранее вычислить время её появления на остановке автобуса или в вокзальном туалете. А что, думаете, Светка не заслуживала спутниковой связи? Ещё как заслуживала! Такую угрозу безопасности Страны не представляли даже иранские ракеты. Потому что при появлении моей подруги в любом армейском помещении, включая оперативный штаб, автоматически прекращалась любая операция, и все полковники с генералами дружно переходили со сканирования рельефа местности на сканирование рельефа Светки.

На свою беду, я имела глупость вступить в перепалку во время самого первого контакта Светки с полицией. Её задержали за тяжкое преступление в особо извращённой форме, а точнее, за тёмно-зелёный маникюр. Я всего лишь вежливо указала зловредной лейтенантше, что защитный цвет ногтей вполне можно рассматривать в качестве военного камуфляжа, а потому придирки тут неуместны. Увы, полицейская сучка не только не отстала от Светки, но ещё и обратила внимание на мои неуставные серёжки. Конечно, я знала, что они длиннее допустимого на целых два с половиной сантиметра. Но эти серёжки подарил мне Рани, и я скорее бы сдохла, чем позволила бы трогать их грязными ментовскими лапами, о чём и было заявлено сучке-маньячке без лишних обиняков. В результате тогда задержали нас обеих – как и в большинстве других, более поздних инцидентов, когда моя скромная персона уже рассматривалась как неотъемлемая часть светкиной подрывной деятельности.

На тюрьму наши преступления не тянули, но без отпусков мы оставались регулярно. Честно говоря, я не сильно этим заморачивалась – в отличие от Светки, которая по пятницам просто с ума сходила от невозможности смотаться в ночной клуб или на дискотеку. Мне же такие развлечения всегда были глубоко до фени, да и по родительскому дому я не слишком скучала. Я думала только о Рани, а с ним мы могли увидеться без проблем – он приезжал прямо на базу, доставая себе какой-то специальный пропуск.

Нет ничего более мирного и успокаивающего, чем военная база в шабат:

утром выходишь из вагончика, зеваешь, потягиваешься, а вокруг всё тихо, чисто и пусто, как в школе во время летних каникул. У ворот клюёт носом нахохленный дежурный, сквознячок качает распахнутую дверь покинутой кухни, где-то вдали, насили волоча ноги, бредут к душе сонные девчата из ночной смены, на плацу под выцветшим флагом дремлет непрременная дивизионная дворняжка, твёрдо уверенная в том, что именно она осталась за командира, темнеют окна наглухо запёртых кабинетов офицерского блока: все разбежались, во всём мире не осталось никого, только ты и Рани, который вот-вот подъедет на своём старом «эскорте». Ты и Рани, и почти целые сутки с шестичасовым перерывом на дежурство, который, если разобраться, тоже весьма кстати, потому что нужно же парню когда-то и отдохнуть от твоей ненасытной нежности.

Наш вагончик стоял на отшибе, крайним в ряду таких же, как он, жилых помещений. В середине недели все они были переполнены: по пять-шесть рыл в каждом. Само собой, телевизоры со спутниковыми антеннами, музыка, кондиционеры – совокупное наследство нескольких поколений призыва. Шум, гам, балаган – спать почти невозможно в любое время суток. Зато в шабат, когда народ разъезжался, наступала благословенная тишина. Утром Светка производила рекогносцировку и, вернувшись, сообщала:

– Так. Сегодня можете отрываться по полной. Четыре ближние комнаты заперты.

Или наоборот, злорадно:

– Нынче придётся тебе, Анюта, ножку у койки грызть. В соседнем вагончике милуимники ночуют, не покричишь. Хочешь, я лопату принесу?

– Зачем?

– У ней рукоятка деревянная. А об железную-то койку зубы обломаешь.

Я с готовностью смеялась, чтобы хоть немного подсластить Светке пилюлю этой совместной насмешкой над моим почти неприличным по огромности счастьем. Наверное, что-то похожее, хотя и менее остро, чувствует добрый и удачливый богач, случайно оказавшийся в обществе оборванного, больного, озлобленного поражениями бродяги.

– Светочка, – говорила я, стараясь звучать как можно более виновато. – Ты ведь на меня не сердись, а? Ну что мне для тебя сделать? Ты только скажи, я сделаю.

– Дай внутри себя пожить, – неизменно отвечала она. – Хоть денёк. Можно даже в будни.

Тут мы, понятное дело, принимались рыдать – она вовсю, чуть ли не срываясь с катушек, а я потихонечку, не позволяя себе разогнаться, потому что вот-вот должен был подъехать Рани, и мне совсем не улыбалось выходить к нему с опухшей от слёз мордой. Наплакавшись, Светка чмокала меня в щёку и уходила, а я снимала с коек матрасы и стелила на полу, и раздевалась, и разглядывала себя в зеркало, и голова моя кружилась от одних только мыслей о нём, если конечно, можно было назвать мыслями эту тягучую смесь полёта, удивления и страха.

А потом он стучал в дверь, и я открывала её, как будто открывала его, и входила в него, как в дверь, и проваливалась в него, как в небо, и приходила в себя только потом, через некоторое время, когда мы оба обнаруживали, что живы, что снова способны на что-то, кроме головокружения, кроме голого кружения на полу нашего воздушного шара, нашего летающего вагончика, крайнего в ря-

ду, где пахло замысловатой смесью духов всех шестерых ночующих здесь девчонок, и сапожной мазью, и оружейной смазкой, и тем особенным запахом армейской базы, которым пахнут все армейские базы этого тесного, чудного, летящего к счастью мира.

Мы говорили не переставая – вслух или молча, потому что губы и язык частенько бывали заняты другими делами, но эта их занятость вовсе не отменяла разговора – безмолвного, но живого, слышного и внятного нам обоим. Мы говорили о детях, которые у нас будут. Ведь любовь – это всё о детях, которые будут.

– Всё-таки дура ты блаженная, – говорила Светка. – Тебе пока надо думать о том, чтобы детей не было, а не о том, что они будут. Вот закончите армию, смотрите на полгода в Латинскую Америку, вернётесь, снимете квартиру, проживёте лет пять-шесть в своё удовольствие, поженитесь, и тогда уже рожайте, как все нормальные люди.

Так действительно поступали почти все. Возможно, они были правы – на свой лад, но мне лично такая модель не подходила. Знаете, иногда очевидность выглядит такой банальной, что пропускается мимо головы. Ну, например, что целью любви является рождение ребёнка. Я не собираюсь тут об этом рассуждать: тема уж больно общая, до затёртости. Скажу только о себе, о своём собственном балдеже. Там, в армейском вагончике, я улетала тем круче, чем больше думала о наших будущих детях. Понимаете?

Рани и наши будущие дети представляли для меня единое целое. Я хотела их до сумасшествия. Они входили в меня, они двигались во мне, забрасывая меня в пронзительную и сладкую дрожь, они раскалённой лавой затопляли мой живот, так что я переставала чувствовать что-либо другое, кроме них, кроме их смеха, поначалу дальнего, звучащего на разные голоса, но постепенно растущего, сливающегося в одну огромную ноту, заслоняющую, заменяющую весь остальной мир, превращающую его, а вместе с ним и меня в одну тугую поющую струну, вибрирующую от макушки до кончиков пальцев ног, такую острую и мощную, что её почти невозможно было пережить, и Рани приходилось зажимать поцелуем мой кричащий рот, хотя услышать нас могли разве что старая дворняжка да бело-голубой флаг, мирно дремлющие одна под другим на чистом и пустом дивизионном плацу.

Вот что чувствовала лично я, а что чувствуют остальные – не знаю, это их дело. Для меня не думать в такие моменты о детях означало примерно то же, что сопротивляться приходу, когда куришь травку. Настоящую волну кайфа можно поймать, только если отдаёшься ей целиком, а не выпребаешь против течения, пытаясь удержаться на месте – из трусости или ещё почему-нибудь. Так и в любви: какой смысл бояться полного улёта, если ты уже решила лететь? И стоит ли вообще расправлять крылья для полётов понарошку, с кочки на кочку, понад землей, а не ввысь, чтоб на всё небо?

– Понимаешь, Светка, – отвечала я своей подруге. – «Потом», о котором ты говоришь, может и не случиться. Разве мало таких, которые начинают хотеть детей, когда любовь уже закончилась? Ну не глупость ли? Сначала они отказывают себе в удовольствии любить на всю катушку из-за того, что хотят «пожить в удовольствие», а потом уже и рады бы, да катушки-то уже нету – раскрутилась вся по мелочам. Нет уж, нет уж... ты как хочешь, а я буду по-своему. Я хочу своих детей сейчас, сразу и много – как любви. Вернее, не «как», а вместе с нею.

И Рани думал тогда точно так же. Мы удивительно подходили друг другу, просто жили и дышали душа в душу, такт в такт, рот в рот. Нам не нужно было никакой Латинской Америки, нам не нужно было Индии, Непала, гашишного Гоа, марихуанного Амстердама, экзотических гор и райских островов в океане. Нам не нужно было «искать себя», понимаете? Мы уже нашли всё, что можно, открыли свою Америку, попали в свой рай. Нам не требовалось никуда ехать: наоборот, мы боялись тронуться с места, чтобы, не дай Бог, не потерять то, чем так счастливо владели.

Мы выбрали дату для свадьбы. Я придерживалась мнения, что всё равно – как и где, главное, чтоб быстрее. Но Рани ни за что не хотел комкать это эпохальное событие. Он, как я уже сказала, помогал моему брату – профессионалу по части устройства свадеб, а потому смотрел на дело взглядом специалиста.

– Оставь это мне, Несси, – говорил он. – Ты всё равно ни в зуб ногой во всех этих правилах и традициях.

Что верно, то верно. Я и представить себе не могла, сколько заморочек в простом, казалось бы, вопросе о дате бракосочетания. Почему нельзя просто ткнуть пальцем в календарь и решить?

– Ты что?! – ужасался Рани. – Подходящих дней не так уж и много. Хорошо если десять.

– Десять дней?! – в свою очередь ужасалась я. – Мне казалось, что в этом еврейском году их триста шестьдесят.

– Триста пятьдесят пять и шесть часов, – поправлял Рани.

Как и все тайманцы, он был сильно подкован в галахических тонкостях.

– Чёрт с ними, с шестью часами, – сердилась я. – Но каким образом триста пятьдесят пять превратились в десять?

Он вздыхал и принимался терпеливо объяснять мне про месяцы и недели, во время которых устраивать свадьбы запрещено. Этот запрет закрывал почти треть года, но, увы, представлял собой лишь верхушку айсберга. После категорического «нельзя» следовало «не принято» – вроде бы щадящее, но в Раниной трактовке не слишком отличающееся от первого. Ситуация осложнялась разницей в нашем происхождении. К двусмысленному периоду «не принято» у «тайманцев» относилось одно, а у ашкеназов – совсем другое. Ко всему этому добавлялись даты смерти родственников и просто «несчастливые» числа. Ну как тут было не отчаяться? Проклятый календарь скукоживался прямо на глазах, а потом начинал расплываться из-за выступивших слёз.

– Рани, а давай запишем меня в «тайманки», – жалобно предлагала я. – Никто не заметит.

– Заметят, – отвечал он, страдая. – Рыжих «тайманок» не бывает. Ну как ты не понимаешь, я хочу, чтобы всё вышло в лучшем виде, по всем правилам.

– Ты просто не хочешь жениться на мне! – кричала я. – Тогда так и скажи! Не хочешь – и не надо! Подумаешь! Нашёлся тут!..

Я вскакивала, размахивала руками, посылала его ко всем чертям – короче, устраивала настоящий бунт на корабле, который Рани, впрочем, немедленно подавлял – каждый раз одним и тем же, зато абсолютно беспроблемным способом.

– Ну что ты так расстраиваешься? – шептал он, когда я снова открывала глаза. – Всего каких-то восемь месяцев. Зато свадьба будет по высшему разряду.

– Ладно, только имей в виду, что таблеток я уже не принимаю, – вяло предупредила я. – Потом пеняй сам на себя. Получишь невесту во-о-от с таким живото. Как ты говоришь, по высшему разряду...

Примерно так мы с ним препирались, пока Рани не догадался подарить мне кольцо. Не знаю почему, но, получив кольцо, я как-то успокоилась и перестала спорить. А потом нас со Светкой перевели в другое место, рядом со Шхемом. То ли там не хватало операторов, то ли нашему начальству надоело возиться с ежемесячными дисциплинарными рапортами из военной полиции по поводу светкиной формы и моих серёжек. По дороге на новую базу уже не требовалось делать пересадку в Иерусалиме, что автоматически решило проблему со зловредной лейтенантшей. Теперь некому стало хватать нас за шкуру, взыскания прекратились, а вместе с ними и субботние свидания в летающем вагончике.

Новая работа оказалась интереснее – теперь мы оперировали не только стационарными камерами, но и слежением с беспилотных самолётиков – мазлатов. Обычно мазлаты запускались, когда армия проводила операцию в Касбе Шхема²¹ или в одном из окрестных лагерей беженцев. Мы работали в прямом контакте с полевыми командирами, что было намного увлекательней, чем наблюдать за иорданской границей, которую вот уже годы не нарушал никто, кроме диких кабанов. Так что Светка очень радовалась перемене – в отличие от меня.

– Всё горюешь о своём вагончике? – смеялась она. – Брось, Анюта. Уж не думала ли ты, что вы так и будете до глубокой старости кувыряться по субботам на армейской базе? Чем дурью маяться, лучше делами займись. У тебя их по горло: до свадьбы всего три месяца, а ты ещё даже платьем не озаботилась.

Конечно, она была права. Конечно. Но я-то знала, что происходит что-то нехорошее. Нет, моё счастье по-прежнему состояло из полёта, удивления и страха. Вот только соотношение составляющих изменилось: полёта и удивления стало меньше, а страха – побольше.

А потом наступил декабрь. В воскресенье, перед тем как возвращаться на базу, я зашла к врачу, чтобы окончательно убедиться в том, что уже знала сама.

– Да, милочка, поздравляю, вы беременны. Двенадцатая неделя.

– Спасибо, доктор.

Выйдя из поликлиники, я позвонила Рани. Его мобильник был отключён. «Что ж, – подумала я. – Сам виноват. У меня в животе есть маленький комочек, твой ребёнок, а ты узнаешь об этом только завтра. Или ещё позднее. Считаю два дня жизни насмарку».

Уже сидя в автобусе, я обнаружила пропажу серёжки. Не знаю, где я могла её потерять – возможно, у врача, когда стаскивала через голову свитер? Так или иначе, это только прибавило сумятицы к моему и без того странному состоянию. Понимаете, я не ощущала радости, хотя, если судить по тому, как этот момент рисовался мне в прошлом, должна была прыгать от счастья. Наверно, не хватало именно раниной реакции, его немедленной поддержки, его безоговорочного восторга, счастливого потрясения – всего того, что подавило бы страх, который окончательно возобладал над всеми остальными моими чувствами. А может быть, милосердный Бог просто хотел подготовить меня к дальнейшему?

²¹ Касба Шхема (*араб.*) – Старый город Шхема со множеством старинных зданий, ведущих историю со времён крестоносцев, но во время второй интифады появилась репутация места, где прячутся не только воюющие с Израилем, но и обычные бандиты и рэкетеры.

Моя дежурная смена была сразу после светкиной.

– Ну? – спросила она, едва лишь я вошла в операторскую.

– Ага, – сказала я, тускло улыбаясь, – двенадцатая.

– Ура! – Светка отшвырнула наушник, вскочила и набросилась на меня с поцелуями.

Дрор, наш дежурный офицер аж рот открыл от возмущения. Видимо, моя подруга в очередной раз учудила что-то из ряда вон выходящее.

– Лиора! Лиора! – так называли Светку все, кроме её родителей и меня. – Лиора, ты меня слышишь?! Немедленно вернись на пост! Ты с ума сошла! Во время операции... Чем ты думаешь?

– Иду, иду... – она чмокнула меня в последний раз и затараторила, усаживаясь перед мониторами и заново прилаживая скобу устройства связи. – Я так счастлива, Анюточка, так счастлива! Наконец-то тебя раздует до неузнаваемости, и все мужики станут смотреть только на меня.

Я засмеялась и сразу почувствовала облегчение. Думаю, что мой страх просто загляделся на Светку. Поди не заглядись на такую...

Офицер ввёл меня в курс дела. В Шхеме шла операция по поимке Махмуда Убейди, командира самарийской банды ХаМаСа. Мимо его фотографий в профиль и анфас я проходила по несколько раз в день. В коридоре нашего здания размещалась целая картинная галерея с портретами разыскиваемых террористов, и Убейди занимал там одно из самых видных мест. Под одним из снимков был напечатан длинный послужной список: взрывы в кафе, обстрелы автомобилей, засылки самоубийц, адские машины и убийства, убийства, убийства... Русское значение фамилии Убейди подходило этому гаду как нельзя лучше.

– Он засел где-то в многоквартирном доме, – сказал офицер. – Спецназ ищет уже четвёртый час, из комнаты в комнату. Шесть этажей, двадцать четыре квартиры плюс подвал. Все жители эвакуированы ещё ночью. Допросы подтверждают, что Убейди внутри. Район окружён. Твоя задача – наружное наблюдение сверху, с мазлата, чтобы, не дай Бог, не ушёл. Возможны и попытки прорваться к нему на помощь. Будешь на оперативной волне – прямая связь с командиром оцепления и спецназом. Сменишь Лиору, а то у неё, видишь, ум за разум заходит. Лиора, сменяйся.

– Да я в порядке, командир, – отозвалась Светка. – Не надо менять. Я-то в курсе, а ей ещё с обстановкой знакомиться. Давай уж я закончу. Пусть пока отдыхает.

Я чуть не задохнулась от удивления. Такого, чтобы Светка по собственному почину хотела продолжать смену, на моей памяти ещё не случалось.

– Тебе сказано: сменяйся! – жёстко повторил Дрор. – Им нужны свежие наблюдатели, а ты тут уже четверть суток сидишь. А ну как проморгаешь чего, люди погибнут? Короче, это приказ. Анна, давай включайся.

Светка неохотно встала, а я заняла её место и приступила к выполнению рутинных проверок, обычных при пересменке: монитор, запись, джойстик управления камерой, связь... Офицер придвинул мне список позывных участников операции. Группа спецназа значилась там как «Несси». Шесть человек, от «Несси-один», до «Несси-шесть».

– Несси?

– Ну да, – хмыкнул офицер, – Тринадцатая шайетет. Эти всегда какую-нибудь водную экзотику придумывают.

Я обернулась на Светку. Она мрачно кивнула мне от стены. Значит, Рани сейчас находился там, в доме. Вот почему Светка не хотела меня пускать.

– Несси-один, – сказала я в микрофон. – Здесь Птица, как слышно, приём.

В наушнике послышался знакомый смешок.

– Сама ты Несси, – ответил Рани в противоречие всем правилам оперативной связи и тут же поправился. – Здесь Несси-один, слышно хорошо. Жаль, что не видно. Хотя теперь ты за меня смотришь. Будешь моими глазами, не возражаешь?

– Отставить болтовню на связи! – вмешался кто-то начальственный, и всё смолкло.

Наш дежурный офицер покачал головой.

– Командир округа. Нервничает. Пять лет за этим упырём гоняемся. Если и сейчас уйдёт, генерала по головке не погладят... – он вздохнул. – По-хорошему, взорвать бы сейчас этот дом к чёртовой матери. Коли они так уж уверены, что Убейди ещё там.

– Ага, – презрительно сказала Светка, закуривая. – Держи карман шире. Где ты таких смелых генералов видел? Что о нём завтра в газете напишут, если он сегодня дом взорвёт? Оно ему надо? Лучше он нашими ребятами рискнет, чем своей задницей.

– Двадцать четыре квартиры... – снова вздохнул Дрор. – Это ж двадцать четыре семьи на улице. Ты же видела, как их ночью вытуряли: едва одеться успели. И добро все...

– Добро – дело наживное, – сказала Светка. – Пусть потом в суде компенсацию выбивают. А генерал должен о своих людях думать, а не о газетках. На хрена там ребята жизнью рискуют?

Дрор упрямо набычился.

– Они этому обучены, – припечатал он. – И вообще, Лиора, марш отсюда! Ты мне через шесть часов свеженькая нужна. Кто его знает, сколько это ещё продлится... давай, давай...

Дёрнув плечом, Светка вышла из комнаты. «Конечно, они этому обучены, – подумала я. – Рани отключает свой мобильник как минимум дважды в месяц. Чем этот раз отличается от прочих? Только тем, что сейчас ты слышишь его по связи. Делай своё дело, вот и всё. Просто работай, как всегда. Ты этому обучена».

– Анна, ответь, – сказал дежурный офицер. – Ты что, не слышишь – тебя вызывают!

Меня действительно вызывали. Я встряхнулась и доложила обстановку. Здание стояло на отшибе, на пустыре – один из новых, красивых домов, построенных в Шхеме в короткий период между интифадами. Видимо, планировался целый квартал, да вот не успели. Так или иначе, укрыться вокруг было практически негде: каждый метр прекрасно просматривался со всех сторон. Убейди, должно быть, совсем потерял осторожность, если заночевал здесь, а не в касбе. Работая джойстиком камеры, я тщательно изучила местность и не обнаружила ничего, что могло бы угрожать оцеплению; привычный к такого рода операциям город как ни в чём не бывало занимался своими обычными утренними делами.

Я вернула камеру на дом. Он выглядел совершенно необитаемым, но я-то знала, что в нём находятся сейчас семеро: Рани с его ребятами и Убейди, крысой затаившийся где-то в подвале или в одной из квартир. Я слышала по связи пере-

говоры раниной группы. Спецназовцы заканчивали прочесывать нижний этаж, уже в третий раз безрезультатно пройдя всё здание сверху донизу. Голоса звучали недовольно: ребята досадовали, что их снова и снова заставляют совершать бесполезную работу. Они были уверены, что хватило бы и одного прохода – максимум двух.

Наконец Рани вышел на связь и доложил о завершении осмотра – отрывисто, с рокошущим «р», как всегда, когда он бывал раздражён.

«Он ещё не знает про ребёнка, – подумала я и улыбнулась от этой несвоевременной мысли. – Посмотрим, станет ли он рокотать тогда... И что он вообще скажет? И с каким выражением лица?»

Командный пункт озадаченно помолчал, а затем дежурный радист передал приказ: прочесать дом заново.

– Заново? – возмутился Рани. – В четвёртый раз?

Честное слово, я ещё никогда не слышала его таким сердитым. На связи снова воцарилось смущённое молчание.

– Вот же холера, – пробормотал наш дежурный офицер. – Взорвать бы эту дерьмовую коробку, и дело с концом. Чёрт его знает, какие там могут быть схроны – в стенах, между перекрытиями. Поди всё простукай в таком большом здании...

Я вспомнила, как доктор ощупывал мой живот, и мне показалось, будто что-то шевельнулось там, внутри, хотя, конечно, этого не могло быть на таком маленьком сроке. В динамике щёлкнуло, и прежний начальственный голос произнёс:

– Несси, здесь Полюс. Ты уверен, что нет смысла продолжать? Подумай, прежде чем ответить.

– Если и продолжать, то не так, – сказал Рани. – Трижды уже каждый метр прошли. В каждой комнате, на крыше, в подвале... Глухо.

– Подумай ещё раз, – устало проговорил командир. – ШаБаК²² мамой клянётся, что Убейди там.

– Пусть лучше не клянётся, а скажет, где искать, – с досадой хмыкнул Рани. – Мы не рентген, чтобы сквозь стены видеть.

«То-то и оно, что не рентген, – подумала я. – Так и не догадался, что происходит у тебя под носом. Хотя мог бы и почувствовать по моему поведению. Какие всё-таки мужчины невнимательные. Если бы, к примеру, Рани забеременел, я бы сразу заметила».

Я представила себе беременного Рани и прыснула. Дроп недоумённо взглянул в мою сторону и снова вперился в монитор. Рани немного помолчал и осторожно добавил:

– Взрывать надо...

Связь притихла, словно затаив дыхание.

– Надо?! – сердито выпалил командир. – Что надо, а что не надо – без вас разберутся. Я от вас результата жду, а не советов. Советовать жене своей будешь, при родах. Как понял?

Я чуть со стула не упала. Этот генерал определённо был настоящим провидцем. Странно, что при таких способностях он не мог указать точное место убейдовского схрона.

²² ШаБаК (или Шин-Бет) (*ивр.*) – общая служба безопасности Израиля.

– Понял, – мрачно ответил Рани.

– Что ты понял? Двадцать четыре квартиры я сносить не стану. Не стану! Короче, так: если ты не можешь выполнить задание, операция закончена. Подумай ещё раз.

– Я уже подумал, – сказал Рани, помолчав. – Не вижу смысла делать то же самое в четвёртый раз.

– Тогда выходите. Сворачиваемся. Конец.

Связь смолкла. Рядом со мной Дрор с досадой хлопнул ладонью по столу.

– Снова ушёл, сволочь! Тьфу!.. Теперь когда ещё такой случай будет? Тоже мне, шайетет... Хотя они-то что, они-то своё дело делают. А вот начальнички... Каждый о своей шкуре печётся.

Наконец-то. Я посмотрела на часы. Теперь у них, наверное, будет разбор операции. Это два-три часа... потом ещё час на туда-сюда... в общем, к двум он должен включить свой мобильник. Начну звонить с двенадцати. Я навела камеру на вход в здание. Хотелось увидеть, как Рани с ребятами смотрятся при полном вооружении, в касках и бронежилетах.

Всех этих парней я уже не раз встречала на свадьбах и пикниках. Они всегда выглядели так, будто сидят бок о бок, даже когда находились в разных концах комнаты; постоянно перебрасывались только им понятными шутками, взглядами и улыбками, словно на каждом было нацеплено устройство связи, как сейчас. Иногда они отходили в сторонку, чтобы вполголоса обсудить что-то без помех и без посторонних. Честно говоря, мне эти мальчишеские заговоры не нравились: я не собиралась делить Рани ни с кем.

Вот и теперь меня не слишком интересовала сама операция и сопутствующие ей разногласия. В какой-то мере это даже казалось продолжением всё той же игры в индейцев на пикнике. По-настоящему важные дела вершились сейчас здесь, в моём драгоценном животе.

Снова проснулась связь – неразборчиво, словно кто-то говорил, одновременно постукивая ногтём по микрофону – проснулась, постучала и снова смолкла. Из коридора вбежал дежурный офицер Дрор: я и не заметила, как он вышел.

– Что это было? Неужели нашли?

– О чём ты? – не поняла я.

– Ну это, по связи! Ты что, не слышала?! Да что с вами сегодня такое, Анна? Сначала Лиора как с луны свалилась, теперь ты... Стрельба!

– Стрельба?

А ведь и впрямь это была стрельба... Мониторы по-прежнему показывали вход в здание, безлюдную улицу, неподвижные джипы оцепления.

– Что он сказал?

– Кто?

– Я тебе сейчас вмажу! – пообещал Дрор. – Под суд пойду, но вмажу! Что сказали по связи? Кто это был?

– Я тебе сама вмажу! – заорала я, отбрасывая наушник. – Пошёл ты в задницу, сука! Идите вы все в задницу!

Не знаю, что со мной стало. Я ужасно испугалась, ужасно. Прямо вся дрожала и не могла с собой справиться. Почему-то я могла думать только о потерянной серёжке. Только о ней и больше ни о чём. Куда она подевалась? Это всё свитер. Я ведь была у врача, снимала через голову свитер. Нужно срочно позвонить в по-

ликлинику, пусть ищут. Пусть ищут, пока не найдут. А советы мне не нужны. Пусть своим жёнам советуют. Мне нужна серёжка.

Дрор стоял рядом со мной, уставившись в молчащий динамик, как будто ожидая, что эта сетчатая коробочка сейчас взорвётся. И она действительно взорвалась – все вдруг разом заговорили, быстро, напряжённо, без пауз и обычных шуточек. Кто-то требовал вертолёт и врача, кто-то отрывисто отдавал приказы, кто-то подчёркнуто спокойно докладывал обстановку, кто-то спрашивал дальнейших указаний, и над всей этой разноголосой перекличкой отлетающим ввысь жаворонком трепетало одно и то же имя: Рани, Раанан, Раанан Цви. Рани, Рани, Рани.

Я не знаю, действительно ли они называли его по имени, или оно звенело у меня в голове, натываясь на мысли о потерянной серёжке. Я утратила способность различать такие вещи. Утратила на время, хотя в тот момент казалось, что навсегда. Тот давний привычный страх, который уже очень давно постоянно, но не слишком обременительно ворочался в животе, вдруг взорвался и занял меня всю, как жидкий камень лавы заполняет впадину маленького озера, мгновенно испаряя всю воду, всю жизнь, с её рыбами, лягушками, водорослями и кувшинками.

Я окаменела, как умерла, вниз от головы; я не чувствовала себя – ни сердца, ни лёгких, ни крошечной закорючки в животе, нашей цели и смысла, нашего ребёнка, о котором Рани так и не успел узнать. По связи ещё не прозвучали страшные в своей окончательности слова. Никто ещё не говорил: «погиб», или «ушёл», или «его с нами нету», но я-то уже всё знала точно – понятия не имею, как, но знала. Думаю, я предчувствовала это заранее, с самого утра.

– А серёжка? Разве потерянная серёжка не была знаком?

– А может быть, она была вовсе не знаком, а совсем наоборот – отвлекала меня от правильных действий, от правильных мыслей. Возможно, я могла сделать что-то такое, чтобы Рани остался жив...

– А разве он не жив? Что ты несёшь, дура? Рани – и не жив... чушь какая-то...

– Он мёртв, Несси.

– Несси? Разве Несси – это ты? Несси – это он, и если Несси жива, то жив и Рани.

– Кто же тогда мёртв?

– Ты и мертва, дура. Мертва, мертва, мертвее не бывает... Ах, Рани! Рани! Рани, Рани, Рани...

На столе бубнила, свистела, верещала связь, вокруг ходили чьи-то ноги в армейских ботинках, я камнем лежала на полу, а надо мной качалось испуганное, залитое слезами лицо Светки; Светка шевелила губами, но я не слышала ни единого её слова – одну лишь бубнящую связь, а может быть, не слышала и связи, и всё это мне только казалось.

Светка плакала и потом, в больнице, после которой всё понеслось как-то совсем уже несуразно быстро, понеслось, как покатило под гору, камнем под гору, камнем. Где-то в этом качении я потеряла и своего ребёнка – выронила, даже не заметив, да и как можно что заметить в таком безостановочном грохоте, в таком камнепаде.

Прокатилась больница:

– Здравствуйтесь, я ваш психолог, я хочу вам помочь...

Прокатился мой дом со страдающими родителями:

– Анюточка, поди приляг, приляг...

И снова психолог:

– Вам станет намного лучше, если вы начнёте говорить...

И кровать – всё равно какая, лишь бы можно было лечь в неё вниз лицом, камнем.

И похороны, на которых плакали все, кроме меня, и военный равин пел высоким голосом, и Ранины ребята стреляли в воздух.

И снова психолог:

– Вам станет лучше, если вы начнёте плакать...

И снова родители:

– Поплачь, Анюточка, поплачь...

Все они отчего-то стремились выжать из меня слёзы. Зачем? Тем более что слёз во мне не осталось: каменная лава выжгла их напрочь, вместе с ребёнком, вместе с жизнью. Зато говорить я могла. Могла, но не хотела. О чём говорить? О потерянной серёжке? Да и вообще, не говорить со мной следовало, а убить. По меньшей мере убить. Потому что на самом деле это я была виновата в Раниной смерти. Я наказала бы себя сама, но операторам не полагалось оружие.

– Светка, почему нам не выдают М-16?

– А зачем? – отозвалась моя подруга и всплеснула руками. – Господи, наконец-то заговорила! Анюточка, милая...

Мы стояли с ней во дворе раниного дома, куда Светка вытащила меня подышать: имелось в виду – свежим воздухом, но в действительности – дымом её сигареты. Шёл пятый день шивъа²³. Светка с сожалением отбросила окурок и повисла у меня на шее.

– Ну как зачем... – сказала я. – Для самообороны.

Светка резко отстранилась.

– Э-э, подруга дорогая, ты что это такое задумала? – мы знали друг друга со второго класса, и эта стерва всегда читала меня без проблем. – Давай я тебе морду набью, а?

– Набей, – согласилась я. – Только набить – мало.

С этого момента Светка не отходила от меня ни на шаг. Вообще-то, она и прежде не отходила, но с этого момента – в особенности. Не знаю, как ей удалось это устроить – ведь мы обе числились на службе. Молчать я уже не молчала, но разговаривала только по необходимости, а необходимость такая возникала редко. Удивительно, как много люди болтают, и всё впустую. Лучше бы смотрели по сторонам. Глаза, в отличие от языка, даны человеку не просто так. Глазами он может увидеть опасность. Оставь немого в джунглях – он может выжить там до глубокой старости. А слепой? Слепой не уцелеет и дня. Разве может слепой угадать приближение хищника? Спасти от стремительного зигзага ядовитой змеи? Уклониться от автомата, нацеленного в него из шахты лифта?

– Теперь ты за меня смотришь, – сказал Рани. – Будешь моими глазами, не возражаешь?

Это были его последние слова, обращённые ко мне: «Не возражаешь?»

Нет, я не возражала. Он сделал меня своими глазами, он вложил свою жизнь

²³ Шивъа (*ивр.*) – семидневный период траура после похорон.

в мои руки, и я могла только радоваться тому, что это были именно мои руки, а не чьи-то чужие, бесчувственные, не знающие наизусть его сильное тело, его шелковистую кожу, кожу оленя. Он доверил мне свою жизнь, и я подвела его.

– Ты полная идиотка! – кричала мне Светка. – Приди в себя, ты, дура! Зачем обвинять себя в том, в чём ты не можешь быть виновата?! Ну как ты могла увидеть, что происходит внутри здания?! На лестничной клетке?! Ну?! Ты ведь уже сто раз слышала эту историю...

Я и впрямь слышала эту историю уже сто раз, а может, и больше. Я читала её в газетах и в оперативном отчёте. Ребята уже выходили из здания, когда Рани решил проверить лифт. Вернее, не просто лифт – лифт уже проверялся, а собственно его крышу. Рани остановил кабину между этажами, взялся обеими руками за створки автоматической двери и раздвинул её. И Убеиди, который всё это время сидел на крыше лифта, нажал на спусковой крючок. У Рани не было ни единого шанса. Очередь вошла ему прямо под воротник бронежилета, в ключицу, порвав артерию на короткой дороге к сердцу. Он умер мгновенно, сразу, хотя его друзья, запоздало изрешетив в пять стволов проклятую крысу, и взывали потом к вертолёту с врачом. Он умер из-за того, что не увидел, не остерёгся, не успел увернуться. Он умер из-за меня, из-за своих не сработавших, вовремя не предупредивших глаз.

Все это было ясно как день, настолько, что всякие споры выглядели излишними, так что Светка, повозмущавшись, притихла, хотя и продолжала пасти меня с прежним вниманием. Продолжала, пока ей не пришла в голову сумасшедшая, типично светкина идея. Примерно через месяц после раниных похорон Светка принесла и торжественно положила передо мной какие-то армейские бланки.

– Что это?

– Просьба о зачислении на курсы снайперов. Заверенная начальством. Подпиши.

– Что-что?!

– Ты, бля, кончай выкобениваться, поняла? – прорычала Светка. – Я за эти два бланка с полковником переспала. Если говорю «подпиши», значит, подписывай. Ну?!

Я подписала. Поначалу единственным светкиным аргументом был тот самый, неизвестный – в том смысле что неизвестно, существующий ли – полковник, объект половой взятки, но затем моя подруга постепенно обнаружила и более связную логику.

– Настоящие снайперы работают парами, и это в самый раз для нас с тобой, – говорила она. – Ты умеешь наблюдать, а я – действовать. Ты – лучшие глаза в мире. Я – лучшие руки-ноги. Вот увидишь, мы там всех перестреляем.

– Где «там», Светка?

– Не важно. Где угодно. Вот увидишь. Ты, главное, вовремя подписывай, а я всё устрою.

И тут она вдруг заплакала – не из-за подписей, а потому, что я улыбнулась – впервые после долгого окаменения. Поди не улыбнись такой Светке.

Помню, как мы приехали в Кирию за последним разрешением. Курсы стоили дорого, желающих более чем хватало, и поэтому армия старалась максимально затруднить процесс утверждения заявлений. Сонная секретарша показала нам на ряд стульев в коридоре напротив двери с табличкой «Капитан Альграбли».

Там уже сидели несколько крутых парней с потёртыми винтовками на коленях. На нас парни посматривали со снисходительным недоумением. Прошло минут сорок, пока динамик над входом не прохрипел, наконец, мою фамилию.

– Давай, – проговорила Светка, суетливо оправляя на мне гимнастёрку. – Не облажайся, я тебя очень прошу. Помни, я за это...

– ...с полковником спала, – продолжила я, заражаясь её лихорадочным волнением. – Я помню, Светочка. Я постараюсь. Клянусь тебе, я постараюсь...

Капитан Альграбли оказалась женщиной. Когда я вошла, она что-то писала и, не глядя, указала на стул. Я послушно села. Через минуту капитан отложила ручку, подняла голову, и я сразу поняла, что зря Светка крутила с полковником. Ещё несколько месяцев назад капитан Альграбли была лейтенантом и командовала военным патрулём на центральном автовокзале Иерусалима. Увидев меня, она сначала оторопела, а потом сладострастно улыбнулась.

– Так-так, – сказала она, вглядываясь в мою единственную серёжку. – Устав-то по-прежнему нарушаем, а?

Я встала и вышла из кабинета. Светка нетерпеливо переминалась у двери. Крутые парни меланхолично изучали крутую линию её зада.

– Ну что?

Я развела руками.

– Не судьба, Светик. Даже не заходи. Тебя, с твоими клешами, ждут там две недели тюрьмы... как минимум.

Динамик прохрипел чью-то фамилию.

– Вот уж хрена, – свирепо сказала Светка и твёрдой рукой отодвинула приставшего было парня с М-16. – Теперь моя очередь.

Через минуту тишина за дверью была нарушена истерическими криками на два голоса – настолько громкими, что крутые парни начали ёрзать и переглядываться, а секретарша в конце коридора проснулась, зевнула и принялась хрустко чесаться подмышками. Затем всё снова смолкло примерно на четверть часа, и я уже начала подозревать, что двумя неделями гауптвахты Светке не отделаться. За убийство должностного лица при исполнении дают пожизненное как высшую меру. Хотя вроде бы военный трибунал может и казнить... или нет? Но тут дверь приоткрылась, и выглянувшая капитан Альграбли приглашающе махнула мне рукой. Я зашла.

– Вот, – неловко сказала капитан, протягивая разграфленный лист. – Садись, пиши.

Глаза у неё были красные. На капитанском мостике сидела Светка и, шмыгая носом, заполняла свой бланк. Нас приняли. Уже потом, подкрашиваясь в туалете, Светка подвела итог:

– А ещё говорят, что на одни грабли дважды не наступают...

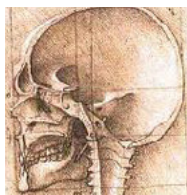
Она оказалась поразительно хорошим стрелком – одной из лучших на курсе. Думаю, что меня не отсеяли только потому, что я тащила в светкином кильватере – больше по воле Светки, чем по своей собственной. Но это если оценивать порознь, а вот в паре мы действительно были вне конкуренции. Светка как в воду глядела: мои глаза и её руки-ноги составляли совершенный снайперский боекомплект.

А потом подтянулась в стрельбе и я. Не знаю почему, но мне понравилось смотреть на мир через оптику двадцатьчетвёрки. Скажу больше: это единствен-

ное, что мне понравилось тогда, и единственное, что нравится сейчас. Понимаете, двадцатьчвёртка словно даёт мне второй шанс, так что на время я даже забываю о своей вине и о том, что подвела Рани. Я полностью посвящаю себя наблюдению за местностью, и от этого появляется чувство контроля, владения ситуацией, жизнью. Это замечательное, редкое чувство, и мне трудно себе представить, что раньше, до Раниной смерти, я существовала в нём естественно, постоянно, двадцать четыре часа в сутки, как рыба в воде. Теперь оно появляется только тогда, когда я держу в руках винтовку М-24. Ха! Двадцать четыре! Как часов в сутках. Как раньше – часов жизни...

А можно сказать и по-другому: в наружной жизни, той, что вне прицела, у меня нет больше целей, ни одной. Зато тут, в винтовочной оптике, их сколько угодно. Конечно, это суррогат... но посмотрите на себя: а вы? А у вас не суррогат? Вот то-то и оно. Так или иначе, я благодарна Светке за эту вторую, хотя и суррогатную жизнь. Тем более что есть и в ней проблески той, настоящей – очень короткие, вспышками, но знаете, даже одной такой вспышки достаточно, чтобы осветить моё существование на целый месяц вперёд.

Это случается только на боевых заданиях. Пока нас со Светкой выпускают нечасто, потому что считают неопытными, но несколько раз мы уже работали в прикрытии по снайперам в Бейт-Хануне²⁴. Я всегда обнаруживаю их первой, показываю Светке, и мы распределяем цели. Светка стреляет лучше, а потому берёт себе дальних и, соответственно, открывает огонь раньше. Мне остается ближний. Я ловлю его в перекрестии прицела, и вижу Убейди, и плавно нажимаю на спуск, и голова его лопается, как перезревший арбуз, и я вдруг осознаю, что теперь он уже никак не сможет дойти до того дома в Шхеме, чтобы убить моего Рани, и этот факт означает только одно: Рани жив и приедет ко мне на шаттл в наш летающий вагончик. И я счастлива, счастлива по-прежнему, как тогда, хотя бы и всего на секунду.



 Arkady569

Тип записи: частная



Орех встречал нас в аэропорту. Со времён нашей юности он слегка погрузнел и обрюзг, но, в общем и целом, по-прежнему давал сто очков вперёд всем окрестным самцам. Мы обнялись.

– Стареем, а? – подмигнул Орех, подхватывая тележку с чемоданами. – И толстеем. Ну и хрен с ним, правда? Спасибо, хоть очки худеют. Технология!

Он захохотал своим дробным смехом. Вежливый Гиршунни тоже растянул губы: в конце концов, шутка относилась непосредственно к нему. Машина оказалась огромной, чёрной и с шофёром.

– Только пугаться не надо, – сказал Орех и приглашающе распахнул дверцу. –

²⁴ Бейт-Ханун – город на северо-востоке Сектора Газа с населением в 30 с лишним тысяч человек в шести километрах от израильского Сдерота, часто становящийся ареной противостояния с террористами.

Я не фон-барон какой-нибудь. Это так – по случаю свадьбы, новобрачных возить. Наняли на неделю, а сейчас как раз окно в расписании. Ну и... Не стоять же такому танку попусту, пускай ездит, обрабатывает.

Ехали молча. Орех, предварительно извинившись – мол, дел невпроворот – ставил изгрызанным карандашом пометки в записной книжке. Я помнил эту его бобриную манеру ещё со школы: погрызет-погрызёт, черкнёт что-нибудь – и снова грызть. Ручек Грецкий почему-то не признавал, зато к своим дежурным карандашам испытывал странную привязанность: хранил, как зеницу ока, и жутко расстраивался в случае потери – тем больше, чем меньше оказывался утерянный огрызок. Понятия не имею, что он делал с карандашами, когда те уже не удерживались в пальцах – хоронил?.. доедал?.. Так или иначе, в какой-то момент сантиметровой огрызок исчезал, сменяясь своим полноценным близнецом, и цикл начинался заново.

Гиршуни дремал на заднем сиденье. Когда пересекали реку, Орех поднял голову, вынул изо рта карандаш и пояснил:

– Вильямсбургский мост. Слыхал? – и опять уткнулся в свои записи.

Я не стал отвечать: за окном лимузина вырастал праздничный ельник Манхэттена – отрада и удивление для человеческих глаз. Мы пересекли остров, проехали по Восьмой и остановились. Орех поднял голову.

– О! Вот и гостиница. Приехали! всё оплачено, беспокоиться не о чем. Только зарегистрироваться – и вперед. Годится? Ну и чудненько... – он полез куда-то вбок и выудил тоненькую папку. – Тут полное расписание. Что, где, когда. Как в телевизоре... ха-ха-ха...

Снова просыпалась дробь Орехового смеха. Дождавшись, пока Гиршуни выберется из машины, я наклонился к Грецкому:

– Слышь, Орех, нам нужно срочно поговорить.

– Об чём речь! Конечно! Посмотри в расписании: там два приёма до свадьбы, потом сама свадьба, потом торжественный завтрак...

– Нет, – остановил его я. – Мне нужно приватно. Всего на полчаса. Это очень важно.

– Полчаса?! – Орех взглянул на часы. – Да ты знаешь, что такое сейчас полчаса?! У меня ещё цветы не закрыты! И певец этот ваш кочевряжится, падла! И меня на завтраке!

– Ты обещал, – напомнил я твёрдо. – Иначе бы я сюда не полетел. При всём уважении к твоей дочке, которую я в жизни не видел.

Орех наморщился и зашевелил губами, время от времени справляясь с записной книжкой и ставя в ней галочки своим искусанным карандашом.

– Ладно, – сказал он наконец. – Сегодня вечером, в семь тридцать. Вон там, напротив Пенн-стейшн есть ирландский паб. Будешь ждать меня внутри. Ты ведь когда-то пиво уважал, я помню. Так?

– Наверна, так, – ответил я несколько невпопад, только для того чтобы увидеть реакцию Ореха на любимую фразу его интернетовского прототипа.

Но Грецкий не отреагировал никак: то ли не расслышал, то ли слишком был озабочен своими предсвадебными хлопотами.

Наши с Гиршуни номера располагались бок о бок, через стенку. Редкостное невезение, учитывая, что заказ делался в последнюю минуту. Я предпочёл бы разные этажи. Или даже разные гостиницы. А ещё лучше – разные города.

Страны. Планеты. И плюс к этому – разнести по времени, подальше, веков этак на десять...

Так. Стоп. Возьми себя в руки. Если уж паранойя, то по крайней мере здоровая, без одышки. Из-за стены не слышалось ни звука. Ну и что? Он вообще тихий. Бесшумный Гиршуни. Наверное, спать лёг. Наверна, так.

Я распаковался, принял душ и подошёл к окну. Похоже, и впрямь Нью-Йорк, а, парень? С высокого этажа виднелись пики знаменитых зданий, зелёный кусочек Централ-парк и серый кусочек Гудзона. До встречи с Орехом было ещё далеко, самое время прогуляться. Лишь бы Гиршуни не увязался следом... А мы делаем так, чтобы он не услышал. Я злорадно ухмыльнулся. Докажем ушастому суслику, что не один он умеет по-тихому. Включив погромче телевизор, я оделся, собрался, затем шумно бухнулся на кровать, повертелся, поскрипел и только потом тихонечко поднялся и на цыпочках выбрался из номера. Ковёр в коридоре глушил шаги, но на всякий случай я продолжал передвигаться на цыпочках. Возле гиршуниного номера приостановился. За дверью звенело напряжённое безмолвие. Небось прислушивается, подлец... Слушай, слушай... а птичка-то – хоп!.. на свободе! Хе-хе...

Толстая чёрная горничная в голубом переднике и косынке смерила меня подозрительным взглядом. Наверное, заметила мои странные телодвижения. Я подмигнул ей: правильно, тётушка Тома, подозревай! Подозревай всех! Мы с тобой в этом смысле одного поля ягоды...

Хорошо, что ключ здесь – магнитная карточка. её можно просто положить в карман. А была бы какая-нибудь железка с приделанной к ней массивной балбохой – поди унеси с собой такое сооружение... пришлось бы оставлять у портье. Вот уж чего мне совсем не хотелось бы: Гиршуни вполне может задушить голову кому угодно. Возьмёт внизу мой ключ, откроет номер, начнёт копать в вещах... бр-р...

– Да и пусть копается: что он там найдёт? Что?

– А ничего не найдёт! всё у меня тут, в голове! А там, в чемодане, ничего, ни одной улики, ни одной!

На улице меня толкнули – раз, другой, третий, так что поневоле пришлось встряхнуться и выкинуть из головы всю эту чушь. Ты ведь на Манхэттене, бро, на его стучащем тысячью каблуков тротуаре, а здесь надо либо стучать в общем ритме, либо отходить в сторонку – вон туда, где разлётся на картонке живописный бомж с дредами. Этот никуда не спешит, никуда не стучит, у него и каблуков-то нету – стоптаны напрочь. Нет уж, нет уж, мы лучше пока постучим – если и не по краям, где поток вихрится и ускоряется, а посередке, на стрежне, в спокойном равномерном течении. Тук-тук-тук, тук-тук-тук...

Кстати, этот бомж... и его дреды... Моё сердце подпрыгнуло к горлу. Это был охранник! Тот самый охранник из нашего здания! Как он смеет за мной шпионить?! Я резко повернулся и, наткнувшись на прохожих, бросился назад. Вот и кафешка, под которой он развалился... подонок... Я оббежал тележку с хот-догами и остановился. На широком гранитном парапете сиротливо лежал лист гофрированного картона с загнутыми обтёрханными краями, похожий на кусок засохшего сыра. Бомжа как не бывало. Да и был ли он здесь прежде?

Я присел на парапет и потёр виски обеими руками. Мимо текла на восток 34-я улица. Тук-тук-тук, тук-тук-тук... Нельзя так, парень. Расслабься, пожалуйста,

расслабься. Сделай над собой усилие. Как же расслабиться, если одновременно нужно делать усилие? Порочный круг, непорочный в своей совершенной замкнутости. А ты помечтай... Нью-Йорк – это ведь город мечты, правда? Вот и помечтай о квадратуре своего порочного круга.

34-я улица плеснулась рядом, зацепила меня чьим-то подолом, сумкой, рукой, подхватила, потащила с собой – мимо фасадов, витрин, канареечных таксомоторов, мимо цветистой рекламы, мимо лотков и тележек, мимо дорожных знаков и указателей с надписями из бывшего сказочного мира: Мэдисон-сквер-гарден, Бродвей, Эмпайр-стейт, Пятая авеню.

Когда-то давно я произносил эти слова, нисколько не сомневаясь, что для меня они так и останутся сказкой, как истории из «Тысячи и одной ночи». С тех пор прошли годы, Шахерезада потускнела в грязи вонючего арабского рынка, лампа Аладдина оказалась на поверку аляповатой медянкой, а то и вовсе бутылкой с коктейлем Молотова, да и со многих других, некогда дорогих трепетному сердцу мифов облетела штукатурка, безжалостно обнажив серую газетную изнанку. Похмелье иллюзий, осень ценностей.

Зато он, Нью-Йорк, не обманул и осенью, не обернулся дешёвкой, подделкой, враньём, и оттого, приезжая сюда, я каждый раз заново испытываю к нему благодарное чувство.

О, гордое достоинство Нижнего Города! О, беспечный простор Мидтауна! О, безмятежность Сентрал-парка! О, священные улочки Гринвич-виллидж и Сохо! Великий город, вскормленный силой и кровью миллионов мечтателей, ступивших на его причалы, прошедших его мостовыми. Всё тут, до последнего камня – осуществлённая, овеществлённая мечта, гимн мечте, торжество мечты, праздник мечты. О, Нью-Йорк, город Новой Мечты, сильной и молодой, как прежде!

Так я шёл и шёл, не чувствуя усталости, лелея в себе этот особый манхэттенский восторг, пока уличные часы не вернули меня к моей грустной реальности, к моим сегодняшним планам. Пора было возвращаться, чтобы не опоздать на встречу с Орехом. Я спустился в подземку.

В пабе подавали бостонское пиво и бейсбол по телевизору. Орех вбежал с опозданием, бухнулся на стул, схватил мой стакан и одним махом осушил не меньше половины.

– Уф, – он поставил стакан и, отдуваясь, помотал головой. – Кстати пришлось. Ты не представляешь, сколько дел. С ума сойти...

Грецкий принялся загибать пальцы, перечисляя свои неотложные заботы. Как ему сказать? Это может показаться странным, но я не составил никакого плана предстоящего разговора – наверное, потому, что угроза выглядела настолько очевидной. О такой объявляют без околичностей: вбегают в комнату и выпаливают ещё на бегу, не отдышавшись, не обращая никакого внимания на то, чем занимаются находящиеся там люди. Они могут делать что угодно: спать, обедать, ссориться, играть – в карты, на трубе или свадьбу – не важно. Всё это следует отложить немедленно, отбросить, забыть до лучших времён. Когда тебе кричат: «Спасайся! Скорее! Тебя идут убивать!» – ты должен сначала спастись, а потом уже задавать вопросы.

Логично, не правда ли? Именно это я имел это в виду, когда в Тель-Авиве набирал телефонный номер Ореха, и потом, когда летел через океан, и сегодня, когда бродил по городу, «хиллял по Броду». Но теперь, в пабе, я вдруг растерял-

ся. Слова куда-то подевались; я не знал, с чего начать. Легко сказать «вбегают в комнату и...» Но что делать, если вбегаешь не ты, а как раз тот, кого требуется предупредить? А ты, напротив, сидишь в уютном кресле напротив, потягивая пиво, и вроде как в ус не дуешь. Что тогда?

– Арик! Арик! – Орех потрепал меня по руке. – Ты в порядке?

– Да, а что? – встрепенулся я.

Он откинулся на спинку стула и понимающе улыбнулся.

– Да ничего. Такое впечатление, что вот-вот отключишься. Джетлег, а?

– Нет-нет, – пробормотал я, стараясь взять себя в руки. – Джетлег – это когда обратно... Слушай, а ты ещё танцуешь?

Сам не знаю, как это у меня выскочило. Грецкий вытаращил глаза от удивления.

– Чего? Ты о чём?

Подошедшая официантка начала расставлять на столе тарелки и стаканы, и это предоставило мне необходимую передышку.

– Ну как же, старикан... – сказал я как можно развязнее. – Ты ведь в своё время любил подрываться. До сих пор помню, как ты отплясывал рок-н-ролл на том вечере в институте, с этой, как её... длинноногая брюнетка такая...

Я наморщил лоб, изображая напряжение мышцы, которая заведует у людей памятью. Орех ухмыльнулся.

– Не вспоминай, всё равно не вспомнишь. Много их было, этих длинноногих... – он отхлебнул из стакана и мельком взглянул на часы.

– Слушай, Орех, а эта твоя дочка – она от какого брака?

Грецкий снова ухмыльнулся. Как и прежде, он не любил говорить о своих женщинах.

– Много их было, этих браков. Теперь-то какая разница, старикан?

– Никакой, это верно, – подыграл ему я. – Кстати, о браках: ходили слухи, что ты женился на Норе. Правда или врут?

Щека у Ореха дёрнулась, он опустил голову и посмотрел на меня исподлобья. В его глазах мелькнула тень того же самого, слегка затравленного выражения двадцатипятилетней давности, которое всегда появлялось там при упоминании имени Норы. «Надо же... до сих пор...» – подумал я.

Орех открыл было рот, чтоб ответить, потом передумал, отхлебнул пива и снова открыл рот – но не для ответа, а чтобы позвать официантку и заказать виски.

– Пиво без виски – деньги на ветер, – объяснил он.

– Значит, врут, – констатировал я.

Грецкий пожал плечами. К нему вернулось прежняя безмятежность.

– У слухов ноги ещё длинней, чем у моих баб. А почему ты спрашиваешь?

– Давно не видались, вот и любопытствую. Ладно, не хочешь про жён, давай снова про танцы.

– Ну, давай про танцы, – проговорил Орех с видимым облегчением. – Моя давняя любовь, это верно. Только сейчас тут рок не танцуют.

– Нет? Что же тогда?

– Сальсу, танго. Сплошное латинское засилье. Повсюду танцзалы...

– Милонги? – подсказал я.

Грецкий опять вытаращил глаза. Сегодня он положительно не мог на меня наудивляться.

– А ты что, тоже в теме?

– Немножко, – скромно отвечал я. – Нынче ведь эта мода повсюду. Да ты, наверное, знаешь намного лучше моего. Из интернета, например.

– Почему именно из интернета?

– Ну как... – я потихоньку подкатывал Ореха к нужной теме. – Не говори мне только, что у тебя нету блага.

– Блага? А зачем мне блог?

Я всмотрелся в глаза Грецкого. Они встретили мой недоверчивый взгляд невинной небесной голубиной, хотя внимательный наблюдатель непременно разглядел бы там кувыркающихся чертей. Я рассмеялся и хлопнул своего собеседника по плечу.

– Кончай меня парить, Орех. Мы ведь с тобой кенты, помнишь? Зачем таким типам, как ты, блог... – скажешь тоже! Будто ты девочек через интернет не снимаешь... Ну, признайся: ведь снимаешь, а? Снимаешь?

Орех ухмыльнулся знакомой ухмылкой.

– Ну, допустим, снимаю. Только, Арик, дружище, зачем ты опять на баб сворачиваешь? Знаешь ведь, не люблю я такой базар... – он снова взглянул на часы. – Ты о чём-то поговорить хотел, так давай, время кончается. Мне ещё к цветочнику успеть надо.

– Что ж, – сказал я. – Тогда карты на стол. Это ведь ты проходишь в интернете под красивым имечком Жуглан? Кстати, откуда такое прекрасное владение албанским?

– Албанским? – недоумённо повторил Орех. – Каким албанским?

– Кончай придуриваться, Жуглан! – воскликнул я, шутливо нахмурившись. – Маски сорваны! Твоё инкогнито раскрыто!

Тут мой давний приятель, по идее, должен был бы расхохотаться, и я присоединился бы к его смеху, протягивая руку ладонью вверх, как это делают братки-репперы, отмечая удачную шутку, и он, не переставая смеяться, прихлопнул бы по моей subtilной ладони своей ладонью борца-тяжеловеса. А потом, всё ещё посмеиваясь, мы взяли бы за стаканы, дабы скрепить хорошим глотком эту внезапно вернувшуюся дружескую близость, и уже тогда, соответственно посерьёзнев, я поведал бы ему о грозящей опасности. Я рассказал бы о частных записях Милонгеры.

«Смотри, – сказал бы я. – Ты можешь относиться к этому, как хочешь. Но, моему, следует поостеречься. Возможно, ты не в курсе, но интернет полон странными типами. Многие думают, что Сеть – это чистая виртуальность, и оттого можно позволить себе там все, что угодно. Сама по себе эта вседозволенность ещё не проблема. Проблема начинается в момент, когда тот или иной чудак теряет ощущение границы между мирами. И тогда вместе с собой он вытаскивает наружу других – помимо их воли и намерения. Это, знаешь, как две рядом расположенные лужи. Каждая из них – сама по себе, но стоит взять палку и провести между ними тоненькую канавку, как лужи немедленно начнут перетекать и смешиваться. Попробуй потом различить, какая вода откуда. И если бы только вода, а то ведь ещё и грязь... В общем, на твоём месте я стер бы Жуглана. Зачем попусту рисковать? В интернете легко начать новую жизнь. Просто придумай себе другое лицо, менее узнаваемое. Это нисколько не повредит твоему дон-жугланскому, дон-жугланскому арсеналу».

Так говорил бы я, а Орех слушал бы, сначала недоверчиво, приподняв брови и скептически улыбаясь, а затем всё более и более внимательно, задумчиво покусывая свой уже на четверть съеденный карандаш. Скорее всего, он не ответил бы мне ничего определённого, что неудивительно: такие вещи нужно хорошенько переварить, прежде чем реагировать. Скорее всего, мы просто допили бы пиво, расплатились после короткой схватки за чек, в которой, конечно же, победил бы он, как борец и миллионер, и распрощались бы до следующего дня, дня свадьбы. И я вернулся бы в свою комнату на тридцать шестом этаже, преисполненный спокойствия и чувства исполненного долга.

– Долга перед кем?

– Не знаю. Не важно. Перед Грецким.

– Да нет у тебя долгов перед Грецким. Он тебе никто и звать никак. Вы даже не друзья, вы *кенты*, причём бывшие.

– Ладно, тогда не перед Грецким. Перед самим собой. Чтобы чувствовать себя человеком.

– Что за чушь?! Ты, бывало, смотрел сложа руки на много худшие вещи.

– Ну ладно, не перед собой. Перед естественной человеческой традицией помогать другому – в особенности если тебе самому это стоит так немного.

– Опять врешь! Тебе плевать на любые традиции и на людей вообще, разве не так? Ты просто боишься за себя. Ты делаешь это из страха. Ты – трус, ты был трусом и остался. Как тогда, в школьном дворе, так и сейчас.

– И чего же я, по-твоему, боюсь?

– Что найдут. Ты боишься, что тебя найдут.

– Тьфу, чёрт! Да хоть бы и так! Я вернулся бы в свою комнату на тридцать шестом этаже, преисполненный спокойствия за собственную шкуру. Теперь доволен?

Вот только жаль, что ничему этому не суждено было случиться. Ни совместно-му смеху, ни шлепку ладоней, ни рассказу о Милонгере, ни спокойствию. Потому что Орех так и не признался.

– Какой Жуглан?

Он так и продолжал сидеть передо мной, недоумённо тараща глаза, как будто и в самом деле слыхом не слыхал своего интернетовского прозвища. А может, действительно не слыхал?

– Орех, я тебя очень прошу, – умоляюще произнёс я. – Сейчас не время дурачиться. Я знаю о твоём дневнике. Я знаю о Милонгере. Я знаю о ней намного больше твоего. Я приехал для того, чтобы рассказать тебе об этом. Ты должен покончить с Жугланом.

Грецкий открыл рот, издал странный горловой звук и снова закрыл.

– Орех?

Мой приятель полез в карман и вынул бумажник. Зачем? Показать фотографию? У него есть фото Милонгеры? Он уже знаком с ней лично?

– Вот что, Арик, – неловко сказал Орех, вытаскивая из бумажника стодолларовую купюру и кладя её на стол. – Я, конечно, понимаю, джетлег, усталость и всё такое... Тебе надо бы лечь и отдохнуть. Давай, я тебя до номера дотащу, а? И вообще, мне пора к цветочнику.

Он поднялся, и я понял, что разговор закончен. Зря пёрся за тридевять земель, хотя бы и за чужой счёт. За чужой? А время? Твоё личное время – это за чей счёт? Это ведь твоя жизнь, нет? Моя, твоя... ничего страшного, всего-то три дня

и два перелёта. Зато с Нью-Йорком повидался – разве не стоит того? Разве мечта не стоит того? Я перевёл взгляд к окну – туда, где за зелёными занавесками торопилась к мечте Восьмая авеню, мелькали крылья канареек-такси, клубился народ у входов на Пенн-стейшн.

– Так что? – напомнил о себе Орех. – Ты идёшь?

Надо же... я действительно почти забыл о его присутствии.

– Нет, спасибо, Орех. Я дойду. Ты прав, мне нужен отдых...

Слово замерло у меня на языке: за окном, почти касаясь его очками, стоял Гиршунни и смотрел внутрь паба, прямо на нас. На его скомканной сусличьей физиономии играла тоненькая усмешечка, уши развевались, как флаги, а кадык слегка двигался, так что я, даже не слыша, слышал это его ужасающее «кхе-кхе-кхе...» Видимо, я сильно изменился в лице, потому что Орех обеспокоенно наклонился и, взяв меня за плечо, заглянул в глаза.

– Что, Арик? Что случилось? Давай покажемся врачу, а? Таблетка, другая... а? Арик!

– Там... смотри... – еле вымолвил я, стараясь незаметно указать на окно. – Там... он...

Орех недоумённо обернулся.

– Кто? Где?

За стеклом уже не было никого, не считая Нью-Йорка. Проклятый суслик испарился, как умел испаряться только он один. Я с трудом перевёл дыхание. Сердце колотилось во рту и мешало языку ворочаться.

– Знаешь, – сказал я Ореху. – Пожалуй, стоит принять твоё любезное предложение. Проводи меня до номера, ладно? Что-то мне и в самом деле нездоровится.

– Нет проблем, старикан, – с преувеличенной бодростью откликнулся Грецкий. – Доставим в лучшем виде. Вставай, дружище, вставай.

Опираясь на его руку, я поднялся из-за стола. Конечно, я мог бы дойти и сам. Мог бы, когда бы так не боялся. Честно говоря, я просто умираю от страха.

 Girshuni

Тип записи: частная

 0

Этот город очень похож на руину, но не на обветшалую развалину, от которой остался один лишь фундамент и угол стены, да и в тех больше пыли времён, чем первоначального камня, потому что всё мало-мальски пригодное уже давно растащено новыми строителями новых домов – в чём, кстати говоря, заключается особенно многозначительная насмешка Создателя над творцами гордых вавилонских башен, храмов, мавзолеев и прочих человеческих струпьев, человеческой перхоти на равнодушном лице земли: все они разрушаются до основания отнюдь не в результате циклопических катаклизмов, что выглядело бы подобающе их торжественному статусу – нет, их растаскивают по камушку, по кирпичику, по-муравьиному – в корзине на спине тонконового ишака, а то и просто в охапке, в подоле, подмышкой, приведя для этой цели всю семью, так, чтобы

даже самый младший хоть что-нибудь да захватил, несколько ходок, и лачуга готова, осталось только прикрыть ветками, и живи себе не хочи – и вот проскакивает всего три-четыре тысячи лет, сущий пустяк, а на месте Вавилонской башни уже никакая не башня, а руина с едва заметным фундаментом и случайно уцелевшим обломком стены, в котором пыли больше, чем камня, причём без всяких землетрясений, наводнений и громомолниеметаний, понимаете?.. ну разве не смешно?.. смешно, конечно смешно... так вот, этот город не такой, его развалины свежи и отчётливы, как после массивированной бомбежки с воследовавшим очищающим, смывающим пыль и золу ливнем, он похож на открытую, ещё не загноившуюся рану, это город мечты, вернее, её обломков, громоздящихся банками и небоскрёбами, сваленных в гигантские сверкающие груды, хрустящих под ногой на каждом погонном дюйме его потогонных тротуаров.

Приехать сюда, приплыть в вонючем корабельном трюме по накатывающим на душу волнам блевотной морской болезни, из старого света – к новому, из старой, несчастной, калечащей и покалеченной жизни – к новой, красивой, хрустящей от счастья; качаться, кончаться под палубой в тошной темноте и чувствовать себя отрыжкой прежнего мира, плевком, выхаркнутым из его пасти, куском дерьма, извергнутым из его прямой кишки, полумёртвой сволочью, дрейфующей в океане вдали от земли, никакая рыба не польстится, никакая птица не долетит даже до середины, даже редкая, и, тем не менее, всё это неважно, это ведь всего лишь переход, переплыв, перемог, оттого и такой трудный, что безвозвратный – не только к прежним берегам, но и к прежним пакостям, да и блевота тоже неспроста: это гадкое прошлое лезет наружу – не брать же с собой подобную мерзость, вот и блюй на здоровье – так, чтобы ничего бывшего не осталось, чтобы ничего, ничего не осталось... но, постойте, это ведь невозможно, как же это?.. что-то ведь должно непременно остаться, правда?.. так ведь не бывает, чтобы совсем ничего... а вот и бывает, бывает... а, впрочем, знаете, ладно, пусть что-нибудь останется... но что?.. – а вот это, маленькое, блестящее, именуемое мечтой, вот это, похожее на трубку калейдоскопа, к которой вы припадаете всей своей многоглазой душой в коротких перерывах между блевотой, вот это, с одним окошечком и тысячами разноцветных узоров – если брать по одному на каждый глаз вашей души, то и хватит на каждый, ещё и останется... – вы слышали?.. говорят, уже виден берег, представляете, там даже есть берег... вон он, смотрите, смотрите!.. да куда же вы смотрите? – смотрите в трубу, у вас ведь есть труба... ах, это не подзорная?.. а какая, позорная?.. ха-ха-ха... ах, калейдоскоп... ну что ж, тогда смотрите хоть в калейдоскоп... и вот она, сходня, и причал, и полицейский, и регистратура, и барак, и проверяющий на предмет чахотки фельдшер с трубкой стетоскопа... или калейдоскопа?.. а впрочем, какая разница – смотрите в неё, ведь это ваша мечта – тысячи радужных сияющих картинок для сияющих радужных оболочек вашей тысячеглазой души.

Сойти и начать с нуля, с небольших привезённых денег, с надежды на местных родственников и друзей, а потом, когда кончатся и деньги, и родственники, и друзья, и надежды – начать сызнова, на этот раз действительно с нуля, искать работу – сначала хорошую, затем скучную, но чистую, затем просто чистую, затем любую и – не найти никакой, смотреть на своих голодающих птенцов, бесцельно бродить по городу, натываясь на жёсткие, острые углы чужой мечты: ведь мечта слепа, даже твоя собственная, а уж чужая и подавно, она никогда не

смотрит, куда прёт, она царапает, бьёт, давит, не замечая упавших, не слыша ни стонов, ни криков; помирать от чахотки, не замеченной сонным фельдшером по прибытии или благоприобретённой здесь же, на благословенном берегу, глядеть в щёлку между распухшими веками на закопчённый потолок каморки, гадая, кто на этот раз придёт раньше: хозяин – вытаскивать за неуплату на улицу – или смерть – вытаскивать за неуплату из жизни, и, наконец, выкашливая остатки лёгких в трубку трахеи, увидеть другую трубку – ту самую, калейдоскопную, крутящуюся разноцветным узором, детскую игрушку, мечту, так и не ставшую явью, да и как мечта может стать явью?.. – нет?.. а ведь казалось, что может... осознать с радостным облегчением, что это – последнее, что ты увидишь, то есть самое-самое последнее, потому что и дальше будет только крутящийся узор, постепенно теряющий цвета, светлеющий, простеющий, прощающий и прощальный, пока не исчезнет всё, и он, и ты тоже.

Сойти и начать с нуля, поймать удачу за хвост, втолкнуть её в лодку, скользкую и извивающуюся, как русалка, упасть на неё, чтоб ненароком не выпрыгнула, вцепиться ей в волосы, придавить всем телом, облапать её мокрые груди, впитаться жадными губами в рот, чтобы лежала, не рыпалась – твоя, твоя... и с тех пор думать только о ней, только о том, как бы не упустить, потому что остальное приложится, потому что в остальном допустимо всё: дать слово и не сдержать, пообещать и не выполнить, обнадёжить и обмануть – неважно... главное – удача, не дать ей уйти, прижимать покрепче, насиловать почаще, отрезать ей хвост, чтобы, даже если смоемся, далеко не уплыла бы, чтобы, даже если уплывёт, никому не досталась бы ... но она и так уже никуда не денется – вон как затрахана, бедная, еле шевелится... ну и пусть – мы-то ещё в силах; построим завод, и ещё завод, и ещё... – а чего не строить, если строится?.. – и корабль, и ещё корабль – пускай себе плавают промеж русалками, дымят трубами... трубами, трубами... подожди, подожди, звучит знакомо – откуда это?.. – ну как же, это ведь от той самой трубы, от калейдоскопа, от мечты твоей трюмной, давней, смешной, помнишь?.. – как не помнить, конечно, помню, конечно, смешно – вот они теперь, мои трубы – заводские, корабельные, нефтяные, канализационные... – да они же воняют, парень, и ты воняешь: протухшей рыбой воняешь, чтоб не сказать хуже... – ну и что?.. это ничего, это от русалки, понимаешь, она всё-таки того, немножко рыба, вот и пахнет... – да как же «ничего», ведь воняешь, стоять рядом невозможно... и дезодорант не помогает, и духи... – доктора мне, доктора, полцарства за доктора!.. ах, вот и доктор, ну, слава Богу, теперь-то всё образуется... – что же вы так, голубчик, а?.. за здоровьем следить надо, голубчик... – да это не я, доктор, это русалка... – конечно, русалка, голубчик... а вот мы вам трубочку в веночку и ещё две трубки в розовые губки... – подождите, доктор, это какие же трубки?.. неужели калейдоскоп?.. неужели тот самый, так и не случившийся?.. как же так, ведь русалка-то – вот она... где же она?.. нету... ну и ладно, и чёрт с ней, теперь не до русалки, теперь только до вот этой вертящейся калейдоскопной трубы, воронки, сужающейся в никуда, а вернее, туда, где нету не только русалок, но и ничего, ничего вообще, ничего.

Сойти и начать с нуля, понравиться всем, тщательно продумать и выбрать первого покупателя, потому что твой товар – не только лицом, но и всеми статьями, откуда ни глянь, как ни поставь, хоть раком, хоть крокодилком, отчего же не продать такой мерчандайз?.. продать, конечно, продать, ведь живём снова, ха-

вай, пока дают!.. что съешь, того не отнимут!.. вот и ешь, ешь, хотя и не всё, что заталкивают тебе в рот, предназначено для еды... ну и что? – главное, чтоб платили... вот только усталость иногда одолевает, да и подташнивает частенько, будто бы что-то поперёк горла встаёт, и вот уже хочется притормозить, чтоб не так безоглядно: этому продать можно, а тому – нет, не хотелось бы... – да кто же тебя спрашивает?.. уж коли продаёшься, то продаёшься всем, никакой дискриминации, согласно биллю о защите прав потребителя... – потребителя?.. а как же быть со мной, с моими правами?.. – с чьими, с твоими?.. какие же права у товара, ты что?.. кстати, на, возьми деньги и поворачивайся... – я не хочу – да кто ж тебя спрашивает?.. – не хочу!.. не хочу!.. – а вот тебе в рыло, сучий потрох, в рыло, в рыло!.. пить всё больше и больше, потому что иначе вообще не выжить, сидеть в кабаке, свесив голову над стойкой, слушать, заливаясь пьяными слезами, как музыкальный автомат поёт про хауз ин Нью-Орлинз: «Если б я слухала маму, то была бы теперь дома...» – как бренчит пианино, как взмывает труба, острым наконечником вычерчивая рисунок на линолеуме гитары... о, труба, вонзающая вибрирующую рапиру звука в твою незащитную душу, о, труба калейдоскопа, разноцветная мечта, тысяча узоров, по одному для каждого глаза твоей тысячеглазой души... где ты, труба, где ты? – была да сплыла, да и глаз-то в душе, почитай, уже нету: вот эти повыбивали камнями, как стёкла в громимом доме, эти вытекли по неосторожности, а может, по глупости, эти, как белая скатерть – залиты вином, а те, что остались, хочется закрыть, и лучше бы пятаками... до калейдоскопа ли тут, господин клиент?.. пора возвращаться в тот бордельный хауз ин Нью-Орлинз – его ещё называют «Восходящее Солнце» – звучит красиво, но красоты, если разобраться, никакой: просто окна выходят на восток, на море, на заспанное солнце – старую бандершу, которая, зевая, высовывается каждое утро из-под обреза лестничной площадки, из-под обреза океанского окоёма – в точности как высунулся когда-то корабль, везущий в своём трюме всех нас – заблёванных, нищих, голодных, но с трубкой калейдоскопа под мышкой.

Хауз ин Нью-Орлинз?.. но при чём тут Нью-Орлинз?.. разве ты сейчас не брёдешь по тротуарам совсем другого Нью?.. – другого, конечно, другого, только какая разница?.. чем йорк отличается от орлеана?.. – разве что словом, но что такое слово?.. – пухф... дуновение воздуха, пух тополиный, ничего не значащий... что же тогда значимо, что?.. не может быть, чтобы ничего вовсе, что-то ведь должно обладать весом, оставаться, покоиться, значить?.. неужели всё здесь настолько невесомо, что просто летает по ветру, как тополиный пух, как слова?.. – нет, не всё, человек, не всё: взгляни под ноги, прислушайся – вот они, хрустят под каблуками, разноцветные стёклышки, слоями, слоями... присмотришься – видишь?.. – что же это?.. – обломки калейдоскопов, человек, осколки жизней – все они здесь, до единой, миллионы, миллионы... и твоя тоже, слышишь, как хрустнула?.. оттого-то он так и похож на руину, этот город; он весь – сплошная руина, кладбище надежд, пастбище разочарований, так что дело, конечно, не в орлеане, и не в йорке, и не в васюках, дело именно в этом слове «нью», обозначающем надежду на *новое*: новую работу, новое жильё, новые обстоятельства, новую любовь, новых друзей – но почти сразу выясняется, что нет ничего нового, а есть *другое*, а другое – это вовсе не новое, а всего лишь иная комбинация старого, ради которой не стоило переться за тридевять земель, блевать в трюме, тарашиться в сияющее окошечко калейдоскопа... а впрочем – почему бы и нет?.. разве это не яв-

ляется сутью жизни?.. разве жизнь – это не перманентный переезд от старого к другому в поисках нового?.. какой идиот сказал, что человек существует только в момент выбора?.. – ерунда, человек существует только в момент переезда, в трюме, в блевотине, в обнимку с калейдоскопом мечты; только там и тогда он живёт настоящей, чудной, радостной жизнью, полной разноцветных узоров счастья: ещё бы, ведь он оставил позади все прошлые тягости, унижения, непонимание, вражду, предательство, а впереди за кромкой океанского горизонта маячит будущее, маячит нью, где всё будет замечательно, пока ещё непонятно как, но замечательно... вот ехать бы так и ехать, пребывая, но не прибывая, жить бы так и жить до самой смерти, не слыша проклятого крика «земля!..», не видя, как встаёт на пути нью-магадан, столица нью-колымского края.

Зачем он притащил меня сюда?

Свадьбу устраивали где-то на природе или в парке очень большого имения, виллы, дворца – не знаю, как это у них называется; нас привезли в неправдоподобно длинном лимузине и высадили прямо на лужайке, и тут оказалось, что дворец вовсе не так уж велик, во всяком случае, радиус подъездной площади чересчур крут, и бедняге-лимузину совершенно негде развернуться, так что пришлось пятиться к воротам целый километр; впрочем, у них тут меряют на мили – получается меньше, но всё равно несчастная махина была похожа на растерявшуюся гусеницу, проглотившую аршин, и в глазах её машиниста – наверное, нужно говорить именно так, ведь не может же быть, чтобы водитель такого чудовища звался просто «шофёр» – читалось оскорблённое недоумение, значение которого понял даже я: наверняка имелся в виду местный аналог поговорки насчёт не своих саней, в которые не следует садиться, не выстроив предварительно соответствующую олимпийскую инфраструктуру, потому что сани предполагают как минимум наличие горы или, скажем, лошади, вот тебе и конюшня, и аэродром, и лимузинный радиус площади... каждая деталь важна... ну как тут было не вспомнить озабоченное лицо Грецкого – видимо, и в самом деле здешние свадьбы даются ой как непросто – хорошо ещё, что у лимузина оказался исправный задний ход: судя по вихлянию, машинист пользовался им чуть ли не впервые в жизни, настоящее экстремальное вождение, я просто затаил дыхание: въедет в дерево или не въедет?.. но тут Грецкий потянул меня к гостям, чёрт подери, оборвал на самом интересном, но как не послушаешься хозяина, тем более что он так постарался, расписал заранее, кто с кем стоит, кто где сидит и кто что говорит – мне выпало общаться с бывшими израильтянами – по принципу общности языка: они свой иврит уже порядочно подзабыли, а я свой ещё не вполне узнал; понятия не имею, кем они Грецкому приходились – возможно, соседями по району или по скамье в местной синагоге, все одеты по единому чёрнофрачному коду, как грачи-солдаты, а один из них, сухопарый, оказавшийся подрядчиком квартирных перевозок, то ли специально заботился об усилении этого грачиного сходства, то ли просто страдал кривошейством, но голову держал совершенно по-птичьи, боком, высоко задрал подбородок и кося одним глазом вверх, в белое полотнище нашего шатра, а другим – вниз, в тарелку, за которой и впрямь нужен был глаз да глаз, ибо блюда сменялись с калейдоскопической быстротой, причём жена подрядчика, вся состоящая, как будда, из мягких округлых подушек, встречала каждую перемену подробным рассказом о том, насколько местная еда хуже той, на которой лично она была вскормлена в Реховоте,

а я гадал, как же она будет танцевать с такой комплекцией, вернее, с таким комплектом автомобильных шин на корпусе: танцы интересовали меня особенно, как выяснилось, зря, потому что никаким танго или даже сальсой тут даже и не пахло, а пахло какой-то особенной, прежде мною невиданной смесью пьяного хасидского хора и боевой пляски полинезийских людоедов, хотя последним этот танец, скорее всего, не понравился бы из-за его чрезмерной агрессивности, но о вкусах не спорят, как сказала жена подрядчика, морща нос на десерт, – её реховотская мама делала то же самое, но намного вкуснее, и как-то так получилось, что пора уже и по домам; всё тот же подрядчик, затейливо глядя одним глазом на дорогу, а другим в люк на крыше своего лексуса – не иначе как проверяя, нет ли за нами вертолётной слежки – подвёз меня до гостиницы: интересно, пошло ли это Грецкому в счёт квартирной перевозки?.. так или иначе я благодарно воспользовался возможностью вздремнуть на заднем сиденье: наутро предстоял утомительный обратный рейс, а на ночь мною было запланировано ещё одно совершенно неотложное дело.



 **Milongera**

Тип записи: открытая



Машину я арендовала на 31-й улице. Агентство уже закрывалось; жирный парень в бейсболке козырьком назад, недовольно покачивая головой, провёл меня в контору и, даже не предложив сесть, принялся тыкать ключом в запёртый ящик стола. Ключ, словно переняв раздражение хозяина, наотрез отказывался влезать, парень шипел, как змеиное гнездо: «Шит... шит... шит...»²⁵

– Я, видимо, поздно, извините, – сказала я, садясь.

– Шит... шит... – гнул своё парень.

Наконец ключ смирился с неизбежным, щёлкнул замок, на стол со смачным звуком легла засаленная амбарная книга. Парень перевёл дух, бухнулся в кресло и сердито взглянул на меня.

– Клерк уже ушёл, а я этот ящик включать не стану, – он с омерзением ткнул пальцем в старый монитор. – Я вообще-то механик. Я этот шит в гробу видел.

Я пожала плечами.

– Как скажете. Мне всего-то на ночь. Утром верну.

– Да по мне хоть вовсе не возвращайте... – парень лизнул палец и пролистнул гроссбух до чистой страницы. – Ушли, а мне тут отдуваться. Шит. Я вообще-то механик. Плата наличкой.

«Шит-шит, да не лыком шит, – подумала я. – Ну и что? Мне же лучше: зачем кредитку светить?»

– Имя? Мисс...

– Марсела Гевара.

Парень записал, даже не моргнув, хотя на латинос я со своим русским акцен-

²⁵ Шит! (англ., жарг.) – восклицание, выражающее крайнюю степень досады, аналог русского «чёрт!», «блин!» и менее цензурных реакций.

том походила меньше всего. Впрочем, возможно, он приехал в Нью-Йорк недавно и ещё не научился различать. А может, просто был слишком расстроен непредвиденной задержкой и торопился поскорее избавиться от поздней клиентки.

– Вот тут. Распишитесь... – он повернул ко мне книгу.

Я с готовностью черкнула произвольную загогулину.

– Сто пятьдесят баксов, – он выжидательно взглянул на меня.

– Погодите, – сказала я. – Мы же ещё не говорили о конкретной машине.

Парень фыркнул и, взяв бейсболку за козырёк, сделал ею полный оборот.

– А чего говорить? Всё равно кроме тех тачек, что стоят внизу, брать нечего, мисс Гевара. Кстати, команданте Че Гевара вам случаем не родственник?

– Родной дед, – улыбнулась я. – А что у вас стоит внизу?

– Пойдёмте, покажу, – он поднялся из-за стола.

На подземной стоянке я сразу ткнула пальцем в тёмно-синий «сильверато» с массивной решёткой, кастетом торчащей перед радиатором. Парень удивлённо присвистнул.

– Вы уверены, что не хотите чего-нибудь полегче? Это обычно берут для пикника или для охоты...

– Самое то, – заверила я. – Если для охоты, то получается как раз то, что мне надо.

Парень пошёл за ключами. Иногда события и слова превращаются не просто в указательные знаки, а в волну, которая сама несёт тебя в правильном направлении. Собственно говоря, направление волны всегда правильное. Неправильными бывают только дурацкие человеческие желания и мысли.

– О'кей, мисс, – подытожил механик, когда я уже сидела в кабине. – Утром, если никого ещё не будет, поставите машину вон там. Ключи можно оставить под сиденьем. Удачной охоты, мисс.

Автомобиль и вправду был тяжёл, как бронетранспортёр, но слушался на удивление чутко. Я проехала несколько кварталов, прежде чем обрела полную уверенность и почувствовала размеры машины. Мощный двигатель урчал сдержанно и ровно, уютно светились циферблаты, по радио передавали фолк, Джоан Баэз пела песню про дом восходящего солнца, а вокруг сдержанно и ровно, в такт моему двигателю, дышал равнодушный Нью-Йорк. Вот уж кто никогда не пристанет к тебе, не полезет в душу, не повиснет на плечах назойливым зазывалой. Можешь жить – живи, не можешь – помирай, никто слова не скажет, никто не оскорбит, не унижит лживым и оттого отвратительным «участием». Мы с ним поразительно похожи. Именно по этой причине я никогда не задерживаюсь здесь дольше одной недели – просто не хочу навязываться.

Стемнело, но для милонги было ещё рановато, так что я просто плыла куда глаза глядят, куда фары светят, куда несёт меня – в правильном направлении – волна тесного вечернего трафика. Потеряться я не боялась: оказалось, что машина оснащена навигатором. «Дона, дона, дона... – пела Джей-Би. – Тот, кто ценит свободу, должен научиться летать...»

Что ж, я ценю свободу больше всего на свете, но научилась ли я летать? Нет, пока нет. Слишком много тяжести на крыльях, слишком много грязных, липких, загребущих рук тянутся ко мне с земли, хватают за маховые перья – поди взлети с таким грузом. Ненавижу...

Забыв о времени, вцепившись в крутую дугу руля, я сидела верхом на многоглазом красно-белом дьяволе дороги, то пускаясь вскачь, то сбиваясь на неторопливую рысцу, то и вовсе останавливаясь перед невидимыми барьерами светофоров. Ночь стучалась и чернела, черпая всё новую и новую черноту в беспомощном обилии фонарей и светящихся окон. Ночь стучалась и у меня в голове, с силой замешивая тёмную, клубящуюся гущу беспорядочных мыслей и чувств. Я то радовалась, то печалилась неизвестно чему, глаза мои опухли от слёз, а рот устал улыбаться. Наконец поток вынес меня в боковое ответвление, передняя машина свернула к тротуару и остановилась.

Остановилась и я. На часах подрагивала секундной стрелкой половина двенадцатого. Вокруг громоздились уродливые кирпичные здания, оплетённые ржавыми лианами пожарных лестниц. Поперёк улицы на уровне пятого этажа тянулась странная решётчатая металлоконструкция. Зачем? Чтобы затянуть в клетку ещё и небо?.. На углу блока подмигивала синим неоновая рюмка ночного бара. Одна из ламп, издыхая, агонизировала – как раз в районе рюмочной ножки, и оттого казалось, что рюмка пританцовывает. Ветер лениво двигал по тротуару пустые полиэтиленовые пакеты. Рядом с пожарным гидрантом высилась неопрятная груда мешков с мусором; кошка, задрав хвост трубой, раздумывала, с которого из них начать. Где это я? То ли Бронкс, то ли Квинс, то ли скунс...

Куда теперь? Ночь в моей голове тянула назад, в темноту, в томительные глубины радости и отчаяния; неужели опять придётся отвлекаться на поиски дороги, на выбор желобка, на малозначащие решения о поворотах и путевых развязках? Ненавижу... Настоящий полёт не знает желобков; у летящей птицы есть цель, но нет дороги.

В сумочке у меня лежала бумажка с адресами манхэттенских милонг. Я включила навигатор, ввела название улицы и номер дома; секунду подумав, прибор вывел на экран карту, и приятный женский голос настоятельно порекомендовал развернуться и следовать одну и восемь десятых мили в указанном направлении. Теперь машина снова была в надёжных руках – не автомобильного потока, так навигатора, а я – я вернулась к себе, в ночь, текущую слюной и слезами.

Милонга находилась где-то между Виллидж и Сохо. Я никогда не танцевала там прежде и выбрала её именно по этой причине: не хотелось идти в большие, известные места, где каждый клочок пола истоптан клиентами со всего мира, как проститутка в портовом борделе. Навигатор привел меня к самому входу, освещённому затейливой светящейся вывеской с парой, исполняющей барриду, но стоянки, как всегда, не оказалось, так что пришлось отключить протестующий женский голос и немного покружить по окрестным улицам, а потом возвращаться пешком. Конечно, я заблудилась и уже искала, кого бы спросить, хотя спрашивать в столь поздний час даже в Сохо особенно некого, пока наконец, выйдя в очередной раз на какой-то очередной угол, не увидела справа от себя искомую вывеску с барридой.

Улица была темна и совершенно пуста, ни одной живой души, кроме меня и ночи. Даже окна не светились по причине отсутствия таковых. Собственно говоря, само название «улица» не слишком подходило этому узкому, загромождённому мусорными баками проходу между сплошными кирпичными противопожарными стенами. Люминисцентная баррида представляла собой единствен-

ный здешний источник света, но и она, словно почувствовав моё приближение, вдруг начала мигать, угрожая оставить проулок в полнейшей темноте.

Пройдя между баками, я добралась до входа, безуспешно поискала звонок, постучала и, не дождавшись ответа, налегла на глухую дверь. Против всех ожиданий, та поддалась. Я вошла в тёмное помещение и зашарила по стене в поисках выключателя. Ненавижу, когда обстоятельства пытаются разрушить мои планы. Выключателя не было. Вот гады! Я прислонилась спиной к стене и принялась сильно стучать по ней каблуком. Звуки ударов возвращались ко мне гулким эхом. Постучав с минуту, я передохнула и забарабанила снова.

Вдруг в темноте мелькнул свет, послышались шаги. Помещение оказалось длинным коридором: кто-то шёл ко мне издали, слепя фонариком. «Сейчас стукнут по башке, а потом изнасилуют, забьют до смерти, четвертуют, глаза выколуют, печень съедят сырой, задницу с головой сварят на студень, а прочую расчленёнку вынесут отдельно в те самые баки, – весело подумала я. – Вот будет облегчение сердцу и душе без всего этого добра...»

– Эй! Что вы стучите? – голос был мужской, недовольный.

– Говорят, здесь милонга, – ответила я, щурясь от фонаря.

Мужчина подошёл вплотную. Вблизи он совсем не походил на маньяк-каннибала, но разве когда-нибудь маньяк-каннибал ходит на самого себя?

– Вы храбрая женщина, мисс, – сказал он. – Прийти сюда, одной, в такое место... редкий случай.

– Потанцевать захотелось, – безмятежно объяснила я.

– Редкий случай, – повторил потенциальный маньяк. Казалось, он размышлял, не заспиртовать ли меня целиком ввиду особой раритетности. – Как вы нас нашли?

– Интернет. Блоги. Кто-то упомянул.

– Кто?

– Не помню. Какая разница?

Он согласно кивнул.

– Действительно никакой. Пойдёмте...

Мы двинулись по коридору, затем по лестнице вниз.

– А что так темно? – поинтересовалась я. – Кончилась смола для факелов? Или краснокожие гуроны перехватили пирогу с тюленьим жиром?

– Это специально, – серьёзно отвечал мужчина. – Свои приносят с собой фонарики. А чужих нам не надо.

– Теперь вам придётся меня убить, – сказала я. – Ведь я чужая и свою становиться не собираюсь. Четвертовать, съесть печень, расчленил...

Он резко остановился и осветил фонарём мою приветливую улыбку.

– Вы и в самом деле редкий случай, мисс. Мы обязательно взвесим ваше предложение.

«Опять декорация, – подумала я. – Для маньяка дяденька звучит чересчур театрально. Но ладно, если уж припёрлась...»

Коридор повернул, мужчина открыл дверь, и я зажмурилась от хлынувшей оттуда лавины света и музыки. Милонга! Здесь действительно была милонга, свет моей ночи, музыка моей души! О, танго, обнажённый нерв одиночества!

Увы, чудная радость узнавания оказалась единственным положительным моментом этой странной милонги. В комнатёнке для переодевания, тесной, как вагонное купе, остро воняло индийскими ароматическими палочками, дорогими

духами и дешёвым сектантством. В углу торчала зловеще подсвеченная статуэтка Шивы, по стенам висели кривые мечи и картинки из Камасутры. На танцевальном полу всё обстояло и того хуже: под огромным портретом гуру Махариши несколько пар изображали странную комбинацию танго и трансцендентальной медитации. В знакомую ткань мелодии ни с того ни с сего вплетался ситар, а вместе с ним – тягучие индийские мотивы. Я пожалела, что надела туфли. Танцевать здесь всё равно было не с кем. Приведший меня человек подошёл и наклонился к моему уху.

– Как видите, это не простая милонга... – зловеще прошептал он. – И не простая медитация. Честно говоря, для непосвящённых пребывание здесь смертельно опасно. Но тем, кто приходит к нам с открытым сердцем, ничего не грозит. Так что не бойся, сестра.

Меня чуть не вырвало.

– Не брат ты мне, гнида черножопая...

Ради удовольствия точного цитирования пришлось перейти с английского на русский, так что мой просветлённый хозяин, к сожалению, не понял ни слова из моего ответа. Ну и чёрт с ним. Ненавижу суррогаты, особенно ментальные. «Не бойся!» Тьфу, мразь! Да кто тебя боится?! Размечтался... мечи в сортире развесил, бодхисатва хренов... Мечи в таких сектах всегда остаются картонными, даже если наточить их до остроты бритвы.

Я отвернулась от идиота и стала снимать туфли. Праздник не состоялся, вечер пошёл насмарку. Часы показывали без четверти два; теперь уже поздно было куда-либо ехать. Эта мысль приводила меня в бешенство. По-видимому, оно читалось на моём лице достаточно ясно, потому что хозяин беспрекословно вложил фонарик в мою протянутую руку.

На улице накрапывало. Естественно, я в упор не помнила, где именно припарковала свой чёртов бронетранспортёр – теперь мне предстояли не просто долгие поиски, но долгие поиски под дождём. Я уныло брела по мокрым безлюдным улицам, пока не уткнулась в указатель на Вашингтон-сквер. Машина стояла где-то рядом с площадью, недалеко от её северо-восточного угла. Приободрившись, я прибавила шагу.

Сквер оказался обитаем: тут и там виднелся странный ночной люд. У самого входа на скамейке двое играли в шахматы, в блиц, но как-то слишком уж расслабленно, без обычной рубки и гонки. Я подошла. Так и есть: флажки на часах давно уже упали; пустоглазые шахматисты жали на кнопку просто так, передвигая фигуры совершенно сомнамбулически, как попало. Игра шла без времени и без правил. Не знаю, какая могла быть у неё цель... впрочем, разве «без времени и без правил» не означает также и «без цели»?

С площадки посередине сквера слышалось бречание гитары. Человек пять-шесть, ссутулившись, топтались вокруг длинноволосого гитариста. По кругу шла бутылка, замаскированная по местному обычаю мятым бумажным пакетом. Мужик пел, остальные подпевали: «Каково тебе без дома, в одиночестве? Каково тебе, а? Каково чувствовать себя катящимся камнем?» Сладкие сикстиз. Хиппи. Шестидесятые годы. «Люби, а не воюй». Боб Дилан. Вудсток-шмудсток. Ньюпорт-шмурпорт. Неужели такое ещё поют на Вашингтон-сквер? Только подойдя поближе, я разглядела морщины и седину: шестидесятость характеризовала не только репертуар, но и возраст тусовщиков.

Шестидесятилетняя девушка в расшитом джинсовом костюмчике и ковбойской шляпе, с бутылкой в скрюченной артритом руке, с джойнтом в искусственных зубах – что ты здесь делаешь, старая дура, вместе со своими слюнявыми друзьями? Это вы-то перекасти-камни? Если вы и камни, то краеугольные, неподъёмные, заслоняющие дорогу всему живому, пульсирующему, настоящему, не похожему на застывшую догму ваших сусальных сказок. Это вы-то бездомны? Как бы не так! Все вы давно уже обросли квартирами, кафедрами, деньгами... мерзкое, лживое, предательское отродье!

Старуха поймала мой взгляд и, улыбаясь, протянула пакет с бутылкой – давай, мол, герла, гет тугеза. Я с трудом подавила желание съездить ей по зубам. Прочь отсюда! Скорее! Мне вдруг показалось, что в сквере разом кончился воздух, как будто проклятые сикстиз затолкали в свой мятый бумажный пакет не только бутылку, но и весь окрестный кислород, и теперь монополюбно сосали его, не оставив остальным даже на маленький вздох-глоточек. Не разбирая дороги, я бросилась вон.

К счастью, «сильверадо» действительно оказался невдалеке. Я забралась в машину, захлопнула и заблокировала дверцу, включила двигатель, вжала лицо в ладони, отгородилась от окружившей, осадившей, доставшей меня фальши и пакости. Да что ж это такое, Господи! всё одно к одному, вся эта жизнь, весь этот чёртов вечер, отразивший её, кривую, в своём столь же кривом зеркале! Шустряк-механик, мелкий хитрец, слупивший двойную цену... и не в деньгах тут дело, а во вранье, в мерзком вранье, которого даже не стыдятся, настолько оно привычно, общепринято, как вонь в туалетных кабинках. Автомобильный поток, поначалу прикидывающийся сильным и нескончаемым, как все жизненные потоки, а уже через пару часов выкидывающий тебя на обочину, под ржавые решётки, за глухие стены. Секта надутых дураков, воображающих себя проникшими в глубины мировой души, а на деле – всего лишь построивших дополнительный ряд нелепых и наивных декораций. Чудовищные шестидесятники, приветливо ностальгирующие на обломках миллионов жизней, разрушенных их идиотским враньём и безответственностью.

И – как я могла такое забыть! – эти ужасные шахматисты, как символ всего происходящего со мной, с городом, с миром: безглазая игра без правил и без времени, пока не придёт полицейский и не выгонит всех из этого скверного сквера! К чёрту, к чёрту! Зачем? Почему? Я всего-то и хотела потанцевать, просто потанцевать...

Телефонная будка в нескольких метрах от машины расплывалась в слезах – моих и дождя. Пора звонить. Ты ведь этого хотела, правда? Чего уж там отвлекаться на какого-то механика, на джинсовую старуху, на обкуренных шахматистов... ты ведь приехала сюда ради него, разве не так? Разве не сходится в нём, как фокусе линзы, и хамство, и фальшь, и враньё, и удушающая пошлость? Сходится, как нельзя лучше сходится. Ну вот... тогда давай, вперед...

Я вытерла слёзы. Я вышла из машины. Я сняла трубку, накормила таксофон квотерами и набрала номер.

– Алло... кто это?

Голос был более чем сонный. Я представила себе, как бедняга, сев в постели, трёт глаза и трясёт головой, гадая, какая сволочь может звонить ему в такой час.

– Помнится, вы хотели со мной потанцевать, – произнесла я самым ледяным

тоном, на какой только была способна. – Если предложение ещё в силе, то я готова.

На другом конце провода наступило обалделое молчание. Думаю, он щипал себя за руку или смотрел в зеркало на свою опухшую физиономию, не в силах поверить, что происходящее реально.

– Алло?

Жуглан неуверенно кашлянул.

– Это вы... – хрипло сказал он. – Неужели это вы? Милонгера?

– Я так и думала, что вы меня сразу узнаете. Так что, потанцуем?

– Сейчас? В такое время? Может быть...

– Что ж, как хотите, – прервала его я и отсоединилась.

Таксофон зазвонил секунд через десять: на свою беду, Жуглан пользовался определителем номера. Я подождала с минуту и сняла трубку.

– Я согласен! – крикнул он, не дожидаясь моего «алло». – Где вы?

Я назвала улицу.

– Но где, в каком месте?

– Езжайте от Вашингтон-сквер на восток. Увидите справа мою машину. Серебристая «королла». Я буду в ней.

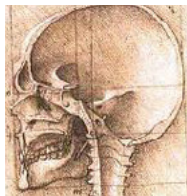
– «Королла»? – он возбуждённо рассмеялся. – Такая женщина, как вы, не должна ездить на «королле». Королева должна ездить на короле, в крайнем случае – на принце. Мы это исправим, вот увидите. Буду через...

Я повесила трубку и вернулась в свой «сильверадо». Серебристая «королла» стояла метрах в тридцати от меня, ближе к площади. Мотор я не глушила.

Он доехал меньше чем за полчаса – наверняка гнал всю дорогу. Проехал мимо «короллы», вернулся задним ходом, остановился прямо перед ней, вышел. Посмотрел в один конец улицы, посмотрел в противоположный. Почесал в затылке, поднялся на тротуар, осмотрел ближайший подъезд. Вернулся на мостовую, встал перед «короллой», полез в карман... зачем? – ах, записать номер... Я выкрутила руль и нажала на газ. Мой бронетранспортёр рванул вперёд, как застоявшийся жеребец. Жуглан не успел даже глазом моргнуть.

Доехав до Мидтауна, я остановилась и тщательно проверила капот. Весь удар приняла на себя массивная конструкция, приваренная к «сильверадо» спереди. Наверное, и дождик помог. Так или иначе, следов не осталось никаких – ни на капоте, ни на крыльях, ни на колёсах. Я уже хотела вернуться в кабину, когда заметила что-то, похожее на палочку, застрявшую в решётке радиатора. Это был карандаш, вернее, огрызок карандаша. Понятия не имею, как он туда залетел. Бывает же такое.

Я припарковала машину в точности там, где просил хитрожопый механик. До рассвета оставалось ещё часа два, а до обратного рейса – восемь. Самое время возвращаться в гостиницу. Я шла по Восьмой авеню, подставляя лицо под замечательный, превосходный, ласковый и очищающий дождь. Душа моя пела голосом Джей-Би. «Дона, дона, дона... Тот, кто ценит свободу, должен научиться летать...» Я шла по Восьмой авеню? Нет, я летела.



 Arkady569

Тип записи: частная



Обратный полёт дался легко: я принял снотворное и проспал всю дорогу. Это позволило сэкономить день отпуска. Прямо из аэропорта я отправился на работу и худо-бедно дотянул до конца, хотя и клевал носом после обеда. Гиршуни же, видимо, решил не испытывать судьбу. Он сразу поехал домой отсыпаться и оказался прав. От джетлега не убежишь. Два следующих дня я проходил варёный, а Гиршуни был как огурчик. Впечатлениями о свадьбе и о поездке мы не обменивались, разговаривали только по работе.

Должен сказать, что меня Нью-Йорк успокоил. Если не принимать во внимание безвредную сонливость, я чувствовал себя прекрасно и думать позабыл о своих прежних страхах. Даже не вспоминал. А когда вспоминал, посмеивался: нашёл кого бояться – Гиршуни! Гиршуни, который комара не обидит! В общем, я почти полностью избавился от одолевшей меня напасти. Почти – потому что в интернет я избегал заглядывать с самого приезда. Я имею в виду – не заглядывал вовсе, а не только в злополучные блоги, чуть не доведшие меня – нормального, здравомыслящего человека – до натуральной мании преследования. Честно говоря, моя бы воля – я б не приближался к компьютеру в принципе.

Но, к сожалению, профессия не позволяла мне такой роскоши. Более того, она требовала довольно часто выходить за пределы нашей внутренней сети – для запросов в технических базах, для получения новых версий и тому подобно-го. Невозможно было взваливать всю эту работу на одного Гиршуни.

Да и как странно выглядел бы компьютерщик, уклоняющийся от интернета! Таким образом, моё добровольное воздержание не могло продолжаться долго. В конце концов, разве оно не являлось продолжением прежней паранойи?

Раздразнив и рассердив себя этим доводом, я вернулся в Сеть. Струзил последние подписи антивируса. Поискал в инфобазе ответ на интересующий меня технический вопрос. Просмотрел новостные и спортивные сайты. Проследил за ходом шахматной партии на гроссмейстерском турнире. Заглянул на страницы литературных журналов – не появилось ли чего интересного? Вышел в коридор, прошёлся туда-сюда, нечувствительно поговорил с кем-то о чём-то. Вернулся. Посидел перед экраном. Побарабанил пальцами по столешнице.

– Чего ты боишься, параноик? Ты ведь больше всего на свете хочешь узнать продолжение. Тогда зачем вилять, кружить вокруг да около? Заходи уже в эти чёртовы блоги, заходи...

– Вот ещё! Опять снова-здорово? Ты ведь не хотел, ты ведь дал себе слово, ты ведь поклялся бросить раз и навсегда, причём не так давно – не далее как сегодня утром.

– Подумаешь, поклялся... чушь это всё, мелочь, не стоит клясть и прочих переживаний. Можно подумать, будто там кроется какая-то опасность! Болтовня, обычная болтовня, графоманская писанина... нельзя же придавать ей такое значение. Просто войди и посмотри. Ну?.. просто войди и...

Я потянулся к мышке, но тут же поймал себя за руку, встал, пометался по комнате под недоумевающим взглядом Гиршуни, снова вышел в коридор. Никогда ещё борьба с самим собой не выглядела такой невыносимо глупой. И ведь действительно, было бы о чём так страдать... За стол я вернулся с таким решительным видом, что Гиршуни высунулся из-за монитора и спросил, не случилось ли чего.

– Всё в порядке, Аркадий, – рассеянно отвечал я, заходя в его частный блог. – Всё прекрасно, лучше не бывает.

Гиршунин блог и в самом деле не давал повода для беспокойства, хотя, читая его, я немало подивился разности наших восприятий. Впрочем, с другой стороны, удивляться было нечему: всё-таки он был сумасшедшим ушастым сусликом, а я – нормальным человеком.

В блогах Машеньки и Антиопы никаких изменений не произошло. Вообще, они давно уже не проявлялись – ни записями, ни комментариями... Неужели надоело? А может, обнаружили, что за ними подсматривает муж и папаша?

Жуглан тоже не успел написать ничего новенького. Он и раньше в основном комментировал, а в своём дневнике писал относительно редко. Жуглан, Жуглан... по-видимому, я всё-таки ошибся, и интернетовский персонаж не имел ничего общего с моим бывшим *кентом*. То есть что-то общее, конечно, имел – а иначе откуда он мог бы знать историю про Нору? Но главное, что общность эта никоим образом не означала идентичность. Жугланом мог быть, например, какой-нибудь американский приятель Ореха, слышавший от него или просто наблюдавший вблизи эту историю. Просто услышал, подсмотрел, а потом решил выдать за происшедшее непосредственно с ним – разве мало таких случаев бывает? Да сколько угодно... Я посмотрел на руку и обнаружил, что она дрожит. Что такое? Почему?

– Да потому, что больше ты уже не можешь оттягивать. Потому, что очередь дошла до Милонгеры. Ты ведь боялся открыть именно её дневник, не правда ли? Ты ведь именно поэтому так долго не заходил в интернет... ну признайся уже, признайся... Так?

– Так.

– Ну а коли так, то открывай уже, не тяни. Посмотри, не совершила ли эта полоумная ещё какое-нибудь виртуальное убийство. А то и сразу два. С неё ведь станется, не так ли?

– Так.

– Слушай, кончай такать, как старые ходики. Открывай.

Я глубоко вдохнул и вошёл в частный дневник Милонгеры – словно нырнул в омут. И прочитал эту запись. Она поджидала меня все эти дни, как страшное чудовище в том самом омуте, как грабитель за углом, как расстрельная команда во дворе. Значит, эта сумасшедшая сволочь всё-таки убила его! Убила! А я чувствовал заранее, что это должно случиться, и не смог помешать! Проклятье!

Но самой тревожной была эта деталь с карандашом. Изгрызанный карандаш, верная примета и визитная карточка Грецкого... могло ли такое быть, чтобы неизвестный Жуглан настолько далеко зашёл в своём самозванстве, в своём копировании ореховских привычек? Если да, то речь шла о настоящей мании. Необходимо срочно позвонить Ореху, убедиться, что он жив и здоров... Я потянулся к телефону, но тут же остановился. Во-первых, разница во времени... во-вторых и в-главных, мне ужасно мешало присутствие Гиршуни. Не знаю почему, но

факт – я просто не мог спрашивать Грецкого, всё ли с ним в порядке, когда передо мной торчат из-за монитора эти проклятые сусличьи уши!

Я с трудом дождался гиршуниного ухода. Было около пяти вечера, когда я начал звонить. Мобильник Ореха не отвечал, рабочий телефон тоже, зато дома сразу сняли трубку.

– Нет, – произнёс бесстрастный мужской голос. – Мистера Грецкого нету.

– Вы не могли бы подсказать, где его можно найти? Это срочно.

– Извините, но мне это неизвестно.

Я почувствовал, что у меня заныло в животе. Надо бы попробовать поговорить с женой. Забыл как её... Линда?.. Ванда?.. Хонда?

– А миссис Грецкая... её тоже нет дома? Меня зовут Аркадий, я старинный друг мистера Грецкого...

– Секундочку, – сказали на другом конце провода после некоторого колебания. – Подождите, я проверю.

Пока он ходил-проверял, я вспомнил, наконец, имя нынешней ореховой жены: Сандра. Взяв трубку, она затараторила без раскачки:

– Аркадий? Я как раз собиралась вам звонить. Надеюсь, что, возможно, вы поможете... что, возможно, вы знаете... – она всхлинула. – Он недавно говорил о том, что хорошо бы слетать в Израиль... Так он не у вас? Потому что если у вас, то, пожалуйста, скажите. Даже если он просил хранить в секрете. А то мы тут себе места не находим. Понимаете, это так на него похоже – исчезнуть без предупреждения на несколько дней, так похоже. Когда это случилось в первый раз, я чуть с ума не сошла, а он заявился через три дня как ни в чём не бывало. И ещё сердился, что я подняла всех на ноги. Ну, вы же его знаете, такой характер. Я пока не заявляла в полицию, но прошла уже почти неделя... Как вы думаете?

Орехова жена замолчала. Я не знал, что ей ответить. Что я не виноват в гибели её мужа? Что я пытался его спасти, а он меня не послушал? Что ей нужно искать мужчину, задавленного насмерть в районе Вашингтон-сквер, в ночь с воскресенья на понедельник? Впрочем, полиция рано или поздно установит личность погибшего, даже если он был найден без документов, и тогда они придут к бедной Сандре сами, без приглашения.

– Извините, – сказал я. – Извините, Сандра.

– За что? – тихо спросила она. – Вам не за что извиняться. Ну, разве за то, что вы не помните моего имени. Меня зовут Венди. Венди, а не Сандра. Это так на него похоже. Так похоже.

Я попрощался и повесил трубку. Меня мутило. Я встал из-за стола и принялся ходить по комнате из угла в угол, чтобы хоть немного прийти в себя. Обычно это помогает привести мысли в порядок. Хотя какой, к чёрту, мог быть порядок в такой ситуации? Я стал невольным свидетелем убийства – на этот раз точно реального, а не придуманного, и это обязывало к действию. Но к какому, к какому?

Отправиться в полицию и просто рассказать всё как есть, с самого начала?

Ну да! Разбежался! У какого полицейского, усталого, замотанного, задавленного горами нераскрытых дел, хватит терпения выслушивать твой рассказ с самого начала? Тебя прервут уже на второй минуте и предложат воды, а потом в лучшем случае отправят к психологу, а скорее всего – за ворота. Начать с конца? Я, мол, знаю, что произошло убийство и, возможно, не одно.

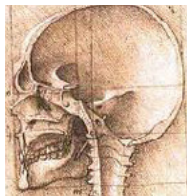
- Так, так, – ответят тебе. – Это интересно. Пожалуйста, имена, адреса, факты.
- Понимаете, – скажешь ты. – У меня нет ни имен, ни адресов. Есть кличка, вернее, интернетовский ник убийцы: Милонгера.
- Но вы видели момент убийства? Труп? У вас есть вещественные доказательства?
- Нет, вещественных нет. И трупа я не видел. И самого убийства тоже.
- Тогда откуда же...
- Я прочитал об этом в интернете.
- Ах, в интернете. Ну-ну. А не расскажете ли нам, когда вас в последний раз госпитализировали по душевной болезни?

И так далее. Нет, идти в полицию мне попросту не с чем. Тогда что же делать? Что? Я бегал по комнате, вновь и вновь рассматривая и отбрасывая возможные варианты действий. Должно же быть что-то... Из любой ситуации всегда есть выход, даже из такой – как бы её определить? – нестандартной. Ищи, ищи – требовал я от своего сознания, как неумелый дрессировщик – от издёрганного, забитого, растерявшегося пса. Ищи, ищи... ты ведь можешь... хоть что, хоть какую-нибудь зацепочку, минимальную, но настоящую, доказанно настоящую...

Погоди! Стоп! В голове и в самом деле блеснуло что-то, ровно на секунду. Блеснуло и снова спряталось в дикой суматохе беспорядочных мыслей. Что это было? Что? Я не успел ухватить ни одной детали из этой драгоценной моментальной ясности, но одно знал точно: она объясняла если не всё, то очень многое. Сжав голову обеими руками, я попытался восстановить последовательность своих предыдущих рассуждений. Как бы не так! Разве можно восстановить хаос? Чёрт!

Нет, не надо отчаиваться. Давай повторим последовательность действий – это проще. Так... *это* промелькнуло, когда я шёл от двери мимо гиршуниного стола в направлении окна... Ну-ка, проделаем этот путь ещё раз... Что-то снова шевельнулось на дне моего стонущего от перенапряжения сознания. Что это было? Проклятие, опять не успел! В следующий раз будь, пожалуйста, повнимательней. Я снова вернулся к двери и медленно двинулся прежним маршрутом, пристально вглядываясь в сумятицу своих бессвязных мыслей, в обрывки воспоминаний, в неясные очертания чувств.

Я обнаружил *это* ровно на полпути. Правда, находилось оно вовсе не там, где я его искал – не в голове. *Это* оказалось никакой не мыслью, и не воспоминанием, и не чувством, а самым что ни на есть материальным предметом. И лежал этот предмет на гиршунином столе, на месте, достаточно видном, чтобы я мог заметить его во время своих сиротских скитаний между дверью и окном. Это был огрызок карандаша, тот самый огрызок того самого карандаша!



 Arkady569

Тип записи: частная



Невероятные неожиданности жизни невероятны ещё и тем, что, произойдя, кажутся сами собой разумеющимися. После того, как я увидел карандаш Ореха на гиршунином столе и картина событий развернулась передо мной во всей её безжалостной полноте, я поразился не столько ужасной сути открывшегося мне объяснения, сколько его непререкаемой логичности. Я искренне удивлялся тому, что так долго не догадывался, так упорно не видел очевидного. Разве не сам я рассуждал о реальности «виртуальных» персонажей, об их назначении выражать чьи-то скрытые от поверхностного взгляда желания и побуждения, об их тенденции быть чьим-то «вторым я»... да что там вторым! – первым! Отчего же я не заметил типичного случая такой подмены, когда она произошла под самым моим носом? Невероятно, просто невероятно!

Милонгеры не существовало в природе: был Гиршуни, воплотивший себя в Милонгеру, придумывавший её истории, говоривший её языком, одержимый её сумасшедшими фобиями, её человеконенавистничеством. Нет, не совсем так: и фобии, и человеконенавистничество, и одержимость не имели никакого отношения к эфемерной интернетовской Милонгере – это были свойства человека во плоти и крови, человека по имени Аркадий Гиршуни... человека? – нет, не человека! – помешанного ушастого суслика, полного злобы и отвращения ко всему, что вольно или невольно встаёт у него на пути!

Мир не принимал его, не считал его за своего – что ж, тем хуже для мира! Гиршуни-Милонгера платил миру той же монетой неприятия: он выбрал одиночество, концентрированное и враждебное к тем, кто по глупости или по неосторожности пытается проникнуть за его ядовитую оболочку. Гиршуни-Милонгера мстил всему миру, всем сразу, без разбора. Но и в этом «без разбора» существовало одно важное исключение – Жуглан, наш несчастный Грецкий Орех.

По-видимому, Орех олицетворял для Гиршуни грубую силу, хамство, фальшь, враньё и удушающую пошлость бытия. Помните мой рассказ о десятилетии класса, об Ореховой малолетке в кожаных штанах и о человеческой слизи? Можно было бы предположить, что Гиршуни задумал свою месть именно в этот позорный момент. Можно было бы, если бы тот случай не представлял собой всего лишь одно звено в длинной цепи унижений, одно из многих.

Сейчас, когда я задумываюсь об этом, мне становится особенно горько, горько, как никогда. Ну, казалось бы – что этому огромному, мощному, бесконечному миру до крошечного ничтожного суслика, до слабого комочка с необременяющим, заранее ограниченным, стандартным комплектом желаний и устремлений? Отчего бы миру не оставить это существо в покое, не дать ему дышать, мечтать потихонечку, тешить себя невинными самообманами – как всем, не более того? Это ведь так ненадолго, это ведь совсем на чуть-чуть: ну что такое миг его маленькой жизни по сравнению с триллионами световых лет, которыми меряют свои сутки мироздание? Зачем же тогда топтать? Зачем?

У вас может создаться ошибочное впечатление, будто я сочувствую Гиршуни. Это неверно – как можно сочувствовать убийце? Но я... как бы это сказать... я понимаю его. Наверное, он совершил ужасные вещи, но он сделал это в ответ. До этого я употребил слово «мечь» – думаю, оно неуместно. Гиршуни-Милонгера не мстил – он защищался, возможно, даже в пределах необходимой самообороны. Согласитесь, это ведь невозможно – жить в таком унижении. Гиршуни просто возвращал себе чувство собственного достоинства, брал назад своё законное, принадлежащее ему по праву, грубо отобранное когда-то, неизвестно зачем и почему.

Тогда, на десятилетия класса, я презирал Гиршуни за смиренную безропотность перед хамством; могу ли я осуждать его теперь, когда выяснилось, что он способен дать миру сдачи?

Не знаю, как это происходило в действительности. Наверняка, разговаривая с Орехом по телефону, Гиршуни-Милонгера изменил голос. Но остальные жертвы видели его воочию, а превратить лысого ушастого суслика на пятом десятке в молодую красавицу-танцовщицу не смогла бы и самая способная фея. Значит, рассказанное Милонгерой являлось комбинацией вымысла и реальности или, что вернее, комбинацией нескольких разных реальностей.

Возможно, образ Милонгеры был навеян конкретной женщиной, встреченной Гиршуни на милонге. Возможно, отмахиваясь от назойливого ухажёра или от следователя, она и не догадывалась, что маленький, ушастый, редко танцующий милонгера наблюдает за происходящим со стороны и не только наблюдает, но и намерен вступить в игру самым деятельным образом. Возможно, возможно... всё возможно. Несомненно одно: фатальный результат его вмешательства.

Характерно, что Гиршуни, всю жизнь страдавший от сознания собственного уродства, вообразил себя именно прекрасной женщиной, а не мускулистым красавцем. Ещё бы: последнее было бы слишком похоже на Ореха-Жуглана, более чем мерзкого в гиршуниных глазах. Гордая одинокая танцовщица, самодостаточная в своём неприятии хамства и пошлости людского мира – таким стал для него истинный идеал красоты, недостижимый, но достойный защиты. Характерно и то, что Гиршуни выбрал именно танцовщицу – ведь танец бескорыстен и автономен, он ничего не продаёт и не покупает, ему не надо ничего от окружающей пакости. Ничего, кроме того, чтобы его оставили в покое.

О, как хорошо я его понимал, этого Гиршуни! По крайней мере, так мне казалось тогда. Я понимал всё, кроме одного: что мне теперь делать? Станным образом, именно теперь, когда мне открылась доселе неизвестная, оборотная сторона «планеты Гиршуни», пусть преступная, пусть болезненная, пусть ужасающая, но в то же время и человеческая, именно теперь ушастый суслик стал мне существенно ближе. Я уже не боялся его так, как боялся до находки карандаша, этой решающей улики. Удивительно, не правда ли? Ведь по логике вещей всё должно было быть наоборот!

Но не было! Не было! К этому всему добавлялись мысли о Машеньке и Антиопе: каково им будет узнать, что их муж и отец – убийца?! Особенно после тяжелой травмы, пережитой Аней-Антиопой – гибели любимого человека... Имел ли я право окончательно разрушать им жизнь своим добровольным доносом в полицию? Аня Гиршуни сейчас в армии, с оружием в руках защищает среди прочего и мою жизнь. Не будет ли низко с моей стороны бежать наушничать на её папашу?! Конечно! Конечно, будет!

Домой я шёл в сильнейшем волнении, а ночью долго не мог уснуть, ворочался с боку на бок и, как спятивший конюх – лошадей, всё гонял и гонял по одному и тому же в кашу раздолбанному кругу одни и те же усталые мысли. И чем больше я размышлял, тем меньше мне казалось возможным сдать Гиршуни властям. Нет, нет, ни за что. Во всяком случае, не в этот момент. Так или иначе, я всегда могу передумать: ведь улика остаётся у меня, аккуратно уложенная в полиэтиленовый пакетик, как это делают детективы в кино. Да, да, я просто забрал карандаш с гиршуниного стола, забрал и унёс домой. Подумал ли я о том, что он заметит пропажу и со стопроцентной вероятностью свяжет её со мной? О том, что, забирая улику, я тем самым ставлю себя под угрозу? Да, подумал. Но, говорю вам, я уже не боялся Гиршуни. Ну разве что самую малость.

Возможно, следует рассмотреть этот вопрос ещё раз – после того, как Антиопа закончит службу и более-менее встанет на ноги. Такое решение представляло собой вполне приемлемый компромисс. С ним я и уснул. Под утро мне приснился Орех, стоящий посреди ночной манхэттенской улицы. По своему обыкновению, он грыз карандаш, держа в руках допотопный блокнотик – тот самый, в который он записывал неотложные дела перед свадьбой. Только во сне я видел Ореха словно бы через стекло и почему-то не сразу понял, что это стекло автомобиля.

Помню, как я подумал, что нужно срочно предупредить его, крикнуть или оттащить в сторону, и даже двинул ногой, чтобы выскочить наружу, но нога двигалась ужасно медленно, как это бывает только во сне, ужасно, ужасно медленно и совсем не в том направлении. Нога нажимала на газ, а руки выворачивали руль, и, прежде чем я успел что-либо сообразить, машина рванулась к Ореху. Он поднял голову от блокнота, наши взгляды встретились, и в глазах его было узнавание, удивление, непонимание, насмешка, презрение, гнев... – всё что угодно... вернее, всё, кроме страха. Моя нога, тяжёлая, как бетонная тумба, давила на газ, «силверадо» рычал и рвался вперёд, Орех смотрел мне в глаза, и карандашик взлетал над пустой улицей, поблескивая в свете фонарей.

Я проснулся в холодном поту. Не знаю, как у меня получилось набраться мужества, чтобы пойти на работу.

– Как же так? – спросите вы. – Ведь ещё накануне сам чёрт был тебе не брат?

Да, да, конечно. Накануне. А сегодня я и представить себе не мог, как посмотрю в удивлённые глаза Гиршуни, что отвечу на его прямо заданный вопрос:

– Не видел ли ты, случаем, карандаша?

– Карандаша? Это новость! Разве ты перешёл на карандаши?

– Так не видел?

– Слушай, Гиршуни, неужели ты думаешь, что мне есть дело до твоих карандашей?.. Лучше скажи: ты уже проверял последние логи брандмауэра?

Примерно на такой диалог я настраивал себя, репетировал перед зеркалом, искал нужную интонацию, и всё равно звучало фальшиво. Он, без сомнения, сразу догадался бы обо всём, при первой же моей фразе. Но ушастый суслик удивил меня в очередной раз. Хотите знать, как он отреагировал на исчезновение карандаша? Никак. Просто никак. Даже не высунулся из-за монитора, когда я на полуогнутых вошёл в комнату.

Что ж, я не возражал. Буркнув «доброе утро», я проскользнул на своё место, словно в бомбоубежище. Мы сидели друг против друга – *друга* ли? – спрятавшись за двадцатидвухдюймовыми экранами – тут я впервые подумал о том, что ору-

дийные калибры тоже измеряются в дюймах – и время от времени перебрасывались ничего не значащими словами – как пробными камешками через чёрную, смертельно опасную пропасть, разверзшуюся между нашими столами. Сторонний наблюдатель увидел бы вместо неё всего лишь два метра замызанного коврового покрытия, но, уверяю вас, никогда ещё надёжность пола не была такой мнимой.

Мне потребовалось время, чтобы прийти в норму, если, конечно, такое состояние можно назвать нормой. Я обливался потом, руки дрожали, мысли снова затеяли свою круговую бегодню: что делать?.. что делать?.. что делать?..

– Послушай, ты ведь вроде бы уже принял решение?

– Да? Когда?

– Ну как же: вчера, перед тем, как заснуть. Неужели не помнишь?

– Да? И какое же? Какое?

– А ну прекрати дрожать, слышишь?! Возьми себя в руки! Ну!

– Хорошо, взял. Так какое?

– Ты никому ничего не говоришь, просто продолжаешь как ни в чём не бывало – до поры до времени.

– Продолжаю как ни в чём не... а до какого времени?

– Ну, например, пока его дочь Антиопа не закончит свою армейскую службу.

– А при чём здесь её армейская служба? Разве факт её армейской службы на что-либо влияет в этой сумасшедшей истории?

– Так. Ты что, хочешь опять, в тысячный раз пуститься по тому же кругу?

– Нет-нет, не хочу.

– Тогда делай, что решено – и точка. Здоровее будешь.

– А когда?

– Что «когда»?

– Когда она закончит свою армейскую службу?

– Вот и выясни, когда. Ты же у нас хакер, нет?

Да! Я ухватился за эту идею, как за спасательный круг. Я прямо таки вцепился в неё. Она казалась мне единственным логичным продолжением. Если уж невозможно принять решение сейчас, если ты обречён плавать в тёмном море неопределённости ещё какое-то время, то, по крайней мере, определи это время. Назначь срок, границу, конкретную дату, к которой можно стремиться, как к маяку, и тебе сразу станет намного легче. Правда ведь, правда?

Итак, мне позарез требовалось установить дату демобилизации Анны Гиршуни. Задача не выглядела слишком трудной. Я даже не исключал, что подобная информация содержится в явном виде в базе данных нашего отдела кадров. Помнится, когда-то мне уже приходила в голову идея залезть туда, но я отверг её из опасения, что Гиршуни меня раскусит. Какими наивными казались теперь эти страхи!

Проникнуть в святая святых отдела кадров, где содержались личные данные сотрудников и – как самая сверххраняемая тайна – сведения об их заработной плате – оказалось легче лёгкого. Такое впечатление, что, поднимаясь вверх в бюрократической иерархии, люди развивают в голове какую-то особенную начальственную мышцу, похожую на опухоль, которая со временем заменяет собой головной мозг. Последнему просто не остаётся места. А уж говорить о том, чтобы помнить еженедельно изменяемые пароли, и вовсе не приходится. Обычно

высокопоставленный начальник в состоянии запомнить только и исключительно имя собственной жены – да и то лишь потому, что она стоит выше него в иерархии подчинения. Это имя, как правило, и является постоянным паролем, который начальник использует для входа в системы, необходимые ему для работы. Жену заместителя генерального по кадрам звали Далия. Я ввел это слово в качестве пароля и не ошибся: сезам открылся, даже не скрипнув. Вот и нужная мне запись; я кликнул по соответствующей строчке и стал нетерпеливо перелистывать страницы гиршуниного личного дела.

Но где же данные о жене и о дочери? Я вернулся к началу папки и просмотрел её снова, с самого начала. В графе «семейное положение» стояло «холост», в графе «дети» – короткое слово «нет». Как же так? Неужели кто-то стёр данные? Ха! «Кто-то!» Как будто ты не знаешь, кто! Такое мог совершить только один человек – сам Гиршуни. Я проверил время последнего изменения файла, и у меня потемнело в глазах – сегодня утром! Гиршуни и тут успел опередить меня! Шустрый суслик раз за разом ухитрялся забегать по крайней мере на один шаг вперёд. До сих пор он допустил только одну оплошность – с карандашом.

А что, если и это было вовсе не оплошностью? Что, если Гиршуни намеренно «забыл» карандаш на столе, пытаясь завлечь меня в какую-то дьявольскую ловушку? Чёрт! Пол колыхнулся у меня под ногами. Колыхнулся и поплыл, как река, наклоняясь всё круче в чёрную пропасть между нашими столами. Я заставил себя посмотреть на другую сторону – туда, где за стеной монитора победными флагами пламенели гиршунины уши. Ничего, ничего... рано торжествуешь... мы ещё поборемся...

Я вернулся к компьютерной клавиатуре. Быть такого не может, чтобы Анна-Антиопа не оставила в интернете никаких следов, кроме этого своего дневника. Наверняка она с кем-то переписывалась, что-то покупала, заказывала билеты, оставляла отзывы, участвовала в форумах. Она могла делать это под своим настоящим именем, но скорее всего пользовалась всё тем же ником Антиопа. Тем же ником и тем же паролем, известными мне благодаря слежке за компьютером Гиршуни, который, в свою очередь, шпионил за компьютером собственной дочери. Вор у вора украл... В дополнение к этому я знал имя Аниной близкой подруги: Света или Лиора. Не так уж мало, но работенка всё равно предстояла кропотливая. Засучив рукава, я принялся прочесывать Сеть частыми гребешками поисковых запросов.

Около часу дня Гиршуни поинтересовался, не собираюсь ли я спуститься в столовую.

– Иди один, – отвечал я, не отрывая глаз от экрана. – У меня нет аппетита.

Он пожал плечами и вышел за дверь.

Время летело незаметно: в следующий раз я посмотрел на часы уже в конце рабочего дня, когда Гиршуни собрался уходить.

– Что-то ты совсем заработался, Аркадий, – сказал он, останавливаясь перед моим столом. – Случилось что? Нужна помощь?

В его вопросе змейкой поблескивала лёгкая издёвка... или мне показалось? Я внимательно посмотрел на него – но можно ли было разглядеть что-либо за толстой очковой броней?

– Нет, спасибо, дорогой, – произнёс я с глупой, неуместной язвительностью. – Я уж как-нибудь сам.

Он снова только пожал плечами.

Мои силы закончились часам к десяти вечера. Голова раскалывалась, глаза резало, внутренние поверхности век превратились в наждак, спина болела, колени не разгибались, а я так и не нашёл ничего. Вообще ничего, хотя бы отдалённо похожего на след Анны-Антиопы. В это трудно было поверить, но тем не менее... Словно кто-то прошёлся по интернету до меня, уничтожая любую подсказку, перепахивая любую тропинку, которая могла бы привести меня к девушке. Ха! «Кто-то»!..

Что теперь? Я устало откинулся на спинку стула. Попытаться взломать базу министерства внутренних дел? Навряд ли я смог бы это сделать в таком состоянии. Да и потом – где гарантия, что Гиршуни не побывал до меня и там? Ему, подлецу, проще: он-то точно знал, куда идти и где стирать. Гиршуни следит за дочерью достаточно давно, и нужные сайты наверняка сведены у него в аккуратный список.

Чёрт! Меня как молнией ударило. Я вскочил, не чувствуя боли в суставах. Ну конечно! Как мне раньше не пришла в голову такая простая мысль: искать нужно не в интернете, а в компьютере Гиршуни! Там могут оказаться и искомый список, и любая другая полезная информация – например, дополнительные улики! Я выглянул в коридор – пусто. Здание молчало, как молчат только полностью обезлюдившие места. Рискнуть?

Отчего-то взломать гиршунин комп казалось мне страшнее, чем лезть в базу министерства – за второе полагалась всего лишь тюрьма, тогда как за первое... а что за первое? Чего ты боишься? Чего?

Нет уж, нет уж... Я набрал номер охранника внизу и, сославшись на проверку нового интерфейса охранной сигнализации, попросил сообщать мне по телефону обо всех входящих в здание. Теперь я чувствовал себя в относительной безопасности.

Я сел на его место и потёр руки, как пианист перед выступлением. Вот его клавиатура, его мышка, его экран. Ещё немного, и ты сам почувствуешь себя ушастым сусликом, ха-ха... Смех вышел нервным, даже каким-то испуганным. Ладно, пианист, теперь соберись и – вперёд, в неизведанное, ха-ха... Сердце билось часто и сильно. Я с трудом попадал по нужным клавишам, я постоянно вскакивал и выглядывал в коридор, потому что казалось, что кто-то идёт сюда. Ха! «Кто-то»!..

Собственно, говорить о взломе как таковом не приходилось: ведь мне были заранее известны все гиршунины пароли. Я просто вошёл в его компьютер как в свой. И всё равно работало очень тяжело: помимо воли я вслушивался в звуки на этажах, на лестничной площадке; в каждом шорохе мне чудились крадущиеся гиршунины – по-вдоль стенок – шаги, его осторожное дыхание, его пологий смех. Окна директорий, длинные списки файлов покачивались перед моими глазами; требовалось немалое усилие для того, чтобы остановить это мерцание, разглядеть имя, прочитать текст.

И тем не менее, на директорию под названием «Версии» я набрал почти сразу, сделав поиск по файлам, которые Гиршуни писал или редактировал в последнее время. В свою очередь, директория подразделялась на папки, нейтрально помеченные порядковыми номерами. В папках лежали файлы. Я кликнул по первому файлу из первой папки, и передо мной открылся текст, уже знакомый по гиршуниному блогу.

Что ж, в этом не было ничего необычного. Длинные записи удобнее создавать в текстовом редакторе, а не напрямую в блоге. Ведь интернетовская связь может в любой момент оборваться по не зависящим от тебя причинам, а вместе с нею безвозвратно пропадёт и весь уже набранный текст. Зачем рисковать результатами многочасовой работы? Куда проще и надёжнее набрать текст в сторонке, перечитать, поразмыслить, подправить, где требуется, а уже потом в готовом виде перенести его в блог. Так поступают многие, и я в том числе. Гиршуни в этом смысле не отличался от других. Ну разве что привычкой сохранять исходные файлы... хотя в этом, возможно, просто проявлялась свойственная ему педантичность и уважение к документированию каждого сделанного шага.

Вторая папка лишний раз свидетельствовала об уже установленной мною идентичности Гиршуни и Милонгеры. Один из файлов содержал последнюю запись танцовщицы – ту самую, описывающую убийство Жуглана. Не было никаких сомнений, что текст создан именно на этом компьютере, а не просто скопирован с интернета. Аккуратный Гиршуни писал свои – вернее, в данном случае, милонгеровские – тексты, включив опцию каталогизации исправлений. Теперь можно было пройтись назад по всем произведённым в тексте изменениям, вплоть до первоначальной версии. Это являлось окончательным доказательством гиршунинского авторства... если, конечно, кому-то ещё требовалось такое доказательство.

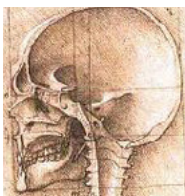
Зато в третьей папке меня ожидал настоящий сюрприз: Гиршуни «играл» и за Машеньку! Да-да, все записи и, видимо, комментарии, написанные мифической москвичкой Машенькой, исходили отсюда, с гиршуниного компьютера! Судя по всё тому же каталогу исправлений, в этом факте не имелось ни малейшего сомнения... Господи... что же тогда в остальных папках?

Неужели... Сердце моё билось так сильно, что я почти задохнулся; пот стекал по лицу и капал на чистенькую гиршунину клавиатуру. Указательный палец правой руки не слушался, и для того чтобы открыть следующую папку, мне пришлось помогать всей левой рукой. Наверное, вы уже догадались, что я там увидел, но я всё равно скажу: автором трогательного и страшного дневника солдаты Анны-Антиопы был всё тот же Аркадий Гиршуни, мой сосед, сумасшедший, многоликий, ушастый суслик!

Думаю, что в этот момент я впервые спросил себя, стоит ли копать дальше? Спуск в подвалы гиршуниных тайников походил на сошествие в ад – не сусличий, а вполне настоящий. Меня мучала адская головная боль, я адски устал, адски проголодался, адски хотел спать. Мне не хотелось жить. Я сжал голову обеими руками, чтобы хоть ненадолго привести себя в порядок. Осталось совсем немного, парень, совсем немного. Ты уже прошёл большую часть дороги, потерпи ещё чуть-чуть, ещё...

– Кхе-кхе...

Я похолодел. У меня не оставалось больше ни сил, ни мужества. Ничто не могло заставить меня поднять глаза к дверному проёму, откуда послышался этот ужасный смешок. Но никто меня и не спрашивал: глаза сами повернулись в нужном направлении, словно притянутые магнитом. В дверях, поблескивая очками, стоял Аркадий Гиршуни собственной персоной. Он кривил лицо тонкоуголой ухмылкой и грозил пальцем. Он грозил мне пальцем! Сознание моё захлебнулось, как утопающий, и померкло.



 Arkady569

Тип записи: частная



Не знаю, сколько времени я провёл в отключке. Когда я пришёл в себя, передо мной всё оставалось по-прежнему: пустая комната, мерцающий экран с открытой директорией «Версии», мышка, клавиатура и никакого следа пребывания здесь кого-либо, кроме меня. Я мог поклясться, что непосредственно перед обмороком видел Гиршуни, стоящего в дверном проёме. Но значило ли это, что он действительно там был, а не являлся плодом моей чудовищной усталости, помноженной на страх и невероятное напряжение?

Одно не подлежало сомнению: если я попробую продолжить, то слечу с катушек немедленно и окончательно. Выключив гиршунин компьютер, я вернулся за свой стол и вызвал такси. Садиться за руль самому в таком состоянии было бы равносильно самоубийству.

Назавтра я пошёл брать больничный. Русский врач выслушал, измерил, постучал, посмотрел, прослушал и покачал головой:

- Отдыхать надо, батенька. Всех денег всё равно не заработаешь.
- Хрен с ними, с деньгами, доктор, – сказал я. – Мне бы выжить.
- Вот и отдохните пару деньков. Постельный режим и много питья. Питьё успокаивает.
- И веселит, – добавил я несколько не к месту.

Дома я и в самом деле лёг на диван, включил спортивный канал и ударными темпами выпил бутылку виски. Это позволило мне в течение всего дня думать лишь о том, куда полетит мяч в следующую секунду. И никакого, заметьте, Гиршуни. Вечером добавил, спал чудесно и проснулся свежее утренней розы... нет, скорее, пьяной вишни. А ещё говорят, что ходить к докторам бесполезно!

Но реальность, знаете ли, как мяч: сколько ни отбивай её на трибуну, она всё равно возвращается на поле. Будучи достаточно большим мальчиком, я несколько не обольщался на этот счёт. Моё мирное постельное питание представляло собой всего лишь кратковременный отпуск. К вечеру второго дня я выключил телевизор, заварил крепкий чай и попытался проанализировать ситуацию.

Нужно сказать, что горечь похмелья как нельзя лучше соответствовала результатам анализа. Я снова ошибся, снова упорствовал в неправильном понимании событий, снова попусту тратил время и силы, гоняясь за призраками. Почему? Можно было объяснить это параноидальным надрывом психики. Гиршуни, при всей его ничтожности, вырос для меня в фигуру поистине гигантскую. Факт, что любую проблему я отчего-то списывал на его козни, хотя тут же, рядом, на поверхности лежало намного более простое и логичное объяснение.

Ну скажем, отсутствие следов Анны-Антиопы в интернете. Нужно быть полным идиотом, чтобы предположить, что это является следствием кропотливых действий злокозненного суслика. На самом же деле никто не затирает никаких следов, никто не обнуляет данных отдела кадров: их попросту не существовало

никогда – ни следов, ни данных, никогда, как и самой Анны Гиршуни! Ни её, ни нежной подруги жизни Машеньки!

Правда же заключалась в том, что Аркадий Гиршуни был один как перст – ни жены, ни детей, ни семьи. Он всё это изобрел, понимаете? Всё, до последней детали! Хотя нет, видимо, какие-то детали он всё же извлек из того, что именуется реальностью: из детских воспоминаний о красивой девочке-соседке, из газетных репортажей, из чужих судеб. Он тащил в своё ужасающее сиротство всё, что попадало под руку, добавлял изломанные, затоптанные чужими ногами конструкции собственных несбывшихся надежд и скреплял этот разномастный стройматериал клеем боли и отчаяния. В итоге выходило крепко – во всяком случае, достаточно для того, чтобы я поверил.

Достаточно – для того, чтобы ему самому было с кем жить, кого любить, о ком заботиться. Я вспомнил странный сон о батарейках, который Гиршуни описывал в одной из своих записей. Его придуманные близкие были совсем как живые, со своим характером, со своим прошлым и будущим. Они разговаривали, общались, обижались на него и друг на друга. Всё серьёзно, всё по-настоящему – если только не забывать вовремя менять батарейки. А забудешь – пиши пропало, заметёт снегом, поминай как звали...

– Но почему, почему? Почему было не взять то же самое из жизни – из того, что он сам когда-то назвал «кажущейся действительностью»?

– Да потому, что там ничего этого нет, вот почему! Там нет ни жизни, ни любви, ни даже самой простой радости, понимаешь?

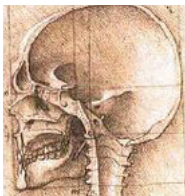
– А что же тогда есть?

– Есть ложь, и фальшь, и пошлость, и грубая сила, и гогочущее хамство, и бесчувственное себялюбие, и самодовольная глупость, и снова ложь, ложь, ложь, особенно гадостная на сияющем фоне прекрасного, правдивого, полного чудес мира. Удивительно ли, что Гиршуни выбрал судьбу не человека, а суслика?

– Выбрал? Да кто его спрашивал? Его вынудили, выкинули, изгнали... у него и фамилия такая, подходящая: «меня изгнали»...

Так я сидел перед чайником, чифирил, разговаривая сам с собой, думал, что делать дальше. Предыдущее, в муках выношенное решение подождать демобилизации Анны Гиршуни потеряло свою актуальность по причине отсутствия упомянутой Анны не только в армии, но и в природе вообще. При всей симпатии к гиршуниным бедам, нельзя было отрицать, что в нынешнем своём состоянии он представлял угрозу для большинства людей, которых условно можно назвать «нормальными». Поди знай, когда Милонгера вновь выйдет на свою охоту... Опасного суслика следовало изолировать, и чем скорее, тем лучше.

Вопрос лишь – как это оформить? Поразмыслив, я пришёл к выводу, что нужно дать Гиршуни шанс – так будет честнее. Я не пойду в полицию, не поговорив предварительно с ним. Возможно, у него есть что сказать в своё оправдание. Хотя вряд ли он сможет сообщить что-то новое, такое, о чём я уже не подумал бы. Возможно, он попросит, чтобы я дал ему время скрыться. И возможно, я так и поступлю. В конце концов, не такой он дурак, чтобы спустить с цепи свою Милонгеру, зная, что её инкогнито раскрыто. Возможно, он станет мне угрожать. Но чем? Что он сможет сделать там, на работе, в окружении десятков свидетелей?



 Arkady569

Тип записи: частная

 0

– Гиршуни, – сказал я. – Мне всё известно.

Мы только что закончили есть и сидели в столовой за нашим привычным столиком у окна. Я специально выбрал именно это время и место. В зале было полно народу, так что незаметно пырнуть меня ножом представлялось решительно невозможным.

– Странно, – отозвался Гиршуни. – Декабрь, а как солнечно. Опять с дождями проблема.

Он смотрел в окно на автомобильную пробку перед светофором.

– Проблема не с дождями, а без них, – возразил я. – С дождями-то как раз хорошо. И никуда они не денутся, прольются. Впрочем, некоторые этого не увидят.

Гиршуни печально кивнул.

– Да, это так. К сожалению.

– Ты слышал, что я сейчас сказал? Не про дожди, а раньше.

Он снова кивнул.

– Что тебе всё известно. Ты только не пояснил, что именно.

– Ты знаешь. Мне известно про Милонгеру и про Ореха. Про твою несуществующую жену Машеньку и про твою несуществующую дочь Антиопу. Думаю, что если покопаться в твоём компьютере, в директории «Версии», то можно найти и других. Ведь можно?

Он улыбнулся и снял очки. Я впервые видел его так близко без толстой стеклянной брони. Глаза у Гиршуни оказались карие и беспомощные, как у всякого сильно близорукого человека. Не знаю, зачем он затеял этот трюк. Хотел меня разжалобить?

– Так что? – настаивал я. – Ведь можно?

– Вот видишь... – задумчиво произнёс он и моргнул быстро, по-птичьи. – Теперь ты спрашиваешь. А ещё минуту назад утверждал, что тебе известно всё.

– Ладно, – признал я с досадой, – допустим, не всё. Но и того, что мне известно, вполне достаточно, чтобы заинтересовать полицию. Ты убийца, Гиршуни. Скольких ты отправил на тот свет?

Он вздохнул.

– Опять вопросы... непозволительно для столь хорошо осведомлённого человека.

– Слушай, – сказал я, начиная раздражаться, – кончай играть со мной в эти дурацкие игры. Я ведь мог бы тебя и не предупреждать, но решил, что так будет справедливее. Всё-таки не первый год знакомы.

– Не то слово... – Гиршуни потёр глаза. – Как иголка с ниткой.

– Ты бы надел очки, а? А то как-то непривычно разговаривать. Тебе ведь, наверное, ни черта не видно?

– Отчего же. Тебя я вижу прекрасно. В мельчайших деталях...

«Сейчас начнёт угрожать», – подумал я, внутренне подбираясь. Мы помолчали.

– Ну что, – сказал наконец Гиршуни, надевая очки. – Пойдём наверх? Ты уже попробовал новую систему антиспама?

Я не поверил своим ушам. Представляя себе заранее наш разговор, я предполагал, что Гиршуни попытается объясниться, разжалобить, запугать, сыграть на давности нашего знакомства. Он мог впасть в гнев, мог даже попробовать устранить меня физически. Но полнейшее равнодушие с его стороны – такой сценарий мною не предусматривался вовсе.

– Подожди! – крикнул я.

На нас обернулись. Гиршуни, уже стоя около столика, сделал примирительный жест и улыбнулся: мол, ничего не случилось, не беспокойтесь...

– Зачем ты пугаешь народ, Аркадий? – он укоризненно покачал головой. – Не хорошо. Тебе доктор что говорил? Отдыхать надо, батенька... Всех денег всё равно не заработаешь...

– Откуда ты... – я задохнулся, вдруг осознав, что Гиршуни дословно цитирует слова моего домашнего врача, сказанные в закрытом кабинете три дня назад. – Как ты...

– Кхе-кхе... Да он всем говорит одно и то же, Аркадий. Разве нет?

Он сделал движение уходить, но я схватил его за руку. Схватил и тут же отпустил. Я чувствовал себя последним дураком. В моих предварительных расчётах эта мизансцена должна была выглядеть ровно наоборот: хватать за руки полагалось ему, а гордо уходить – мне.

– Ну что с тобой, Аркадий? – спросил он почти ласково. – Ну чем тебе помочь?

Кровь со злобой пополам стучала в моих висках. Думаю, со стороны я выглядел краснее знамени нашей конторы.

– Не надо мне помогать, Гиршуни... – прошипел я. – Я всего-то и хотел, чтобы ты понял: я сегодня же иду в полицию. Сейчас же. Ты слышал? Повторяю по слогам: Я – и-ду – в – по-ли-ци-ю. Теперь понял?

– Понял, – кивнул он. – Только ты никуда не пойдёшь.

– Не пойду? – я аж оторопел от такой наглости. – Это почему же?

Гиршуни наклонился к моему уху.

– Потому что тебя нет. Потому что ты – это я. Странно, что ты так и не догадался. Ты – всего лишь одна из папок в директории «Версии». В конечном счёте, Аркадий, ты ходишь только туда, куда посылаю тебя я. Ты жив, пока... пока не кончились батарейки.

Он выпрямился, повернулся и зашагал к выходу из столовой, оставив меня осознавать смысл сказанного, хотя какой смысл может быть в такой бессмыслице – «тебя нет»?.. – ведь если обращаются к кому-то на «ты», то он есть, не так ли?.. нет, не так: обращаться можно и к мёртвому, обращаться можно в воображении... и, чёрт возьми, обращаться можно в интернетовском блоге... да, это так, конечно, можно, но я-то ещё и слышал это обращение, а несуществующий человек не может слышать: я слышу, следовательно, я существую... но, чёрт возьми, какая слабость и сколько снегу вокруг – ещё бы! – это ведь декабрь... и поле, огромное поле, без края и конца, и мы идём, с трудом вытаскивая ноги, и снова проваливаясь, и снова вытаскивая, и снова, и снова... но надо идти, пока не кончатся батарейки, а я, как назло, забыл положить их ему в карман... забыл, а может, и не забыл – уж больно самостоятельным он стал в последнее время, повсю-

ду совал нос... хотя и жаль, я всё же очень к нему привык... у выхода из столовой я оборачиваюсь: он по-прежнему там, за столиком у окна, но почти уже исчез под наметающим снегом... вот уже видно одно только лицо с недоумённо расплехнутыми, стекленеющими глазами, вот дёрнулась рука, вот уже нет ничего, ничего, ничего...

Бейт-Арье

сентябрь 2007 – июнь 2008

Copyright © Алекс Тарн 2008 ■





Ольга ФИКС

📍 *Маале Адумим, Израиль*



Фото: из личного архива автора

Родилась в Москве (1965). После 8-го класса английской спецшколы окончила Волоколамский сельскохозяйственный техникум, Ветеринарную академию, медицинское училище, Литературный институт и педагогические курсы по специальности «Преподавание иудаики в начальных классах школы в диаспоре».

Писать начала с трёх лет. Первые стихи и рассказы надиктовывала родителям; потом научилась писать сама и необходимость диктовать отпала.

Первая публикация – в журнале «Мы» за 1990 год (рассказ «Ярко-красные яблоки»). Печаталась в журналах «Крестьянка» и «Лехаим», в «Еврейской газете». В 1997-м издательство ЭКСМО выпустило роман «Вкус запретного плода». В издательстве «Время» вышли три книги: «Улыбка химеры», «Тёмное дитя» и «Сказка о городе Горечанске». В 2022-м издательство «Росмэн» издало сказку для детей «Один день из жизни Дракоши», ставшую лауреатом конкурса «Новая детская книга».

В 2006-м репатриировалась в Израиль. Работала ветеринарным врачом в частной фирме, сейчас – медсестрой в иерусалимской больнице «Шаарей Цедек». Живу в Маале-Адумим.

В Израиле печаталась в журнале «22», в «Иерусалимском журнале», в «Литературном Иерусалиме». В 2015-м роман «Институт репродукции» вошёл в лонг-лист «Русской премии».

Побочный эффект

Меня зовут Мири Вайс. Мне двенадцать лет, недавно у меня была бат-мицва¹, так что я теперь совсем взрослая. Я живу в отделении недоношенных иерусалимской больницы «Врата Сиона». Этот дневник я пишу по-русски. Так его здесь никто не поймет, кроме Маши. Но Маша не будет читать дневник, ей для этого некогда.

Я живу в отделении недоношенных всегда. Ну, с когда родилась. Потому что у меня лёгкие не развились. Остались маленькими. Поэтому дышу я не лёгкими, а через пуповину. Как плод в животе у мамы.

Моя пуповина соединена с аппаратом, через него моя кровь прокачивается и обогащается кислородом. (Трудное слово «обогащается», я в словаре смотрела, чтоб правильно написать. В русском языке много длинных красивых слов. Люблю трудные слова!) Кислород поступает в аппарат из стенки, по воздуховоду. Когда кислород в аппарате заканчивается, аппарат противно пищит: «пи-и», и я тогда подхожу с ним к стене и подключаю к ближайшему кислородному крану. Я с шести лет это умею, это не сложно. Правда, вначале приходилось вставать на цыпочки.

Когда лёгкие недоразвиты, это не так страшно. Куда лучше, чем когда недоразвиты мозги. Но с мозгами у меня всё в порядке, так все говорят. И учителя, что приходят нас учить, и врачи, и сёстры, и нянечки. Они это говорят каждый на своём языке, но я понимаю. Я понимаю разные языки. Это легко, когда слышишь разные языки всё время, с рождения. Люди, которые у нас работают, говорят на разных языках: английском, французском, испанском, арабском, русском, амхарском.

¹ Бат-мицва (*ивр.*, *букв.*: дочь заповеди) — девочка, достигшая возраста еврейского совершеннолетия (12 лет), когда принимает на себя соблюдение мицвот-заповедей. Также обряд, сопровождающий это событие.

Конечно, между собой все они говорят на иврите, мы ведь живём в Израиле. Иврит – еврейский язык, на нём написаны Тора, Мишна, Гемара, мидраши и много чего ещё. А Израиль – страна евреев. Хотя многие неевреи здесь тоже живут.

Но с нами они говорят каждый на своём языке. Сперва потому что мы маленькие и всё равно не понимаем. Потом потому что начинаем понимать. Радуются, что есть с кем поговорить на своём языке.

Правда, говорят они с нами на своих языках шёпотом. Потому что иначе им влетит. Они должны говорить с нами на иврите. Ещё можно на английском, если это урок английского.

Вот когда нас вылечат, и мы вырастем, то можно будет говорить на любых языках. На каких захочешь.

И, конечно, читать и писать на других языках нас не учат. Это уж я проявила инициативу. Так приставала к Маше, что она сдалась. Я к ней ночью приставала. Мне потому что часто ночью не спится. Сны страшные снятся, или, наоборот, с самого начала заснуть не могу. Все уже спят, а я ворочаюсь. И, чуть что, зову Машу.

Маша работает у нас ночной няней. Много лет работает, почти каждую ночь. Днями она не работает. За ночи потому что больше платят. А Маше очень нужны деньги.

Маша приехала издалека, из Сибири. Одна с маленькими детьми. Маша мне показывала на карте Сибирь. Сибирь большая, и там холодно.

Правда, с тех пор, как Маша оттуда приехала, дети уже успели вырасти, и теперь им денег нужно гораздо больше. И их детям, Машиным внукам, тоже. На университет, на квартиру. На съездить куда-нибудь, голову проветрить.

Я тоже, когда вырасту, буду учиться в университете. А что? У меня IQ высокий, все говорят.

А у некоторых вообще акьюпения. Хотя лёгкие здоровые и не болит ничего совсем.

Маша садится на мою кровать, гладит меня по голове и прижимает нос пальцем:

– Что, – говорит, – опять ты не спишь, чувырла? (Красивое слово, но в словаре я его не нашла).

– Не сплю.

– Ну что тебе? Почитать или рассказать?

Иногда я прошу почитать, иногда рассказать. А раньше иногда просила показать буквы и объяснить, как читаются слова. Когда я научилась читать по-русски, Маша стала мне приносить книжки. Чтобы я сама ночью читала и к ней не приставала. У нас по ночам всегда горит свет, чтобы если с кем что не так, персонал сразу заметил и вовремя среагировал.

Когда мы перешли в пятый класс, нам, наконец-то, разрешили нормальные айфоны. Я сразу завела русскоязычных друзей. И англоязычных друзей завела тоже, и франкоязычных, и пишущих по-испански. Читать и писать по-английски нас здесь учат. А когда понимаешь по-английски, по-французски или там по-испански прочесть не проблема, буквы-то одинаковые!

Я и по-арабски могу немножко читать. Меня Самир научил.

Я не дышу лёгкими. Поэтому мне не нужен атмосферный воздух (красивое слово, правда?). Поэтому я могу, если захочу, нырнуть в бассейн на всю длину провода от аппарата, залечь на дно и смотреть оттуда на потолок сквозь воду. Сквозь толщу воды тоненькие трещины на потолке делаются толстыми и ветвистыми, как деревья, а нарисованные облака пушистыми и объёмными. Я люблю лежать на дне и мечтать.

Медсёстры говорят, что долго лежать на дне вредно. Становятся на бортик бассейна и тычут меня ручкой от швабры, чтоб побыстрее выплывала. Не больно тычут, но всё равно неприятно. Я не обижаюсь, ведь что им ещё остаётся? Я же их сквозь воду не слышу.

В воде тело почти ничего не весит. И двигаться в воде куда легче, чем на суше. Энергия почти не затрачивается, и кислороду нужно гораздо меньше.

Когда я родилась, меня держали в воде всё время. Тогда только открыли такой способ выхаживания недоношенных. Мои первые воспоминания все связаны с водой. Мы всё время плаваем в специальном аквариуме-инкубаторе. Плескаемся, брызгаемся, визжим. Недоношенных младенцев сперва держат в отдельных стеклянных кубиках, чтоб мы там доплавали своё. (Так Алекс говорит, старший врач. Ведь у матери в животе дети всё время плавают.)

А потом, когда ребёнок окрепнет, он, конечно, уже спит в обычной кровати. Ну, не совсем, конечно, обычной, со всякими специальными приспособлениями, вроде подогрева, кислородного аппарата или там гемодиализа, кому что надо. Но только мы всё равно любим быть в воде. Мы там себя лучше чувствуем. Когда мы в воде, все жизненные показатели у нас в норме. А как на сушу выгонят, так сразу то тахикардия, то давление подскочит, то сатурация упадёт.

Поэтому лет до трёх мы по целым дням торчали в бассейне. И потом нас туда часто водили – минимум дважды в день. Загонят, а сами сидят на бортике и сплетничают, расслабляются. Врачи или начальство какое придут: «Как?! Дети опять в воде?! А как же режим?!» Няньки оправдываются: они ж нервные, возбудимые, без воды их не успокоишь. Лучше, разве, чтоб плакали? А мы сидим в воде и смеёмся!

И сейчас я, чуть что, сразу бегу в бассейн! Расстроилась если, или тоска, или поссорилась с кем-нибудь. Чуть какая неприятность – сразу в воду!

И всё проходит. Ну, или делается неважным.

Или когда подумать надо о чём-нибудь. В воде мне всегда лучше думается.

Даже не представляю себе, как выживают без воды дети, рождённые в срок! Они ж, бедные, постоянно на суше. Даже когда ни ползать, ни ходить ещё не умеют! Беспомощные, как жуки на спине. Наверное, потому они так часто плачут. Нам их всё время слышно из других отделений.

На уроках традиции² нас учили, что вода сперва была везде, а потом Б-г собрал её в одном месте и устроил сушу. И увидел, что это хорошо.

Не знаю, что уж тут хорошего. Конечно, цветы там, разные деревья. Животные всякие – собаки, кошки, слоны.

² Речь об уроках по еврейской традиции, иудаизму.

Но только и без суши было б совсем неплохо. Животные и цветы под водой тоже есть. А люди уж как-нибудь приспособились бы.

Или пусть бы Он создал людей сразу с жабрами и хвостами!

Когда я вырасту, я выучусь на океанолога и всю жизнь буду плавать в океане.

Правда, жаль, что тогда я уже не смогу обходиться без атмосферного воздуха, как сейчас. Мне сделают пересадку лёгких. Прооперируют сердце, чтобы закрыть в нём все дополнительные дырочки. Отрежут пуповину. И я стану дышать как все.

Чтобы заранее натренировать мои трахею и рёбра, физиотерапевт Нили заставляет меня и других ребят, у которых проблемы с лёгкими, делать всякие упражнения. Надувать шары и разные резиновые игрушки. Гонять пластиковые шарики вверх-вниз по стеклянной трубке. Набирать полную грудь воздуха и выпускать его постепенно.

Раньше я физиотерапию не любила. И рёбра у меня после неё всегда ужасно болели, и плечи почему-то, и живот, если заставляли «дышать» животом. «Положи руку на живот, – говорила Нили, – почувствуй, где у тебя диафрагма».

Я врала, что ничего не чувствую. И вообще не понимаю, чего от меня хотят. Потому что если набрать в себя столько воздуха, сколько они хотят, то можно просто-напросто лопнуть.

Я даже стала думать, что, если всё это так сложно, то, может, лучше не надо никаких лёгких? Хотя, конечно, здорово будет освободиться от аппарата. Не искать глазами каждый раз кислородный кран, входя в новое помещение. Так-то у меня в аппарате запас минимум часа на три, но мало ли что случится.

А потом однажды на занятия пришла Шоши. И стала разучивать с нами разные песни. И вдруг выяснилось, что у меня слух. Шоши сказала, что меня нужно учить играть на флейте. Что это очень полезно, замечательное упражнение и что даже, когда я начну по-настоящему дышать, мне это всё равно пригодится. Потому что уметь играть на чём-нибудь хорошо.

Мама тогда сразу пошла и купила флейту. Мама, если ей говорят мне что-нибудь купить, всегда идёт сразу и покупает. Я думаю, это оттого, что она боится, вдруг я не выздоровею, а, наоборот, умру, и потом окажется уже поздно.

Мне взяли учителя за счёт кассы больничного страхования, и теперь у меня вместо физиотерапии уроки игры на флейте. У меня хорошо получается, учитель Йоси меня хвалит. И ребята по вечерам часто просят поиграть. Песню какую-нибудь, какую все знают, или просто из головы.

Я люблю из головы играть, у меня из головы получается красиво. Беда только, что я всё успеваю забыть, пока играю, и потом, если просят, не могу повторить. Разве что кусочки отдельные, не связанные между собой. А когда сосредотачиваюсь, пытаюсь сразу играть и запоминать, мелодия исчезает.

Мой брат Дани говорит, что нужно, перед тем как играть, ставить айфон на запись. Но, если я ставлю, мелодии вообще перестают приходить. Раз только или два получилось. Поэтому, наверное, мне не стоит и пытаться выучиться на композитора.

Хотя музыку я очень люблю. Днём, после обхода, в отделение приходят

уборщицы и включают по радио «Галей ЦаГал»³. По «Галей ЦаГал» часто передают музыку. Обычно весёлую, про Родину или про любовь, хотя бывает, что про войну. Ну и про любовь ещё иногда бывает грустное тоже.

Хотя что может быть грустного в любви? Любовь же – это хорошо. Видишь человека – и радуешься.



Меня зовут Мири Вайс, мне четырнадцать лет. В этом году я впервые в жизни влюбилась. Любовь – это очень грустно, особенно когда она, как в моём случае, неразделённая и на всю жизнь.

Я влюбилась в парня из альтернативной службы⁴.

К нам обычно одних только девушек присылают, а тут вдруг прислали парня! Так что, Маша говорит, немудрено, что у меня сердечко дрогнуло. (А как сердце может дрогнуть? Оно ведь и так всё время сокращается. С другой стороны, а как сердце можно на что-нибудь положить?)

Альтернативщики приходят к нам каждый день, после тихого часа. Выгуливают нас на балконе, играют в разные игры, помогают делать уроки. Придумывают викторины и конкурсы. Репетируют спектакли к шабатам и праздникам.

У нас ведь религиозная больница. По субботам и праздникам нас водят на восьмой этаж в синагогу. И весь день к нам могут приходиться гости, хотя обычно в наше отделение не пускают никого, кроме пап и мам. Но в субботу или в праздник прийти может кто угодно, любой родственник, даже друг семьи, все-все, кроме самых маленьких детей. А персоналу, наоборот, становится совсем мало. Из врачей только дежурные, но они обычно носа не кажут из своей дежурки, пока их не позовут.

Одни сёстры и нянечки. И у нас тогда в отделении начинается форменный дурдом! Везде едят, пьют, плачут, смеются, кричат, перебивая друг друга, пытаясь разом пересказать случившееся за неделю. Поют: кто вполголоса, а кто громко. Хотя у некоторых, между прочим, совсем нет слуха.

Нянечки говорят, хорошо, хоть младенцев с собой не приносят.

Детей до трёх лет в наше отделение не пускают. Поэтому свою сестру Шули я пока видела только через окно. Мама подняла её повыше, но я всё равно ничего толком не разглядела – всё-таки девятый этаж. Ничего, скоро она подрастёт, и придёт навестить меня вместе со всеми.

Жду – не дождусь, когда это, наконец, случится.

Братьев у меня четверо – Ури, Коби, Дани и Мати. Дани мне по возрасту ближе всех. Мы с ним дружим. Пересылаем друг другу понравившуюся музыку и всё смешное, что попадётся в сети. С остальными братьями я пока не очень, они ещё совсем несмышлёныши. А сестра у меня только одна. Но Маша говорит, ещё не вечер, мама ведь у нас совсем молодая.

Моего альтернативщика зовут Габи. Он похож на киноартиста – светлые, до белизны выгоревшие волосы, синие, как небо, глаза. Только он ужасно сутулит-

³ «Галей ЦаГал» – общенациональная радиостанция Армии обороны Израиля.

⁴ Альтернативная служба – служба, заменяющая в Израиле обязательную службу в армии. Призывники могут пройти её в органах безопасности, учреждениях абсорбции репатриантов, школах, больницах, учреждениях помощи пожилым, детям, подросткам и т. д.

ся и ходит всё время с палочкой. У него какая-то проблема с суставами, из-за неё его в армию не взяли.

Габи – умница. Куда до него девчонкам из его группы, всем вместе взятым. Их коллективный разум никогда не идёт дальше картинок из цветной бумаги, которые они с нами вырезают и потом расклеивают в отделении по стенкам. Как в детском садике, честное слово!

А Габи придумал надуть много-много маленьких шаров, собрать из них менору⁵ и пустить её в Хануку летать над бассейном. Или склеить на Рош га-Шана⁶ из бумаги огромный витой шофар⁷ и повесить в холле под потолком.

Габи мне сразу, с первого дня понравился!

А ему нравилась Эстер. Длинная зеленоглазая дылда, тоже альтернативщица, как и он.

Несколько раз я замечала, как Габи на неё смотрел. И как она ему в ответ улыбалась.

Она вообще часто улыбалась. Спросишь её о чём-то, она в ответ всегда сперва улыбается. Сразу видно, американка.

И чего он в ней нашёл? Как сядет на край бассейна, как начнёт руками размахивать: «Детки, вылезайте! Сейчас мы с вами будем играть в замечательную игру!»

Я раз подплыла к ней, когда она вот так руками махала, и столкнула в бассейн. Вроде как нечаянно.

Как Эстер завизжит! Я думала, оглохну. И сразу камнем ко дну. Надо же, такая большая – и совсем не умеет плавать. К счастью, общими усилиями нам удалось быстро вытолкнуть её обратно на бортик.

Конечно, она наглоталась воды, дежурные сёстры разволновались, вызвали реаниматора. Тот прибежал – хотел ей искусственное дыхание делать. Но Эстер уже сама как-то отплевалась, начала потихонечку опять улыбаться. Американцы – они такие. Всегда улыбаются, что с ними не делай.

Правда, с тех пор она к нам не приходила. Попросила, наверное, чтоб её от нас куда-нибудь перевели. Не проблема, во «Вратах Сиона» отделений много.

Габи сперва очень по ней скучал. Придёт и по привычке сразу ищет её глазами. Не находит, вздыхает.

Я тогда подходила и гладила его тихонечко по руке. Просто, чтобы утешить. Спрашивала, как дела. Он сначала отвечал: нормально. Потом потихоньку стал вдаваться в подробности. Понял, что мне действительно интересно. Рассказал, как психометрию сдавал, что сразу после экзамена ужасно боялся, что завалил, а потом оказалось, что у него 750! С таким баллом хоть на кого можно поступить. Хочешь на врача, хочешь на психолога. Габи, правда, ещё не решил, на кого больше хочет. Я пыталась соблазнить Габи океанологией, но он не поддался. Сказал, что его это не привлекает.

Я немножко поиграла Габи на флейте. Совсем чуть-чуть. Мне так хотелось

⁵ Менора (*ивр.*) – в данном контексте светильник, имеющий восемь ветвей и зажигаемый в праздник Ханука.

⁶ Рош га-Шана (*ивр., букв.*: Глава года) – Новый год по-еврейскому календарю.

⁷ Шофар (*ивр.*) – бараний рог, в который трубят на Рош га-Шана, а также в течение месяца перед и в Йом-Кипур (День Искупления).

хоть чем-нибудь его поразить! У нас в отделении никто больше ни на чём не играет.

Оказалось, Габи и сам немножко играет на скрипке.

Он принёс с собой скрипку на другой день, и мы с ним после занятий устроили настоящий джем-сейшен. Габи показал мне, как играть клейзмер. Потом мы с ним ещё долго про всякое говорили – про музыку, про религию и политику. Про куда он поедет, когда его служба кончится. Мне казалось, мы теперь друзья на всю жизнь! Или даже не только друзья.

А потом всё оборвалось.

Мы с ним стали в шутку не то бороться, не то бодаться, и Габи вдруг случайно задел рукой мою пуповину. Она у меня высунулась из-за пояса, обычно-то она спрятана под резинку трусов, наружу один провод от аппарата торчит.

У Габи сразу сделалось такое лицо!

Конечно, пуповина у меня не как у младенцев. Она плотная, толстая, шершавая. Ну, так и я ведь уже не маленькая!

Потом я уже где-то в сети вычитала, что многие мужчины на пуповину так реагируют. Даже если она нормальная и прикреплена к новорожденному. Потому что пуповина – это фаллический символ!

Честно говоря, я не до конца понимаю, что это значит. Но Габи с тех пор не только ни разу не задерживался со мной после занятий, но даже смотреть в мою сторону избегал.

Это очень неприятно, когда тебя избегают. От этого делается больно внутри, в горле, и трудно что-нибудь проглотить. И говорить тогда тоже трудно.

В таких случаях нет ничего лучше, чем пойти и полежать в воде. В воде сразу становится легче, боль отпускает, так, только слегка саднит за грудиной.

Всё равно скоро их срок службы кончается.

Да и вообще, Габи для меня уже старый. Ему ведь уже почти двадцать! Когда я вырасту и начну дышать по-нормальному, у него давно будут жена и дети.

Но иногда, по вечерам, когда нас уже уложили и бассейн заперт на замок, мне всё-таки делается грустно. Я вспоминаю, какими глазами Габи на меня смотрел. Как мы вместе играли клейзмер. А вдруг это главная любовь всей моей жизни?!

Ведь невозможно это точно узнать, пока жизнь не кончится.



Меня зовут Мири Вайс, мне шестнадцать лет, и, похоже, я никогда не стану океанологом. Потому что меня хотят перевести в инвалидный дом «Цветок левой», и там я буду жить, пока не помру.

Хотя разве это можно назвать жизнью?

По мне, лучше сразу умереть.

Я теперь часто думаю: как это, вообще не быть? Как под водой, с закрытыми глазами?

Я ныряю на дно бассейна, зажимаюсь и представляю, что меня нет. Ни рук, ни ног, ничего. В воде это просто, вес тела почти не чувствуется.

Что у меня ни груди нет, ни живота, ни того, что ниже. Ни волос, ни глаз. Ни головы, ни мыслей.

Стоп. Не могу представить себя без мыслей. Не могу совсем перестать думать. Не могу, значит, вообразить себя мёртвой.

Нет, могу, конечно: завернут тело в синюю плотную бумагу, положат в черный пакет, и унесут на минут второй этаж, в холодильник.

Я это видела, когда кто-нибудь умирал у нас внезапно в палате. Хоть вокруг кровати немедленно задёргивали шторы, но подсмотреть-то всегда можно. Отвернёшь незаметно краешек занавески – и смотри на здоровье.

Только ведь тело – это же не совсем я. Я – гораздо больше!

На самом деле, без шуток, я думаю, что была всегда. Не могу представить мир без себя.

Вот и Самир говорит, что на самом деле мы всегда были. Самир знает, он друг, а друзья помнят свои прежние жизни.

Позавчера, когда я в сотый раз проглядывала перед сном списки сдающих от больничной школы на аттестат зрелости, я внезапно обнаружила, что меня там нет.

Я ужасно удивилась.

Я протёрла глаза.

Я перечитала список пять раз, от начала и до конца.

По-прежнему после «Брускила, Рут» стояло «Вагнер, Бат-Шева».

Я решила, что здесь какая-то ошибка. Мы ведь вместе записывались – Рути, Баська и я. С Баськой мы с рожденья в одной палате, у неё порок сердца, такой, что без аппарата она сразу синее, ну и так, по мелочи – очки, гастростома. На самом деле, не страшно. Ещё пара операций, и она пойдёт домой. И даже глаза, когда деньги будут, лазером можно выправить.

А Рути – из отделения реабилитации. Она год назад под машину попала. Пока ещё на коляске, но рано или поздно непременно поднимется. Тут ведь главное не сдаваться, не переставать делать упражнения.

Ночью я не смогла заснуть. После завтрака сразу помчалась в учебный центр, к секретарше Галь, которая отвечает за экзамены.

Галь сказала: разве я не знаю, что после каникул меня переводят в «Цветок полевой»? А там своя система, она с ней никак не связана и помочь не может. Насколько она знает, в «Цветке полевым» никто экзаменов на аттестат не сдаёт. Впрочем, возможно, для меня сделают исключение. Всегда можно что-нибудь организовать. Обидно, конечно, она меня понимает, я столько готовилась.

Честно говоря, мне уже было не до экзаменов.

То есть как это «Цветок полевой»? Да ведь это для безнадёжных, от кого врачи отказались? А как же операция? Я ведь следующая на очереди после Лей!

Я вылетела из класса и пулей пронеслась по коридору, в бассейн. По дороге мой аппарат трескался обо все углы. Чёрт с ним, пусть ломается! Может, лучше, если я на месте умру! Если это правда, про «Цветок», то всё остальное уже совершенно неважно!

Я нырнула с головой в бассейн.

В воде я немного успокоилась. Может, всё это ещё и неправда? «Цветок поле-

вой!»! Оттуда ж никто никогда не выходит. Тебя просто переводят из одного отделения в другое. Из педиатрии во взрослое, и оттуда в гериатрию, если кто доживёт. Впрочем, меня, скорей всего, сразу положат сразу к тем, кто на ИВЛ. Я ведь, строго говоря, не дышу. А там все лежат вперемешку – мужчины, женщины, дети, разделённые лишь тонкими шторками.

Шторки тебе положены в любом случае. По закону пациент имеет право на своё личное пространство. Право задернуть шторки вокруг кровати, вдеть в уши наушники, поставить на повтор бесконечный плеск моря...

Там ведь даже бассейна нет! Как я буду жить без воды?!

Правильно, зачем трупам бассейн? Им двух вёдер за глаза хватит. (Этого я не видела, врать не стану. Но все ведь и так знают).

И любви не будет, и замужа, и детей.

В том году у меня начались месячные. Лечащий врач удивилась, когда я ей об этом сказала. Прислала мне на всякий случай детского гинеколога. Ужасно мерзко, когда тебя трогают там руками. Может, и хорошо, что замуж не нужно. Но остального всё-таки жалко! Особенно университета. Кому мешает, если я стану океанологом? В океане же лёгкие не нужны.

Я так ревела, что ко мне вызвали социалку. Социалок вызывают, когда у человека такое горе, с которым он сам справиться не может. Социалки тогда приходят, расспрашивают, выслушивают, гладят по головке или хлопают по плечу и обещают помочь. Отыскать какой-нибудь выход, если он вообще существует. Если нет, то хоть как-то облегчить ситуацию.

В случае, если сделать совсем уж ничего невозможно, к пациенту вызывают психолога. Чтобы он, пациент, осознал и со всем примирился.

Хотя лучше до психолога не доводить. Ко мне один раз вызывали, пару лет назад, когда я часто плакала из-за Габи. Психолог помог, любовь у меня прошла, но осталось чувство, что я как-то уже не совсем я.

Честно говоря, меня вовсе не радует перспектива проснуться однажды и понять, что я вовсе не так уж и хочу стать океанологом. Да и никогда особенно не хотела.

Нашу социалку зовут Тали. Она хорошая. Обещала разузнать насчёт школы. Раз я так хочу учиться. Про операцию Тали честно сказала, что тут только родители или врач. Но вот что касается экзаменов... Потрепала по волосам и ушла.

Перед полдником появилась мама. Видимо, социалка ей позвонила. Потому что я точно помню, что мама собиралась навестить меня только в следующий четверг. Они все собирались приехать – и мама, и отец, и братья. А сегодня ещё только понедельник, и она вдруг пришла одна.

Я спросила, почему они всё вдруг перерешили? А мама сказала, что это не они, а касса медицинского страхования. Там с этого года новые правила, и моя операция в обычную потребительскую корзину больше не входит. Нерен-табельно, слишком много неблагоприятных исходов. А за деньги им с отцом такого не потянуть, я ведь взрослая, должна уже понимать.

– Мири, послушай, – мама обняла меня и заплакала. Моя мама часто плачет. Я привыкла, просто стою и жду, когда она перестанет и с ней снова можно будет разговаривать.

– Ты не думай, – всхлипывала мама, шмыгая носом, как девочка. – Я всё понимаю. Ты надеялась. Ты ждала. Мы все ждали! Что ты выздоровеешь, приедешь домой. Будешь жить с нами, учиться, выйдешь замуж. Может, когда-то это ещё и будет. Мы ведь не знаем! Мы ведь не можем знать! Это только Б-г, Он один... Может, даже в следующем году...

Вместо того, чтобы успокоиться, мама, прижав меня к себе, заплакала ещё громче. И плача, зашептала мне внезапно в самое ухо, что всё, всё, что ни делается, всегда к лучшему! Операция же такой риск! Я глупая, не понимаю. А мама уже полгода толком не спит! Только когда пришёл отрицательный ответ из больничной кассы, впервые заснула, можно сказать, спокойно.

Тут мои нервы не выдержали. Вырвавшись из маминых рук, я заорала на весь коридор. Что я-то как раз всё понимаю, а она ни фига! Не её ведь на всю жизнь переводят в «Цветок полевой»! Не её собираются заживо хоронить! Да, знаю я про риски! И про Лею всё тоже знаю! Ну и что?! Умереть на операционном столе или после операции – счастье! Всё равно, что погибнуть на войне. А от меня хотят, чтобы я сдалась без боя.

Прибежала дежурная сестра. Сказала, ай, нехорошо так громко кричать, маленькие детки пугаются. А я уже, между прочим, большая. Обняла маму за плечи и увела.

Нам, конечно, ничего не рассказывали про Лею. Но здесь, в больнице, разве можно что-нибудь скрыть? Сёстры и врачи болтают между собой, пусть вполголоса, пусть на своих языках – мы-то ведь не глухие!

А если даже кто глухой – что ж он, по губам не умеет читать?!

Ну да, Лея умерла от сепсиса. Новые лёгкие не прижились, лошадиные дозы стероидов сорвали иммунитет. Ну, и что? Зато у Якова полгода назад всё прошло штатно. Он теперь в школе армейской подготовки. Ходит в походы по Иудейской пустыне, выкладывает в интернете обалденные фотки.

Лея умирала одна. В реанимации, на втором этаже. Никто из нас её там не навещал. Родители у неё далеко, в мошав⁸ под Беэр-Шевой. Они только под конец смогли вырваться. Лея уже без сознания была, совсем никого не узнавала.

Мне до сих пор снится, как я выхожу ночью из отделения, проскальзываю потихоньку мимо постов, открываю украденной у задремавшей сестры карточкой все встречающиеся на пути двери, спускаюсь по лестнице, захожу в палату. Сажусь к Лее на постель. Глажу её, шепчу всякие «наши» слова, из настоящих и придуманных языков. Неважно, услышит она или нет, в сознании или без, я уверена, Лея почувствовала бы моё присутствие. Мы с ней были больше, чем сёстры! С младенчества в соседних кюветах, на двоих один и тот же диагноз. Да мы были ближе, чем близнецы! Просто Лея была чуть старше. Всего на несколько месяцев.

Родись я на пару месяцев раньше, была бы на её месте! Ещё полгода назад за нашу с ней операцию никто никаких денег не спрашивал. И, может быть даже, мне бы эти лёгкие подошли.

Как хотите, но это несправедливо. У Леи был шанс, а у меня не будет.

Вечером позвонил папа. Сказал, чтобы я не смела расстраивать маму.

⁸ Мошав (*ивр.*) – поселение.

Ей нельзя волноваться, она опять ждёт ребёнка. Сказал, что я избаловалась, живу в больнице на всём готовом, ничего в настоящей жизни не понимаю. Всё мне всегда подавалось на блюдечке с голубой каёмочкой. Но здесь не тот случай, он уже маме сказал. Больше он ни копейки на меня не даст, тем более, денег и так нет. Никаких ссуд в банке на эту операцию они брать не будут, и так уж ссуд выше крыши, двух жизней не хватит рассчитаться. Что я уже взрослая. В другой ситуации давно бы уже сама работала, в пиццерии или ещё где. И маме по дому бы помогала, старшая дочь всё-таки. Он мне это не в упрёк, а просто, чтоб понимала. Не маленькая – шестнадцать лет. Ривка вообще в три года уже за Ицхака замуж вышла и умела, между прочим, поить верблюдов. Так что игрушки кончились. Пора понять, что даже если я безнадежно больна и живу с рождения в больнице, это не даёт мне никаких преимуществ. Будь у них с мамой миллионы, другое дело.

Нормальные инвалиды живут себе в «Цветке полевым» и в других похожих интернатах. Радуются, если их раз в год навещают. Ничего страшного, наоборот, там все условия, уход, питание, все дела. И я так буду жить. Ничего со мною не делается.

- Папа, – перебила я, – у тебя разве есть верблюды?
- Чего? Какие ещё верблюды?!
- Так откуда ты знаешь, что я не сумела бы их напоить?
- Тьфу! С нею, как с человеком, а она...



Вообще-то врачи с детьми-пациентами обычно не разговаривают. Только с родителями или опекунами. Считается, что дети ничего в своём состоянии не понимают.

Нет, ну я согласна, если б речь шла о годовалом младенце. Но мне-то уже шестнадцать. И я-то всю жизнь в больнице. Слава Б-гу, успела поднахвататься. Смею полагать, что разбираюсь в своём состоянии не хуже иной медсестры, не говоря уж о моей маме.

В общем, я добилась аудиенции у доктора Алекса. В четверг у него есть час, отведённый на разговоры с родителями. В этот час я к нему и прорвалась, мотивируя это тем, что мои-то родители к нему уже сто лет не ходят.

– Шалом, Мири! – доктор Алекс, приветствуя меня, слегка привстал. Высоченный док высился над своим столом, как гора. – Рад видеть тебя в добром здравии! Чем могу быть полезен? И учти, времени у меня очень мало.

Я извинилась и заверила его, что на много времени и не претендую. Так, о пустячке одном надо договориться.

– Послушайте, – сказала я доктору Алексу. – Я всё продумала. Давайте будем на мне учить студентов, стажёров. Ну надо же им на ком-то практиковаться! Пусть учатся на мне делать пересадки лёгких. Мне не жалко, я только за! Ну не выйдет у них, делов-то. Главное попытаться. А вдруг всё получится?

– Смешная ты, Мири! Мы же не университетская клиника. Да и там, я не думаю, чтобы такое приветствовалось. Люди годами за лёгкими в очереди стоят, так не затем же, чтобы их потом студенты кромсали.

– Получается, отдельно взятые лёгкие важней, чем целая я?

– И тобой мы тоже не хотим рисковать! Мири, ты нам очень важна!

Ты редкий, уникальный случай! Раньше такие дети однозначно не выживали. Да и сейчас во всем мире вас единицы!

– Так что ж вы таким ценным материалом разбрасываетесь? Ссылаете меня в «Цветок полевой», чтобы я там сдохла?!

– Мири, что за слова?! Напротив, мы надеемся, что ты будешь жить долго-долго! С чего тебе помирать? Ведь ты, если не считать лёгких, совершенно здорова. Мы славно над тобой потрудились Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!

– А почему мне тогда домой нельзя?

Врач отвёл глаза.

– Мири, видишь ли... Ты сама знаешь, родители твои люди небогатые. Караван, где они сейчас живут, плохо сочетается с твоим аппаратом. Тесные комнаты, недостаточно розеток, часто падает напряжение. Узкий коридор, где тебе с аппаратом будет не развернуться. Могут быть трудности с доставкой кислорода в этот район, это ведь, как ни крути, Гуш Эцион. И они не могут сейчас с бухты-барухты вдруг переехать. Хотя, не исключено, что со временем...

– Ну, хорошо, а почему тогда просто не оставить меня здесь? Чем я вам тут мешаю? Я привыкла, у меня есть друзья.

Доктор Алекс снял очки и потёр сморщенную переносицу.

– Мири, думаешь, это от нас зависит? Таково требование твоей кассы медицинского страхования. Койко-место в «Цветке полевом» стоит на порядок дешевле. Раз твоё дальнейшее пребывание здесь бесперспективно, они больше не хотят зря тратить деньги. Да ты не переживай! Конечно, поначалу тебе будет непривычно, но уверен, скоро у тебя заведутся там новые друзья, а то и поклонники. Чтобы у такой симпатичной девочки... Что ж, Мири, всегда рад тебя видеть, но сейчас, к сожалению, мне пора. Кстати, как там решилось с твоими экзаменами? Может, плюнешь на них и поступишь в Открытый университет?

На фиг мне Открытый университет! Там же нет океанологии! Да и учиться дорого. Вряд ли у моих родителей найдутся на это средства.

Вот если б я выздоровела, окончила школу, отслужила в армии. Тогда бы у меня на всё деньги были.



Меня зовут Мири Вайс, и я никак не могу заснуть. Ворочаюсь с боку на бок, смотрю в телефоне картинки. Мама, братья, отец. Пытаюсь представить, как они живут. Кухня, спальни, салон. Бедновато живут да и, честно говоря, грязновато. Правда, на одной фотографии всё блестит и сверкает. Но это перед Песахом, не считается. Книг мало, в основном «кодеш»⁹. На входе, под вешалкой, свалены велосипеды. В углу спальни заткнут за шкаф пыльный синтезатор. Раньше мама часто на нём играла и посылала мне, маленькой, записи, как она поёт песенки. Теперь уже давно не поёт.

⁹ Кодеш (*ивр., букв.*: отдалённый, священный, святой) – в данном контексте: книги религиозного содержания.

Я просматриваю те старые записи. На них мама худенькая, угловатая, как подросток. Совсем как я сейчас, только чуть постарше.

– Не спишь, чувырла? – это Маша незаметно подкралась. – А чего не спишь? Какие-такие у тебя заботы?

Маша усаживается ко мне на кровать. Я кладу ей голову на колени. Оказываются, Маша не знала, что меня переводят.

– Не поеду я туда! – говорю я. – Вот не поеду, и всё!

– Ну, как не поедешь, – рассудительно отвечает Маша – Можно подумать, тебя кто спрашивать будет. В машину погрузят – и всё.

– А вот не поеду! Выключу на фиг аппарат – и всё. Считаешь, не смогу? Считаешь, у меня кишка тонка?

– Да ты что?! – всплёскивает Маша руками. – Такие слова даже думать грех! Ты ж верующая!

– Аппарат отключить грех, а на всю жизнь меня в «Цветок полевой», значит, можно?!

– Етить твою! – вполголоса шепчет Маша. – Вот же ж сволочи! До чего довели ребёнка! Жил себе ребёнок и жил, кому, спрашивается, мешал?

– Да в том-то и дело, что я уже не ребёнок. Операция отменилась, так что какой теперь смысл меня тут держать?! Если бы ещё у моих мамы с папой деньги были...

На секунду на Машином лице возникает выражение, похожее на давнишнее мамино. Вот-вот заплачет. Но Маша сдерживается.

Вместо этого подтыкает одеяло и приплющивает мне нос рукой...

– Спи, чувырла! Утро вечера мудренее. На родителей не сердчай. У самих, небось, сердце кровью обливается. Понимаешь, чувырла, родители – они ж тоже люди. Со своими жизнь'ми. Люди, они вообще мало чего могут.

– А кто может?

– Не знаю, – Маша пожимает плечами. – Наверно, Б-г. Помолись, тебя же учили. Я послушно закрываю глаза и произношу «Шма»¹⁰.



Утром, после завтрака, я иду к Самиру. Это почти путешествие, на другой конец больницы, через переход.

У Самира отдельная палата. Вообще, Самир шутит, что живёт, как шейх, всё за него делают, сопли и то вытирают. Потому что сам Самир ничего не может – ни дышать, ни говорить, ни глотать. Самир только глазами вращает, улыбается и чуть-чуть шевелит средним пальцем левой руки.

Пальцем этим Самир жмёт на клавишу – да-да, нет-нет, а компьютер переводит эти нажатия в слова.

– Привет! – говорит Самир голосом компьютера из динамика под потолком. – Что-то я тебя здесь давно не видел. Наверное, заучилась совсем, а то, может,

¹⁰ «Шма, Израэль!» (*ивр., букв.*: «Слушай, Израиль!») – одна из двух центральных частей утренней и вечерней молитв, составленная из отрывков из Пятикнижия. Также читается перед сном.

опять влюбилась в кого-то? Экзамены скоро? Может, не понимаешь чего? Могу объяснить, если чего вспомню.

Я сажусь в кресло у кровати и выкладываю Самиру всё. Что экзаменов никаких у меня не будет. И что вообще ничего больше не будет. В середине рассказа начинаю рыдать. Самир меня не утешает. Может, по фигу ему, что я плачу, а может, просто палец у него устал говорить.

– Так уж и ничего? – переспрашивает металлический голос у меня над головой, когда я сама, наконец, успокаиваюсь.

Когда-то нас с Самиром вместе вывозили на балкон раз в день – подышать. Сейчас-то Самир огромный стал, весит, наверное, с полтонны. Не до балконов ему теперь. Его двое переворачивают с трудом. Причём Самир не то, чтобы толстый, нет. Просто он вымахал под сто девяносто, ну и габариты соответствующие, мышцы литые. Массажисты стараются.

Самиру перевод не грозит. Врачи считают, что его опасно транспортировать, что ему, даже если просто сдвинуть, можно необратимый ущерб нанести. Слишком много трубок и аппаратов поддерживают в нём жизнь.

Самир невероятно крут. Родился на двадцатой неделе – и выжил. А то, что он полностью парализован, ни глотать, ни дышать не может, ему, похоже, по барабану. Посмеивается в динамик: «Похоже, Г-сподь решил, что лучше мне эту жизнь пролежать спокойно. Отдохнуть, сил набраться, подумать».

Самир, и вправду, много думает.

А ещё Самир видит сны. Про всякие свои прежние жизни.

Когда Самир был маленький, он лежал в коляске и улыбался. Каждому, кто проходил мимо. И каждый, кто проходил, улыбался ему в ответ. «Какой светлый мальчик! – говорили медсёстры – А взгляд-то, взгляд-то какой! Смотрит, будто всё понимает!»

Самир, когда что-нибудь такое слышал, всегда начинал улыбаться ещё шире, и подмигивал кому-то из нас, если кто на него смотрел. Дескать, вот идиотки.

Потом, когда с Самиром стал заниматься специалист по развитию, когда в пределах досягаемости Самира появился компьютер, на котором Самир смог сам нажать «да» и «нет», выяснилось, что Самир понимает буквально всё. Что он откуда-то знает множество вещей. Что Самир умеет читать – на арабском, английском и иврите – и неплохо разбирается в дифференциальном исчислении.

Правда, родители Самира особо не удивились. Сказали, что с самого начала подозревали: Самир не кто иной, как отца своего троюродный дядя, а тот всегда умницей был, единственный из деревни на физический факультет в университет поступил и, вообще, далеко бы пошёл, кабы с горы не сорвался. А уж какой красавец был! Жена по сию пору по нему сохнет, так замуж ни за кого и не вышла.

Жена эта, вернее, вдова этого троюродного дяди, потом несколько раз к нему приезжала. Её сперва не хотели пускать, потому что кто она такая вообще, у нас положено пускать только родственников. Но родители Самира как-то настаивали.

Поначалу Самир был ей рад, они много разговаривали о чём-то своём, толь-

ко им обоим известном, она показывала ему фотографии подросших детей. Потом, похоже, прежние темы иссякли, а новых не появилось. Действительно, что общего у красивой, не старой еще, сорокалетней женщины и парализованного мальчика?

Самир говорит, я на его «жену» немножко похожа. Такая же горячая и нетерпеливая.

– Глупая! – смеётся Самир над моими бедами компьютерным смехом. – У тебя столько всего впереди! Ну даже если переведут. Подумаешь, наука, семья! Если разобраться, что в этом хорошего?! Не переживай о том, чего нет, используй что есть! Руки, ноги, голову, рот. Влюбись в кого-нибудь в этом «Полевом цветке»! Не важно в кого, в умирающего, в старика, в санитара. Соблазни его, зацелуй до смерти. Они думают, что похоронили тебя, а ты живи им назло на всю катушку. Ребёнка заведи, разбей в палате окно, чтоб надышаться. Дурак я был, мог столько всего, а вместо этого занимался физикой.

– Самир, – говорю я, – а давай я лучше в тебе влюблюсь?

– А ты разве не уже? – Самир улыбается той самой своей нежной и одновременно насмешливой улыбкой.

Я придвигаюсь к нему вплотную, наклоняюсь, и мы целуемся. Как в кино, или даже лучше. Руки у меня при этом висят вдоль тела, как плети, чтоб нечаянно не задеть что-нибудь из жизненно-важных для Самирова существования проводов и трубок. Губы у Самира полные, жадные, а язык вялый, едва шевелится у меня во рту. Динамик под потолком оживает, начинает еле слышно бормотать о том, что Самир сделал бы со мной, если б мог.

Примитивные они, эти мальчишки. Вечно только об одном думают.

Вообще, удобно иногда, что Самир говорит не губами. И что дышим мы с ним не как все люди. Вот только пуповина моя очень некстати выскакивает иногда из-за пояса и цепляется за всё на свете.



– Чувырла, – сказала Маша, подводя ко мне назавтра вечером какого-то дядьку. – Знакомься, это Серёжа.

– Шалом, – слегка удивилась я. Дядька был сутулый, щуплый и не впечатлял. Как-то мне для любимой Маши хотелось чего получше. – Наим меод¹¹, Мири.

– Э-э-э, – дядька беспомощно оглянулся на Машу.

– Ты по-русски говори, Мири, – пояснила Маша. – Сергей в Стране всего пару месяцев, на иврите пока не очень. На кухне у нас работает. Видишь, тележку с молоком привёз. Ты с ним пообщайся. Есть у него насчёт тебя одна идея.

– О'кей, – говорю. – Ноу проблем. Миш мушкеле, как говорится. Могу и по-русски. Вы, Сергей, из какого города? Как вам тут у нас? Жарковато, наверное?

– Офигеть, – восхитился дядька. – Вообще без акцента! Просто радио из Москвы! Уральские мы. Жарковато у вас, конечно, в сравнении с нами. Ничего, привыкаем. На работе так вообще кондиционер.

– Граждане, – прервала нашу светскую беседу Маша. – Не забывайте, что вре-

¹¹ Наим меод (*ивр.*) – Очень приятно.

мении у нас в обрез, мне вот-вот велят завязывать с кормлением, собирать подносы и укладывать детей спать. Урал-то, оно, конечное дело, не Африка. Так чего, Серёж, поможешь ребёнку?

– Такому ребёнку грех не помочь, – улыбнулся в ответ Серёжа. – Тут другое дело, выйдет ли. Материалу много нужно. Не знаю, есть ли у меня столько.

– Уж постарайся, поскреби по сусекам! – и Маша, насупив брови, ушла кормить с ложечки лежачих, оставив нас с Серёжей наедине.

Некоторое время Сергей молча разглядывал меня. В ответ я тоже посмотрела на него в упор. Сергей откашлялся и произнёс, немного заискивающе:

– Извиняюсь, если я чего вдруг не так спрошу. Мне, это, просто, чтобы понять. У тебя как, совсем, что ли, лёгких нету?

– Почему «нету»? – я даже слегка обиделась. Что я ему, рыба с жабрами? – Есть. Просто они маленькие, не функциональные. На последнем УЗИ сказали: альвеолы совсем соединительной тканью заросли.

– Но сами лёгкие есть. Просто не фурычат. Это уже легче, – Сергей чему-то явно обрадовался.

– А вы врач? Ну, в смысле, в России были?

– Не совсем. В России, деточка, я был деревенский фельдшер. Здесь такого и понятия нет, как что я был. Заново, говорят, учиться всему надо. А как я по-новому учиться пойду, если из старого не забыл ничего? Да и язык ваш, иврит... Ох, грехи наши тяжкие!

Я сочувственно покивала. На самом деле, русский Сергея я тоже воспринимала с трудом.

– Слышь, а ты не могла бы спиной ко мне стать? Не бойсь, я тебя даже руками трогать не буду. Мне ни к чему.

Я послушно повернулась и почти сразу ощутила тёплое покалывание в районе лопаток.

– Хорошо, – бормотал Сергей, – очень хорошо, замечательно. Ах, ты ж прям, етить его!

Наконец Сергей смолк. Непонятно отчего, мне сделалось весело.

– Сеанс леченья окончен? – спросила я, кусая губы, стараясь не расхохотаться. – Можно отключать аппарат? Теперь я буду дышать сама?

– Смеёшься? – отозвался Сергей с внезапной непонятной мне горечью. – Ну, смейся, смейся. Смеяться, оно полезно.

– Ну, как? – спросила, пробегая мимо нас с подносами, Маша. – Сумеешь ты ей помочь?

– Не знаю ещё. Думать надо. Непросто всё, – важно ответил Сергей и покатил гремящую тележку в сторону лифта.



Меня зовут Мири Вайс, мне шестнадцать лет, и я, кажется, верю в чудеса. Мало ли кого Б-г изберёт своим орудием.

– Маша, а как он вообще в Израиль попал? Разве он тоже еврей? – спросила я, когда Маша, как всегда, пришла подоткнуть мне перед сном одеяло.

– Еврей! Самый что ни на есть еврейский еврей. В смысле, что бабка у него, матери мать, еврейка.

– И ты ему веришь? Ну, что он сможет что-нибудь со мной сделать?

– Поглядим. Он ведь и сам ещё не сказал, что может, – Маша пожимает плечами. – Ты вот лучше послушай. Зуб у меня болел. Лечить надо было, а потом коронку ещё – короче, денег отдать до хрена. А Серёжа мне какую-то примочку на ночь приложил. До утра сказал не полоскать и не трогать. Утром я тряпочку сняла – и как рукой! Дырку – и ту больше языком не чувствую. Во, видишь! – Маша широко распахнула рот, демонстрируя сверкающий белизною зуб, казавшийся чистым и непорочным на фоне жёлтых от табака собратьев.

– Так то зуб! – непримиримо сказала я, отворачиваясь к стене, хотя, надо сказать, зуб меня впечатлил.



– Тут это, в общем. Такое дело, значит, – сказал Сергей, подходя назавтра к моему столу во время обеда, – ты только про это, значит, молчи. Есть у меня, короче, одно лекарство. Маша тебе рассказывала, наверное.

– От зубов? – уточнила я.

– Ну, оно не только от зубов. Оно, ежели его, например, ввести куда надо бесплодной бабе... – тут Сергей на мгновенье смешался. – Ну, короче, оно ото всего. Правда, с лёгкими, как у тебя, я ещё не пробовал...

– То есть вы не уверены, что оно на лёгкие может подействовать?

– Почему? Подействует, куды денется.. Вот только его на такой случай ввести сразу много надо, и оттого могут быть всякие неожиданные побочки. Но тебе, как я понимаю, один хрен. Или так, или в инвалидный дом. Нет, ежели ты съешь, я, конечно, не стану.

– Почему?! Я ничего не боюсь! Рассказывайте скорее, что за лекарство?

Чего мне бояться? Дурацкого укола в плевральную полость? Когда я, сколько себя помню, к полной пересадке лёгких готовилась. Ну, помру, делов-то! Подумаешь, одной жизнью больше, одною меньше.

Обидно только, что мы, евреи, своих прошлых жизней не помним. У нас только коллективная память хорошо развита.

Хотя... А что если мне этот дневник как-нибудь так заныкать, чтоб в следующей жизни непременно найти? В каком-нибудь таком месте. На Храмовой горе, например. Попросить, например, Машу, чтобы отнесла его туда, если что? Мы ж все там потом соберёмся, когда Машиах¹² придёт.

А как я пойму, что это был мой дневник? Ну, должны же существовать какие-то способы, а то ведь это просто нечестно! Живёшь-живёшь, мучаешься, и всё зря?!

– Ну, ты, это, – прервал неожиданно мои мысли Сергей. – Поняла хоть слово из того, об чём я тебе толковал?

Сергей, оказывается, всё это время объяснял мне, что и как со мной будет после того, как он вколет свой чудодейственный препарат. По его словам, у меня от этого должны были немедленно начать расти и развиваться лёгкие.

¹² Машиах (*ивр.*) – Мессия.

– Поняла, конечно! – заверила я его. – Только, если можно, давайте теперь ещё раз, с начала и поподробней. Вы сказали: «чага». Чага – это вообще что такое?

– Да ты что, чаги не знаешь? Хотя да. У вас же тут берёза не растёт. Чага, Мири, – это берёзовый гриб, нарост такой на берёзе...



Препарат Сергея состоял из настойки чаги, вытяжки из женских плацент и третьей фракции АСД, в пропорции один к одному к трём.

– Ну, там есть ещё кой-какие добавки – элеутерококк, женьшень, пантокрин, высушенные нетопыринные крылья, но добавки эти присутствуют незначительно, можно, собственно, без них обойтись, они просто усиливают эффект...

– А женские плаценты у вас откуда? – наивно спросила я. – Вы что там, у себя в деревне, роды принимали?

Сергей слегка смутился. Сказал, помолчав:

– А чего ж? Конечно, и роды приходилось. Но в основном... ну это, ты ведь уже большая девочка, должна понимать. У вас ведь, у женщин, как? Одной, значит, нужна помощь, чтобы забеременеть, другой – чтобы наоборот. А я – чего ж не помочь? Ежели, значит, я могу?

Я решила не вдаваться в подробности, а самой в сети покопаться, насчёт АСД. Погуглила – оказалось, ветеринарный препарат. Применяется для лечения крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней. Помогает примерно ото всего.

Что ж, люди, конечно, тоже животные.

– Короче, всё это смешивается, перегоняется...

– Сергей, а почему никто до вас этого лекарства не изобрел? Ну, если оно так просто готовится?

– Оно ведь обычно как? Травник, который если потомственный и в чаге, значит, понимает – когда какую срезать, как настаивать, – такой травник абортмахеру навряд ли руки не подаст. Убийца он для него, душегуб. Другое дело, если б я настоем каким плод втихую извлёк... Не то чтобы я даже против был, только ведь людям нынче гарантия сто процентов нужна, особенно, скажем, если эти люди бабы. Но дед у меня великий травник был, после него много рецептов осталось... Ну, про ветеринарию я уж и не говорю, нормальный-то человек разве захочет, чтобы его тем же, чем и скотину пользовали? Нормальный медицинский фельдшер с ветеринаром и говорить не станет, для него ветеринар – коновал. А мне – что, мне лишь бы оно работало. Что, звери – не люди, что ли? Тако же само болеют. Мне наш Колька-ветеринар – первый друг, сколько у нас с ним выпито-перевыпито, сколько разов то он за меня, то я за него по вызовам бегал. Вот оно так на так и выходит, что все сами себе злые чебурашки. А другое, Мири, – Сергей наклонился ко мне поближе и заговорил совсем уже полущёпотом, – другое я тебе скажу, я так понял: не нужно никому, моё лекарство. Вред от него людям один.

– Почему? Вы ж говорите, оно от всего помогает?

– Да кому нужно лекарство ото всего?! Оно ж всю промышленность фармацевтическую загубит! Сотни людей из-за одного меня без работы останутся. Да кто ж такое позволит?! И ты про моё лекарство молчи. Это уж если у кого случай крайний... Допустим, у кого зуб болит очень. Или вот если, как у тебя, когда совсем уж деваться некуда.

Я кивала и улыбалась, потому что до меня, наконец, дошло. Ясно, он сумасшедший. Как я сразу не догадалась! Русские, они ж через одного с прибабахом. А что у Маши от его примочки зуб прошёл – так он, может быть, сам по себе прошёл. Бывают же совпадения. А ещё, может, эта сергеева смесь убивает в зубе нерв и заодно растворяет зубной камень. Налёт смылся, вот зуб и стал после лечения белым. А что? Очень даже просто. Нет здесь ничего невозможного.

Выходит, надеяться мне не на что. Укол этого психа непременно меня убоёт. Без вариантов, ведь если такую ядрёную штуку загнать в плевральную полость. Там же и сердце, и всё...

Ну и пусть. Лучше умереть, чем послушно, как овца, дать себя увезти в «Цветок полевой»! Нет уж! Живая я им не дамся!

С этую мыслью я и заснула.



Утром я долго плескалась в ванной. Почему-то мне казалось очень важным вымыться в этот день как следует.

Мне сперва деликатно, тихо стучали, потом как начали дубасить:

– Мири! Что с тобой?! Сейчас же открой дверь ванной! Почему ты не отвечаешь! Открой немедленно! Тебе плохо?! Что-нибудь с аппаратом?!

Мне было прекрасно. Я вымыла голову розовым шампунем, который мама подарила на день рождения, и тщательно отскребла с пуповины отслоившиеся чешуйки. Кожу от таких процедур слегка саднило, и я её смазала ланолином для сосков – пробники с ним у нас в отделении недоношенных на каждом углу валяются. Теперь пуповина у меня была чистая, розовая, как у новорождённого.

Я подумала, не покрасить ли глаза, но решила – не стоит. Вдруг я в последний момент расплачусь, и тушь потечёт?

Но губы я всё-таки тронула перламутровой помадой – с губами, даже если их прикусить, ничего страшного не может случиться. Даже если кровь потечёт, губы от этого только ярче станут.

– Какая ты сегодня красивая, Мири! – сказала санитарка Ясмин, наливая мне полную тарелку каши. – У тебя что, день рождения?

– Почти, – ответила я, незаметно спуская кашу в мусорное ведро. Хуже нет умирать на полный желудок. Да и не люблю я эту овсянку, ещё б хоть рисовая была.

Мы с Машей спустились в лифте на минус первый, на кухню. Сергей нас уже ждал. Мы пошли на склад, за стеллажи. Я уселась на табурет, подтянула к себе поближе за шнур аппарат, задрала майку и стала ждать. Зажмурившись на всякий случай и стиснув зубы: Сергей предупредил, что иголка толстая и может быть немножко больно.

Подумаешь, за пятнадцать лет чем меня только не кололи! Просто через это нужно пройти. Чтобы иметь возможность двигаться дальше. В этой жизни или в другой – не важно. Главное – не стоять на месте. Рвануться, прыгнуть или хоть крохотный шагочек сделать.

Я почувствовала укол и разливающееся вокруг иголки тепло. Прошла минута, другая. Голова у меня слегка кружилась, во рту от волнения пересохло. На лбу выступила испарина.

Постепенно ощущение тепла исчезло. Осталось лёгкое жжение в месте укола.

Как, неужели всё? А смерть, а освобождение? Блин, развели, как дурочку!

– Мири, ну ты чего там, заснула? – дёрнула меня Маша. – Пора назад, пока нас с тобой не хватились.

Я вздрогнула, открыла глаза и заорала.

– Ты чего?! – Сергей испуганно зажал мне рукою рот. – Услышат же, прибегут!

– Миречка, что, что? Больно тебе, детка? Где? – всполошилась Маша.

Я замычала, поскольку рот у меня был зажат, и отчаянно скосила глаза.

Сергей проследил за моим взглядом и, поняв, в чём дело, громко расхохотался.

На полке, посреди мешков с рисом и чечевицей, сидела и спокойно разглядывала меня громадная серо-бурая крыса. Рот у крысы был слегка приоткрыт, из-под верхней губы вытарчивали два острых зуба. Казалось, крыса надо мною смеётся.

– Да это ж Терентий! – Сергей прекратил зажимать мне рот и взял крысу на руки. Она доверчиво ткнулась носом ему в рукав. – Ты что, его испугалась? Дружок мой! Куда я, туда и он. Я его из России с собой привёз.

– К-как привезли?

– В клетке, ясное дело. Ещё прививки от бешенства заставили делать.

– Кому? Ему?

– Ну не мне же! Хочешь погладить? Он не кусается.

Морщась от отвращения, я всё же заставила себя прикоснуться. Пусть Сергей с Машею не думают, что я трусиха. Шерсть у крысы оказалась жёсткая, на хвосте чешуйки, прямо, как на моей пуповине.

Интересно, какие на ощупь собаки и кошки?

По-моему, я ей тоже не слишком понравилась. Ну, или ему. Терентий же мужское имя.

– А как вы его с собой на работу пронесите?

– В сумке. Я ж персонал, а у персонала сумок не проверяют. Ему дома одному скучно.



Пару недель я не замечала в себе никаких изменений. Да я их и не ждала. Часики тикали, каникулы потихоньку кончались, день перевода моего был назначен. Я уже прикидывала, в какой момент ловчей будет отключить аппарат.

Лучше всего ночью, конечно, и не в Машино дежурство. Под утро, когда весь персонал сморит сон.

Потому что ни в какой «Цветок» я, конечно, не собиралась. Не на ту напади! Не надо мне этой жизни, пойду в другую. В следующий раз будут лучше думать, кому какую жизнь предлагать.

Потом посреди ночи меня разбудила дикая боль за грудиной. Я едва смогла дотянуться до кнопки экстренного вызова и почти сразу же отключилась.

Очнулась я в интенсивке. Рядом со мной сидел доктор Алекс. На экране компьютера перед ним билось мое сердце.

– Ого! – воскликнула я. – Кажется, у меня Боталлов проток закрывается! А где овальное окно? Да от него уже одно название осталось. Вот почему мне было так больно!

– Что?! – врач вздрогнул и повернулся ко мне. – Тоже мне, профессор. Айкью зашкаливает. Какой там Открытый университет! Медфак без экзаменов. Думаю, всё же больно тебе было не от этого.

– А от чего?

– Пока ты была без сознания, тебе сделали рентген лёгких. Мири, они у тебя в несколько раз превышают прежний объём! Доли расправились, кровообращение в альвеолах восстановилось. Видимо, ты почувствовала необычно сильный прилив крови.

– То есть... то есть вы думаете, что я...

– Мы думаем... то есть есть надежда... да что там, я почти уверен, что ты уже можешь сама дышать! А ну-ка...

И доктор Алекс сделал то, о чём я думала последние две недели.

Он выключил аппарат.

Я закашлялась, задохнулась. Доктор Алекс приподнял меня, перевернул, шлепнул чуть пониже спины. Я вдохнула воздух и заорала.



В первые дни у меня постоянно кружилась голова. Доктор Алекс говорил, это потому что я не привыкла к такому количеству кислорода. Лёгкие – это ж не какая-нибудь там пуповина, лёгкие организм будь здоров как кислородом снабжают! Раньше у меня сатурация была максимум восемьдесят, редко-редко восемьдесят три, а теперь она ниже девяносто семи вообще не опускается! Совсем другой разговор! А что голова болит и в висках стучит так это ничего. Я привыкну.

И да, постепенно я приспособилась.

Расстраивали меня также мои новые отношения с водой. Конечно, ни о каком лежании подолгу на дне теперь и речи не шло. Полторы минуты максимум, дальше смерть. Усложнился и сам привычный для меня с рождения процесс ныряния. С этими новыми, переполненными воздухом лёгкими вода так и норовила вытолкнуть меня на поверхность. Казалось, родная стихия отторгает меня, не любит больше, предаёт.

В первые дни меня постоянно куда-то таскали: рентген, ультразвук, магнитный резонанс, томография. Только что не под микроскопом смотрели. Брали

всевозможные анализы, кровь, мокроту, слюну. Заставляли дышать в пробирку, сравнивали объём вдоха-выдоха.

Я всерьёз опасалась, что рано или поздно они докопаются до истины, начнут меня допрашивать с пристрастием, и придётся им рассказать про Сергея.

Вместо этого они выдвинули версию, что, видимо, на меня так подействовал пубертат. Грудь стала расти, а с ней заодно и лёгкие. Мало ли, чего не бывает. Медицина ж не точная наука. Ну, да, единичный случай, нигде раньше такого не описано. Но ведь и таких, как я, во всём мире единицы. Мы ж, как неизвестный науке вид, до конца пока ещё не изучены. Кто знает, сколько ещё впереди открытий. Может, мы и не так ещё мир удивим.

И меня стали готовить на выписку.

Родители мои, честно говоря, были в шоке.

– Как, то есть, абсолютно здорова?! Вы ж говорили, что такое невозможно?

– Я ж вам говорил, что прогноз сомнительный, – посмеиваясь, отвечал доктор Алекс.

– Так-то оно так, – возражали родители, – но мы ж думали, это вы в смысле...

– Ну, иногда так бывает, а иногда по-другому. Сами понимаете, Г-сподь велик. На всё, как говорится, воля Его.

Перед Г-сподним величием родителям пришлось смириться.

– И что, она теперь сможет жить просто сама? Без аппарата, без операции, без лекарств? Ей что, совсем-совсем теперь ничего не нужно?

– Да почему ж ничего? – отвечал доктор Алекс. Родители напрягались и настаивали. – Мири будут очень нужны ваше внимание и забота. Она ведь никогда не жила вне больничных стен.

– Это-то мы понимаем, – отвечали родители, растерянно почёсывая затылки.

Наконец настал главный день. Накануне я в последний раз навестила Самира, мы с ним в последний раз поцеловались. Правда, не так, как раньше, – как раньше, у нас с ним больше не получалось, слишком быстро у меня теперь перехватывало дыхание. Прощаясь, Самир взял с меня обещание обязательно сходить в горы. «Они все твердят – море, море, да что они понимают, в горах только и становишься по-настоящему человеком. Только будь осторожна, не навернись, как я в тот раз. Было бы обидно, особенно теперь, когда ты, можно сказать, только-только жить начинаешь».

Ночью я почти не спала, шепталась с Машей. Мы с ней всплакнули, припоминая всю мою жизнь, с самого первого денёчка – конечно, Маша помнила гораздо больше, чем я. Сергей привет передаёт, сказала мне Маша. Он очень рад, что всё у тебя получилось. Говорит, чтоб не забывала, звонила сразу же, если что.

Маша с Сергеем жили теперь вместе. Правда, Маша уже начала жаловаться, что Сергей многовато пьёт. С больничной кухни его уволили за прогулы, и он устроился куда-то на стройку.

– Что значит: «если что»? А что со мной может быть? Лёгкие выросли, всё в порядке.

– Ну, мало ли. Сергей же предупреждал, могут быть побочки.



Было очень странно оказаться на улице, за стеклянными дверями. Отец нёс чемодан с моими вещами, я – маленький рюкзачок, а мама семенила за нами следом, с большим животом и без ничего.

На улице было душно. Пахло гарью и выхлопами бензина. Это было удивительно!

– Садись в машину! – скомандовал отец.

Прежде, чем садиться, я потрогала её руками. Ведь это была первая настоящая машина, которую я видела вблизи.

На пальцах остались чёрные масляные пятна. Украдкой я вытерла их об юбку.

– Да садись же скорее! Ехать долго, а времени уже вон сколько! Скоро Шули из садика забирать. Провалаңдались полдня с этой выпиской.

Да, сегодня же я впервые увижу Шули! И наш дом! И поселенье, где мы живём!

Я еле втиснулась на заднее сиденье, между двумя детскими креслами.

Мы ехали по Иерусалиму, и я всё время вертела головой из стороны в сторону. На экране же всё выглядит совсем по-другому! Дома там ровные, гладкие, и никак невозможно догадаться, что на самом деле стены ноздреватые, и что-то, наверное, вода или грязь, оставляет на них длинные несмываемые полосы. Отовсюду с балконов свисают велосипеды, коляски, детские стульчики, точно гигантский игрушечный магазин под открытым небом.

Проехали блокпост. Один из солдат, при виде отца, крикнул ему издалека «шалом», другой приветственно приподнял над головой автомат.

Дорога запетляла между зелёными холмами и рощами. Какая же вокруг красота! Всё это совсем иначе воспринимаешь, когда видишь вблизи! Я высунулась из машины, жадно вдохнула сладковатый воздух.

– Мири, убери голову и закрой окно! – рявкнул отец. – Ну что ты как маленькая? Того гляди, камень откуда-нибудь прилетит.

– Арье, не сердись на девочку. Она, и правда, не понимает, – вступилась за меня мама.

– Так самое время объяснить, – пробурчал отец, делая резкий поворот и прибавляя газ.

– Мири, тут везде арабы живут. Прячутся за холмами и швыряют в нас оттуда камни.

Остаток пути я просидела, вжавшись в сиденье и втянув голову в плечи. Но никакие камни так ниоткуда и не прилетели.



Меня зовут Мири Вайс, хотя в последнее время я сама себя что-то не узнаю. Смотрю в зеркало на растрёпанную дылду в одежде с чужого плеча, с веснушками и обгоревшим на солнце носом, и думаю: кто это?

Одежды целый мешок натащили соседки в первый же вечер: ведь большинство моих больничных тряпочек плохо вписывалось в мою новую жизнь. Они

были или слишком тёплые – ведь в больнице круглые сутки включён кондиционер и всегда немного прохладно, – или чересчур роскошные для работы по дому.

Да-да, я теперь много чего делаю по дому – забираю из садика сестрёнку, делаю уроки с мальчиками, убираю, готовлю. Правда, получается пока не ахти, но я стараюсь. Не то, чтоб на меня всё нарочно свалили, но просто родители днём на работе, мальчики учатся, а я всё равно пока что дома сижу. Со школой для меня не вышло, потому что в ближайшей школе для девочек не оказалось мест. Да и не понравилось мне там. Много незнакомых девиц, все орут. Как вообще в такой обстановке учиться? Думаю записаться через полгода сдавать экзамены экстерном. На самом деле я уже даже начала потихонечку заниматься. Скачала из интернета вопросы по всем предметам, хотя интернет здесь, конечно, так себе, не сравнить с тем, что был во «Вратах Сиона». Так что, может, в конце концов, я всё-таки стану океанологом.

Прежняя жизнь в больнице представляется мне далёкой, словно была не со мной. Словно вокруг меня всегда были холмы, поросшие высохшей желтоватой травой, красноватая растрескавшаяся земля под ногами, и я каждый вечер спускалась на закате к водоёму на краю поселения, чтобы отдохнуть и немного полежать в воде.

На середине водоём глубокий, можно плавать и даже нырять. Вода здесь живая, не то, что в бассейне. Она не пахнет хлоркой. В ней есть лягушки, маленькие крабы и рыбки, которые только и ждут, когда ты ляжешь спокойно на спину, подплывают и начинают щипать за пятки. Не больно, просто немного щекотно. Мама говорит, рыбки объедают со ступней потрескавшуюся, мертвую кожу, за что в салоне красоты пришлось бы выложить немалые деньги.

Я лежу, покачиваясь на воде, смотрю, как постепенно темнеет небо над головой, слушаю, как болтают девчонки с парнями на берегу, как хохочут, повизгивая, купающиеся малыши, а матери покрикивают на них, чтоб не смели заходить далеко. После долгого жаркого дня у водоёма по вечерам собирается чульди не всё селенье.

Бывает даже, с противоположного склона холма спускаются арабские мальчишки. Плещутся там, со своей стороны. Никто им ничего не говорит, и они нам ничего не говорят тоже. Похоже, вода всех умиротворяет.

На прошлой неделе я, когда готовила, порезала руку. На самом деле, не просто порезала – отхватила с размаху ножом фалангу указательного пальца.

В первую минуту было даже не слишком больно. Я больше испугалась, что перепачкаю всё кругом кровью, кровь попадёт на овощи для супа, и из-за меня все останутся без ужина. Поэтому я просто замотала как можно скорее и крепче палец бинтом, потом, стараясь не смотреть на него, смахнула в мусор обрубок, и забросала его сверху очистками. Потом чисто-начисто вытерла стол. И продолжила заниматься стряпнёй, ведь мне очень не хотелось, чтобы вечером, когда все придут, отец опять стал бы говорить, какая я растяпа, вечно у меня всё не слава Б-гу, никакой от меня пользы, наоборот, одни неприятности, у людей дети, как дети.

Из тех же соображений я не положила обрубок в лёд и не помчалась немедленно звонить маме. Она, конечно, бросила бы детский сад на напарницу и по-

мчалась бы со мною в больницу. И был бы из-за меня у неё весь день наперекосяк, а вечером отец бы сказал, что... Впрочем, кажется, я уже повторяюсь.

Тем более, маме вообще сейчас нельзя волноваться. Ей вот-вот рожать.

Так что я решила: проще обойтись без кусочка пальца, рука-то всё равно левая.

Меня, конечно, спрашивали, почему повязка на пальце, но я честно ответила, что порезалась, не вдаваясь в подробности.

Целые сутки я не прикасалась к бинту. Боялась того, что под ним увижу. А когда размотала, увидела, что снизу из-под культи, сдвигая в стороны месиво из подсохшей кожи и сукровицы, на свет пробивается округлая новая фаланга, покрытая нежной розовой кожей.

Несколько минут я обалдело смотрела на это чудо. Так ведь не бывает. Не может быть. Я ж не ящерица, да и те умеют отращивать только хвост.

– Мири! – застучали нетерпеливые кулачки в дверь ванной. – Пусти меня, я какать хочу!

– Сейчас-сейчас! – отозвалась я, наскоро заматывая палец свежим бинтом, хотя кровь из него, конечно, уже не шла... Никто не должен этого увидеть! По крайней мере, пока палец не примет обычный вид.

Вечером я впервые набрала номер Сергея. Он ответил сразу и был, кажется, трезвый. Поинтересовался, как у меня дела. Я в двух словах обрисовала историю с пальцем.

– Хе-хе! – закудахтал в трубку Сергей хрипловатым смехом. – Я ж предупреждал, что могут быть побочки! Шутка ли, кубов двадцать я тогда на тебя извёл!

– Но, Сергей, я не понимаю... это что, всегда теперь будет? А если у меня, допустим, зуб выпадет?

– Новый отрастёт! – уверенно откликнулся Сергей.

– А если глаз выбьют?

– Спустя пару недель новый разовьётся.

– И будет видеть?!

– Ещё как! Гарантирую, на обоих глазах у тебя теперь до смерти будет единица. Если ты, конечно, вообще когда-то помрёшь.

Я медленно опустила на траву. И спросила, тщательно выговаривая слова:

– То есть вы хотите сказать, я теперь буду жить вечно?

– Про вечно не знаю. Когда, значит, Страшный суд придёт, спросится с нас всех по грехам нашим, тогда и решат, кому вечно, кому нет, и вообще, значит, кому куда. Но до той поры... Ежели по Терентию моему судить... Знаешь, сколько по-нормальному крыса живёт? Максимум, года три-четыре. А Терентию на прошлой неделе двадцатый пошёл, и он ещё тьфу-тьфу-тьфу. Так что и ты живи, Мири. Не пропадай! Звони, если что. ■





М

Дмитрий СТАХОВ

📍 Москва, Россия



Фото: из личного архива автора

Окончил факультет психологии МГУ и аспирантуру. Работал научным сотрудником Института социологии Академии наук, частным психологом-консультантом. С 1991-го литсотрудник, редактор, ответственный редактор, заведующий отделом «Идеи и люди» журнала «Огонёк», редактор отдела газеты «Неделя», заместитель главного редактора еженедельника «Алфавит».

Как прозаик начал публиковаться с конца 1980-х. Литературными учителями были Андрей Битов, Леонид Жуховицкий, Валерий Осипов.

Автор десяти опубликованных романов – «Крысиный король», «Рецепт», «Перевернутые небеса», «Арабские скакуны», «Ретушёр» и др. Романы, повести и эссе публиковались на французском, немецком, голландском, английском (издательства «Галлимар», «Акте-Сюд», «Голдманн», «Сигнатуур») языках, издавались в коллективных сборниках и литературных журналах. Рассказы выходили отдельными книгами («Сон в начале века», издательство «Олита», 2004, «Коты и клоуны», издательство «Флобуриум», 2023), публиковались в журналах «Огонёк», «Дружба народов», «Октябрь», «Континент», «Знамя» и др.

Участник шорт-листа премии Гоголя за роман «Свет ночи» (2023).

Маленькая собачка

7

Юра сказал, что полежит перед ужином, минут через двадцать Ольга зашла спросить: натереть сыр сразу или каждый натрёт себе сам, и услышала последний Юрин выдох. На похороны пришли Юрины ученики, два старших класса. Три девушки плакали навзрыд, что вызвало у Ольги глухое раздражение. Последнее время Юра не пил, был тихим, большие печальные глаза, красивая улыбка, глуховатый голос, изящные руки, способность слушать, потрясающая память на имена, лица, запахи, девушки его обожали, гулял с ученицами в парке, хвалил их – Ольга была в этом уверена – бездарные стихи.

Поминки организовал директор лицея, Ольга ушла через запасной выход дешёвого кафе после первых же речей, взяла сигарету у курившего во дворике повара в грязном переднике, с незажжённой, в углу рта, дошла до автобусной остановки. Автобус увёз куда-то далеко, вызвала такси, прикурить дал таксист, но фильтр размок, во рту стало горько.

Через два, прошедших в тумане, дня позвонила мать, которая не могла простить Ольге первого мужа, и в самом деле оказавшегося подлецом, матери не нравился и второй, которого она считала рохлей, о том, что Ольга вышла за Юру, она не знала, и Ольга о том, что теперь она вдова, не брошенная и не разведёнка, не сказала. Мать плакала – стало тяжело ухаживать за Ольгиным отцом, после долгих колебаний написала заявление на место в интернате. Ольга представила, какой в Суворовске интернат, на следующий день села в автобус до Козельска, на всю дорогу провалилась в тяжёлый, сиреневый сон.

2

Автобусная станция на Дзержинского была крашена всё той же зелёной краской, пол так же скрипел, кассир был расплывчат за мутным оргстеклом. Рядом с контролёром привычно стоял полицейский, придирчиво проверял документы, интересовался целью поездки. В паспорте Ольги Суворовск был указан как место рождения, полицейский сказал: «С возвращением!» – дождался последнего пассажира, вошёл в автобус, скомандовал отправку, сел рядом с Ольгой, голова пугающе откинулась на ставшей вдруг гибкой толстой шее, с клокотанием захрапел.

Свернув на Суворовск, автобус начал подпрыгивать на выбоинах. Ольга вспомнила, что отец шутил, мол, асфальт на этом участке дороги специально курочат, чтобы шпионский «бьюик» или «олдсмобиль» сломались на первом же километре. Заросшие сорняком поля сменились подступающим к самой дороге тёмным лесом, после леса дорога стала ровной, автобус проехал сквозь квартал пятиэтажек, переехал через мост, потом сквозь ещё один квартал, объехал клумбу с гвоздиками и серебряным Лениным на постаменте, остановился. Полицейский проснулся и объявил: «Конечная!»

До конечной, помимо Ольги и полицейского, девушек и молодых людей с рюкзачками, доехала и пожилая пара. Когда Ольга вышла из автобуса, мужчина спросил, не дочь ли она Сергея Львовича, попросил передать привет и, поддерживаемый спутницей, пошаркал прочь. Полицейский, кивнув в его сторону, сказал, что это бывший директор института.

3

Лужа перед подъездом была на своём месте, возле сломанной лавочки лежали раздавленные банки из-под пива, безглазый плюшевый медведь с оторванной ногой. Ольга поднялась на четвёртый этаж. Мать долго не открывала. Ольга поразилась её бледности, та махнула на Ольгу рукой, словно прогоняла наваждение, сморщилась, выжимая слёзы, но глаза, маленькие, выцветшие, остались сухими. Ольга и представить не могла, что мать так некрасиво превратилась в неряшливую старуху. Они обнялись, Ольга увидела своё отражение в мутном зеркале в прихожей и заплакала.

Мать сказала, что после обеда отец отдыхает, провела на кухню, усадила в угол, налила жидкого чаю. Электрический самовар на холодильнике, грелка в виде когда-то румяной, ныне с облезлыми щеками девицы в кокошнике, плитка на стенах, плита – всё было как прежде, разве что плитка грязной, плита жирной, кокошник поломан. Из нового – микроволновая печь. Мать, проследив взгляд Ольги, предложила разогреть пиццу. Ольга отказалась. Мать монотонно жаловалась на безденежье, врачей, администрацию института, соседей. Говорила, что от института получили трёхкомнатную квартиру и бесполезные грамоты, а где была благодарность за разработку изделий Л-2810 и Т-012, внесших такой вклад в обороноспособность страны? Про Л-2810 даже президент

говорил в очередном послании, подчеркнул: аналогов нет! Нет до сих пор, до сих пор! Ольга согласно кивнула и сказала, что бывший директор института просил передать привет отцу.

– Обрывалин! Самый гад! Ещё тебя помнит, негодяй! Не подписал бумаги на повышенную пенсию, – пошла пятнами мать. – Был замом у твоего отца, Серёжа помогал ему с докторской, а Обрывалин так поступил. Когда возобновили программы, те, что закрыли в лихие девяностые, пенсионеров позвали обратно, на ставки, на хорошие деньги, а Серёжу только консультантом при новом главном конструкторе, так Обрывалин...

Из-за стены раздался стук.

– Проснулся! – оставаясь сидеть, сказала мать. – Спит, ест и... Не читает, телевизор не смотрит... Только знай себе колотит в стену костылём.

Ольга протиснулась мимо матери, вышла из кухни, постучала в закрытую дверь кабинета.

– Кто там? – голос отца, как и прежде, был капризным.

– Это я, Оля, твоя дочь! – ответила Ольга.

– Оленька!..

Сергей Львович лежал на подушках с костылём в руках. Он попросил закрыть дверь, поманил к кровати. Влажной рукой цепко схватил за запястье.

– Олечка! Сколько не виделись! Что вдруг решила приехать?

– Мама позвонила. Сказала, что устала, вымоталась, что подала заявку на место в интернате.

Сергей Львович пожевал беззубыми дёснами губы.

– Для себя?

– Нет.

– А для кого? Понятно... – Сергей Львович уронил костыль, и тот больно ударил Ольгу по ноге.

– Ну и зачем ты приехала? – спросил Сергей Львович.

– Буду с вами жить. Не позволю отдать тебя в интернат, – Ольга потёрла место ушиба. – Пойду в школу, буду преподавать.

– Что именно? – Сергей Львович пригладил кустистые брови.

– Английский.

– Can you handle it?

– Of course! I have a diploma, although I don't have much experience, but it's a gain, really?

– Really? Sure!¹ – Сергей Львович закашлялся. – Ладно, позови мать. Надо подгузник сменить.

– Давай я сменю, – предложила Ольга, но Сергей Львович сказал, что если она останется, то подгузники ей менять и менять.

¹ – Справишься с этим?

– Конечно! У меня есть диплом, хотя опыта у меня мало, но это уже что-то? Так?

– Так? Конечно! (англ.).

Ольга спала в большой, проходной комнате, мать несколько раз за ночь, натываясь на стулья, врезаясь в дверные косяки, проходила в туалет. На пятое утро в родительском доме Ольга удивилась, что за ночь ни разу мать её не разбудила. Ольга заварила кофе, отпила глоток и, поставив чашку, зашла в комнату матери. Та лежала, полусвесившись с высокой, со многими подушками кровати, правая рука лежала на полу, сквозь редкие седые волосы была видная белая кожа, нос истончился, глаза были открыты.

– Папа! – Ольга рывком открыла дверь кабинета.

– Да-а! – отец вставлял челюсть. – Она меня опередила. Так во всём. И кандидатскую раньше защитила. Правда, у меня докторская...

– Папа! Мама умерла!

– Знаю! Знаю... Я слышал, как она хрипела. Недолго. Хотел тебя позвать...

Выспалась? Ладно, надо мне помыться. Помоги!

С отцом Ольга намучилась. Любитель байдарочных походов, посиделок под коньячок, обсуждений публикации в «Новом мире» с ныне уже умершими или куда-то исчезнувшими друзьями, образец мужественности стал своеволен. После уговоров он всё-таки поставил на грудь старый телефон с перекрученным проводом, названивал в институт, пытаясь получить вспомоществование на похороны жены, продолжая говорить в трубку, подмигивал Ольге:

– Как нет профкома? Но Татьяна Тимофеевна ведь... Уже одиннадцать лет не работает? Умерла? Так и я о том же, о смерти... Нет, это вы не слушаете! Умерла моя жена, жена доктора наук, лауреата двух закрытых госпремий, у которого нет ни гроша, чтобы предать земле спутницу жизни...

Уже звонили из морга, спрашивали, когда заберут тело, но тут пришёл Обрывалин с женой, с ним молодой человек в узких брючках и остроносых ботинках. Обрывалин зашёл в кабинет, его жене, седой, с плотно сжатыми губами, и молодому человеку Ольга приготовила кофе. Молодой человек восторгался вкусом и крепостью, Ольга сказала, что была замужем за турком, что сбежала, когда турок взял третью жену, Обрывалин вышел из кабинета, допил остывший кофе из чашки жены, потрепал Ольгу по плечу:

– Помнишь, как мы с тобой жарили шашлыки под дождём? Нет? Тебе было около семи...

– Одиннадцать, - сказала Ольга, - я была в шестом классе...

– Ну да, одиннадцать... Эдуард...

Молодой человек, оказавшись вблизи не таким уж молодым, достал конверт из приталенного пиджака.

На кладбище были только Ольга с отцом, поддерживаемый женой Обрывалин, Эдуард и две пожилых женщины, одна подошла к Ольге, называя мать Тамарочкой, вытирая уголком платка слёзы, говорила, что надо молиться. Ольга отдала ей последние пятьсот рублей из конверта, та удивилась, но услышав, что таков обычай, быстро спрятала деньги.

5

На следующий день Ольга пошла устраиваться на работу, директор школы спросила, не могла бы Ольга преподавать также химию и рисование, Ольга на рисование согласилась, а от химии, сказала, очень далека, директор обижено предупредила: совмещение предметов обязательное условие, но платить будут не за три предмета, а за полтора. Ольга попыталась спорить – мол, если три предмета, то уж не за полтора, а хотя бы за два, – но директор не соглашалась. В разгар спора в кабинет заглянул Эдуард, сообщивший, что Сергей Львович выбросился из окна. Ольга думала, что отец ещё немного потерпит: после похорон, когда они сидели на кухне и пили горький, со странным запахом коньяк, отец говорил, что не может себе позволить, чтобы Ольга губила свою жизнь здесь, в Суворовске, что он, конечно, эгоист, всю жизнь заботился об изделях под разными номерами, обозначенных разными буквами, но теперь пора и честь знать, что гадить под себя он больше не будет, придумает способ, желательно, самый простой.

Тело отца лежало на газоне, накрытое чьим-то одеялом с олимпийским мишкой. Рядом стоял полицейский, похожий на полицейского из автобуса. Приглядевшись, Ольга поняла, что это другой полицейский. Эдуард поддерживал Ольгу под локоть крепкими пальцами. Она освободилась, села на лавочку. Подъехала машина, из неё вышли двое, обменялись рукопожатиями с Эдуардом, один из них подошёл к Ольге и выразил соболезнования.

– Благодарю, – сказала Ольга.

– Ольга Сергеевна, – сказал соболезнующий, – понимаю, что моя просьба может показаться... Нам хотелось бы взглянуть на записи, наброски, которые, быть может, ещё остались...

Ольга достала ключи от квартиры и бросила их в протянутую ладонь.

– Вы поймите, – не унимался стоявший над нею, – вы не физик, вам они... вы в них...

– Я химик, – сказала Ольга...

6

Старики в чёрных костюмах протащились по кладбищенской аллее, Обрывалин, Эдуард, настойчиво пытавшийся взять Ольгу под локоть, отделение стрелков под командой молодцеватого лейтенантика – покраснев, Ольга отметила крепенькие ягодицы командира. Обрывалин махнул рукой, лейтенантик скомандовал: «Пли!» – стрелки дали залп, построились по трое, Эдуард нагнал лейтенантика и сунул тому деньги. Всех повезли в ресторан на поминки, откуда Ольга, имея уже некоторый опыт, ушла через кухню, с сигаретой, взятой у посудомойки, не было только автобуса, такси, и сигарета не горчила.

Вечером раздался звонок в дверь. Ольга открыла и увидела Эдуарда с пакетом в руках.

– Собрал вам на ужин, – сказал Эдуард. – У вас небось шаром покати.

Ольга забрала пакет, пошла на кухню, Эдуард прошёл следом, начал говорить, что сочувствует, что не представляет, как бы справился он, если бы такие несчастья свалились на его голову. Ольга вытащила из пакета пластиковые лотки с «оливье», котлетами по-киевски, гурийской капустой, бутылку коньяка, сделала несколько глотков из бутылки, повернулась к Эдуарду, распрямив плечи, отметила, что Эдуард не настолько ниже её, как казалось раньше, обхватила его за шею левой рукой, чуть согнула колени, поцеловала в угол рта, правой расстегнула ремень на его брюках.

– Ольга Сер... – только и промычал Эдуард.

7

Эдуарду казалось, что большое и красивое тело всё ещё жарко притискивает его к покрытой пыльным ковром стене, но Ольги в кровати не было. Эдуард встал, на кухне обнаружил прислонённый к пустой бутылке коньяка конверт. Ольга просила безжалостно вынести всё барахло, квартиру помыть и сдать, если сдать не получится – продать, доверенность будет прислана, когда Ольга вступит в права наследства. В постскриптуме Ольга просила прощения, что, не попрощавшись, оставляет одного в чужой квартире, но надо успеть на первый автобус, что инструкцию написала заранее и постскриптум тоже, и просила не искать. Эдуард сначала обиделся, потом увидел, что вещи, которые Ольга с неистовством с него срывала, аккуратно разложены на кресле, улыбнулся, вспомнил, какой нежной Ольга была, взял лежащие сверху трусы, начал одеваться.

Ольга ехала в автобусе. Потом в другом. Потом на метро и снова автобусом. Во второй половине дня, ближе к вечеру, Ольга вошла в московскую квартиру, вынула из сумки пакет с фотографиями, коробку с отцовскими орденами и медалями, завёрнутые в миллиметровку грамоты, любимую мать фигурку лисички с отколотым ухом, и Ольге показалось, что вокруг всё вибрирует и тонко-тонко звенит. Ольга подумала, что было бы неплохо кому-то позвонить, рассказать о том, что происходит и что произошло с родителями, что надо смыть чужой пот и всё прошедшее, приготовила чай, прилегла на диван и уснула.

8

Утром Ольга наполнила ванну, опустилась в воду, услышала треньканье стационарного телефона. Шлёпая узкими, с изящными крепкими пальцами ступнями, дошла до телефона, но в трубке были короткие гудки. Только когда завтракала холодной котлетой по-киевски, телефон затренькал вновь, в трубке скрежетал голос дяди, старшего брата отца, отставного секретного полковника, начальника первого отдела на закрытом заводе, ныне – давно пенсионера, и дядя, обозвав сучкой, соплячкой и засранкой, спросил, почему Ольга не берёт трубку, ведь звонил уже несколько раз, ночью и утром. Ольга ответила, что только вчера вернулась из Суворовска, и дядя почти сбился на крик:

– Почему не сообщила, что Серёжка убили? Трудно было, да? Забыла про

меня? Про родного дядю? Мой бывший сотрудник, Эдик, позвонил вчера, сообщил. Он в Суворовск ушёл с повышением, у него жена, дочери, а ты с ним что? Снюхалась?

– Что значит «снюхалась»?

– Ты мне скажи, что это значит. Тебя разыскивал. Удивился, что я не в курсе того, что случилось, да ещё спросил, почему я на похороны не приехал?

– И почему?

– Издеваешься, да? Ты же, сучка, не сообщила, а потом мы тут помираем, я-то ладно, а братец твой херакнулся на мотоцикле. Седина в бороду... Из семьи ушёл, с какой-то байкершей, в дочери ему годящейся, снюхался. Поехали на слёт таких же мудаков, слетели с дороги... Ты это, собирайся и сюда приезжай....

– Когда?

– Да сегодня! Брат твой успел и с медсестрой снюхаться, байкерша с медсестрой подралась, я её из ментовки вызволил, сил не осталось молока купить, а я без молока совсем загнусь, если денег нет на автобус, сейчас переведу, диктуй номер карты...

9

Когда-то дядя заставил поклясться, что Ольга никому ничего не скажет о секретных городках.

– Это гостайна, – говорил дядя, заедая салом и квашеной капустой традиционные сто пятьдесят. – Понимаешь?

Ольга знала эту гостайну всегда, жаль было расстраивать дядю, но дядя вытер пальцы о майку, взял лист бумаги, карандаш.

– Вот Кутузовск, – дядя поставил жирную точку, – вот Суворовск, – поставил другую, – вот Москва, – поставил третью. – Если ткнуть циркулем в Москву, другую ножку поставить чуть южнее Тулы, то, проведя окружность, мы увидим на ней, где чаще, где реже, маленькие города с маленькими секретными заводами и маленькими секретными институтами. Так удобно и практично. Меньше соблазнов – утром встал, пописал, позавтракал, пошёл в цех или в лабораторию, поковал щит Родины или разработал новое, нужное для обороны вещество, вернулся домой, поел борща, посмотрел программу «Время», почитал Петра Проскурина или, если ты старший научный сотрудник или начальник цеха, какого-нибудь Набокова, лёг спать. Все на ладони, чужих нет, телефон слушается, почта смотрится. Так и мы тут жили, в Кутузовске, и твои – в Суворовске и гордились. И сейчас гордимся, хотя Проскурин и помер, и никто его нахер не читает. Вот ты за своим мужем в Москву, а что Москва? Большая деревня!

Ольга тогда только пошла на первую работу, воспитателем в детском садике со знанием английского языка, приехала дядю проведать по просьбе отца, братья никогда друг друга не жаловали, и спросила – кому рассказывать про Суворовск и Кутузовск, четырёхлетним соплякам и соплячкам, – но дядя требовал клятвы.

– Ты можешь проговориться, тайны распирают. Было дело однажды, при советской ещё, прости господи, власти, одному допущенному к гостайне так хотелось с кем-то поделиться, но жене боялся, любовнице, в институтской библиотеке, тем более друзьям – знал уже, что такое друзья! – и он вечером, на остановке трамвая, случайному человеку всё выложил! Ты понимаешь? Случайному! Всё! Про то, чем его лаборатория занимается. Ну не здесь, конечно, тут и трамвая нет, в Туле, он туда отоварить талоны на обувь поехал...

– А случайный оказался норвежским шпионом?!

– Зачем норвежским? Тебе бы шутить! Нет, не шпионом, уж совсем не норвежским, а сотрудником моего отдела.

– Совпадение?

– Ну да, совпадение!

– Не думаю! Твой отдел за ним следил!

– Ну что ты такое говоришь! Мы бумажками занимаемся. Бумажками, – дядя положил на язык полоску нежно-розового сала. – Оперативной работы не ведём...

– И что сделали с тем, кто проболтался?

– Он был особо ценный специалист, – дядя жевал задумчиво, зажмурившись, проглотил. – Подержали немного, поговорили по-мужски, потом послали в другое закрытое учреждение, он там и жил, и работал...

– Я думала, шарашек больше нет.

– Мы полезный опыт не забываем. Так-то нет, но для особых случаев и особых людей – есть. И это тоже секрет, и тоже клянись, что не скажешь никому. Дважды клянись!

– Ладно! - вздохнула Ольга. – Клянусь! Да-да, дважды, дважды клянусь!

10

В Туле Ольга пересела на автобус, дядя встречал в Кутузовске, на конечной. Они обнялись, от дяди исходил густой мясной запах, белки глаз его были желты, в складках морщинистой шеи серели комочки грязи.

– А что у тебя вещей-то так мало? – спросил дядя.

– Так я ненадолго, – поправляя лямки рюкзака, сказала Ольга.

– Ну, это как пойдёт...

Дядина пятиэтажка была такой же, как дом Ольги в Москве, как дом родителей в Суворовске, только в Москве не было вечной лужи перед подъездом.

– Везде одно и то же, – согласился дядя, отпирая замки на измызанной железной двери. – Отличий нет, и это правильно! Забыл предупредить – у меня собака...

Ольга боялась собак, представила, что за дверью стоит бойцовая – как же иначе! такая и должна быть у дяди! – мутноглазая тварь, ожидающая последнего поворота ключа, чтобы молча наброситься. Дверь открылась и к ногам Ольги подкатился маленький, ослепительно белый шар, с большими чёрными глазами, розовым язычком, со стоящим торчком коротким пушистым хвостиком.

– Это Снежок, – сказал дядя. – Я долго думал, как его назвать...

Снежок скулил и подпрыгивал. Ольга присела на корточки, взяла Снежка на руки, подошла к окну, оно выходило на небольшой сквер, слева, как в Москве и в Суворовске, детский сад, справа – спортивная площадка, стук мяча, крики играющих.

–Смотри, как бы он тебя не обоссал, - сказал дядя. –Выйди с ним, минут на десять. Приготовлю чаю. Есть мини-пиццы. Разогреть?

11

На койке с матрасом в жёлтых разводах сидела плечистая татуированная девушка в кожаной безрукавке, кожаных штанах, высоких, на толстой подошве башмаках, синие волосы были зачёсаны направо, слева выстрижены под ноль, в ухе серьга, колечки в бровях и в крыльях носа. На соседней койке лежал стриженный под ноль человек, ссадины на левой половине лица его были замазаны зелёной, правая нога в замысловатом металлическом обрамлении удерживалась на весу системой блоков, левая рука была плотной повязкой прижата к мускулистому торсу. На других двух койках, напротив, лежали очень пожилой человек в гипсовом корсете и некто, отвернувшийся к стене, накрытый несвежей простынёй, выставивший с вызовом заскорузлую пятку. В палате было душно, пахло потом и мочой.

– Вы из прокуратуры? – спросила девушка, показав голубоватые зубы, улыбнулась, белки глаз были покрасневшими. Девушка расправила плечи и поиграла мускулами. – Вы с проверкой? Она первая начала, и мы уже помирились...

– Привет, Роберт, я Оля, твоя двоюродная сестра, из Москвы, – сказала Ольга.

– Центральная прокуратура подключилась! – стриженный под ноль Роберт хихикнул. – Ну, будет дело!

– Боб, она не прокурор, – сказала девушка.

– А кто?

– Твоя сестра! – девушка тоже хихикнула. – Сама призналась. Прокуроры никогда ни в чём сами не признаются. Значит – она не прокурор.

– Моя сестра? Дочь моего отца? – Роберт хихикнул.

– Двоюродная, Боб! Сестра двоюродная, сама сказала... – девушка, повизгивая, засмеялась.

Ольга подошла к окну, рывком его открыла. В палату ворвался тяжёлый химический запах.

– Сегодня что – среда? – сказал пожилой в корсете. – Значит, внеплановый выброс...

– Бляди, – сказал лежавший лицом к стене.

– Я ничего подписывать не буду, – сказал Роберт. – Повторяю: как я мог дать левой этому на бэхе в табло, если сломал руку при падении? Висела плетью! Он упал, ударился головой? Да он пьяный был, даром что сынок... чей он там сынок?

– Депутата, – подсказала девушка. – Все гандоны сейчас сыновья депутатов.

– Нет, этот был сыном... как его... из таможни, кажется! Так что вы, – Роберт

наставил на Ольгу палец правой руки, – уходите. Я со следствием не сотрудничаю!

– Завязывай, Роберт, – сказала Ольга. – Надоело уже...

Она достала из пакета сок, печенье, яблоки.

Девушка быстро открыла сок и сделала несколько больших глотков.

– Жажда жуткая, – сказала она.

12

Снежок привык гулять с Ольгой, на которую, собирающую в пакет собачье дерьмо, смотрели как на сумасшедшую. Дядя питался исключительно пельменями, ему требовалась на день большая упаковка, пельмени легко давились беззубыми деснами, перед телевизором. Ольга вычистила из холодильника всё с истёкшим сроком годности, положила возле мусорных баков, не дойдя ещё до двери подъезда обернулась – пакеты исчезли. Грязь лежала в квартире по углам. Дядя выметал дорожку от кровати до туалета и ответвление до кресла перед телевизором, тараканы шевелили усами на засаленной газовой плите, сыпались на пол из-под драной обивки кухонных табуреток. Ольга вычистила углы, извела тараканов.

– Твои могли бы жить да жить, – натывая пельмень на вилку, говорил дядя. – Мне вот сказали – максимум полгода, скорее всего – месяца три... – он ставил миску на пол, закуривал, брал в руки пульт. – Прошло почти два месяца. Время-то бежит...

Ведущий воскресного политического шоу говорил о злокозненных попытках унижить Россию, о том, что России противостоит Запад, имеющий замысел Россию расчлениить. Дядя с одобрением кивал в такт, но сомневался в чистосердечии ведущего:

– Видала его глаза? Щурится! Значит – врёт! Точнее, прости, п****т, как Троцкий! Вот где найти искреннего? Такого, чтобы верил? Нет таких! Раньше-то были! Ты вот веришь?

– Ещё как! – отвечала Ольга.

– Во что? – искренне удивлялся дядя.

– Во всё хорошее! Ну-ка встаньте! – отнеся миску с остатками пельменного соуса – майонез, горчица, растительное масло, – на кухню, Ольга сдвигала кресло, скручивала лежащий под ним коврик, выбивала на улице, пылесосила, мыла пол, чихала и кашляла от пыли и дихлофоса.

Полдня в квартире, пока дядя не засыпал после обеда, потом гуляла со Снежком, потом шла в больницу, где под бинтами потел Роберт. Ольга хотела бежать из Кутузовска, затаиться, не отвечать на звонки дяди, который, проснувшись, требовал бы, чтобы Ольга вернулась и помогла встать с кровати, но мысль о возвращении в квартиру, где всё напоминало о прожитом вместе с Юрой, была невыносима.

13

В торговом центре Ольгу окликнула женщина в деловом брючном костюме – портфельчик, комочки туши на длинных ресницах, усталость, скучный взгляд.

– Оля? Оля Баталина?

– Давно уже не Баталина, – сказала Ольга, перед глазами возник туманный образ первого мужа, его лицо со стёртыми чертами, крепкие пальцы с выпуклыми ногтями.

– Лена, была Голубова, теперь другая фамилия, по мужу, он, ну да ладно, не важно, ты что здесь делаешь, столичная штучка, ты работала в какой-то библиотеке, я ж у тебя в гостях была, после академки, не помнишь, муж твой готовил плов, ты ж из Суворовска, твой отец умер, был некролог в губернской газете, большой учёный, мы с тобой три курса были в одной группе или два...

Голубова теребила замок портфельчика, улыбалась, отбрасывала со лба тонкую прядь, задавала вопросы, не ждала ответов, продолжала спрашивать.

– Дядя болеет. За ним ухаживаю. Зашла вот за пельменями.

– А я постричься. У нас сегодня приём. Надо выглядеть.

– У нас – это дома?

– Нет, на работе, в отделе народного образования, я там заместитель, первый заместитель, «приём» – громко сказано, но будут важные люди, такие проблемы у нас, просто ужас, ужас! Кадров нет, ищу преподавателя английского... Слушай, может, ты? Поработай хотя бы четверть, ну что тебе стоит, пока ты здесь, преподавателей языка найти не можем...

– Могу ещё химию. И рисование.

– Нет, химиков как грязи, химиков-органиков в основном, у нас же тут производство, яды, выбросы, химики не нужны, рисование, какое рисование теперь, они не могут карандаш держать, только тыкают пальцем в смартфон, а вот английский нужен, коробка лежит с «Королем Лиром» в оригинале, лет двадцать лежит, прислали по культурному обмену, «Пингвин букс», по «Королю Лиру» можно в старших классах, ты им сразу – классику, номер диплома не помнишь, наверное, но и так, по паспорту примем, без трудовой, запрос отправим, получим ответ, внесём задним числом, соглашайся, Баталина, я тебя завтра начальству представлю, ты понравишься, ты всегда начальству нравишься, ты вообще выглядишь здорово, словно ещё подросла, хочешь со мной к мастеру, мастер хороший, завтра приходи в наш отдел, только не очень рано, с коллегами познакомлю, оформим, приступишь в конце недели...

14

Ольга вошла в класс, и все направили на неё объективы смартфонов. Кто-то сказал: «Вау!» Ольга поставила коробку с книгами на стол.

– Здравствуйте, – сказала Ольга. – Отложите ваши гаджеты, пожалуйста. Меня зовут Ольга Сергеевна. Я буду преподавать у вас английский язык.

– Вы мастер какого спорта? – продолжая съёмку, спросила щекастая девочка со второй парты.

– Тэквандо, волейбол и плавание, – ответила Ольга. – Очень люблю фигурное катание, когда-то хорошо каталась сама, но подверглась дискриминации из-за роста. Повторяю: отложите, пожалуйста, ваши гаджеты. Мы будем читать «Короля Лира» и таким образом укреплять ваши знания.

– Fucking shit!²

Ольга взяла книжку, ловко, навесом забросила прямо на парту сказавшему.

– Откройте, молодой человек, на седьмой странице, пожалуйста. Читайте вслух.

– Чё? Я?

– Вы. Читайте!

– Вилиям Шейкспир уоз борн ат Страйфорд упон Авон...

– Попробуйте продолжить без выпендрёжа. И Стратфорд, а не Страйфорд. Давайте!

– ...ин эприл, фифтин сиксти фор.

– Отлично! Как фамилия? Идите сюда, Афанасьев. Раздайте всем книги.

...Высоченный, почти одного с Ольгой роста, Афанасьев смотрел с обожанием, пластичный, широкоплечий, двигался стремительно и легко, и Ольга чувствовала онемение внизу живота, во рту становилось сухо. Просыпаясь среди ночи от дядиноного глухого кашля, чтобы заснуть вновь, представляла Афанасьева обнажённым. Фантазий своих Ольга стыдилась, смахивала с ключиц липкий пот, вставала, шла в комнату дяди. Дядя сидел на кровати, не открывая глаз, поворачивал голову на звук открываемой двери.

– Ещё жив, – сипел он. – Мне нужно судно...

Ольга подставляла дяде судно, опускалась на стул.

– Как там Роберт? – очень громко спрашивал дядя.

– Нормально... Принимает меня за прокуроршу.

– Ты его не оставляй! – рискуя разбудить соседей, почти кричал дядя. – Даже если возбудят дело, даже если... Он же, засранец, нежный... Тебя нам сверху послали, небесные силы. Я должен был давно перекинуться, а видишь – живу, засранец мой должен разбиться, ан нет – живой, и всё потому что ты есть у нас. Ты несёшь свет. Добро!

– Ага, – зевала Ольга. – Несу... – приподнимала дядю одной рукой, вынимала из-под него судно, подмывала, вытирала, сыпала присыпку, осматривала простыни, выносила судно, мыла судно, мыла руки, вытирала судно, мыла руки, возвращалась, дядя спал на боку со счастливой улыбкой,

Ольга выходила в прихожую, где сидел Снежок, поскуливал и смотрел на входную дверь, брала Снежка на поводок, выходила с ним на улицу, видела, как кто-то, стоявший под деревьями и смотревший на окна, быстрыми шагами уходил прочь.

– Эй! – громким шёпотом говорила Ольга. – Эй вы! Что вам нужно? Эй!..

15

В недолгие моменты просветления Роберт жаловался на несправедливость, на им же оставленную жену, на детей, осуждающих, ни разу не навесивших, рас-

² – Мать твою! (англ.).

хваливал «кожаную» девицу, говорил, что из-за неё ушёл с опостылевшей работы, купил «харлея», что она дала путь к свободе, притягивал Ольгу к себе поближе, полущёпотом говорил, что лучше «кожаной» в постели нет никого, поток слов Роберта убаюкивал, некоторое время после посещения Ольга не задалась вопросами: что я здесь делаю? почему? зачем? Но как-то в больничном коридоре натолкнулась на Афанасьева, сказавшего, что пришёл навестить соседа по дому, сосед что-то готовил во фритюре, пролил масло, загорелся и теперь лежит весь забинтованный, с трубкой в горле. Ольга спросила – где в какой палате? – Афанасьев ответил – в ожоговом, в седьмой, – и Ольга поняла, что Афанасьев врёт – ожоговое отделение было на ремонте, – почувствовала, что Афанасьев стоял под окнами. Восхитительный, глупый ребёнок.

– А... у вас тут кто-то лежит? – Афанасьев сглотнул слюну, плотно сжал чувственные яркие губы.

– Брат, – сказала Ольга. – Брат Роберт. Упал с мотоцикла. Повредился головой.

– Роберт ваш брат? Вот здорово! Моя старшая сестра его девушка. Я ей говорю – он же...

– Мне надо идти, – сказала Ольга. – До встречи на уроке!

16

Сначала, из-за споров – существовал ли Шекспир на самом деле? – топтались на биографии, Афанасьев козырял знанием о графе Ратленде, явно долго готовился, с кем-то дополнительно занимался, зато главку про Елизаветинский театр проскочили на удивление легко, но лишь щекастая девушка со второй парты, ревновавшая Афанасьева, красневшая и заикавшаяся от волнения, начала: «What shall Cordelia speak? Love, and be silent³», – как Ольгу вызвали с урока.

Оказалось, что Роберт сбежал из больницы, его искали полицейские. Один из них, в штатском, ясноглазый и с ярким, как у Афанасьева, румянцем, спросил, когда Ольга видела брата последний раз, о чём они говорили, не делился ли Роберт планами, не знает ли Ольга, куда он мог отправиться и с кем. Ольга подумала про сестру Афанасьева и ответила, что ничего не знает ни про намерения Роберта, ни про то, с кем он мог удариться в бега.

Полицейский был недоволен ответами, сказал, что Роберт проходит по делу о причинении вреда здоровью и материальному имуществу, что тем, что скрывается от правосудия, только усугубляет вину.

Тут прозвенел звонок. Ольга вернулась в класс, потребовала чуть дрожащим голосом тишины, дала задание на следующий урок, попросила задержаться Афанасьева, но Афанасьев ничего не знал, позвонил сестре, её телефон не отвечал.

Ольга пришла домой. Вывела Снежка, который был грустен и застенчив, вернувшись, помыла Снежку лапки, тот, лизнув Ольгу в щёку, просился на руки,

³ «Что ж я скажу? Должна, любя, молчать» (В. Шекспир, *Король Лир*, акт 1, сцена 1, перевод с англ. Т. Щепкиной-Куперник).

поскуливал, крутился на месте, но Ольга была непреклонна, оставив Снежка в гостиной, вынесла судно, подмыла дядю, помыла судно, дядя спросил, пойдёт ли Ольга сегодня в больницу, узнав, что раз Роберт сбежал, то идти смысла нет, засмеялся, закашлялся, просипел, что счастлив умереть с чистой задницей.

17

На похоронах Ольгу затёрли, перед ней были какие-то люди с красными шеями, женщины в платочках, речи над могилой звучали приглушённо, Ольга вспоминала похороны отцовские, со времени которых, казалось, прошло очень, очень много времени, вспоминала солдат с автоматами, молодцеватого лейтенанта и думала про Снежка, крутившегося, когда она уходила, по квартире, зашедшего в визгливом, истощенном лае, и, запирая дверь, Ольга обещала маленькой, жалкой, вздорной собачке, что больше никогда одну её не оставит. К Ольге сквозь толпу протиснулся Афанасьев, шепнул, что сестра звонила из-под Курска, что Роберт не может управлять мотоциклом, что управляет она и беглецы собираются уйти на Украину.

– Вот чёрт! – вырвалось у Ольги, на неё обернулись, гроб начали опускать в могилу, Ольга, растолкав стоявших перед нею, первой бросила на крышку горсть земли.

18

Некто высокий, сильный, источающий аромат пряного, горьковатого, возбуждающего одеколона, помог отойти от могилы, преодолеть не желавшую отпустить каблуки туфель мягкую землю. Другой, всё время оказывавшийся на контражуре, подхватил локоть, предложил хлебнуть из маленькой, узкой фляжки. Ольга сделала несколько маленьких глотков, оказалась на выложенной плиткой дорожке, ничего не слыша и не видя пошла по ней прочь, пешком, через весь Кутузовск, добралась до дома, и, когда понурый Снежок вышел из глубины квартиры и смиренно лизнул туфлю, когда вдохнула полной грудью настоящий на испражнениях смрад, Ольгу замутило. Взяв с тумбы местную газету, Ольга соорудила веер, борясь с позывами, обмахиваясь, пошла на кухню, села на табуретку, поставила меж ног пустое мусорное ведро. Снежок, сидевший напротив, смотревший на Ольгу с сочувствием, испуганно отпрянул, когда Ольгу вырвало первый раз, Ольгу ритмично выворачивало, временами казалось, что позывы прекратились, Ольга тянулась к стакану с водой, делала пару глотков, и тут же выблевывала воду вместе с кусочками съеденной накануне, казавшейся нескончаемой, курицы.

Рвота наконец утихла. Некоторое время Ольга прислушивалась к происшедшему внутри, обмахивалась газетой, потом тяжело встала, стащила одежду, скользкой рукой потянула ручку совмещенного санузла, вошла, залезла в ванну, включила воду, встала под тёплый душ. Свет сквозь маленькое окно проникал из кухни, стекло было мутным, но полумрак и струи успокаивали.

– «The man that makes his toe, // What he his heart should make, // Shall of a corn

cry woe, // And turn his sleep to wake, – шептала Ольга, выключив воду, села на край ванны, стянула с вешалки полотенце, протёрла зеркало. – For there was never yet fair woman, but she made mouths in a glass...»⁴ – прошептала Ольга, услышала, как со скрипом и скрежетом открылась входная дверь.

Узкого и короткого полотенца хватало только прикрыть бедра, левой рукой придерживая полотенце сзади, Ольга вышла из ванной, Снежок, царапая коготками корявый паркет, подбежал, подпрыгивая, стал проситься на руки.

– Не бойся, милый, – сказала Ольга и выглянула в прихожую. – Кто здесь?

– Это я, дверь не была закрыта. Ты так быстро ушла, я бежала за тобой...

Звонила в дверь, звонила по телефону, ты не открыла, не ответила, я ушла, вернулась, услышала шум воды, толкнула дверь...

Голубова, в чёрном костюмчике, с чёрной сумочкой под мышкой стояла в прихожей.

Ольга пригляделась к Голубовой: та, несмотря на строгость одежды, из-за выражения глаз, из-за подрагивающих губ казалась молоденькой, покинутой и несчастной, от Голубовой пахло спиртным, она не знала куда девать руки, перебирала вылезавшие из рукава пиджачка кружева белоснежной блузки.

– Да я на минутку, тебе надо отвлечься, развеяться, а через горобразование распределяли пригласительные, мне дали, но у меня, понимаешь, муж, он вчера... Впрочем, не важно... И я решила тебе отдать пригласительный, это будет, кажется, завтра, ты же любишь фигурное катание, помнишь, когда учились в институте, ходили на каток, ты там... Впрочем, не важно... – Голубова раскрыла сумочку, достала платочек, промокнула глаза. – Ты такая красивая...

– Ты тоже. Выглядишь как девочка...

– Которая надела мамины туфли, – у Голубовой дрожал голос. – Я никому не нужна, тебя все любят, ученики от тебя без ума... Мой муж... Впрочем, не важно... Мне пора, ты мойся, мойся...

Голубова положила на тумбу возле двери розовый конверт, помахала, криво улыбаясь, рукой, исчезла за дверь.

Внутри конверта был пригласительный билет на показательные выступления лучших фигуристов. Туктамышева, Медведева, Самоделкина, Ильиных–Кацалапов и Крылова–Овсянников. Тула. Новый ледовый дворец. Ложа почётных гостей. Приветственное слово губернатора.

Снежок опёрся передними лапками о ногу Ольги, поскуливая, преданно смотрел Ольге в глаза.

– Ты тоже ненавидишь фигурное катание? – Ольга взяла Снежка на руки, забросила полотенце в ванную, подошла к окну в большой комнате, через грязные стёкла было видно, что молодые листья на тополях набирали сок и цвет, мусор и проплешины на газоне закрывались молодой травой, на детской

⁴ Кто сердце в пятки поместит,
Тот наживёт одни мозоли;
Спокойный сон он превратит
В бессонницу от вечной боли.

Потому что нет такой красавицы, которая не любила бы строить гримасы перед зеркалом (*В. Шекспир, Король Лир, акт 3, сцена 2, слова Шута, перевод с англ. Т. Щепкиной-Куперник*).

площадке курил в кулак и смотрел на окна Афанасьев. Афанасьев растоптал оурук и быстрым шагом ушёл, входная дверь вновь заскрежетала, Голубова подошла и поцеловала Ольгу между лопаток.

– Ты такая красивая, – жарко повторила Голубова в спину Ольге. – Я всегда была в тебя влюблена. А когда чего-то очень желаешь, недостижимого, невозможного... Мой муж... Признался... Признался вчера, что у него любовник, таксист, они ездят в Зябликово, у таксиста там халабуда, таксист трахает мужа и привозит обратно, успевают за обеденный перерыв...

Голубова заплакала, спине стало щекотно, Ольга опустила Снежку на пол, задёрнула тяжёлую пыльную портьеру, обернулась, обняла Голубову, поцеловала в липкий мягкогубый рот.

– Давай чаю попьём, – сказала Ольга. – Поищем дядины деньги. Он говорил, что наличность где-то в квартире. Только оденусь...

– Хорошо, – прошептала Голубова.

– Дядя сказал – движимое моё. Наличность – движимое?

– Движимое. Коньяк есть?

– Есть.

– Выпьешь со мной?..

19

Ольга проснулась в половине шестого. На узкой кровати Голубова спала, неловко подвернув под себя правую руку, запрокинув голову, с открытым ртом. Ольга выбралась из-под одеяла, Голубова тут же поменяла позу, укрывшись с головой, подтянула себе под голову вторую подушку.

Ольга знала, где дядина наличность, дядя говорил, чтобы деньги с банковских счетов и половина за квартиру ушли к Роберту, наличность и половина за квартиру – Ольге, но хотела отвлечь Голубову, оттянуть момент, когда Голубова полезет целоваться.

Голубова охмелела после первых двух рюмок, искать в дядиной комнате – как тут воняет! – отказалась, выпила третью, четвертую, заплакала, Ольге пришлось самой её целовать. Голубова перестала плакать, бормотала вновь насчёт того, что если чего-то долго ждёшь и о чём-то долго мечтаешь, то когда мечты воплощаются, то радости и счастья нет, а ведущим чувством становится разочарование, и вот она, Голубова, сейчас разочарована, нет, ей хорошо, так хорошо, как не было никогда в жизни, никогда её педерастичный муж, скоро и суетливо совавший в неё тонкий, с большой головкой, загнутый кверху член, не делал ей так хорошо, как делала Ольга, просто обнявшая, просто положившая руку ей между ног, просто поцеловавшая обвисшую грудь, чуть укусившая розовый шершавый сосок, но за этим чувством счастья, счастья от того, что давние-давние мечты сейчас воплощаются, стоит разочарование, у тебя разве нет этого чувства, нет?

Ольга подоткнула одеяло, поцеловала Голубову в соленый висок, набросила халат. Дядины деньги были в большой жестяной коробке из-под индийского чая. Полустёртая женщина в красных шароварах танцевала, высоко поднимая

руки в браслетах, коробка стояла под дядиной кроватью, в пыли, среди окаменевших, грязных носков. Вытащить плотно утрамбованные купюры стоило немалого труда, большинство составляли тысячные, имелось несколько стодолларовых, полимерные десять фунтов с Джейн Остин на реверсе, на самом дне выпущенная почти пятьдесят лет назад тысяча гульденов. Ольга разгладила банкноту, рассмотрела стилизованные локоны человека с печальными глазами и носом, прочитала, что это *baruch d'espinoza*, прошептала: «Я не Спиноза какой-нибудь, чтоб выделять ногами кренделя», – пересчитала наличность, положила доллары в розовый конверт, рубли во внутреннее отделение сумки, сто гульденов засунула в рамку стоявшей на тумбочке у кровати фотографии – дядя, дядина давно умершая жена, маленький Роберт, шорты с помочами, пионерская пилотка.

Ольга выгуляла Снежку, вернулась, выпила чашку растворимого приторного кофе, зашла в комнату, где тихо похрапывала Голубова.

– Лена! Лена! – Ольга тронула её за плечо. – Начало восьмого. Пойдѐшь на работу?

Голубова рывком села, стыдливо закрылась простыней, подавилась слюной, закашлялась.

– Пойду, но можно посплю ещё? – она избегала смотреть Ольге в глаза. – Оставишь ключи?

Ольга взяла её за руку, поцеловала тонкое запястье.

– Оставайся, конечно, отоспись. Вторые ключи на тумбочке.

– Не забудь пригласительный, – сказала Голубова, отвернулась, легла лицом к стене.

20

Афанасьева на уроке не было, в параллельном классе пришлось закончить на десять минут раньше – влетевшая в класс нервная завуч объявила, что всем надо спуститься на школьный двор. Ольга подошла к окну – двор наполнялся учениками, учителя суетились, строя учеников по классам.

– Вы идѐте, Ольга Сергеевна? – спросила завуч.

– А что случилось?

– Выражаем поддержку армии. Все школы. Все ученики. Все учителя. Идѐте?

– Конечно! – сказала Ольга. – Только сумку возьму.

Повесив сумку на плечо, спустилась за учениками во двор, в ворота въехал драпированный георгиевскими лентами бронетранспортѐр, из бронетранспортѐра повывлазили камуфлированные солдатики, офицер в берете вырос из люка, с немалым трудом вытащился из него, наклоняясь то налево, то направо, то вперед, то назад, словно его за могучие широкие плечи тянули пальцы гиганта, гигант же подтолкнул офицера, тот спрыгнул на асфальт, отчеканил шаги к спешившей навстречу директору школы. Наладили микрофон, директор начала речь, грудь её колыхалась, директор от натуги шла красными пятнами, микрофон фонил, ученики толкались и хихикали.

Ольга набрала Голубову, выслушала сообщение автоответчика: «Это Елена

Голубова. Сейчас не могу ответить, пожалуйста, перезвоните позже или оставьте сообщение», офицер завладел микрофоном, сквозь хрип и треск прокричал, что патриот должен знать запах пороха, что принято решение провести со школьниками старших классов стрельбы из автоматов выдающегося конструктора Калашникова, и школьники нестройно завопили «ура!».

Ольга начала пятиться, наткнулась на завуча, с удовольствием наступила завучу на ногу.

– Вы куда это, Ольга Сергеевна? – ойкнув, спросила завуч.

– Вспомнила про уют. Дядя спит, не учует. Пожар!

– Ольга Сергеевна, – завуч смотрела с укоризной, – Ольга Сергеевна, он же...

– Да, не сможет встать! – Ольга пригнулась и за спинами учеников зашла за угол спортзала, пересекла спортплощадку, чуть не порвав юбку перелезла через забор, ещё раз выслушала сообщение автоответчика Голубовой и подумала, что её самой, в прошлом Ольги Баталиной, не существует. Она могла испытывать боль, удовольствие, хотеть в туалет, её могло что-то возмущать, что-то радовать, но всё это было за какой-то границей, к ней самой, незнакомой, чужой, неузнаваемой даже в зеркале, отношения не имело.

– «My glass shall not persuade me I have to exist»⁵, – прошептала Ольга, пытаюсь понять, что делать, куда идти, зачем, почувствовала, как в сумке вибрирует телефон.

– Лена, ну что ты трубку не брала? Как себя чувствуешь? – пытаюсь скрыть раздражение, сказала Ольга и услышала мужской голос.

– Олечка, сестрёнка, это Роберт! Боб! Брат твой. Помнишь? Ты в больницу приходила, пару раз, после прокурорши, что на тебя так похожа. Оля, алло! Слушаешь? Алло!

– Да, Роберт, слушаю. Я и была прокуроршей.

– Да ну?! Так ты всё-таки в прокуратуре? Ну дела...

– Роберт! Я не прокурор, я преподаю в школе, здесь, в Кутузовске английский, у меня в классе младший брат твоей подруги, Афанасьев, это была шутка, про прокуроршу, шутка, понимаешь?

– Кирюха? Кирюха твой ученик? Ну дела... Оля, мне тут сказали – отец помер...

– Уже похоронили.

– Ага... – Роберт пошмыгал носом. – Думал, когда умрёт, буду плакать, а слёз нет. Оля, мне надо будет квартиру продать и жене отдать деньги, я вернуться не могу, посадить хотят, может, ты продашь и деньги жене отдашь? Я тебе доверенность пришлю. Пойдёт?

– Сразу продать нельзя. Полгода... – Ольга вошла в подъезд и начала подниматься по лестнице. – Полгода официальный срок. Через полгода всё сделаю, – Ольга вставила ключ в замочную скважину, – деньги передам. Что-нибудь ещё?

– Деньги сейчас нужны... Ладно, я им вышлю.

Ольга вошла в квартиру, присела на корточки.

⁵ «Мне зеркало не скажет, что я существую» (перефразированное «My glass shall not persuade me I am old» – «Мне зеркало не скажет, что я стар», нач. XXII сонета В. Шекспира, перевод с англ. М. Чайковского).

– Снежок! Снежок! – позвала Ольга.

– Как там Снежок? – спросил Роберт. – Гнусная собака. Подлая. Носки мои жевала, как кошка, ссала в мои ботинки. Так ты будешь там жить, да, Оля? Ты поживи полгода, потом...

– Снежок! – Ольга прошла в гостиную, заглянула в комнату дяди, зашла в комнату, где спала с Голубовой, Снежка не было.

– Ты слушаешь? Ольга!

– Слушаю. Поживу. Ты не волнуйся. Ты сам-то где?

– Жду болгарскую визу. В Одессе. Море тут, каштаны. Уедем мы с подругой. Завтра должны дать.

– Передавай подруге привет. Давай, Роберт, на связи...

Ольга положила смартфон в сумку, взяла с тумбочки лист бумаги. Бисерным, буква к буквке, почерком Голубова написала, как ей стыдно, за себя, за мужа и его таксиста, за Ольгу, за начальника управления образования, за всех, за всех, что Снежок сорвался с поводка, убежал, найти, поймать времени не было, ждали на работе, писала, что вечером не придёт – они с мужем решили возродить прежнюю любовь и взаимопонимание, иначе дети нас не простят, Ольга, ты даже не спросила про моих детей, думаешь только о себе, тебе важна только ты, все, кто вокруг, не существуют, они для тебя вещи, а так нельзя, ты должна измениться, должна стать другой, открыться людям, стать прежней, той, которую я так любила и которую так продолжаю любить...

21

Поезд пришёл на незнакомый, маленький, пахнувший недавно завершённой стройкой новый вокзал. Проспавшая всю дорогу Ольга не могла отойти ото сна, выйдя на платформу, долго не соображала, куда идти. Вместо знакомой площади Курского вокзала перед Ольгой были тёмные пространства, вместо привычного прогорклого воздуха – горькая свежесть, далеко горели редкие окна, на фоне подсвеченного ночного неба вычерчивались деревья. У приземистой полицейской в маске Ольга спросила, как пройти к метро, но метро было уже закрыто, такси надо заказывать через приложение, которого у Ольги не было. В качестве платы за бесполезную информацию полицейская попросила предъявить паспорт, Ольга долго искала паспорт в сумке, паспорт нашёлся в розовом конверте с долларами, полицейская глубоко, с сожалением вздохнула, отдавая паспорт.

Ольга заказала такси по телефону, и машина подъехала буквально через пару минут. Когда Ольга похвалила таксо-компанию за оперативность, водитель буркнул, что привозил пассажира в гостиницу при стадионе. Ольга хотела спросить, что за стадион, но помешал звонок, потом другой, Ольга поплотнее уселась, откинула голову на подголовник, но заснуть никак не удавалось – мрачный водитель зачем-то тормозил, закладывая крутые повороты, ускорялся так, что Ольгу мотало по сиденью, до дома она доехала быстро, но совершенно вымотанной.

Дверь квартиры открылась с трудом, выключатель в прихожей привычно

искрил, Ольга в темноте сбросила сумку, сняла куртку, разулась. В холодильнике были яйца, упаковка бекона, молоко – Ольга открыла пакет, ультрапастеризованное молоко не испортилось, было таким же безвкусным, как и пару месяцев назад, – просроченный творог, салаты пришлось выкинуть, как и приготовленный незадолго до вызова из Кутузовска тыквенный суп-пюре.

Ольга достала из шкафчика бутылку виски, отпила из горлышка, закусила сигаретной затяжкой, глядя в окно, отпила ещё. Пустая детская площадка была освещена голубоватым светом, откуда-то еле слышно доносилась музыка – кто-то в ночи, запинаясь, наигрывал знакомую – Ольга не могла вспомнить, какую именно, – мелодию на пианино, быть может мелодия наигрывалась сама, у Ольги в голове. Виски обожгло пищевод, от табака заболел затылок, Ольга хотела умыться, но чувствуя, как оставляют последние силы, с бутылкой, пепельницей и сигаретой, прошла в спальню, сделала ещё глоток, ещё затяжку, затушила сигарету, не снимая кофты и юбки откинула одеяло, легла в обнимку с бутылкой и заснула раньше, чем голова упала на подушку.

Ольге снился сначала Юра, потом мать и отец, потом дядя, во сне Ольга видела саму себя, стоящую в проёме двери – Юра, отец и мать, дядя сидели за столом, пили чай и на Ольгу внимания не обращали, – видевшая всё до мельчайших деталей, вплоть до жёстких ворсинок на накрахмаленной скатерти, Ольга смотрела на умерших, гадала, к добру ли видеть во сне умерших или нет, и говорила, чтобы они убирались прочь, – не понимая, в какой, в чьей квартире всё происходит, – говорила, то ли сама себе, то ли сидевшим за столом, что происходящее в этом сне отдаёт фальшью, литературщиной, что умершие и должны были – по ходу развития сюжета – оказаться во сне живой, тут Ольга обернулась и увидела Роберта, только с длиннющими, раскиданными по плечам кудрявыми волосами, в чёрных зеркальных очках – «Ты что здесь делаешь?» – спросила Ольга, но Роберт не ответил, прошёл мимо, с шумом отодвинул свободный стул, уселся и Ольгина мать налила Роберту чай, и Ольга решила тоже выпить чаю, но невидимая прозрачная стена была перед ней, Ольга так и осталась в проёме двери, не в силах сделать шаг вперёд.

Ольга проснулась. Сон забывался, но чувство неловкости, неудобства росло. Ольга разделась, спальня наполнилась запахом взопревшего под тёплым одеялом тела, Ольга вспомнила, что после ночи с Голубовой – её запах был тяжёл и горек – не принимала душ, отпила из бутылки, прикурила сигарету, шагнула к окну. Уже светало. Хотелось почистить зубы, высморкаться, Ольга отпила пару глотков, легла. Зачесался большой палец левой ноги, Ольга выставила ногу из-под одеяла, новый сон также прокручивал что-то знакомое, приснился Эдуард, в костюме, обтягивающих брючках, остроносых зеркально вычищенных туфлях, Эдуард ехал в московском метро, искал что-то в смартфоне, Ольга спросила, выходит ли Эдуард на следующей станции, Эдуард не ответил, Ольга пошла за ним, переходы сменялись переходами, эскалаторы вели вверх и вниз, ни выхода, ни какой-то другой станции, только коридоры и движущиеся ступени, Эдуард куда-то пропал, Ольга осталась одна, никого вокруг, начала задыхаться, она легла, легла на пол, оказавшийся мягким, что-то обволокло большой палец левой ноги, что-то приблизилось к лицу, что-то липкое и горячее

проникло в глазницу, Ольга открыла глаза – перед ней, в изголовье кровати, перебирая лапками, сидел Снежок.

Мысли о том, что Снежок Ольге тоже, вслед за родственниками и Эдуардом, снится, не возникло. Ольга, проснувшись, ощутила удивительную ясность, бодрость, силу. Ольга почесала Снежку за ухом, спустила ноги на пол, встала, стянула простыню и в неё завернулась. В прихожей стоял Афанасьев.

– Здравствуй, – сказала Ольга.

– Я шёл из школы, встретил Елену, не помню отчества... – начал Афанасьев.

– Тоже не помню, – Ольга взяла сигареты, спрятала бутылку под кровать, прикурила.

– ...она выгуливала Снежка, отдала мне поводок и ключи, чтобы я отвёл собаку и ключи отдал вам, я пошёл к вам и почувствовал, что вы уехали, что вы не вернётесь, я связался с одним пацаном, бывшим сестры, мы с ним на мотоцикле, адрес узнал у той Елены, у пацана тут друзья в байкерском клубе, я с ним куда-нибудь уеду, – Афанасьев почесал коротко остриженную голову, – мне возвращаться нельзя, у нас кампания по подготовке к призыву, в мае меня...

– Тебе уже восемнадцать?

– Уже. Я же год пропустил, у меня позвоночник был... Ну, это давно было, медкомиссию прошёл, они говорят: надо Родину защищать. Советуют сразу подписать контракт. Я спросил: «На нас кто-то напал? Или мы на кого-то напали?» Они там пометку сделали – мне знакомые сказали, – значит, к этим дармоедам отправят, в Росгвардию или, наоборот, как мясо, штурмовать какую-то деревню, я не могу туда, думаю, к сестре добираться, да вот если призовут, туда меня против воли пошлют...

– Будешь яичницу? – спросила Ольга.

– Буду... Как вам показательные выступления?

– Не люблю показательные...

– Я тоже. Надо соревноваться, верно? Ну, это, короче, Елена сказала, вы должны были в Тулу поехать, мы с бывшим моей сестры сначала туда, нас не пустили, мы просили охранников позвать вас из ложи почётных гостей, сказали, что случилась, – Афанасьев снял кроссовки, белые низкие носки были заносены, – беда, надо вас найти, он по рации сообщил, потом сказал, что Ольги Сергеевны никакой в ложе нет, ну мы... Ну мы, то есть я – неудобно пацана гонять – решил возвращаться, а он говорит: «А чё нам? Давай в Москву стоняем!» Я Снежка себе на колени, он, пока в Тулу ехали, был спокоен, а тут лаял, не хотел, притерпелся потом, мы как рубанули...

...Ольга оделась, открыла в спальне окно. В ванной всмотрелась в отражение, отметила мешки, морщины в уголках рта, умылась, вытираясь, заплакала в полотенце, приготовила омлет на беконе, позвала Афанасьева, он не ответил.

Ольга вошла в комнату. Афанасьев, запрокинув голову, широко раздвинув длинные крепкие ноги, спал, сидя на диване, напротив работающего без звука телевизора. В телевизоре показывали едущие по узкой дороге танки. Снежок кружил по квартире, обнюхивал углы. Ольга нашла поводок в куртке Афанасьева, пристегнула к ошейнику Снежка.

– Надо тебе что-то купить, да, Снежок? – сказала Ольга, открывая дверь. ■



M. Lewis

M. Lewis



Мр

Олег ЛЕКМАНОВ

📍 Принстон, США



Фото: из личного архива автора

Доктор филологических наук. В начале 2022 года профессор на гуманитарном факультете Высшей школы экономики (Москва). В апреле 2022-го из-за несогласия с войной, развязанной Россией против Украины, временно покинул страну. Ныне – приглашенный профессор Принстонского университета (США).

Автор восьмисот опубликованных работ и двух детей мужского пола. Лауреат Шуваловской премии (МГУ), лауреат премии «Нового мира» (2017), лауреат главной литературной премии России «Большая книга» (2019, первая премия), что, впрочем, не спасло автора от нападок Н. Михалкова, З. Прилепина и Д. Киселёва.

В «Тайных тропах» во 2-м номере опубликовал первую главу из книги «Военная тайна Аркадия Гайдара», которая пишется в соавторстве с Викторией Буяновской и Михаилом Свердловым, в 3-м – статью о Григории Рабиновиче, приятеле и персонаже очерка и повести Мандельштама. Сейчас очередь за предисловием и первой главой книги о Мандельштаме.

Любовная лирика Осипа Мандельштама

Предисловие и первая глава книги

От автора

«Любовная лирика занимает в стихах Мандельштама ограниченное место...» – констатировала вдова поэта¹. Эта констатация может быть подкреплена простыми статистическими выкладками. Из 431, выявленного на сегодняшний день стихотворения Осипа Мандельштама², в разряд любовной лирики (даже если понимать её весьма расширительно) может быть включено лишь около 60 стихотворений – то есть чуть менее 14% от всех мандельштамовских поэтических текстов. Для сравнения – из 361 стихотворения Николая Гумилева, вошедшего в его том из серии «Библиотека поэта»³, к любовной лирике можно уверенно отнести 161 стихотворение – то есть 44,5%.

Неудивительно, что когда в начале августа 1917 года компания приятелей, в которую входил и сам поэт, сочиняла шуточную пьесу в стихах ко дню именин Саломеи Андрониковой, то в уста персонажа, чьим прототипом послужил Мандельштам, была вложена следующая реплика:

¹ Мандельштам Н. Вторая книга // Мандельштам Н. Собрание сочинений: в 2-х тт. Т. 2 / Составители С. В. Василенко, П. М. Нерлер и Ю. Л. Фрейдин Подготовка текста С. В. Василенко при участии П. М. Нерлера и Ю. Л. Фрейдина Комментарии С. В. Василенко и П. М. Нерлера. Вступ. статья ко 2-му тому Ю. Л. Фрейдина. Екатеринбург, 2014. С. 262.

² См.: Мандельштам О. Полное собрание стихотворений / Вступ. статьи М. Л. Гаспарова и А. Г. Меца. Сост., подготовка текста и примеч. А. Г. Меца («Библиотека поэта», большая серия). СПб., 1995.

³ См.: Гумилев Н. Стихотворения и поэмы / Вступ. статья А. И. Павловского, биографический очерк В. В. Карпова. Сост., подготовка текста и примеч. М. Д. Эльзона («Библиотека поэта», большая серия). Изд. 3-е, Л., 1988.

Любовной лирики я никогда не знал.
В огнеупорной каменной строфе
О сердце не упоминал.⁴

Парадокс состоит в том, что в конце предыдущего, 1916 года, Мандельштам написал три любовных стихотворения, обращённых как раз к виновнице августовского торжества и главной героине шуточной пьесы Саломее Андрониковой – «Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне...», «Я научился вам, блаженные слова...» и «Мадригал» («Дочь Андроника Комнена...»). Однако, во-первых, из трёх стихотворений, обращённых к Андрониковой, поэт опубликовал только первые два, а, во-вторых, все три мандельштамовских стихотворения столь сложно устроены, что опознать в них образцы любовной лирики не так-то просто.

Как увидим далее, судьба многих стихотворений Мандельштама, посвящённых женщинам, в которых он влюблялся, сложилась сходным образом. Львиная их доля, как ранних, так и поздних, не была напечатана при жизни поэта. В итоге читатели смогли в полной мере оценить любовную лирику Мандельштама лишь во второй половине XX столетия. При этом если бы они захотели выделить в отдельную группу мандельштамовские стихи о любви, то испытали бы немалые трудности. Ведь далеко не всегда очевидно, что то или иное стихотворение поэта – любовное.

Приведём характерный эпизод из мемуаров о Мандельштаме. Когда он в 1937 году прочитал Наталье Штемпель обращённый к ней стихотворный диптих, то спросил: «Что это?» – «Я не поняла вопроса и продолжала молчать», – вспоминает Штемпель. И тогда Мандельштаму пришлось самому разъяснить адресату главный посыл диптиха. «Это любовная лирика, – ответил он за меня. – Это лучшее, что я написал».⁵

Обратим внимание: хотя любовная лирика занимала в творчестве Мандельштама «ограниченное место», «лучшее», что он написал, по его собственному ощущению, было любовной лирикой. К этой высокой оценке прибавим высочайшую: Анна Ахматова именно мандельштамовское стихотворение «Мастерица виноватых взоров...» назвала «лучшим любовным стихотворением 20 века».⁶

В этой книге будет предпринята попытка взгляда на творчество и биографию Мандельштама сквозь призму того «лучшего», что он написал – стихотворений о любви и вокруг любви. Как мы попробуем показать, таких стихотворений было создано относительно мало отнюдь не потому, что Мандельштам, подобно Сергею Есенину, относился к женщинам «с холодком».⁷ Напротив, эротическое

⁴ Кофейня разбитых сердец. Коллективная шуточная пьеса в стихах при участии О. Э. Мандельштама / Публ. [и комм.] Т. Л. Никольской, Р. Д. Тименчика и А. Г. Меца, под общ. ред. Р. Д. Тименчика. Stanford, 1997. С. 73.

⁵ Штемпель Н. Мандельштам в Воронеже // «Ясная Наташа». Осип Мандельштам и Наталья Штемпель. К 100-летию со дня рождения Н. Е. Штемпель / Сост. П. Нерлер и Н. Гордина Предисл. П. Нерлера. М.–Воронеж, 2008. С. 63.

⁶ Ахматова А. Листки из дневника // Ахматова А. Requiem / Предисл. Р. Д. Тименчика Сост. и примеч. Р. Д. Тименчика при участии К. М. Поливанова. М., 1989. С. 128.

⁷ Свидетельство Надежды Вольпин: «– Я с холодком, – любил повторять Есенин. <...> Следом за “холодком” снова и снова шло уверение, что он будто бы не способен любить “по-настоящему”». (Вольпин Н. Свидание с другом // Есенин глазами женщин. Антология / Сост., предисл. и коммент. П. Фокина. М., 2016. С. 126–127).

влечение каждый раз грозило овладеть всей личностью поэта, вытесняя остальные чувства и желания, и он, как мог, этому сопротивлялся.

«Первоначально, – вспоминает Эмма Герштейн раннюю пору своего знакомства с Мандельштамом, – <...> наши разговоры принимали какое-то фрейдистское направление, вертелись вокруг эротики – “первое, о чём вспоминаешь, когда просыпаешься утром”, как сказал Мандельштам. Речь шла об истоках его восприятия жизни. Он сказал, что ничто так не зависит от эротики, как поэзия».⁸

Вот эта связь эротики и мандельштамовской поэзии, мандельштамовской поэзии и эротики и будет центром внимания в нашей книге.

Глава первая

«Останься пеной, Афродита» (1908–1911)

1

В марте 1913 года вышло в свет первое издание дебютной поэтической книги Осипа Мандельштама «Камень». Оно состояло лишь из 23 стихотворений, что, возможно, было предопределено не творческими, а финансовыми причинами – деньги на издание поэту дал отец. «Сборник этот составлен слишком скупо, даже для первого выступления», – с неудовольствием констатировал в рецензии на «Камень» (1913) Сергей Городецкий.⁹

Едва ли не главная тематическая особенность книги заключается в том, что в неё Мандельштам не включил ни одного стихотворения, в котором внятно говорилось бы о любовном увлечении. Учитывая, что автору в январе 1913 года исполнилось двадцать два года (возраст, в котором юноши и девушки, как правило, поглощены своими влюблённостями) – странное мандельштамовское исключение действительно требует объяснения.

Это, по-видимому, понимал и сам автор «Камня». В целом в книге соблюдена хронологическая последовательность расположения стихотворений. Однако трижды Мандельштам такой порядок нарушил. В первый раз – в самом начале «Камня» (два других случая мы рассматривать здесь не будем): после стихотворения «Дыхание» 1909 года следует стихотворение «Silentium» 1910 года, а после него – ещё одно стихотворение 1909 года («Невыразимая печаль...»). Как представляется, для Мандельштама было важно сразу же вслед за программным «Дыханием» поместить в «Камне» стихотворение «Silentium», в котором объяс-

⁸ Герштейн Э. Мемуары. СПб., 1998. С. 10.

⁹ Цит. по: Мандельштам О. Камень (серия «Литературные памятники») / Изд. подготовили Л. Я. Гинзбург, А. Г. Мец, С. В. Василенко, Ю. Л. Фрейдин. Л., 1990. С. 214.

няется, почему в книге отсутствует любовная лирика. По-видимому, в первую очередь, именно ради этого он и отошёл от хронологический принципа.

Вот та редакция «Silentium», которая была напечатана в мандельштамовской книге 1913 года:

Она ещё не родилась,
Она и музыка и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.

Спокойно дышат моря груди,
Но, как безумный, светел день
И пены бледная сирень
В мутно-лазоровом сосуде.

Да обретут мои уста
Первоначальную немóту –
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста.

Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито.¹⁰

Начнём разговор о стихотворении с простого вопроса: кто эта «она», о которой дважды заходит речь в зачине первой строфы? Прямой ответ на наш вопрос дан в первой строке последней, четвёртой строфы. «Она» – это Афродита, богиня красоты и эротической любви, которую поэт призывает не рождаться из морских волн. Но если Афродита «ещё не родилась», то как она может (вернёмся к первой строфе) уже присутствовать в мире, связывая между собой все явления окружающего мира («И потому всего живого / Ненарушаемая связь»)? Этот вопрос тоже несложный: очевидно, что в третьей–четвёртой строках первой строфы стихотворения речь идёт не об Афродитиной (эротической) любви-страсти, а о другой разновидности любви, той, которую можно назвать, например, дочувственной или не чувственной.

Во второй строфе изображается состояние природы в тревожной ситуации предрождения Афродиты. «Моря груди» (отчётливо эротический образ), тем не менее, «дышат» «спокойно», поскольку ещё не охвачены жаром эротической любви. Однако далее следует противительный союз «но», следовательно и «день», и море всё-таки уже заражены чувственностью. Недаром в ход идут эпитеты, часто используемые для описания любовной лихорадки: «безумный», «бледная», и что особенно важно для дальнейшего развития сюжета стихотворения – «мутн[ый]».

В первой строке третьей строфы неожиданно для читателя появляется «я» стихотворения, причём появляется в роли поэта, который приказывает самому себе перестать описывать рождение Афродиты и тем самым вернуть

¹⁰ Мандельштам О. Камень. Стихи. СПб., 1913. С. 2.

свой «замутнённый» поэтический мир в состояние дочувственной «чистоты» («Как кристаллическую ноту, / Что от рождения чиста»). Собственно, в этой строфе мы и находим, пусть не прямое, объяснение почти полного отсутствия стихотворений о влюблённости в первом издании «Камня»: одержимость эротическим чувством замутняла восприятие окружающего мира и мешала поэту ощутить «ненарушаемую связь» между всеми предметами и явлениями этого мира.

То, к чему поэт призывает в последней, четвёртой строфе «Silentium» похоже на обратное движение плёнки в кинопроекторе. Почти воплощённая Афродита должна развоплотиться, превратившись обратно в пену; конкретное поэтическое «слово» должно вернуться в размытую «музыку»; а «сердце» (эмблема эротической любви) должно устыдиться другого «сердца», и оба они должны слиться с «первоосновой жизни», то есть возвратиться в состояние дочувственной, не чувственной любви.

Эротическое наполнение образа «сердца» из финальной строфы «Silentium» проявится особенно отчётливо, если мы сопоставим этот образ с «сердцем» из стихотворения Тютчева «Silentium!», которое, несомненно, варьировалось в мандельштамовском стихотворении¹¹.

У Тютчева, напомним:

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймёт ли он, чем ты живёшь?
Мысль изречённая есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, —
Питайся ими — и молчи.¹²

У Тютчева «сердце» — воплощение самых разнообразных чувств любого человека. Соответственно, «другой» в стихотворении Тютчева это не возлюбленная или возлюбленный, а любой человек — не «я». У Мандельштама речь идёт о двух «сердцах», охваченных, было, эротической любовью друг к другу, но по велению автора стихотворения, опоминающихся и сливающихся с другими сердцами во всеобщей дочувственной любви¹³. То есть Мандельштам сужает тютчевскую тему — у него речь идёт не о любом человеке, противопоставленном всему остальному человечеству, а о себе самом, отказывающемся от эротической лирики.

¹¹ Переключки между мандельштамовским «Silentium» и тютчевским «Silentium!» подробно рассматриваются в работах многих исследователей. См., например: *Toddes E. A. К прочтению «Silentium'a» // Vademecum. К 65-летию Лазаря Флейшмана / Сост. и редакция А. Устинова. М., 2010. С. 89–90.* Здесь и далее в примечаниях мы будем указывать на одну работу (как правило, из множества), в которой обсуждаемое стихотворение Мандельштама разбирается с иной точки зрения, чем в этой книге.

¹² *Тютчев Ф. Полное собрание стихотворений («Библиотека поэта», большая серия). Изд. 2-е / Вступ. статья Б. Я. Бухштаба, подготовка текста и примеч. К. В. Пигарева. Л., 1957. С. 126.*

¹³ В стихотворении Мандельштама того же, 1909 года «На влажный камень возведённый...», не вошедшем в «Камень», эротическая любовь определяется как «сердца незаконный пламень» (*Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: в 3-х тт. Т. 1 / Сост., подготовка текста и коммент. А. Г. Меца, вступ. статья Вяч. Вс. Иванова. М., 2009. С. 259*). Далее в книге это издание обозначается как *ОМ-1*.

После «Silentium» в первом издании «Камня» размещены два стихотворения, в которых всё же обнаруживаются следы присутствия возлюбленной лирического субъекта. Однако эти следы столь эфемерны, что их легко просто не заметить или истолковать не как приметы любовной поэзии.

Первое стихотворение, как мы уже указывали, датировано 1909 годом:

Невыразимая печаль
Открыла два огромных глаза,
Цветочная проснулась ваза
И выплеснула свой хрусталь.
Вся комната напоена
Истомой – сладкое лекарство!
Такое маленькое царство
Так много поглотило сна.
Немного красного вина,
Немного солнечного мая –
И потянулась, оживая,
Тончайших пальцев белизна...¹⁴

Две приметы внешнего облика, упомянутые во второй и финальной строках этого стихотворения («...два огромных глаза»; «Тончайших пальцев белизна»), как кажется, позволяют предположить, что речь в стихотворении идёт о девушке.¹⁵ Тогда «цветочная ваза»¹⁶ и вино могут быть восприняты как атрибуты любовного свидания, а повторяющиеся во всех трёх строфах мотивы сна и просыпания ото сна («Открыла два огромных глаза»; «Такое маленькое царство / Так много поглотило сна»; «И потянулась, оживая...»), возможно, намекают на то, что свидание было эротическим. Об этом может свидетельствовать и существительное «истомой» (то есть, возможно, любовной усталостью) из второй строки второй строфы.

Однако стихотворение устроено так осторожно, что не только перечисленные эротические мотивы, но и само присутствие в нём элементов портрета возлюбленной, если взглянуть на текст под другим углом, может показаться проблематичным, вчитанным в текст. В частности, Владимир Пяст в рецензии на второе издание «Камня», по-видимому, оттолкнулся от пропущенного нами при анализе стихотворения слова «лекарство» и написал, что всё стихотворение следовало бы озаглавить «Выздоровление» – предположительно, выздоровление лирического субъекта от болезни.¹⁷ «Два огромных глаза» при таком

¹⁴ Мандельштам О. Камень. СПб., 1913. С. 3. Подробнее об этом стихотворении см.: Сегал Д. М. Осип Мандельштам. История и поэтика. Кн. I. М., 2021. С. 54–57.

¹⁵ Ср. с наблюдением Д. М. Сегала: «...образ женщины предстаёт в ранних стихах Мандельштама в крупном плане, составленным из деталей, увиденных вблизи» (Сегал Д. М. Осип Мандельштам. История и поэтика. Кн. I. С. 57).

¹⁶ Ср. в предыдущем стихотворении «Камня» (1913): «И пены бледная сирень / В мутно-лазорево́м сосуде».

¹⁷ Цит. по: Мандельштам О. Камень (серия «Литературный памятники»). С. 218.

прочтении могли бы восприниматься, например, как метафора головок цветов в хрустальной вазе, «истома» означала бы крепкий, исцеляющий сон, а строка «Тончайших пальцев белизна» могла бы описывать пальцы лирического субъекта, истончившиеся во время недомогания.

Следом за «Невыразимой печалью...» в «Камне» (1913) помещено стихотворение, датированное 1910 годом:

Медлительнее снежный улей,
Прозрачнее окна хрусталь
И бирюзовая вуаль
Небрежно брошена на стуле.
Ткань, опьянённая собой,
Изнеженная лаской света,
Она испытывает лето,
Как бы нетронута зимой.
И, если в ледяных алмазах
Струится вечности мороз,
Здесь – трепетание стрекоз
Быстроживущих, синеглазых...¹⁸

Здесь присутствие гостьи в комнате героя обозначено чётче, чем в предыдущем стихотворении, но лишь одним и почти воздушным предметом женского гардероба – вуалью. Зато вокруг этой вуали и организовано всё стихотворение. Она упоминается в первой строфе, описывается во второй и, как отметил Д. М. Сегал, задаёт образность финальной строки третьей строфы и всего стихотворения – «Быстроживущих, синеглазых» (ведь вуаль прикрывает верхнюю часть лица женщины, в том числе, и глаза)¹⁹. При этом, как и в «Silentium», в стихотворении «Медлительнее снежный улей...» использован целый ряд слов, которые часто оказываются задействованы при описании чувственного влечения: «опьянённая», «изнеженная», «лаской» и особенно – «трепетание». Только вместо женщины и мужчины любовную сцену разыгрывают «бирюзовая вуаль», предстательствующая за женщину, и ласкающий её комнатный «свет».

3

Во второе издание «Камня», вышедшее в декабре 1915 года (на обложке проставлен 1916 год), автор поместил ещё два ранних стихотворения, которые при желании можно было бы включить в разряд любовной лирики²⁰.

¹⁸ Мандельштам О. Камень. СПб., 1913. С. 4. Подробнее об этом стихотворении см.: Гаспаров М. Л. Статьи для «Мандельштамовской энциклопедии» / Публ. и вступ. заметка П. Нерлера, подгот. текста М. Тарлинской и О. Лекманова, примечания М. Акимовой // М. Л. Гаспаров. О нём. Для него. М., 2017. С. 36–37.

¹⁹ Сегал Д. М. Осип Мандельштам. История и поэтика. Кн. I. С. 57–58.

²⁰ Тем не менее, рецензент отметил, что и в этом издании «Камня» любовная лирика почти отсутствует: «Название сборника выбрано автором весьма удачно. Холод и твёрдость преобладают в его творчестве. Со стороны формы – есть вещи очень красивые; но в стихах Мандельштама всё подчинено мысли в ущерб чувству» (цит. по: Мандельштам О. Камень (серия «Литературный памятники»). С. 235).

Первое из них – это четверостишие 1908 года, которое описывает начало любовного свидания и нарочито обрывается на самом интересном месте:

Из полутёмной залы, вдруг,
Ты выскользнула в лёгкой шали –
Мы никому не помешали,
Мы не будили спящих слуг...²¹

Буквально несколькими штрихами Мандельштаму удаётся создать атмосферу таинственности («Из полутёмной...»), неожиданности («вдруг») и стремительности («выскользнула») произошедшего события, отделяющего от всех остальных людей («Мы никому не помешали») возлюбленного и возлюбленную, которая, как и в стихотворении «Медлительнее снежный улей...» характеризуется при помощи только одной принадлежности женского гардероба («в лёгкой шали»).

Второе стихотворение датировано 1909 годом. Оно помещено в «Камне» (1916) сразу после только что приведённого четверостишия и с этим четверостишием разительно контрастирует:

Нежнее нежного
Лицо твоё,
Белее белого
Твоя рука,
От мира целого
Ты далека,
И всё твоё –
От неизбежного.
От неизбежного –
Твоя печаль
И пальцы рук
Неостывающих,
И тихий звук
Неунывающих
Речей,
И даль
Твоих очей.²²

В четверостишии 1908 года мелькает лишь силуэт возлюбленной, показанной в стремительном движении, причём читатель успеваеt заметить и запомнить не её лицо, а, скорее, её плечи, на которые накинута «лёгкая шаль». В первой строфе стихотворения 1909 года крупным планом даны нежное лицо и белая рука адресата, которые детализируются во второй строфе. Здесь изображается уже не рука, а горячие «пальцы рук» девушки и не её лицо в целом, а её «очи» –

²¹ Мандельштам О. Камень. Пг., 1916. С. 7. Подробнее об этом стихотворении см.: Сегал Д. М. Осип Мандельштам. История и поэтика. Кн. I. С. 53–54.

²² Мандельштам О. Камень. Пг., 1916. С. 8. Подробнее об этом стихотворении см.: Гаспаров М. Л. Статьи для «Мандельштамовской энциклопедии». С. 20.

в двух финальных строках стихотворения²³. Художественная задача стихотворения 1909 года, таким образом, оказывается кардинально иной, чем четверостишия 1908 года. Не быстрый промельк героини, а медитативное всматривание в её облик и распознавание подробностей, не динамика, а статика. Статический эффект во втором стихотворении многократно усиливается за счёт отсутствия в нём глаголов, меж тем как в четырёх строках стихотворения 1908 года их целых три.

Остаётся обратить внимание ещё на два мотива стихотворения «Нежнее нежного...», которые в любовной лирике Мандельштама выступают в роли лейтмотивов. Это мотив белого цвета, уже встречавшийся нам в стихотворениях «Silentium» («...как безумный, светел день / И пены бледная сирень») и «Невыразимая печаль...» («Тончайших пальцев белизна»). А также мотив речи, чьё звучание или, наоборот, отсутствие, как мы скоро убедимся, было выбрано Мандельштамом в качестве константной характеристики любовных отношений.

4

Итак, отбирая стихотворения 1908–1909 годов для первого и второго изданий «Камня», Мандельштам лишь эпизодически и как бы контрабандой нарушал отданный самому себе приказ, касающийся любовной лирики: «Да обретут мои уста / Первоначальную немóту».

Вероятно, именно самодисциплина не позволила поэту включить в «Камень» ни одно из пяти стихотворений 1909 года, в которых, по-видимому, отразились взаимоотношения Мандельштама с лирическим адресатом стихотворений «Невыразимая печаль...», «Медлительнее снежный улей...» и «Нежнее нежного...». Вслед за С. В. Василенко и Ю. Л. Фрейдиным можно предположить, что этим адресатом была та девушка, о которой коротко рассказано в мемуарах младшего брата поэта, Евгения Мандельштама²⁴:

В Выборге мы обыкновенно жили у друзей родителей – Кушаковых. Их предки, николаевские солдаты, имевшие некоторые льготы, когда-то осели в Финляндии и разбогатели на торговле кожевенным сырьём. <...> Семья Кушаковых, их дом в какой-то степени сохраняли радушно-патриархальную атмосферу еврейского клана. Осип очень любил здесь бывать. Ему было семнадцать-восемнадцать лет, а у Кушаковых были две прелестные дочери-невесты. За одной из них брат не на шутку ухаживал. Но коварная девушка довольно неожиданно вышла замуж за военного капельмейстера, оркестр которого играл за сценой в некоторых спектаклях Мариинского театра, когда были нужны духовые инструменты. Свадьба была в Петербурге. Кушаков не пожалел денег: был заказан

²³ Напомним, внимание читателя на глазах и пальцах лирической героини акцентировалось в ещё одном стихотворении Мандельштама 1909 года, вошедшем в «Камень» – «Невыразимая печаль...».

²⁴ См.: Мандельштам О. Собрание произведений. Стихотворения / Сост., подготовка текста и примеч. С. В. Василенко и Ю. Л. Фрейдина. М., 1992. С. 4.



Осип Мандельштам с сестрами Кушаковыми.
 Фото: из личного архива Алексиса Раннита. Copyright by Aleksis Rannit, Curator of Russian and East European Collection, Yale University, Box 1603, A Yale Station New Haven, Connecticut

специальный поезд из одного вагона-люкс, и все мы, приглашённые на это семейное торжество, были роскошно доставлены в Питер²⁵.

В своём прозаическом «Шуме времени» (1923) Мандельштам иронически вывел семью Кушаковых под фамилией Шариковы:

В Выборг ездили к тамошним старожилам, выборгским купцам – Шариковым, из николаевских солдат-евреев, откуда по финским законам повелась их оседлость в чистой от евреев Финляндии. Шариковы, по-фински «Шарики», держали большую лавку финских товаров: «Sekkatawaaranka-урра», где пахло и смолой, и кожами, и хлебом, особым запахом финской лавки, и много было гвоздей и крупы. Жили Шариковы в массивном деревянном доме с дубовой мебелью. Особенно гордился хозяин резным буфетом с историей Ивана Грозного. Ели они так, что от обеда встать было трудно. Отец Шариков заплыл жиром, как будда, и говорил с финским акцентом. Дочка-дурнушка, чернявая, сидела за прилавком, а три другие – красавицы – по очереди бежали с офицерами местного гарнизона. В доме пахло сигарами и деньгами. Хозяйка, неграмотная и добрая, гости – армейские любители пунша и хороших саночек, все картёжники до мозга костей. После жиденького Петербурга меня радовала эта прочная и дубовая семья. Волей-неволей я попал в самую гущу морозного зимнего флирта высокогрудых выборгских красавиц. Где-то в кондитерской Фацера с ванильным печеньем и шоколадом, за синими окнами санный скрип и беготня бубенчиков... Вытряхнувшись прямо из резвых узких санок в тёплый

²⁵ Мандельштам Е. Воспоминания / Предисл. А. Г. Меца, публ. и примеч. Е. П. Зенкевич // Новый мир. 1995. № 10. С. 126.

пар сдобной финской кофейной, был я свидетелем нескромного спора отчаянной барышни с армейским поручиком – носит ли он корсет, и помню, как он божился и предлагал сквозь мундир прощупать его рёбра²⁶.

Как видим, в этом пассаже автор «Шума времени» своеобразно отомстил «коварной девушке», в которую он некогда был влюблён. По мандельштамовской версии, три сестры Кушаковы не чинно отпраздновали замужество, а «по очереди бежали с офицерами местного гарнизона».

В стихотворениях Мандельштама 1909 года, предположительно обращённых к одной из сестёр Кушаковых, иронией и мезью, разумеется, не пахнет.

И, как минимум, одно из этих стихотворений уместно будет назвать эротическим безо всяких оговорок. Некоторые его строки перекликаются с написанным в следующем году стихотворением «Silentium»:

Что музыка нежных
Моих славословий
И волны любви
В напевах мятежных,

Когда мне оттуда
Протянуты руки,
Откуда и звуки
И волны откуда, –

И сумерки тканей
Пронизаны телом –
В сиянии белом
Твоих трепетаний?²⁷

В этом стихотворении содержится ещё более радикальное высказывание, чем в «Silentium». Если в тютчевской вариации Мандельштама поэтическому слову будет противопоставлена музыка («И слово в музыку вернись»), которой вполне находится место в мире дочувственной любви, то в стихотворении «Что музыка нежных...» сила эротического желания обесмысливает и её тоже. «Сияние белое» и «трепетания» нагого тела возлюбленной²⁸, угадываемого

²⁶ Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: в 3-х тт. Т. 2 / Сост. А. Г. Мец. Том подготовили: А. Г. Мец, Ф. Лоэст, А. А. Добрицын, П. М. Нерлер, Л. Г. Степанова, Г. А. Левинтон. М., 2010. С. 220. Далее в книге это издание обозначается как ОМ-2. Отца семейства звали Исаак, а его жену Анна. Жили они в Выборге по адресу: Pietarinkatu, 18. У Кушаковых было девять детей, имена пятерых дочерей приводит в своей статье о Мандельштаме в Финляндии Бен Хеллман — Мина, Джина, Адель (Дейла), Елена и Рахель (Hellman В. Встречи и столкновения. Статьи по русской литературе. Meetings and clashes. Articles on Russian Literature. Helsinki, 2009. P. 161–162). Сохранилось фото Мандельштама с двумя дочерьми Кушакова.

²⁷ ОМ-1. С. 263–264. Подробнее об этом стихотворении см.: Гаспаров М. Л. Статьи для «Мандельштамовской энциклопедии». С. 38.

²⁸ Отметим, между прочим, что существительное «трепетаний», употреблённое в этом стихотворении, проясняет предпоследнюю строку мандельштамовского стихотворения «Медлительнее снежный улей...», эротически её окрашивая: «Здесь – трепетание стрекоз».

под «сумерками тканей» её одеяний, выигрывают у «музыки» «славословий» поэта и его стихотворных «напевов», обращённых к возлюбленной.

Понятно, почему Мандельштам по-монашески ограничил себя, когда составлял «Камень». Ведь из разбираемого стихотворения следует, что эротика грозила, ни больше, ни меньше, как лишить поэта мотивации для писания стихов.

5

Ещё четыре стихотворения Мандельштама 1909 года, не включённые автором в «Камень» и предположительно обращённые к дочери купца Кушакова, куда более сдержанны.

В одном из них возникают уже знакомые нам мотивы нежности, звучащей речи, очей и плеч возлюбленной, а также яркого, белого дня. Единственный мотив, который нам ещё не встречался, это слеза лирической героини (сравните, впрочем, с первой строкой стихотворения, вошедшего в «Камень»: «Невыразимая печаль...»):

Твоя весёлая нежность
 Смутила меня.
 К чему печальные речи,
 Когда глаза
 Горят, как свечи
 Среди белого дня?

 Среди белого дня...
 И та – далече –
 Одна слеза,
 Воспоминание встречи;
 И, плечи клоня,
 Приподымает их нежность.²⁹

Второе стихотворение написано о возлюбленной, проигнорировавшей назначенное свидание:

Пустует место. Вечер длится,
 Твоим отсутствием томим.
 Назначенный устам твоим,
 Напиток на столе дымится.

 Так ворожащими шагами
 Пустынницы не подойдёшь;
 И на стекле не проведёшь
 Узора спящими губами;

²⁹ ОМ-1. С. 258. Подробнее об этом стихотворении см.: *Лотман М. Ю.* Мандельштам и Пастернак: попытка контрастивной поэтики. Таллинн, 1997. С. 72–74

Напрасно резвые извивы –
 Покуда он ещё дымит –
 В пустынном воздухе чертит
 Напиток долготерпеливый.³⁰

Это стихотворение перекликается не столько с уже рассмотренными выше стихотворениями, где, как ни странно, мотив губ возлюбленной не играет большой роли, сколько с ключевым для ранней мандельштамовской поэзии стихотворением «Дыхание» того же, 1909 года, открывающим первое издание «Камня»:

Дано мне тело – что мне делать с ним,
 Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
 Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
 В темнице мира я не одинок.

На стёкла вечности уже легло
 Моё дыхание, моё тепло,

Запечатлеется на нём узор,
 Незузнаваемый с недавних пор.

Пускай мгновения стекает муть –
 Узора милого не зачеркнуть!³¹

Ключевой метафорой первого стихотворения «Камня» стала метафора дыхания, тепло которого образует уникальный «узор» на «стёклах вечности». В стихотворении «Пустует место. Вечер длится...» используется весьма сходная образность: «И на стекле не проведёшь / Узора спящими губами». Но что означают эти строки, переставшие быть метафорой и превратившиеся в констатацию? Дать вариант ответа помогают частица «не» при глаголе «проведёшь» и эпитет «спящими» при существительном «губами». Почему – «спящими»? Потому что не реализовавшими свои возможности ни в прикосновении к стеклу чашки, ни (можно предположить) – в обмене репликами с возлюбленным, ни (можно предположить) – в поцелуях. Хотя стихотворение и завершается утешительным и примирительным эпитетом «долготерпеливый», всё оно представляет собой неакцентированный упрёк адресату, и в нём недаром трижды повторяются однокоренные слова с корнем пуст: «пустует», «пустынницы», «пустынном». При этом, как и в стихотворении «Медлительнее снежный улей...», субъект наделяет своими чувствами явления и предметы окружающего мира. Ведь его само́, как и адресата, в стихотворении нет – томится от отсутствия возлюбленной героя «вечер», а терпение проявляет «напиток», остывающий в чашке.

³⁰ ОМ-1. 262. Подробнее об этом стихотворении см.: *Гаспаров М. Л.* Статьи для «Мандельштамовской энциклопедии». С. 34.

³¹ *Мандельштам О.* Камень. СПб., 1913. С. 1. Подробнее об этом стихотворении см.: *Гаспаров М. Л.* Статьи для «Мандельштамовской энциклопедии». С. 20–22.

Мы оставили без объяснения загадочное словосочетание «ворожащими шагами» из второй строфы стихотворения «Пустует место. Вечер длится...» Оно отчасти проясняется после прочтения третьего мандельштамовского стихотворения 1909 года, скорее всего, обращённого к Кушаковой и не включённого в «Камень»:

Музыка твоих шагов
В тишине лесных снегов,

И, как медленная тень,
Ты сошла в морозный день.

Глубока, как ночь, зима,
Снег висит, как бахрама.

Ворон на своём суку
Много видел на веку.

А встающая волна
Набегающего сна

Вдохновенно разобьёт
Молодой и тонкий лёд,

Тонкий лёд моей души –
Созревающий в тиши.³²

В этом стихотворении «музыка» «шагов» возлюбленной тоже «ворожащая», потому что она меняет взаимоотношения между субъектом и окружающей действительностью. Судя по стихотворению, внутренний мир героя подражает внешнему миру. «Морозному» зимнему дню во внешнем мире соответствует «молодой и тонкий лёд», образовавшийся в душе героя. Но подобно тому, как «музыка» «шагов» адресата разрушает «тишину» «лесных снегов», «встающая волна / набегающего сна» (может быть, перетекающая из яви в сон «медленная тень» возлюбленной?) разбивает «лёд души» героя.

И, наконец, в четвёртом стихотворении 1909 года, не вошедшем в «Камень» и, скорее всего, обращённом к Кушаковой, вновь варьируется уже знакомый нам набор мотивов, связанный в ранней мандельштамовской поэзии с адресатом. Это её рука с «тонкими пальцами», а также «хрупкое тело» девушки. Новизна достигается за счёт неожиданного сравнения в финальной строфе. Здесь возлюбленная уподобляется средству («лодке»), помогающему прибыть к заветной цели, которая характеризуется как «милая земля» субъекта. Можно только догадываться, что под этой «землёй» подразумевается. Обретённая любовь? Единение «сердца» с «сердцем» и преодоление, таким образом, одиночества? Ясно лишь, что искомая цель может быть достигнута, если возлюбленная, протянув герою руку для поцелуя, затем не отнимет её обратно:

³² ОМ-1. 265–266. Подробнее об этом стихотворении см.: *Гаспаров М. А.* Статьи для «Мандельштамовской энциклопедии». С. 17.

Нету иного пути,
 Как через руку твою –
 Как же иначе найти
 Милую землю мою?

Плыть к дорогим берегам,
 Если захочешь помочь:
 Руку приблизив к устам,
 Не отнимай её прочь.

Тонкие пальцы дрожат;
 Хрупкое тело живёт:
 Лодка, скользящая над
 Тихою бездною вод.³³

6

К восьми стихотворениям Мандельштама 1909 года, возможно, обращённым к дочери купца Кушакова, примыкают два его стихотворения 1911 года, адресат которых нам неизвестен. Оба эти стихотворения также не были включены поэтом ни в первое, ни во второе издания «Камня». И в том, и в другом стихотворении особая роль была отведена ещё одной примете внешности адресата – её щекам, которые Мандельштам торжественно называет ланитами.

Первое, более сдержанное, стихотворение вокруг этого мотива организовано. Как и стихотворение «Музыка твоих шагов...», оно начинается с вписывания движущейся возлюбленной в природный, лесной ландшафт. Далее, как и в стихотворении «Музыка твоих шагов...», человек соотносится с окружающей его природой:

Ты прошла сквозь облако тумана.
 На ланитах нежные румяна.
 Светит день холодный и недужный.
 Я брожу свободный и ненужный...
 Злая осень ворожит над нами,
 Угрожает спелыми плодами,
 Говорит вершинами с вершиной
 И в глаза целует паутиной.
 Как застыл тревожной жизни танец!
 Как на всём играет твой румянец!
 Как сквозит и в облаке тумана
 Ярких дней сияющая рана!

4 августа 1911³⁴

³³ ОМ-1. С. 263. Подробнее об этом стихотворении см.: *Гаспаров М. Л.* Статьи для «Ман-дельштамовской энциклопедии». С. 36.

³⁴ ОМ-1. С. 278. Подробнее об этом стихотворении см.: *Гаспаров М. Л.* Статьи для «Ман-дельштамовской энциклопедии». С. 51.

Две начальные строки этого стихотворения отчётливо соотнесены с двумя финальными. Первая строка начального двустишия («Ты прошла сквозь облако тумана») варьируется в первой строке финального двустишия («Как сквозит и в облаке тумана»), а вторая строка начального двустишия («На ланитах нежные румяна») – во второй строке финального («Ярких дней сияющая рана»). В случае со вторыми строками – соотношение образов цветовой: «нежные румяна» на щеках возлюбленной преобразуются в кроваво-красную «рану» «ярких» осенних «дней». То есть «румянец» героини превращается в «румянец» олицетворённой осени, о чём прямо сказано в предпоследнем двустишии: «Как на всём играет твой румянец!» Важно отметить, что трагическая финальная строка стихотворения подготавливается, как минимум, с третьего двустишия. «Осень» здесь и далее в стихотворении предстаёт «злой» колдуньей, которая «ворожит» над влюблёнными³⁵, «угрожает» им «спелыми плодами», перешёптывается «вершинами» деревьев³⁶, а если и «целует», то заволакивая «глаза» «паутиной».

Строка «Угрожает спелыми плодами» парадоксальная, поскольку спелые осенние плоды традиционно изображаются как материальное и радостное воплощение изобилия. Что Мандельштам здесь имеет в виду? Яблоко злой ведьмы, отравившее прекрасную царевну? Или несущее потенциальную угрозу падению спелого плода с дерева (вспомним начальные строки четверостишия, открывающего второе издание «Камня»: «Звук осторожный и глухой / Плода, сорвавшегося с дерева»³⁷)? Однозначно ответить невозможно, однако важно обратить внимание на то, что в стихотворении «Ты прошла сквозь облако тумана...», кажется, впервые в поэзии Мандельштама, но далеко не в последний раз открыто возникает тема любви как опасности, любви как муки. Праздничная золотая осень не утишает печаль лирического субъекта, а, наоборот, растрavляет в нём ощущение одиночества и любовной тоски: «Светит день холодный и недужный. / Я брожу свободный и ненужный...»

Через три дня после только что разобранный стихотворения Мандельштам написал ещё одно поэтическое обращение к возлюбленной, в котором вновь возникает не только мотив её щеки, но и мотив жизни как танца (сравните в стихотворении «Ты прошла сквозь облако тумана...»: «Как застыл тревожной жизни танец!»):

Не спрашивай: ты знаешь,
 Что нежность – безотчётна,
 И как ты называешь
 Мой трепет – всё равно;
 И для чего признание,
 Когда бесповоротно

³⁵ Очевидно, что глагол «ворожит» обретает здесь совсем иную семантическую окраску, чем эпитет «ворожащими» из стихотворения «Пустует место. Вечер длится...»

³⁶ В том, что под «вершинами» здесь подразумеваются именно вершины деревьев, как представляется, убеждают строки из стихотворения Мандельштама «Холодок щекоchet тем...» (1922): «И вершина колобродит, / Обречённая на сруб» (ОМ-1. С. 124).

³⁷ Мандельштам О. Камень. Пг., 1916. С. 5.

Моё существование
Тобою решено?

Дай руку мне. Что страсти?
Танцующие змеи!
И таинство их власти –
Убийственный магнит!

И, змей тревожный танец
Остановить не смея,
Я созерцаю глянец
Девических ланит.

7 августа 1911³⁸

Легко заметить, что в этом стихотворении отразилось совсем другое настроение, чем в стихотворении «Ты прошла сквозь облако тумана...», хотя и здесь эротическое влечение изображается как опасное и губительное: «...Что страсти? / Танцующие змеи! / И таинство их власти – / Убийственный магнит!»

Образ губительной страсти, чьим воплощением предстаёт танец змеи, был подробно развёрнут в стихотворении Мандельштама предшествующего, 1910 года «Змей», вошедшем в первое издание «Камня». В этом стихотворении (с отсылкой к блоковской «Незнакомке») описано, как безвольная заворожённость страстью лишает героя его главного призвания – быть поэтом:

Я как змеёй танцующей измучен
И перед ней, тоскуя, трепещу;
Я не хочу души своей излучин,
И разума, и Музы не хочу...³⁹

Однако лирический субъект стихотворения «Не спрашивай, ты знаешь...» не только сам и вполне сознательно готов отдаться «таинству» «власти» «танцующих змей», но и призывает к этому возлюбленную. Он, как и в стихотворении «Что музыка нежных...», сначала заявляет, что слова абсолютно неважны в сравнении с «трепетом» тела («И как ты называешь / Мой трепет – всё равно»); затем решительно объявляет, что ничто в жизни, кроме страстного влечения к возлюбленной, его не интересует и так будет всегда («...бесповоротно / Моё существование / Тобою решено»); а в итоге лирический субъект предлагает адресату совершить символический жест, который объединит влюблённых в стремлении подчиниться воле «танцующих змей»: «Дай руку мне».

Новый этап развития любовной лирики Мандельштама начался в 1912 году, после его присоединения к группе поэтов-акмеистов. ■

³⁸ ОМ-1. С. 279.

³⁹ Мандельштам О. Камень. СПб., 1913. С. 10.

Wm



memoria
истории советской литературы



Ноях ЛУРЬЕ

12(24).12.1886 (1885?, 1887? – 18.05.1960

📍 Российская империя – СССР



Фото: из архива Юлии Винер

Новеллист, драматург, переводчик.

По поводу места рождения будущего советского писателя и одного из активных строителей еврейской советской общеобразовательной школы в Украине есть разночтения. По одной информации, он появился на свет в местечке Блашна Минской губернии (ныне это малюсенькая деревенька Блажки в Могилёвской области). Литературовед Илья Фурман уточняет, что из автобиографического романа Лурье «Лесная тишина» вытекает, что он родился даже не в местечке, а на лесной заимке. Но проф. Таня Нотариус обращает внимание на воспоминания своей бабушки Эстер Вевюрка, младшей сестры Нояха, которая рассказывала, что они жили в Слониме (Гродненская губерния) или рядом с ним в местечке Волчы Норы, где у их отца был лес.

Имеются разночтения и относительно года рождения Нояха Лурье. Согласно большинству источников – 1885-й. Однако его сестра Эстер, 1899 года рождения, говорила, что между ними была разница в 12 лет. Но мы должны учитывать то обстоятельство, что до Октябрьского переворота (1917) регистрация новорождённых велась по религиозным конфессиям, у евреев – в синагогах, и, соответственно, дату рождения записывали еврейскую. При переводе же в гражданское летоисчисление у родившихся в октябре–декабре могла возникнуть путаница: вместо 1885 года записали 1886-й.

Согласно роману «Лесная тишина» отец Нояха был смолокур, но Эстер вспоминала, что их родитель торговал лесом. Эта же информация записана и в справке НКВД, которую мы приводим ниже. Но в любом случае Гершель Лурье не передал сыну своё ремесло, а дал традиционное еврейское образование, и тот, повзрослев, в поисках заработка поехал по Литве, Польше, России, поработал грузчиком, строителем, учителем.

Проникся социалистическими идеями, вступил в «Бунд»¹ (1905),

¹ «Бунд» – «Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России», еврейская социалистическая партия, действовавшая в Восточной Европе с 1890-х до 1940-х годов.

побывал в заключении в первый раз (1908). После Февральской революции (1917) пошёл в армию. Живя в Киеве (с 1918), был членом центрального и исполнительного комитетов «Культур-Лиге»². Добровольцем пошёл в Красную армию (1920), участвовал в войне с Польшей. В следующем году возглавил в Киеве Еврейские педагогические курсы и руководил ими до конца 20-х.

С 1938-го находился в разработке НКВД УССР по агентурному делу «Боевцы»³, арестован в июне 1938 года, освобождён 26 марта 1939 года.

Писал сначала на иврите, затем на идише. В справочниках годом начала литературными занятиями называют 1911-й. Вероятно, потому, что тогда в Варшаве и Вильно были изданы его первые сборники рассказов «Фрайе эрд» («Свободная земля») и «Дер фрайнд» («Друг»). В 1917–1918-годах публиковался в изданиях «Бунда». Перевёл на идиш сказки Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, В. Гауфа, рассказы М. Горького, комедию Ж. Б. Мольера «Мнимый больной» и др. Опубликовал десяток книг прозы. Наиболее известны роман «Эле Йорш», повесть «Лесная тишина» (переведена на русский, 1957), сборник рассказов и новелл «Брикн бренин» («Мосты горят», 1929).

Из Киева перебрался в Москву.

Жизнь родственников, вернее, родственниц Нояха в той или иной степени оказалась связана с литературой. Сестра Эстер была замужем за еврейским писателем Авромом Вивьоркой (1887–1935). Дочь Тамара (1911–1990) – переводчица с польского и идиша. Внучка Юлия Винер (1936–2022) – писательница, переводчица с английского, французского, немецкого, польского, др. языков, автор книг стихов и прозы, изданных в Израиле и России.

² «Культур-Лиге» – объединение еврейских художников, писателей, режиссёров и издателей, созданное в Киеве в начале 1918 года для развития культуры на идише.

³ Агентурное дело «Боевцы» было сфабриковано в 1938 году 2-м отделом УГБ НКВД УССР. Его фигурантами сделали членов литературного объединения советских еврейских писателей Украины «Бой» («Стройка»), объявленных «националистами». Его продолжением стало в 1945 году агентурное дело «Круг».

Таня
НОТАРИУС



Время публиковать

13 февраля 2022 года в Иерусалиме скончалась Юлия Меировна Винер, дочь идишского писателя Меира Винера и внучка другого идишского писателя Нояха Лурье.

Про Юлиного родного, а моего двоюродного дедушку, Нояха Лурье, старшего брата моей бабушки Эстер – жены другого идишского писателя Аврома Вивьорки (фамилию дедушки, скончавшегося в 1934 году, порусски записали несколько отлично от того, как записали у бабушки), я много слышала с детства. Про то, как он, старший из детей в семье, учился в йешиве⁴ вместе со своим братом Шломо, ставшим потом первым еврейским пилотом, участвовал в «Бунде», принял революцию, создавал новую советскую идишскую литературу.

Про то, что он был репрессирован, но вышел из тюрьмы, благодаря помощи друзей-писателей, избежав страшной участи многих, бабушка упомянула лишь один раз: она боялась всю жизнь, травма тех лет была чересчур глубокой. Каковы же были моё изумление, недоумение и радость, когда, разбирая Юлины бумаги и архивные документы, я обнаружила папку с его именем и в ней пожелтевшие листки. «Что я видел» – 70 страниц порусски и столько же на идише, начинающиеся словами «Не думаю, что пришла пора публиковать такого рода воспоминания, но записать их надо.»

Никогда не публиковавшийся текст Нояха Лурье?..

Когда написан? Даты нет. Может быть, после войны? Как-то уж очень спокойно звучит голос повествователя.

На листах рукописные пометки. Сначала я подумала, что авторские, но потом поняла – это рука Тамары Ноевны, его дочери, Юлиной мамы. Текст читали и хранили, но только в очень узком семейном кругу, и сохранили, и теперь он дошёл до меня. Моему волнению не было предела.

Я написала о находке в соцсети, и д-р Велвл Чернин, идишский писатель и издатель, сразу выразил желание увидеть текст и подготовить его к печати. И на идише произведение опубликовано в журнале «Йидишланд».

Теперь очередь русской публикации, подготовленной Ириной Рувинской, поэтом и редактором, Юлиной подругой. Текст печатается по единственному (мне известному) оригинальному экземпляру, из личного архива Юлии Винер, перешедшего по её завещанию в моё распоряжение. Огромная благодарность всем, кто взял на себя работу по подготовке публикации.

Иерусалим

11 ноября 2023

⁴ Йешива (ивр.) – в данном случае: еврейское учебное заведение, где изучают Тору, Талмуд.



Воспоминания писателя Нояха Лурье, деда поэтессы, писательницы, переводчицы Юлии Винер (1936–2022), со стороны матери, были найдены в её личном архиве в двух версиях, идишской и русской (авторский перевод). Оригинал на идише был подготовлен к печати Велвлом Черниным и опубликован в литературном ежеквартальном журнале «Йидишланд» (№ 18–19, 2023). Настоящая публикация является первой для русской версии воспоминаний.

Автор не указал, когда написал воспоминания. Наверняка, позднее 1946 года. В тексте упоминается МГБ, а Народный комиссариат госбезопасности (НКВД) был переименован в Министерство в марте 1946-го. Велвл Чернин считает, что они появились во 2-й половине 50-х. С ним трудно не согласиться. Разве во время кампании по «борьбе с космополитизмом» или во время «дела врачей» могла появиться фраза: «Не думаю, что пришла пора публиковать такого рода воспоминания, но записать их надо»? Скорее всего, текст был создан в период «оттепели», возможно, после XX съезда КПСС (1956). Впрочем, из приведённого ниже свидетельства Тани Нотариус, внучатой племянницы Н. Лурье, видно, что страх поселился в семье на десятилетия. И это при том, что мало кому тогда повезло так, как ему – он был освобождён менее чем через год после ареста и прожил ещё больше 20 лет!

Подготовка к печати этих воспоминаний оказалась отчасти продолжением моего проекта «Время вспоминать» (2014–2021) в издательстве «Достояние» (главный редактор А. Кучерский). Мы подготовили и издали 7 выпусков альманаха «Время вспоминать», в которых приняли участие около 150 авторов из 11 стран⁵. Многие из наших авторов тоже писали о том, как они и их близкие пострадали в период сталинских репрессий. О своём деде со стороны матери Арнольде Исааковиче Бернштейне (1890–1938) написала в одном из выпусков и я – то небольшое, что удалось узнать и найти. И теперь, когда, сопоставив даты, я вдруг поняла, что он был расстрелян в Харькове буквально за несколько дней до ареста Н. Лурье в Киеве, эта работа стала для меня ещё более личной.

Как демонстрирует нам время, материалы того периода сейчас крайне актуальны.

Я благодарна:

- проф. Тани Нотариус, в распоряжении которой находится архив Ю. Винер, за возможность с ним работать,
- д-ру Илье Фурману за консультации,
- Елене Кудрявцевой за набор текста воспоминаний,
- Соне Таубин за оцифровку фотографий из архива Ю. Винер, приведённых в тексте.



Альманах «Время
вспоминать»



Книги издательства

⁵ <https://kniga-book.com/category/читальный-зал/альманах-время-вспоминать>
и <https://kniga-book.com/product-category/products>

Что я видел

Не думаю, что пришла пора публиковать такого рода воспоминания, но записать их надо.

Идешь по улице, радуешься солнцу, зелени, детям, красивым женщинам. Сердце твоё чисто, кровь шумит в жилах, как музыка. И вот подходит к тебе плюгавый человечек в штатском. Кивком приглашает тебя в ничем не примечательную дверь ничем не примечательного серого дома, и ты попадаешь в страшный мир.

Такое видение нередко мучило меня в то время (1937–1938 гг.). Так приблизительно оно со мной и случилось.

В начале июня я вместе с двумя другими писателями был командирован на литературный вечер в Звенигородку. После полуночи я с маленьким чемоданчиком в руке отправился на станцию. Поезд уходил во втором часу. Жена проводила меня до Шевченковского бульвара. Было тихо, тепло, беззвёздно. Мы шли по безлюдной в тот час Тимофеевской улице и через каждые 10–20 шагов останавливались и целовались. Как молоды были тогда наши сердца!⁶ На углу мы попрощались. По бульвару и дальше я продолжал путь один. Было хорошо и немного тревожно. Дорога всегда возбуждает у меня смутные ожидания чего-то хорошего.

В саду, на скамьях перед открытой сценой, с которой мы выступали, собралось несколько сот человек. Нас хорошо слушали, проводили дружными аплодисментами. Настроение было приподнятое. Я читал последним. Выпив в буфете стакан сельтерской воды, я стал расплываться, когда кто-то, коснувшись моего рукава, отозвал меня в сторону и тихо спросил:

⁶ В 1938 г. автору было за пятьдесят. При этом весь текст и особенно его начало производят впечатление написанного гораздо более молодым человеком. Особенность психологического склада? И не будем забывать, что это его последний брак и жена значительно моложе. Никакой информации о ней найти не удалось. (Прим. Ирины Рувинской.)

– Вы Лурье Ноях Гершелевич?

– Да.

– Ступайте за мной. Вы арестованы.

В ту же минуту стали гасить фонари в саду и запирают буфет. Куда-то в тень отодвинулись мои товарищи. Когда я опомнился, вокруг меня, кроме двух конвойных, не было ни одного человека. И вот я уже на какой-то пустынной улице. Светит луна. Лают собаки. Гулко отдаются шаги в полудночной тишине. И было ясно: это конец; отныне я бесправный, отверженный. Надо готовить сердце к долгому страдному пути.



В подвале районного управления милиции я застал человек восемь. Все поднялись с коек. Начались взаимные расспросы. Меня больше всего интересовало судопроизводство. С крестьянами, составлявшими большинство арестованных, расправа была чрезвычайно короткая. Никакого следствия, никакого суда. Один, два допроса, начинавшиеся с мордобития и кончавшиеся подписанием протокола и ссылкой. Что на допросах бьют, подтвердили и другие.

Я лежал на твёрдой койке без сна. На душе было невесело. Неужели в Киеве, в Москве такие же порядки, такой же произвол?

Рядом лежал человек городского вида, экономист, как выяснилось из разговора, ему тоже не спалось. Всю ночь он бормотал, что кругом царит фальшь, работать как следует не дают, а потом ищут, на кого бы взвалить вину за неуспех. Выдвигаются не наиболее умелые и преданные, а наиболее изворотливые и хитрые. Законности, правосудия нет, правда никого не интересует. Кто попал в капкан, тот уже не выберется. Его так или иначе утробят, теми или иными средствами заставят очернить себя и товарищей. И т. д. в том же духе. Не хотелось верить, но возражать не было сил. У меня было такое чувство, словно моё тело резали тупым ножом. Вспоминались непонятные, чудовищные аресты последнего года и другие страшные явления, свидетелем которых мне доводилось быть: вымершие деревни, людоедство. Неужели всего этого нельзя было избежать?

Спустя сутки меня отправили в Киев. Мы с конвоем занимали крайнее купе в жёстком вагоне. Против нас у окна сидело двое немолодых евреев с очень живыми, пытливыми глазами. Утром, когда я вышел по нужде, конвойный проводил меня. Я вернулся в ту минуту, как двое моих соседей, раскрыв чемоданчик, вынули оттуда четвертинку, колбасу и булку, готовились завтракать. Водку налили в крышки от термосов, поглядывая в мою сторону, чокнулись и один из них сказал по-еврейски слова, которые глубоко обрадовали и запомнились:

נו, זאָל גאָט געבן, לַמַּטִּישׁע מַעֲנִשׁוֹן זאָלן קאָנען גיין פֿיִשׁ אָן אונטערפֿירער!⁷



В Киев мы прибыли после полудня. Привокзальная площадь была залита потоком ослепительного солнца. У выхода меня встретила жена. Запомнилось

⁷ «Дай Б-г, чтобы порядочные люди могли сходить пописать без сопровождающих!» (идиш). Эта фраза вписана автором от руки, видимо, для него важно было сохранение эффекта «чужого (то есть родного) слова». (Прим. И. Р.)

её лицо – страдальческое и гневное, почти безумное. Запомнились её слова: «Я буду землю рыть, не успокоюсь, пока не будет восстановлена справедливость». Конвойный снисходительно улыбнулся.

Свидание длилось не больше минуты. Ждала машина НКВД. Ничего угрожающего в наружном её виде не было. На оконцах – голубенькие занавески. Для полного уюта не хватало только горшков с геранью. Но внутри всё выглядело иначе. Я оказался в наглухо запертом тёмном и тесном железном сейфе со слабо просвечивающими узкими щёлочками крохотного вентилятора в одном из верхних углов. Жара в этой коробке была невыносимая. Нечем было дышать, в висках стучало, словно по голове били молотом. За стенками машины шумел город, но по каким улицам, куда едем, не видно было. «Так везут на гибель», – подумалось, и сердце сжалось от обиды и боли: «За что? И ради чего? Кому это нужно?».



Трудно передать, как по-щенячьи я обрадовался, когда меня вытащили из этой страшной коробки. На несколько секунд я увидел день, увидел небо. Хотелось взлететь, кинуться к нему, как к другу.

Но вот я уже в какой-то пустой комнате. Обыск. Меня раздели догола. Велели стать раком и заглянули в задний проход, нет ли там чего-нибудь запретного. Забрали галстук, подтяжки, пояс – чтобы я не мог повеситься. Срезали все пуговицы на брюках – металлические. Если хорошенько отточить и потом долго и упорно себя резать, то можно зарезаться. Вышел я после обыска, придерживая руками падающие брюки с открытой ширинкой. Почувствовал с убийственной ясностью – я уже не человек, а всего-навсего человечина, вздёрнутая на конвейер и поступившая на обработку.

После осмотра меня поместили в кабину. Та же будка телефона-автомата, только дверь не со стеклом, а с глазком, и у стенки напротив прибитая узкая дощечка. Усесться на неё сколько-нибудь удобно невыносимо, можно опереться четвертью задницы. После 15–20 минут сидения на этой скамье во всем теле начинается невыносимая ломота. Встаёшь, стоишь час, другой. Над головой горит лампочка. От нехватки воздуха весь вянешь, задыхаешься, тело, как тряпка, оседает на пол. Стук в дверь: нельзя сидеть на полу. Поднимаешься, снова пробуешь опереться на дощечку. В глазах темнеет. Не думаю, чтобы предсмертная агония была мучительнее. По соседству кто-то стонет. В дальней кабине кто-то, не послушавшись, улётся на полу. Его бьют, осыпают матерной бранью. По мягкой дорожке коридора время от времени проводят арестованных. Щёлканье пальцев, звуки «тсс», восклицания «давай!». Сколько длится эта пытка, что сейчас на дворе – день или ночь – не знаешь. Ты весь – мешок тупой боли. Есть не дают, и не хочется. Когда терпеть становится невозможно, просишься в уборную. Там дышишь несколько минут лучшим воздухом.

Двое с половиной суток сидел я в этой кабине без сна, без еды, без воздуха. Никто мной не интересовался, ни о чём меня не спрашивал. На второй день, спустя некоторое время после того, как страже принесли обед, открылась дверь и конвойный, поставив передо мной остаток борща и сунув в руку кусок хлеба, сказал: «Рубайтэ». Это было против правил. Конвойным воспрещены бы-



ли такие жесты. Еда не лезла в горло, но я считал своим долгом принять этот дар сердца и заставил себя съесть все. Это был единственный знак признательности, который я мог проявить в тех условиях.

Сидя в этой кабине, я сочинил следующие стихи (впервые в жизни на русском языке):

Живёт ещё всё то, что я любил:
Свет солнца, песня, мысли орлий взлёт,
А я один в крошечной тьме, без сил,
Меня везут куда-то, как убойный скот.

За стенками машины город глухо клокотал,
Ловило жадно ухо улицы прибой.
«Прости, сердечная», – невольно я шептал,
Казалось, тень твоя бежит за мной.

Казалось, мне кивают тополя,
И площадь каждая, и каждый поворот,
И загородняя зелёная земля
Глазами провожает мой уход.

Кабина. Лампы блеск, как страшный сон,
 За дверью шиканье, шаги и крик «давай!»,
 За переборкой чей-то безутешный стон.
 О, воля, счастье моё, прощай!

Была ещё одна строфа. Не помню.

Не знаю, нарочно ли меня подвергли этой пытке или обо мне просто забыли. Доходившие до меня крики и вопли говорили, что разумней всего молчать. Около 60 часов длилось моё заключение в безвоздушной клетке. Это были 60 часов медленного удушения. Это была чудовищная, поистине inferнальная ночь. И странно – изнемогая, я всё же в глубине души сохранял искру какого-то любопытства: а ну-ка, посмотрим, что мне тут покажут!.. И показали.

Когда меня взяли из кабины для того, чтобы отвести в тюрпод⁸, я до того был измочален, что еле держался на ногах. Машина подаётся так, что она задом примыкает вплотную к выходу. Всё-таки я успел глотнуть свежего утреннего воздуха (до сих пор помню вкус этого ни с чем не сравнимого глотка) и увидеть ясное утреннее небо. Было ещё очень рано, около пяти, я думаю. В камеру меня ввели в половине шестого. Я застал там четырёх человек. Все ещё спали, но при моём появлении немедленно стали расспрашивать: кто, откуда и т. п. У меня было только одно желание – лечь. Свободной койки не было, постельных принадлежностей тоже. Я готов был растянуться на полу. «Что с вами, отчего вы так устали?» Не хотелось вступать в объяснения, не было сил. Да и неизвестно было, с кем имеешь дело. Кто-то сказал: «Вы, конечно, считаете себя невиновным, а нас – преступниками и поэтому не хотите с нами разговаривать». Я ответил, что просто очень устал и хочу спать, но тут же узнал, что поспать не удастся, так как через 15–20 минут пробудка, после чего лежать и даже сидеть с закрытыми глазами не разрешается. И так до одиннадцати часов вечера.

Страшно ныли руки. Дело в том, что вот уже третьи сутки мне всё время – и днём, и ночью, и в боксе, и в машине, и сейчас в камере – приходилось держать штаны, чтобы они не падали. Представляю себе, какой у меня был смешной и жалкий вид. Но обитателям камеры это, очевидно, казалось естественным. Иголки и нитки, конечно, ни у кого не было. Мне предложили спичку. Её следовало прободать в сукне дырку, затем, надломив, застегнуть. Л-кий, тугой на ухо старик с измученным и всё же очень живым лицом, легко вспыхивавшим озорным огоньком, бывалый арестант, как я потом узнал (из левых эсеров), пришёл мне на помощь, показал, как это делается. То, что руки мои, наконец, освободились от нелепой службы у штанов, подействовало на меня ободряюще.

Пошёл первый «нормальный» тюремный день. Проверка, уборная, кипяток, хлеб (500 гр.), два куска сахара, два раза в день баланда, жидкая, почти без жира. Ни мяса, ни каши. Ничтожный, полуголодный паек. Прикупать не разрешалось. Есть первое время и не хотелось. Волновало другое.

Становится неловко перед самим собою, когда вспоминаю, каким я в то время ещё был простаком. И всерьёз верил, что в органах безопасности работают

⁸ Существует несколько значений слова «тюрпод»: тюрьма под зданием НКВД, тюремный подотдел городского отдела НКВД и тюремный подвал, где производились расстрелы заключённых. Здесь имеется в виду первое. (Прим. И. Р.)

наиболее идейные и морально проверенные большевики, верил несмотря на то, что аресты тех лет часто казались загадочными, а иногда выглядели, как диверсия. Я невольно искал всему оправдание, хотя и трудно было придумать что-нибудь убедительное, говорил себе, что, вероятно, не всё знаю, что тут есть какие-то неизвестные мне причины, какие-то высшие соображения. Так думали в то время многие. Трудно было примириться с мыслью, что один из важнейших органов советского государства поражён коррозией и что именно этому порочному загнивающему органу предоставлена неслыханная власть. Неужели в самом деле идёт перерождение диктатуры пролетариата в диктатуру над пролетариатом, над партией, над народом? Такие сомнения лезли в голову, но слишком больно и страшно было им поддаваться, и, вопреки всем фактам и ударам, мысль снова и снова трепыхалась в поисках объяснения и оправдания происходящего. Попав в тюрьму, я говорил себе, что нет худа без добра. Вот тут-то я, наконец, сам увижу механизм этого таинственного учреждения и узнаю, чем оно дышит.

– В чём вас обвиняют?

– Со мной ещё не говорили. Не знаю за собой никакой вины.

– Тем хуже для вас.

– Почему?

– Я тоже не знал за собой никакой вины, и они тоже.

– Ну и хорошо.

– Вот и нехорошо. Раз вас арестовали, значит, вы преступник, а если не хотите сознаться, вы злостный преступник, и с вами нечего церемониться.

– То есть?

– То есть вас поджаривают на раскалённых угольях, пока вы не начнёте сознаваться.

– Что это – метафора?

– Очень близкая к действительности. Ну, не поджаривают на угольях, так топчут ногами.

– Это уже без метафор?

– А если отшибут почку, вам больше понравится?

– Вам отшибли почку?

– Было всякое. Подробности сами узнаете.

С таких бесед начался день. Всего нас в камере было пять человек. Эсер Л-кий (он продолжал считать себя левым эсером и не делал из этого секрета) оказался интересным стариком, очень начитанным во многих областях знаний, очень своеобразно мыслящим, любил хорошую художественную литературу. Многолетние мытарства по тюрьмам и лагерям его измучили, но не раздавили. Он охотно вступал в спор, вообще был настроен полемически. Очевидно, всерьёз верил, что левые эсеры владели волшебным ключом к разрешению всех проблем и бед русской действительности, и, проглядев левых эсеров, история совершила большую оплошность. Кстати, глухота ставила его в удобное положение. Он говорил вполголоса, а возражать приходилось громко, что часто вызывало вмешательство надзирателя. Громкие разговоры были запрещены.

Жалко было старика, но его дело было как-то понятно и объяснимо. Правда, по его словам, он давно, задолго от последнего ареста, отошёл от активной

политической деятельности. Однако ещё более щемящей и мрачной оказалась участь другого арестованного, члена партии, слушателя Института красной профессуры, человека, в малоподвижный мозг которого все партийные положения и установки были вмонтированы, как арматура в железобетон. Наука давалась ему с большим трудом, и он не знал и не хотел знать никаких колебаний и сомнений. Украинское крестьянство, при всех своих бунтарских традициях и всем своём вольнолюбию, издавна было поставщиком идеальных унтер-офицеров, рьяных, исполнительных служак. Этот украинец (не только по фамилии), о котором тут идёт речь, был по образу мыслей и по всему своему складу таким идеальным партийным унтер-офицером; я убедился в этом, наблюдая его изо дня в день в течение полутора месяцев. Арест и особенно упорство и жестокость, с которым от него требовали, чтобы он признал себя контрреволюционером и оговорил товарищей, довели его до грани психической катастрофы.

Это был рослый, здоровый мужик лет тридцати пяти, но после трёхнедельной обработки (он был арестован на три недели раньше меня) он до того изнервничался, что при каждом стуке в дверь или звуках приближающихся шагов в коридоре или гудка машины у ворот менялся в лице, начинал метаться по камере, цепляться за стул, за чей-нибудь рукав, как бы ища спасения. Видно было, что человек совершенно не владеет собой, весь во власти какого-то безумного страха. «Это за мной. Опять...» – шептал он, дрожа от озноба.

Он был малоразговорчив и косноязычен, чаще всего угрюмо ходил взад и вперёд по камере, лишь изредка вскидывал на кого-нибудь глаза не то с вопросом, не то с мольбой. Говорил он всегда об одном: почему и для чего это делается? Может, он чего-то недопонимает. Мыслимо ли, чтобы столь упорно и последовательно проводимая страшная кампания была лишена всякого государственного смысла?

По его понятиям, это исключалось. Время от времени он осторожно высказывал те или иные предположения.

– Может быть, в ближайшем будущем ожидается война?

– Безусловно ожидается. Ну и что же?

– Ну и хотят очистить страну от сомнительных элементов.

– Вы считаете себя сомнительным элементом?

– Нет, конечно. Но другие... Не могу же я поручиться за всех. А вместе с неблагонадёжными страдает и некоторое количество честных советских людей. Ошибки в такой массовой кампании неизбежны. Лес рубят, щепки летят.

– А почему вдруг понадобилось такое массовое избиение наиболее активной части советского общества? И для чего всех заставляют опорочить как можно более широкий круг знакомых и незнакомых?

– Вот этого я не понимаю. Это меня мучает.

Он думал об этом непрестанно. Бывало, кто-нибудь из нас рассказывает интересный случай из жизни, смешной анекдот или заговорит о какой-нибудь книге. Он ни в каких посторонних разговорах не участвовал, не слушал, был занят всегда одной мыслью.

– Может быть, на руководящие посты этого учреждения пробрались агенты врага, и они нарочно избивают советских людей, готовят контрреволюционной переворот? Нет, нет, это невозможно. Их бы разоблачили.

Однажды он пришёл с новой идеей. Социалистическое строительство переживает большие трудности, естественные и неизбежные в данных исторических условиях. Народу приходится нести непосильные жертвы. А для того, чтобы массы не потеряли доверия к руководству и не отшатнулись от социализма, надо, выгораживая партию в целом, находить конкретных виновников неудач и осложнений. Эти конкретные виновники – я, ты, он, мы все, любой из нас. Вчера расплачивались одни, сегодня расплачиваются другие, завтра придёт черёд ещё кого-нибудь, пока дело не выберется на большую дорогу.

Примечательно, что эта жуткая идея его как-то устраивала. После нескольких недель мучительного конфликта со следствием она помогла ему перейти на позицию податливого отгадывания желаний следователя, установить взаимопонимание. Страдая от того, что ему приходится клеветать на себя и на товарищей, он утешал себя тем, что это не напрасно, что тут есть высокая цель, что это полезно для партии.

Этот человек являл собой поистине удивительный в своём роде образец преданности партии, в этой преданности было что-то одновременно и трогательное, и пугающее.

Был в камере ещё один любопытный персонаж – некто Попов, до ареста служащий во «Всекохудожнике»⁹, а в более далёком прошлом сотрудник «органов» на каких-то ролях. Брюнет, красавец с наглыми и слащавыми глазами. Очень любил разговоры на сексуальные темы. Политические вопросы его совершенно не занимали, и самый интерес к ним ему казался подозрительным. По службе ему, очевидно, приходилось встречаться с художниками, он знал о них все сплетни, но к искусству по существу был глубоко безразличен. Охотнее всего он рассказывал о своих любовных приключениях, причём бабы, по его словам, неизменно проявляли чрезвычайную предприимчивость, он же обычно держался пассивно и нередко оказывался несостоятельным, что будто бы приводило его партнёрш в совершенное бешенство и они из кожи лезли, чтобы его завоевать. В его рассказах было, разумеется, немало вранья, и суть не в них, а в том, что такой отвратительный пошляк был приставлен к художникам в качестве «ангела». Не сомневаюсь, что он исполнял такую роль.

Возвращаюсь к первому дню моего пребывания в камере. Я ждал, что меня немедленно вызовут к следователю, и даже огорчился, когда этого не произошло. Сидеть на табуретке лицом к глазку оказалось крайне изнурительным занятием, а именно таково было нормальное положение, какое требовалось от арестанта в этом богоугодном заведении. Клонило ко сну, ведь я не спал уже пятые сутки (ночь в Звенигородке, ночь в пути, двое с половиной суток – т. е. два дня и три ночи в боксе). Но как только глаза у кого-нибудь из заключённых начинали слипаться, немедленно раздавался резкий, предостерегающий стук в дверь. Можно было ещё ходить взад и вперёд по камере, но после 60-часового стояния страшно ныли ноги, просто отказывались служить. День тянулся бесконечно. Само время, его длительность, воспринималось, как нечто тягостное, почти невыносимое.

⁹ Всероссийский союз кооперативных товариществ работников изобразительного искусства, существовавший с 1928 по 1953 год и объединявший артели художников, скульпторов, мастеров ремёсел. (Прим. И. Р.)

Наконец – 11 часов, отбой, можно лечь. Блаженство – пожалуй, единственное слово, которым можно охарактеризовать состояние, охватившее моё тело, когда оно, наконец, оказалось в горизонтальном положении. В эти минуты я забыл всё – где я, кто я, что меня ждёт. Только в детстве, кажется, после длинного летнего дня тело отдавалось первому сну с таким сладостным самозабвением. И вдруг, только блаженная мгла стала обволакивать мозг, со скрежетом открылась дверь и в камеру вошёл надзиратель. Я уже знал, что это значит, днём уже было такое. Молча тычет он указательным пальцем в меня и тихо произносит:

– Одевайтесь. Быстро.

Голодный младенец, когда его отрывают от материнской груди, должно быть, испытывает нечто подобное тому, что я испытал, когда мне пришлось оторваться от моей жёсткой арестантской постели. Я не лежал и десяти минут.

И вот я снова в кабинете. Близость встречи со следователем сразу взвинтила нервы. Ждать, однако, пришлось довольно долго, часа два. Пошли. Готовься, сердце. Длинные коридоры, этажи. Шаги тонут в мягких дорожках, яркий свет и тишина. В тишине раздаётся время от времени пощёлкивание пальцев: берегись, преступника ведут.

Наконец мы на этаже следователей. Множество дверей с обеих сторон. Двери закрыты, но за ними кипит работа. Слышны окрики, ругань, удары, стоны, вопли – голоса застенка.

Пока меня сдают, присматриваюсь к моему. Рыжеватый шатен со скучающим взглядом жёстких серых глаз. Фамилии не помню. После нескольких вопросов, установивших, что я именно тот, который им вызван, мне было предъявлено обвинение – принадлежность к контрреволюционной националистической организации, антисоветская деятельность и шпионаж. Меня предупредили в камере, что это минимум, и всё-таки я был потрясён. Задыхаясь от волнения, я стал что-то лепетать, возмущаться, грубить, требовать доказательств. Минуты две он слушал с утомлённым видом, наконец остановил меня.

– Вот что, Ноях Гершелевич. Всё ваше красноречие не к месту. И оно вам не поможет. Запомните хорошенько то, что я вам сейчас скажу...

И он мне преподнёс формулу, которая уже была мне знакома по разговорам в камере: мы не арестовываем невиновных. Раз вы здесь, вы государственный преступник, и, если вы отрицаете свою вину, вы злостно-упорствующий преступник. А вам, наверно, известны слова Горького: «Если враг не сдаётся, его уничтожают».

Удушающая логика этого в корне фальшивого рассуждения и его назначение были совершенно ясны: у меня было такое чувство, словно мне подушкой зажали нос и рот и я вот-вот задохнусь. Всё же я ещё барахтался.

– Но я ведь не враг!

– А как вы это докажете?

– Это вы должны доказать, что имели основание арестовать меня.

– Мы ничего никому не должны доказывать. Повторяю: то, что мы вас арестовали, уже тяжчайшее доказательство вашей вины. Это наша первая встреча, и я вам не мешал говорить что угодно. Дальше дело пойдёт по-другому. Поддерживая левой рукой выпадающие внутренности, вы правой будете подписывать протокол.

Разговор продолжался часа полтора-два, и здесь переданы только основные моменты. Последнюю фразу, особенно запомнившуюся, я цитирую точно, слово в слово. Первый мой следователь оказался сравнительно культурным человеком. Ни криков, ни матерной брани. Тем внушительнее прозвучало его заключительное предостережение.

Настроение после допроса было у меня прескверное. Ожидая в кабине очереди на обратный проезд в тюрьму, я думал о только что состоявшемся разговоре. Всё во мне горело: сердце, мозг, все нервы. Это был бесплодный, истребительный огонь, не порождающий никаких мыслей, никаких решений. Сгорала вера. Сгорала душа, превращаясь в пепел.

В камеру я попал за полчаса до побудки. Больше не было сомнений – это система. Так осуществляется пытка бессонницей, о которой я что-то слышал ещё на воле. Дальше действительно дело пошло по-другому. Допросы и днём, и ночью. Тон круто изменился. Это уже была не нормальная человеческая речь, а пальба угрозами, оскорблениями, ругательствами. В ход был пущен мочеполовой лексикон поразительного богатства и разнообразия. Я услышал слова и словосочетания, о существовании которых не подозревал, хоть служил в старой армии и одно время жил по соседству с третьеразрядным домом терпимости.

Разумеется, это в какой-то мере был спектакль, сознательно применённый профессиональный способ воздействия. Но надо сказать, что актёр очень естественно, с удовольствием исполнял свою роль. Скука, которую он изображал при первой встрече, исчезла. Теперь им владело необычайное оживление.

В простоте сердечной я вначале воспринял этот поворот очень болезненно, был неприятно удивлён, даже шокирован и позволил себе это выказать.

– Вы же представитель важного государственного учреждения. Как вам не стыдно так разговаривать!

В ответ последовала первая пощёчина и град дополнительной отборной брани. С тех пор мне доставалось немало тумачков. Били меня и ремнём, и плёткой. Но должен сказать, что побои ничто в сравнении с бессонницей. Правда, меня не топтали ногами. Не били ножкой от стула, не били носком сапога в пах, не применяли специальных приёмов для того, чтобы отбить почки, повредить позвонки, как это делали на моих глазах со многими другими. Так или иначе, длительное, непрерывное лишение сна – страшная пытка. Как уже сказано, первая ночь у следователя была моей шестой бессонной ночью. Затем в течение девяти суток допросы шли и ночью, и днём. Я надеялся, что в воскресенье меня оставят в покое. Днём не позвали, но в начале двенадцатого, как обычно, повезли к следователю.

На этот раз допрашивал молодой парень, помощник, как вскоре стало ясно. Этот сразу накинулся на меня со все пылом молодости. Начал он всё той же цитатой из Горького: «Если враг не сдаётся, его уничтожают». Бедный Максим Горький! Если бы он знал, какие мерзости творились его именем. Исчерпав таким образом свой литературный багаж, он не тратя времени на постепенный переход, обдал меня, как из канализационной трубы, потоком зловоннейшей ругани и, предупредив, что не станет со мной церемониться, потому что я «не человек, а всего-навсего кусок дерьма», приказал мне назвать всех моих родственников,

всех друзей, всех знакомых и вообще всех сообщников. Старший следователь уже неоднократно разговаривал со мной на эту тему.

Я, разумеется, не мог отрицать, что у меня есть родственники и знакомые, что у меня были друзья. Скоро, однако, выяснилось, что речь идёт о другом: кто из них меня завербовал и кого из них я завербовал? Какой же в самом деле я член антисоветской подпольной организации, если я никого не вербовал и никто меня не вербовал, «это же курам на смех» (выражение старшего). Молодой энтузиаст заплечных дел с этого пункта и начал свой сеанс. Он увлекался, больше сам говорил, чем заставлял говорить меня. Тренировался в сногшибательных непристойностях и уничтожающих характеристиках, всячески старался втемашить мне, что я «не писатель, а шпана», даже порозовел от возбуждения.

Цель этого сеанса состояла, очевидно, главным образом, в том, чтобы и в эту ночь не дать мне поспать. Между тем силы мои уже были на исходе. Так, должно быть, себя чувствует истязуемый на дыбе. Все нервы болели, тело клонило к земле, сердце, казалось, вот-вот надорвётся. Но ты обязан держаться прямо, глаза должны быть открыты. На допросе возбуждаешься, и это немного поддерживает тебя. На десятые или одиннадцатые сутки бессонницы (не помню точно) я временами стал впадать в странные состояния. Мозг на минуту-другую затуманивался, я начинал бредить. Но тут же в ужасе, с диким криком или воем просыпался. Эти отягощённые кошмарами состояния полусна овладевали мной не только тогда, когда я находился в сидячем положении, но и на ходу, а раза два и тогда, когда я стоял перед следователем, что было особенно неприятно.

Некоторые из кошмаров, мучивших меня в минуты затмения, мне запомнились. Расскажу позже.

Слабели нервы, слабела воля. Минутами я за то, чтобы мне дали поспать, готов был на всё что угодно. Однажды я изложил следователю со всей откровенностью всё, что я думал о наших беседах:

– Мне уже ясно, что вам наплевать на правду и что действительно интересы государственной безопасности вас очень мало занимают. И в самом деле, угробить честного советского человека гораздо легче, чем поймать настоящего преступника-контрреволюционера. Вот вы и стараетесь придать смысл своему паразитическому существованию чёрной клеветой на миллионы хороших советских людей. Я раньше не понимал, как это получается, что все признают себя виновными и ряды антисоветских заговорщиков бесконечно растут. Теперь я получил некоторое представление о механизме этого дела. Каждый арестованный вынужден потащить за собой по меньшей мере ещё двух: того, кто его завербовал, и того, которого он завербовал. Тройка удваивается или утраивается. Так возникает цепной процесс, образующий лавину; я не переоцениваю своих сил и знаю, что в вашей власти сделать со мной всё, что вам заблагорассудится. Но я хочу, чтобы в наших отношениях была полная ясность. Вы требуете от меня лжи, и вы получите ложь. Я был советским патриотом. Я боролся с еврейским национализмом. Вы настаиваете на том, чтобы я объявил себя врагом советского государства и признал себя виновным в националистической деятельности. Если вы ещё долго будете меня мучать бессонницей, мне придётся это сделать. Но предупреждаю вас: я считаю это признание несерьёзным, при первой возможности я возьму его обратно.

Эту тираду я произнёс с таким чувством, словно делаю бог весть какой отважный и решительный шаг. На следователя она не произвела никакого впечатления. Зевнув, он сказал:

– Значит, вы, наконец, признаёте себя виновным? Садитесь и пишите, как это произошло, кто вас завербовал и кого вы завербовали.

Поспать так и не удалось ни в ту ночь, ни в следующую. Я написал о том, выступая публично против национализма и сионизма, я в душе оставался националистом, доказательством чему может служить тот факт, что подавляющее большинство моих произведений посвящено жизни еврейских масс. Я написал, что несмотря на то, что с начала 1920 года порвал с «Бундом» и вступил добровольцем в ряды Красной Армии, я в душе сочувствовал деградирующей буржуазии, доказательством чему служит мой рассказ «Под колесом», осуждённый пролетарской критикой. Я признал себя виновным в борьбе против так называемой пролетарской литературы. «Встречались ли вы с националистом Левитаном?». Итак, ортодоксальный до тошноты Левитан тоже считается националистом. Я знал, что он умер в ссылке. Я действительно с ним встречался – он был членом бюро секции еврейских писателей. «Встречались ли вы с ним помимо заседаний бюро?» Это не исключено. «Будем считать, что он вас завербовал. Ну, а кого вы завербовали?»

Мне и сегодня приятна мысль, что в этом пункте я не проявил никакой слабости. Шла шестнадцатая бессонная ночь. 11 часов. Отбой. Можно стелить. Страшная минута. Ложись и знаешь, что не успеешь сомкнуть глаза, как войдёт надзиратель и молча, как судьба, ткнёт в твою сторону пальцем.

Я проснулся от того, что кто-то тряс меня за плечо. Вскочил в страхе. Передо мной был не надзиратель, а товарищ по камере.

- Вы так жутко кричали. Перевернитесь на другой бок.
- Который час?
- Недавно пробило двенадцать.
- Сегодня уже не позовут?
- Трудно сказать.

У меня была одна мысль: спать, поскорее спать. Но внутренняя тревога мешала безмятежно отдаваться сну, и я этой ночью ещё не раз вскакивал в ужасе: то казалось, что слышу скрежет ключа, открывающего дверь, то мерещилось, что рядом со мной стоит надзиратель, указуя перстом.

Больше недели меня не трогали. Моего следователя, как я потом узнал, перевели в другой город. Так я получил возможность отоспаться. Вызвали меня днём часов в двенадцать. Передо мною был новый. Лет 35. Худощавый. Черноволосый, сероглазый. Он усадил меня против себя и с минуту молча в упор разглядывал. Я ждал.

- Ну, рассказывайте, – произнёс он наконец.
- Что рассказывать?
- Свою жизнь, свою деятельность.
- У вас есть моя анкета, моя автобиография.
- Я хочу послушать ваш голос.

Пришлось подчиниться, начать сначала. Кто были мои родители, где родил-

ся, где учился и т. д. Склонив ухо в мою сторону, он и в самом деле как будто вслушивался в мой голос. Зачем? Что его интересует? Неужели мера моей искренности, которую он надеется таким способом постичь? Странно. Но чем чёрт не шутит? Воспользуемся случаем, поговорим начистоту. Я рассказал, как велись допросы прежним следователем и решительнейшим образом отверг предъявленное мне обвинение. Некоторое время он слушал терпеливо, не перебивая. Вдруг он поднял руку.

– Хватит! Вот что, Лурье. Вы писатель. Я бывший преподаватель марксизма-ленинизма. Мы можем себе позволить вести разговор, как интеллигент с интеллигентом, на высоком уровне. Вы знаете слова Горького: «Если враг не сдаётся, его уничтожают», Лурье, послушайте меня. Возьмите, наконец, свои яйца в руки и выложите их на стол вместе с сердцем.

После загадочных и возвышенных гримас, которыми этот интеллигент высокого уровня начал разговор, концовка так поразила меня своей неожиданностью, что я невольно расхохотался. И тут оказалось, что у него в ящике письменного стола запасена плётка, каковой он незамедлительно огрел меня по спине. И весьма чувствительно.

– Вы не в клубе писателей. На забываете этого.

Цветков (фамилия этого следователя) мучил меня своими допросами недели две, но уже не так упорно и систематически, как первый. Раза два дал мне возможность поспать, отсылал не перед самой побудкой, а среди ночи. От жестоких и грубых наскоков вдруг переходил к витиеватым увещеваниям, всячески стараясь показать свою интеллигентность. Когда он очень круто нажимал, я, придерживаясь прежней тактики, заявлял, что не обольщаю себя надеждой устоять в борьбе с МГБ¹⁰, понимаю, что мне придётся признать себя виновным в грехах, которых не совершал, однако хочу быть уверенным, что следователь знает, что я их не совершал, и вся ответственность за ложь ложится на него.

С Цветковым мы до конца так ни к чему и не пришли. Как и в прошлый раз, вдруг наступил перерыв в допросах. Длился он, если память мне не изменяет, недель шесть-семь.

В середине июля меня перебросили на Лукьяновку¹¹. Прежде чем перейти к описанию этого наиболее богатого впечатлениями периода моей тюремной жизни, мне следует, пожалуй, добавить ещё кое-что к рассказу о времени моего пребывания в тюрьме Киевского отдела НКВД.

Как-то рано утром к нам в камеру ввели новенького. Вошёл высокий худой человек, весь какой-то бесцветный – волосы, глаза, лицо – и вместе с тем необы-

¹⁰ Ошибка автора, объясняющаяся тем, что воспоминания он писал во 2-й половине 50-х годов, то есть через 20 лет после описываемых событий. НКВД был разделён на НКВД и НКГБ в феврале–июле 1941 года и с 1943 года. НКГБ, как и все другие народные комиссариаты, переименован в министерство (МГБ) в 1946 году. (Прим. Велва Чернина.)

¹¹ Лукьяновская тюрьма (СИЗО № 13) – тюрьма на Лукьяновке в Киеве, ул. Дегтярёвская, 13. По данным сайта «Киев – от прошлого к будущему» (kyivpastfuture.com.ua), в 1937–1938 годах в кабинете коменданта по особым поручениям непрерывно происходили казни (трупы на специально оборудованных автомашинах вывозились на Лукьяновское кладбище и в Быковню; всего в 1937 году в Лукьяновской тюрьме казнили более 60 тыс., а в следующем – более 70 тыс. человек). (Прим. И. Р.)

чайно серьёзный, даже немножко торжественный. Вошёл, не поздоровавшись, стал в сторонке, никого не удостоил взглядом. Кто-то попытался узнать, когда его арестовали, как зовут. Он отвечал неохотно:

– Не всё ли равно, как зовут. И вообще. Меня не арестовали, а просто так.

– То есть как это просто так?

– Ну просто так – взяли. Наверно, им нужно что-нибудь выяснить. Ну спросить что-нибудь. Потом отпустят.

– Вы в этом уверены?

– Разумеется. Я не знаю за собой ничего такого.

– Мы все здесь тоже не знаем за собой ничего такого.

– Что? Я с вами не знаком и могу отвечать только за себя.

Наивность новичка была смешна, но понятна. Кто-то уступал ему свою табуретку, но он не сел.

– Спасибо. Постою.

Принесли хлеб, сахар, кипяток. Кто-то предложил ему часть своего пайка.

– Что вы? Не надо. Я никогда так рано не завтракаю. И вообще, меня не зачислили на довольствие. Скоро выпустят. Вот только что-нибудь спросят и отпустят.

Бедняге пришлось постоять на ногах довольно долго. Только в двенадцатом часу его позвали к следователю. Вернулся он часов в пять – жалкий, пришибленный. Вошёл, сел, опустил голову, подперев её ладонями, и не трогался с места. Только вздыхал время от времени и шептал: «Б-же мой, что это такое? Б-же мой!». В обед мы взяли для него порцию баланды, надзиратель передал для него пайку хлеба, но он и смотреть не хотел на еду. Всё шептал: «Б-же мой. Б-же мой, что это такое? Б-же мой!»

Наконец, он поднял голову, осмотрелся в страхе и, склонившись к сидевшему рядом с ним Попову, шёпотом спросил:

– Скажите, это (он указал пальцем на стены, на дверь) настоящее НКВД?

– А какое же ещё?

– Я хочу сказать – самое настоящее центральное НКВД?

– Самое настоящее и самое центральное НКВД, – передразнивая интонацию провинциального еврея, ответил Попов.

Но тот, видно, не заметил насмешки.

– Б-же мой, Б-же мой, что же это такое? – шептал он сокрушённо, с закрытыми глазами. Так сокрушался в тиш'о б'ов¹² набожный еврей, читая плач о разрушенном римлянами Храме.

Бывшего нкведиста это развеселило.

– Что они с вами там делали, – спросил он, – били?

– Нет, хуже. Слова. Б-же мой, какие слова!

Попов оживился.

– Какие, например? Б****, х**? – спросил он, потешаясь.

– Сказали, сказали.

¹² Тиш'го бе-ов (тиш'о б'ов), или в ивритском варианте тиш'а бе-ав (*ивр.*) – 9 Ава, национальный день траура еврейского народа, день разрушения Первого и Второго иерусалимских храмов. (*Прим. И. Р.*)

- Подумаешь. Ну, а что ещё? П** да, мандавошки?
- Сказали, сказали, – подтверждал еврей, чуть не плача.
- И это всё?
- Что вы? На стенках уборных, на ж. д. станциях вы такого не встретите, от последнего пьяного босика такого не услышите. Скажите мне, прошу вас: и это настоящее советское НКВД?
- Самое настоящее советское НКВД.
- Тогда ведь надо волосы на себе рвать! Что же вы так весело улыбаетесь?
- Он пробыл у нас немного больше суток. Потом его куда-то перевели.



У следователей в те годы было много работы, не хватало времени, не хватало места. Разговариваешь со своим, а за фанерной переборкой идёт обработка кого-то другого. Раздаются крики, вопли, удары, матерщина. Иногда допросы происходили в большой, не разгороженной комнате, где за отдельными столами работало одновременно несколько следователей. Впечатление фабрики, ещё вернее – мясного ряда. В одном углу кого-то бьют по морде, у другого стола заискивающий мертвец угодливо распластывается перед следователем, и тот его тут же премирует за это белой булкой и колбасой.

Однажды я был свидетелем отвратительной сцены. Какого-то чернявого человечка небольшого роста следователь мучил вопросом, кого он завербовал. Тот (судя по долетавшим до меня обрывкам разговора, инструктор обкома) упорствовал, говорил, сначала спокойно, потом всё запальчивее и нервнее, что никакой подпольной организации не было, что никого он не вербовал. Вопросы и ответы без конца повторялись, менялась только интонация. Со стороны казалось, что перед тобой сумасшедшие. И как бы в подтверждение этого впечатления следователь вдруг скомандовал:

– Смирно! Руки по швам!

Обвиняемый беспрекословно исполнил то, что от него требовалось.

– Встаньте на стул!

Обвиняемый был явно озадачен, не трогался с места.

– Для чего? – робко спросил оторопевший «преступник».

– Встаньте на стул!

Голос следователя звучал вдохновенно. Всем в комнате ясно было, что готовится нечто необычайное. Даже мой следователь прервал разговор со мной и обернулся, заинтригованный. Бедняга взгромоздился на стул, полный недоумения, в неуверенной плачевной позе стал лицом к публике.

– Выше голову! Поднимайте правую руку!

Несчастный слушался. Глаза его выражали страх, растерянность, однако он выпрямился, поднял руку.

– Теперь повторите за мной! – скомандовал следователь и на мотив «Чижик-пыжик» запел:

Я ни-кого не вер-бо-вал,

Я ни-кого не вер-бо-вал.

Человек на стуле молчал, видно, не ждал такого оборота, был ошарашен.

– Ну! – закричал следователь, взяв в руки плётку. – Будешь петь или нет? Я ни-кого не вер-бо-вал...

Человек на стуле, очевидно, был уже хорошо знаком с этим орудием правосудия. Он запел, плаксивым, жалким голосом стал повторять:

– Я ни-кого не вер-бо-вал...

– Громче! Веселее! – командовал следователь.

– Я ни-кого не вер-бо-вал,

Я ни-кого не вер-бо-вал.

– Ещё раз!

И тот повторил ещё раз. И вдруг следователь ловким пинком ноги опрокинул стул, на котором человек стоял, так что тот грохнулся на пол, и стал избивать его, приговаривая:

– Ах ты б****, ах ты сука, ах ты ё***ый! – и т. д. в том же роде.

Когда град побоев прекратился и несчастный встал, всё началось сначала.

– Ну, теперь вы скажете, кого вы завербовали?



Я ещё не рассказал о своих кошмарах. Один из них мне запомнился особенно отчётливо.

Снилось мне, будто я иду по тропинке. Слева крутая стена огромной скалы, справа – обрыв в бездонную пропасть. По краю пропасти кустарник. Иду и жду, иду и знаю, что из кустарника появится зверь. И вот он передо мною. Человекоподобная огромная голова, чудовищно широкие плечи и карликовые кривые ноги. Пальцы необутых ног (весь он без одежды, покрыт шерстью) перетянуты перепонкой, и на них железные копыта. Уродливо растянутый рот чудовища лоснится от похоти и крови. Глаза холодные и жестокие, как у тигра, и вместе с тем человечески циничные и глумливые. Стоит на тропинке так, что не пройти, и смотрит на меня в упор.

– Пропусти, – прошу, – там мой дом.

– А что ты дашь?

– У меня ничего нет. Ты же видишь.

И в самом деле. На мне какая-то рвань, сквозь прорехи видно голое тело.

– Дай мясо, – говорит чудовище.

– Какое мясо? Откуда?

– Своё мясо дай. Мясо, кровь. Люблю.

Оказывается, что у меня в руках нож, хорошо отточенный кривой ножик, финка. Одним ударом отсекаю большой палец левой руки и бросаю зверю. Тот ртом на лету ловит брошенное ему лакомство, быстро проглатывает и облизывается.

– Ещё.

Отсекаю следующий палец, третий, четвёртый и, наконец, последний. Зверь их ловит и проглатывает с наслаждением один за другим и каждый раз восклицает:

– Ещё!

Натягиваю тело на боку и отрезаю изрядный кусок. Чудовище проглатывает его с такой же быстротой и, не только не насыщаясь, а наоборот, всё более и более распаяясь, кричит:

– Ещё! Ещё! – и подсказывает: – Рёбра давай! Люблю рёбрышко!

И вот я таким же порядком, как и пальцы, начинаю вырезать ребра и одно за другим бросаю их чудовищу, а оно, всё более пьянея, повелительно и вкрадчиво требует:

– Сердце! Сердце давай! Сердце!

И тут я наконец останавливаюсь. Нож вываливается из руки, исчезает. Я весь в ранах. Кровь льётся по рукам, по животу, по ногам. Но сердце отдать не могу. И прижимая к груди окровавленную кисть, кричу с болью:

– Не могу! Не могу! Не дам! Не дам!

И просыпаюсь с криком.

Мучительнейшей особенностью этих кошмаров была их необычная для сновидений явственность, болезненно врезающаяся в память отчётливость и реальность. Это были скорее бредовые видения наяву, чем сны. Хорошо запомнилось несколько таких кошмаров, но встреча с человекоподобным чудовищем, пожалуй, наиболее верно отражает моё тогдашнее состояние.



На Лукьяновку я попал в середине июля. Камера, в которую меня поместили, была рассчитана на 16 коек. Я застал там огромную толпу людей и никакой мебели, кроме трёх коек с одной стороны и столько же с другой, оставленных для слабых здоровьем старожилков. Мне сообщили, что я 119-й. По углам люди кружками сидели на полу. На койках места для сидения предоставлялись по очереди. Посередине камеры и между койками стояли кучки и тихо беседовали. Кое-кто, ухищряясь, прохаживался по узким, извилистым промежуткам между телами. У задней стены, скрываясь за толщей тел от глаз надзирателей, отсыпались измученные ночными допросами. Состав и по возрасту, и по характеру показался мне весьма разнородным и пёстрым. Потом это подтвердилось.

Наша камера была на втором этаже. Внизу помещались «кабинеты». По ночам часов до четырёх там производились допросы. Из нашей густонаселённой камеры брали людей каждый вечер. Неизменно кое-кто возвращался с чёрной от побоев спиной, не будучи в состоянии выносить малейшее прикосновение к ранам, немедленно раздевался и ходил обнажённым по пояс, устрашая всех своим видом. В отличие от НКВД, где удары наносились преимущественно кулаком или плёткой, здесь излюбленным орудием была ножка от сломанного стула. Всю ночь снизу доносились нечеловеческие крики и стоны допрашиваемых. Истязали одновременно в нескольких камерах, вопли сливались в страшный многоголосый вой. Всё здание, казалось, ходит по волнам этих воплей, как терпящий крушение корабль в шторм.

Слушали мы эту музыку в те часы, когда нам полагалось спать. Спали все (за исключением нескольких, по причине своей неспособности пользовавшихся привилегиями) на полу посередине камеры. Между койками и даже под койками. Ни подушек, ни подстилок не было. Лежать приходилось прямо на цементе. У меня, например, подстилкой служили брюки, под голову я клал пиджак. Почти все спали голышом, в одних трусах. Тела лоснились от пота. В камере стояла изнурительная жара. Места на полу не хватало. Лежать приходилось на боку

впритык к спине соседа, притом так, что ноги одного ряда помещались на плечах следующего ряда. Чтобы перевернуться на другой бок, надо было подняться, стоя изменить положение и затем кое-как втиснуться в прежнюю щель. Чтобы пробраться к параше, надо было с большой ловкостью выбирать промежутки, куда можно было бы поставить ногу без особенного вреда для спящих, петлять и лавировать с осторожностью и расчётом. Спросонок это не всем удавалось, и весьма часто среди ночи вспыхивали стычки и перебранки.

Лежишь без сна. Внизу, надрывая душу, истошно кричат истязуемые. Над головой ярко горит лампа. Огромный пол усеян голыми телами, храпящими, хрипящими, скрежещущими, завывающими, стонущими во сне. Кто-то в дальнем ряду, как и я, не спит, смотрит открытыми горестными глазами куда-то за стены, в ночь. Кто же они, эти отверженные, объявленные вне закона, брошенные в адский котёл? Хотелось проникнуть в их мозг, подслушать их думы. Обстановка благоприятствовала этому. За более чем двухмесячный срок моего пребывания в этой камере мне довелось выслушать немало задушевных исповедей, близко узнать сердца многих людей. Постараюсь написать хотя бы о некоторых из них. Однако раньше надо рассказать ещё кое-что о быте тогдашней Лукьяновской тюрьмы.

Раз в две недели нас водили в баню. Одежда сдавалась в дезинфекционную печь и возвращалась к нам в полуистлевшем состоянии, но очищенная от насекомых. С нас в предбаннике снимали машинкой волосы с головы и с другого места. Машинки были тупые, цирюльники (уголовные) работали быстро и нерядливо, рвали волосы вместе с кожей. Зато мыться после того, как две недели томились в душной камере, было истинным наслаждением. Ощущение струящихся по телу потоков чистой очищающей воды заставляло забыть на время обиду, несправедливость, лишения, всю муку и гадость неволи и бездумно, до опьянения предаваться чудесной плотской радости.

В бане обнаружилось ещё одно обстоятельство, как-то скрасившее нашу однообразную затворническую жизнь. Оказалось, если стать на скамью, тогда в высоко помещённое зарешеченное окно виден дом, стоящий за оградой, небольшой отрезок улицы. Выглядывать в окно считалось, разумеется, нарушением порядка, но надзиратель был один, а нас – много, за всеми не уследишь. Мне повезло. Один раз я видел какую-то тётку с кошёлкой, из которой торчали рыжие хвостики моркови, мальчика с дворняжкой на самодельном поводке. В другой раз – старика с газетой в руке. Странно, до чего эти будничные, ничего не значащие явления в той обстановке волновали: глубже становилось дыхание, сильнее билось сердце.

На прогулку выводили нас крайне редко, раза два в неделю, и гуляли мы не более пятнадцати-двадцати минут во внутреннем дворе, по кругу, точь-в-точь как это изображено на знаменитой картине Ван-Гога.

Однажды утром нас погнали на новое место. Обогнув наш корпус, мы вышли на какую-то огороженную дощатым забором немощёную площадку. В мягкой, ещё не совсем высохшей после ночного дождя земле стояли свежие следы дамских каблучков. Было ясно – до нас тут прогуливались женщины. Немного, всего три. Мы сразу заметили следы и, шагая по той же полосе, все, не сговаривав-

шись, старались не наступить на них, не разрушить их. Взглядом, изредка тихим словом (разговаривать воспрещалось) указывали на них. Как эти отпечатки женских ножек трогали сердца! Мы читали их, как нежные иероглифы, как тайное письмо, невольно задумываясь об участии неведомых подруг, спрашивая себя, высказывая предположения, пытаясь отгадать, кто они, где они тут.

Администрацию беспокоило санитарное состояние сильно перенаселённой тюрьмы. В камерах в то жаркое лето бесновалось несметное множество мух – тучи. Ни днём, ни ночью от них не было житья. Чтобы втянуть заключённых в борьбу с этим злом, было объявлено: каждый, кто представит 50 мух, получит добавочный черпак баланды. Паек, как уже сказано, был скудный, все ходили голодные, истощённые, и лишний черпак постного невкусного варева, в котором даже картошка, если она попадалась, считалась существенной удачей, был такой поддержкой, какой нельзя было пренебречь. Началась великая охота за мухами. Одни отнеслись к этому, как к спорту и развлечению, вели себя шумно, непрестанно размахивали в воздухе руками, что при царившей в камере давке часто приводило к недоразумениям. Другие как бы стыдились того, что им приходится заниматься таким делом, очень редко, украдкой и стеснённо выбрасывали руку. Третьи мрачно саботировали.

Самым неприятным, противным моментом в этой охоте была необходимость давить пойманных мух, притом тут же, в ладони, прежде чем они успевали разлететься.

Профессора Гольдмана (о нём подробнее будет речь впереди), вообще весьма неудачливого охотника, тошнило от этих палаческих обязанностей в такой мере, что у него начинались позывы к рвоте. Ему никак не удавалось поймать пятьдесят мух в один день. Приходилось накапливать их понемногу. Добычу он прятал в спичечный коробок с тем, чтобы, когда соберётся полная норма, предъявить её раздатчику.

Надо сказать, что от долгого недоедания он страшно ослабел и очень нуждался в подкреплении. Можно себе представить его разочарование, когда он ночью, возвратившись с допроса, не обнаружил запаса мух, добытого с таким трудом.

– Это было бы смешно, если бы не было так печально, – говорил он мне на следующее утро. – Не могу понять, кто мог позариться на два десятка дохлых мух. – И вдруг его осенило. – Не думаете ли вы, что это работа П. Н.? – Профессор назвал соседа, подслеповатого старика. – Его успехи в ловле ещё плачевнее моих.

Подозрение казалось не лишённым логического основания, хотя трудно было поверить, чтобы почтенный интеллигентный человек оказался способен на такое дело. Впрочем, кто знает, что человек может себе позволить, когда голод его прижмёт. Когда и второй запас мух пропал неизвестно куда, бедняга Гольдман окончательно приуныл. Все в камере зашумели. Кто-то в довольно бестактной форме стал допрашивать старика, на которого первоначально пало подозрение. Тот страшно обиделся. Видно было, что он искренне возмущён и ошарашен и что поиски начались не с того конца.

Один из углов камеры был занят небольшой группой перебежчиков, захваченных на границе. Был среди них паренёк лет семнадцати из Бессарабии, с живыми, умными чёрными глазами, очень услужливый, мастер на все руки.

Из прутика, из щепки, незаметно подобранной на прогулке, он при помощи крошечного осколка стекла делал чудесно отточенные иголки, которыми охотно всех снабжал. В кармане у него всегда был моток ниток, надёрганных из носка. Угольком он рисовал на полу шахматную доску, из хлебного мякиша делал фигурки. Во время обыска всё прятал с удивительной ловкостью. Он уже давно шатался по тюрьмам Украины, сначала где-то в Молдавии, затем в Киеве. Его, конечно, обвиняли в шпионаже, но он заверял, что границу перешёл из любопытства, хотел посмотреть своими глазами, как люди живут в Советском Союзе, может, ему понравится. Было бы, разумеется, наивно верить каждому слову такого пройдохи. Во всяком случае, это был весьма своеобразный юнец с хорошими задатками и незаурядным темпераментом.

Мне пришла в голову мысль, что Алек (так парень называл себя) или кто-то из его компании имеет отношение к этой краже. Я решил с ним поговорить.

– Как ты думаешь, кто мог стащить мух у старика?

– Вы, конечно, считаете, что это сделал я? – ответил он, взглянув на меня своими смелыми, весёлыми глазами.

– Не знаю. Я с тобой советуюсь. Хочу услышать твоё мнение.

– Профессор называется. Муху поймать не умеет, – сказал Алек пренебрежительно.

– Так он же не профессор по ловле мух. У него другая специальность.

Я постарался объяснить, что за наука физика, как она важна для человека, как связана с его деятельностью. Рассказал о Гольдмане, что он один из крупнейших, известнейших учёных на Украине. Алек слушал внимательно. И вдруг он огорошил меня вопросом:

– А почему его арестовали, если так?

Я опешил, не сразу нашёлся, что ответить.

– Подлые люди оклеветали его, – сказал я. – Изобразили его так, будто он враг советской власти.

– А почему поверили подлым людям? – не унимался Алек. Всё же он обещал: – Я поговорю со шпаной, поищу.

Спустя пять минут коробок с мухами был доставлен владельцу.

– Тут 43 ваших, – заявил Алек с некоторой торжественностью, – и семь штук я добавил из своих.

В этот день профессор Гольдман получил добавочный черпак кондёра.

Тот же Алек был виновником ещё одного инцидента, причинившего немало волнения всей камере. Он придумал забаву, которая вначале нас очень развлекала. Поймав крупную зелёную муху, он с поразительной ловкостью привязывал к мухе длинную белую нить, вытянутую из куска марли, и отпускал на волю. Штук пять-шесть мух летало над нашими головами, волоча по воздуху свои шлейфы, мы все с невольной улыбкой следили за причудливым зрелищем.

Скоро, однако, стало ясно, до чего легкомысленно мы предавались невинному удовольствию.

Из-за жары окно нашей камеры не закрывалось ни ночью, ни днём. Покружив некоторое время под потолком, мухи одна за другой вылетали во двор. Стража, всполошённая необычным явлением, подняла тревогу. Не успела последняя

«окольцованная» муха исчезнуть с наших глаз, как в камеру вошёл старший надзиратель и с лицом, не обещающим ничего хорошего, произнёс:

– Кто тут из камеры подаёт сигналы?

Как мы не старались успокоить надзирателя, растолковать, что нечего делать из мухи слона, искать злые намерения в безобидной шалости, из этого ничего не вышло. Он требовал выдачи преступника и недвусмысленного ответа, к кому обращены сигналы и что они означают. Наши объяснения его не удовлетворили, и он отправился докладывать о случившемся начальству.

Оно явилось немедленно, причём видно было, что оно встревожено не на шутку. Речь дежурного помощника начальника звучала одновременно и жёстко, и нервно. Нас, мол, не проведёшь, знаем разницу между безобидной шалостью и злоумышленным нарушением порядка. Конечно, и шалостям в тюрьме не место. Однако в данном случае преступный характер содеянного слишком очевиден. Из камеры за стены тюрьмы посланы условные сигналы. Это факт. Некоторые из мух с белыми повязками уже летают над улицей, вызывая общее внимание. Администрация не может оставить такое дело без расследования и требует выдачи зачинщика. В противном случае на всю камеру будет наложено тяжёлое взыскание.

Некоторое время царило молчание. Никто не хотел называть автора ребячливой затеи, которую мнительное начальство неожиданно раздуло в страшную уголовщину, хотя непонятно, о каких тайнах могут поведать несколько мух со свисающими белыми нитками и каким образом преступник мог обусловить или предугадать направление их полёта, чтобы они доставили сигнал по адресу.

Так или иначе мы влипли в неприятную историю и не знали, как из неё выпутаться. И тут Алек снова показал себя с наилучшей стороны.

– Я это сделал, – заявил он громко из своего угла на противоположном конце камеры.

– Зачем? С какой целью?

– Без всякой цели. Скучно было.

Его увели, и больше мы его не видели.



С профессором Гольдманом¹³ мы познакомились в 1919 году. Он изредка заходил к моей квартирной хозяйке. Это был тогда молодой человек лет 30, сдержанный, скромный, с очень тонкой внешностью. Хозяйка, весьма жёсткая женщина, типичная домовладелица, хвасталась тем, что она подкармливает своего образованного родственника. От неё я узнал, что он учился во Франции (или в Бельгии – не помню точно), что он доктор, талантливый физик. Но что толку, если в стране такие потрясения. Не оказывая она ему помощи время от времени, он бы ноги протянул.

Потом я его потерял из виду на несколько лет. Начиная с середины двадцатых годов я снова стал встречать его: на улице, в концерте. Он любил музыку. В антрактах мы иногда обменивались впечатлениями. Как-то летом на Днепре, я,

¹³ Александр Гольдман (1884, Варшава – 1971, Киев) – профессор Киевского университета, арестован 22 января 1938 года. Находился в тюрьмах и в ссылке в Казахстане до 1944 года. (Прим. В. Ч.)

высадившись за городом на берег, увидел неподалёку фигуру мужчины в трусах. Это был Гольдман. Оказалось, что он, как и я, любил лодочные прогулки по реке и предпочтительно в одиночку.

Мы провели вместе часа два. Он прекрасно знал русскую и французскую поэзию, безошибочно помнил и с увлечением прочёл мне сотни строк из Блока и Тютчева, Верхарна и Бодлера (по-французски). Очень интересовался советской литературой, расспрашивал меня о новых именах, новых книгах.

Однажды на каком-то спектакле в украинском театре он меня познакомил со своей женой. Это была маленькая, серенькая женщина, бывшая учительница, украинка, как она мне охотно сообщила, когда муж отлучился на несколько минут. Они познакомились на каких-то курсах, где Гольдман читал учителям лекции по физике.

– Уж очень он был неухоженный (она, кажется, употребила другое слово, не помню), словно беспризорный, – сказала она, как бы оправдываясь, что вышла за него замуж.

Он был с ней ласков и нежен, и вместе с тем было ясно, что им не о чем говорить друг с другом. Странная пара. Но, пожалуй, по-своему оправданная, понятная.

В тюрьме я его застал до неузнаваемости постаревшим и, главное, крайне подавленным. Он встретил меня с жалкой улыбкой уставшего от муки больного.

– Вас тоже. А кого ещё?

Он был арестован месяцев на пять раньше меня. Начался обычный разговор. Что всё это значит? Как это понять? Я утешал его, как мог. Ветер сегодня дует с севера, завтра – с юга. Главное – выстоять, дожждаться перемен. Он только рукой махнул: «Мне уже не дожждаться. Сил нет».

Чтобы поднять его настроение, я предложил ему прочесть нам несколько лекций по физике. Охотники послушать найдутся. Собрать небольшую группу, человек 8–10, чтобы не привлекать внимания надзирателя, беседы вести вполголоса. Если люди потребуют, можно будет для них повторить.

Он провёл с нами цикл бесед на тему «Глаз, солнце и цвет» (основы цветовых сочетаний с точки зрения науки) – курс, который он на воле однажды читал художникам. Жаль, что нельзя было записывать. Сведения научного характера он переплетал с рассказами из истории живописи. В частности, он очень интересно говорил об импрессионистах, у которых находил и сильные, и слабые стороны.

Эти беседы действительно немного подняли его дух на какое-то время и внесли оживление в нашу унылую арестантскую жизнь. Дело в том, что по примеру Гольдмана и некоторые другие стали проводить беседы по своим специальностям. Камера недели на две превратилась в университет. В то время, когда одни слушали, вся остальная масса, прохаживалась, прикрывала нарушителей. Администрация, конечно, знала о наших «проделках», но, видно, находила их безобидными. Помню, был цикл по истории автомобиля, по кожевенной и обувной промышленности и некоторые другие.

Часто, сидя рядом на его кровати, мы вспоминали хорошие стихи. Его память изумляла. Почти без запинки прочёл он мне «Полтаву», «Медного всадника», «Соловьиный сад», «Двенадцать» и много других. Я как-то сказал ему, что эти часы для меня большое утешение.

– А мне все эти стихи и то, что я их помню, – ответил он грустно, – представляется, как сон, как явление из далёкого, безвозвратно ушедшего мира. После войны, – заговорил он, помолчав, – в Европе среди лучшей мыслящей части интеллигенции шла глубокая переоценка политических и моральных ценностей. Октябрьская революция взволновала умы гораздо сильнее, чем многие у нас думают. Я вернулся в Россию, находясь под влиянием этого брожения умов. Была гражданская война. Но я знал, что трудности минуют, что скоро понадобятся и большая наука, ну, и музыка, конечно, и литература, и главное, что на историческую арену вступила новая и добрая, светлая сила. То, что произошло со мной, с вами, со всеми этими людьми – не только крушение сотен тысяч, а, может, и миллионов личных жизней. Боюсь, что это крушение идеала. Вы говорите, что это эксцесс, истерика, вызванная слишком длительным состоянием сверхчеловеческого напряжения, на которое в данных обстоятельствах обречено руководство, что это пройдёт, как проходит всякая истерика. Не знаю. Возможно. Но у меня уже не хватает сил дождаться лучшего времени. Чувствую, что не хватит.

Я рассказал, что в кабине однажды видел глубоко тронувшую меня надпись, нацарапанную ногтём на стенке: «Батьку Сталин, чи знаєш ти про все це, що тут робиться?»¹⁴

– А вы как думаете? – спросил Гольдман.

– Думаю, что это не имеет серьёзного значения. То, что происходит, плохо и в том, и в другом случае.

Мы провели вместе недель пять. Потом он захворал, и его отвезли в больницу. Дальнейшая его участь мне неизвестна. Вряд ли он выжил.¹⁵

Полковник Дорош был одним из тех большевиков, существование которых внушает чувство гордости за нашу страну и её людей. Прежде всего – внешность, первое впечатление. Высокий, стройный, красивый, с умным, смелым, пронизательным взглядом светло-серых глаз. И ничего от скрытности и дипломатичности, обычно свойственным многим партийцам. В его поведении отражалась душа не законсервированная, сильная, полная огня. Как он был доверчив и нежен с людьми, которые ему были по сердцу! И тут же, словно от нажима невидимого выключателя, лицо его менялось, когда к нему обращался человек, который ему не нравился – становилось жёстким, отчуждённым, немного даже высокомерным.

Мы с ним помещались на противоположных концах камеры – он у окна, я – ближе к выходу. При количестве обитателей камеры и сдержанности, которая диктовалась разномастностью её состава, мы довольно долго, больше недели, не делали никаких шагов к сближению. Должен, однако, сказать, что я заметил его в первый же день. Наблюдать его, следить за ним издали доставляло мне истинное наслаждение.

Как-то вечером его взяли на допрос. Вскоре снизу стали доноситься крики. Час был поздний, тихий. Окна у нас и, по рассказам, в экзекуторской, не за-

¹⁴ «Отец Сталин, знаєш ли ты обо всьом, що тут делается?» (укр.).

¹⁵ После освобождения из ссылки проф. Гольдман работал по специальности в провинциальных вузах в Вологде, Балашове, Ростове-на-Дону. После реабилитации вернулся в Киев. Ноях же Лурье, как мы знаем, поселился в Москве. (Прим. В. Ч.)

крывались. Слышимость была хорошая. Вместо обычного дуэта, состоявшего из разбойных возгласов следователя и воплей жертвы, мы все, затаив дыхание, слушали небывалый диалог. Грозовым угрозам и поношениям истязателя отвечал сравнительно уравновешенный твёрдый и отчётливый голос, исполненный убеждённости и внутренней силы. Матерная брань и глухие удары сменялись хлёсткими, как удар кнута, репликами. Долетали слова: «Бей, шкура, пока можешь, завтра тебя расстреляют», «Ты не следователь НКВД, а гитлеровский агент», «Честных большевиков искореняешь, сучий сын» и т. п.

Было около полуночи. Как всегда в это время, пол был устан голыми, влажными от пота телами. Глаза у всех открыты. Кое-кто полулежал, приподняв голову, опершись на локоть. Ни разговоров, ни перешёптывания. Все молча прислушивались к отзвукам разыгравшейся в нижнем этаже драмы. Никогда не забуду этих открытых горящих глаз, полных ужаса, боли, гнева, недоумения, тревожной мучительной думы.

Вернулся Дорош посеревший, весь какой-то скованный, еле переставляя ноги, прошёл на своё место и сел на пол. Кто-то из стариков предложил ему свою кровать, но он только рукой махнул. Так он и дремал сидя. Ложиться он не мог – всё тело было избито.

В камере было довольно большая группа военных. От них я узнал некоторые подробности.

Выходец из бедной крестьянской семьи. С пятнадцатилетнего возраста работал на небольшом металлургическом заводе. С семнадцати лет участник гражданской войны. Несколько лет учился, затем выдвинулся как очень способный военный организатор. В 1937 году его арестовали. И вот мастера застенка всё стараются сшить ему дело по мерке, соответственно революционному стажу, но с Дорошем, оказалось, не так-то легко сладить.

На следующий день нашу камеру взяли на прогулку. Дорош остался, видимо, был слишком измучен. Я сел рядом с ним.

– Отчего вы не пошли?

– Что за удовольствие ходить по кругу?

– Всё-таки движение, воздух. Разрешите мне посидеть возле вас.

Он быстро повернул голову в мою сторону, посмотрел мне прямо в глаза и улыбнулся своей чудесной светлой улыбкой.

– Вы, говорят, писатель?

– Немножко.

Дорош спросил, что, о чём пишу. Я коротко рассказал о себе, о своей работе, изложил, между прочим, содержание рассказа «Под колесом», за который меня десять лет подряд трепали на собраниях и в печати. Дорош сказал:

– Не знаю, надо ли было вас трепать за это дело. Но, по-моему, трагедия буржуя, потерявшего своё состояние, это небольшая трагедия. Пусть поступит в бухгалтера или в ночные сторожа или продавцом в магазин. Вот когда партия, когда советская власть начинает пожирать собственных детей, это трагедия. Но об этом, конечно, сейчас не напишешь.

– А как вы всё это понимаете, как страна до этого дошла?

– Честно говоря, плохо понимаю, вернее – совсем не понимаю. Я всё боль-

ше утверждаюсь в мысли, что в руководство органов госбезопасности пробрался враг.

– Не слишком ли примитивное объяснение?

– Что вы хотите этим сказать?

Люди вернулись с прогулки, и я не стал продолжать разговор, пообещав высказаться определённое в другой раз.

При первом удобном случае я снова завёл разговор на эту тему. Уж очень я доверял чутью этого человека, его чистоте и цельности, надеялся, что беседа с ним внесёт какой-то свет в мою смятенную душу.

– Вы говорите, – сказал я, – что в руководство органов госбезопасности пробрался враг. Возможно. Ну, а почему молчит партия?

Дорош потемнел, словно я ему нанёс тяжёлый удар в грудь или по голове, забормотал растерянно:

– Партия... да... молчит...

– И я вам скажу, почему, – продолжал я. – Потому, что она приведена к молчанию. Кадры, закалённые в революционной борьбе, истреблены. Вся власть передоверена НКВД. При таких условиях врагу, если ему удалось пробраться в руководство, не так уже трудно проводить свою линию.

Хорошо помню его ответ, не дословно, разумеется, а смысл, интонацию. Он сильно волновался. То, что я сказал о партии, его задело за живое.

– Вы, может быть, правильно видите факты, – говорил он, – но не совсем уясняете себе их значение. Неудивительно, вы беспартийный. В любую минуту можете заявить, что за то-то и то-то не несёте никакой ответственности. Мы не можем так. Мы несём ответственность за вас, за хорошее и плохое, когда говорим и когда молчим. Мы молчали не потому, что не видели ошибок и несправедливостей, а потому, что обстоятельства этого требовали. Мы молчали и работали. Каждый на своём месте делал своё дело. Что и говорить, в партии немало бюрократов, карьеристов, обывателей. Речь ведь идёт о миллионах людей. Вычеркните четвертую часть. Остаётся ещё огромная масса честных, преданных коммунистов, выносящих на своих плечах все трудности и опасности, вытаскивающих воз из всех ухабов и повалов. Примите во внимание вот что. Нигде не бывает большей неразберихи, чем на войне. Нигде не имеет место такое множество несуразностей, непредвиденностей и просчётов. Что же обеспечивает в конечном итоге победу? Воля, ярость, вера. Покуда она есть, ничто не страшно. В условиях войны всё решает действие. А мы на войне, хотя пушки ещё не стреляют. Мы не просто равнодушно молчим, мы действуем, создаём мощь страны, и сами при этом растём, учимся, думаем. Поверьте, когда придёт время, рядовые партийцы скажут своё слово.

Я не стал спорить. Для Дороша наступили тяжёлые дни. Он не шёл ни на какие сделки. В один из сеансов ему искалечили позвоночник. Он вернулся скрюченный, с перекошенным от боли лицом.

Весной 1939 года его освободили. Я как-то встретил его на Владимирской улице. Передо мной был инвалид, физически сломленный человек, с усталыми, печальными глазами. Сколько таких, как он, лучших людей советской страны, её цвет и краса, были растоптаны, истреблены в те годы!..

Запомнились разговоры с другим партийцем, молчаливым, угрюмым человеком средних лет. Мы спали рядом, но довольно редко перекидывались словом, и то малозначащим. Однажды вышло так, что из нашего ряда многих забрали на допрос. Можно было улечься поудобнее, однако сон не приходил. Обычно я сплю хорошо, может быть, поэтому скверно переношу бессонницу. В голову лезли чёрные мысли. Сосед лежал ко мне спиной, но видно было, что и ему не спится. Я не выдержал, окликнул его. Мы разговорились, и как-то сразу исчезла разделявшая нас отчуждённость. Потом у нас было ещё несколько бесед. Точнее, он рассказывал, а я слушал. Это была душевная правдивая повесть, раскрывшая передо мной жизнь десятков, а может, и сотен тысяч таких же, как он, партийных активистов. Не знаю, удастся ли мне так с ходу, как пишутся эти воспоминания, воспроизвести содержание его рассказов. Попробуюсь.

Н. был родом из Днепропетровска. Отец – слесарь, хромой (в 1905 г. под Мукденом его ранило) – часто выпивал, а напившись бил посуду, избивал жену, детей. Жилось трудно, невесело. Дома – вечная нужда, непрестанные ссоры, скандалы. Окончив двухклассную школу, Н. хотел уйти, но отец воспротивился, требовал, чтобы он помогал ему. Пришлось остаться. Детство и юность прошли безрадостно, а осенью 1915 года парня (ему едва исполнилось восемнадцать лет) призвали в армию. Служба, флот, окопы, ранение, госпиталь и снова окопы, вши, бестолочь, мрак и постоянное напряжение, постоянное соседство смерти. И вдруг – революция, семнадцатый год!

«Я не говорун, не организатор, вообще по всем своим склонностям не вожак. Но в 1917 году я почти сразу, без долгих раздумий, примкнул к большевикам. Партия нужна была мне самому. Я в ней нашёл опору, надёжную силу, которой можно довериться. До того времени я очень мало интересовался революционным движением. Дни, месяцы, годы проходили, словно в дурном сне. Есть лёгкие натуры, способные радоваться пустякам. Я не таков. Двадцать лет мне тогда исполнилось, лучшие годы, но мне они представлялись одной бесконечно долгой ночью. Лето семнадцатого года перевернуло всё моё нутро. Оказалось, что я не один, со мной миллионы. Со мной великая, могучая партия. Не могу вам передать, каким это было для меня открытием, каким светом наполнило душу. Кончилось гнетущее, не оставлявшее ни на минуту чувство безвыходности, сиротства, чувство бессмысленности существования. Появилась цель, появилась энергия, какой я до того времени никогда в себе не ощущал. Появилось желание жить и действовать.

Я тогда имел ещё весьма смутное понятие о марксизме, об истории и теории классовой борьбы, но, по правде говоря, никогда позже, после того как я побывал на разных курсах и семинарах, душа революции мне не была так понятна, так ощутимо близка и родственна, как в те первоначальные года, когда я был ещё совершенно сырым, неотёсанным новичком. Я был неутомим. Голод, холод, непрерывные бои, непрерывные мытарства – всё мне было нипочём. Цель виделась так отчётливо, что, казалось, до неё рукой подать. Вот только покончим с петлюровщиной, ну, и ещё, разумеется, разобьём деникинцев, прогоним белополяков, ликвидируем банды и примемся за настоящее дело. Конечно,

иногда тревожило то, что я не доучился и оторвался от своей специальности. Но это, казалось, второстепенное. Главное – укрепить родную советскую власть.

Так я жил восемь лет без передышки, всё время в перебросках с места на место, всё время в движении, в действии, в огне.

Летом 1925 года я получил путёвку на курорт. Но безделье, покой показались мне такой тягостной штукой, что я сбежал до срока. И вот опять началось: троцкистская оппозиция, бухаринская оппозиция, коллективизация, раскулачивание, хлебозаготовки. Непрестанно кипящий котёл, непрестанное состояние крайнего напряжения, беготни, разъездов, выступлений, драк, безумной, не всегда осмысленной работы на грани человеческих сил.

Не успел я оглянуться, как прошла молодость. В 28 лет я женился. Мы быстро сошлись, но увлёкся я по-настоящему впервые в жизни. В моей неудобной, убого обставленной комнате поселилось солнышко. Так мне казалось. Мотаешься где-нибудь по району в осеннее бездорожье, в тёмную ночь, и тебе снится дом и нежная улыбка светловолосого, молодого, милого существа.

Это было в беспокойные годы массовой коллективизации. Я большую часть времени проводил в командировках. Переписывались мы редко. Было не до писем. Вы, может быть, знаете, что творилось в ту пору на селе, хотя сомневаюсь. Это надо было видеть собственными глазами, испытать на собственной шкуре. Борьба шла с кулачеством, но страдали миллионы, погибали дети, вымирили целые села. Сталкиваться со всем этим так близко, как это приходилось мне – изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, – было мучительно. Отметая всякие колебания, сцепив зубы, делаешь своё дело. Раз партия велит, значит так надо, значит, нет иного пути. Вот как ты рассуждаешь. Я по своему складу рядовой и не претендую на собственное мнение в сложных вопросах. Но я ведь живой человек, я не мог оставаться бесчувственным, когда видел всё то, что приходилось видеть. Иными днями хотелось реветь от боли, но я подавлял, как мог, свои чувства, знал, что для них не время, что в данных условиях они только помешают.

Шёл 1931 год. Зимней ночью после полуторамесячного отсутствия я возвращался домой. Никто меня не встретил. Час был поздний. Да я и не предупреждал о приезде, сам не знал, когда мне удастся приехать. Трамвая уже не было. Бреду усталый, голодный. Фонарей мало, ветер, злющий, сухой, пронизывает до костей. На сердце тревожно, нехорошо. Здорова ли жена? Давно не было от неё вестей. Невольно думаешь о тепле, о тёплом крове, о горячей еде, о приветливой встрече, о ласке. Вход в нашу комнату был прямо с коридора. Открываю своим ключом дверь, привычным движением зажигаю свет и вижу: моя Валя в постели не одна, с ней молодой человек, работник железнодорожной охраны – мы с ним изредка встречались. На столе пустые бутылки, небранная после закуски посуда. Оба крепко спят после выпивки, щеки пылают, грудь у Вали оголена, и его ладонь на её груди.

Дороги в то время были небезопасны, и в разъездах я всегда имел при себе оружие. Рука невольно сжимала браунинг в кармане: вот крикну что-нибудь страшное, чтобы они проснулись, и убью, пускай меня потом судят. Но я тут же сказал себе: «Нет, это недостойно коммуниста. Повернись и уйди».

Так я и сделал. Тихо запер за собой дверь и ушёл. Ноги подкашивались,

сердце болело так, что хотелось стонать, ком давил горло. Куда ткнуться? У меня, конечно, были товарищи, которые охотно дали бы мне приют. Но будить, тревожить людей среди ночи, объяснять, что случилось, как я вдруг оказался без крова, это было свыше моих сил. Я готов был вернуться на вокзал, наконец, прикорнуть в каком-нибудь подъезде, как бездомный бродяга.

Пока я так плёлся по пустынным улицам, дрожа от озноба, ноги сами привели меня к обкому. Там всегда кто-то дежурил. Я позвонил, меня там знали и впустили без лишних разговоров. Дежурил знакомый, пожилой товарищ, простой душевный человек. «Что случилось? Что тебя привело сюда среди ночи?» Отвечаю, что я только сейчас с вокзала и мне некуда деваться. «Почему не домой?» Пришлось рассказать всё, объяснить, что у меня больше нет дома. «Пока есть партия, у тебя есть дом», – ответил он мне. Теперь он тоже, должно быть, где-нибудь здесь, в одной из камер. Его арестовали раньше меня.

Я нескоро оправился от этого удара. В 1936 году я снова женился. Моя вторая жена – старая знакомая, вдова близкого мне человека, товарища и друга. Она пришла ко мне с мальчиком пяти лет. На беду свою связала свою судьбу со мной. Теперь она мается, конечно, без поддержки, и все избегают её, как заразную. А что будет с ней, если меня осудят и сошлют...

Меня арестовали осенью 1937 года, когда почти весь состав обкома уже сидел за решёткой, когда были опорочены и обвинены в измене наши испытаннейшие руководители, а вслед за ними – тысячи и тысячи работников всех ступеней. Всё-таки когда то же самое случилось со мной, я считал это недоразумением и верил, что меня вот-вот выпустят. Ведь я-то знаю, что моя совесть чиста. За других, конечно, трудно поручиться, чужая душа – потёмки. И недоумение, и надежда очень скоро рассеялась. Здесь мне быстро вправили мозги, разъяснили, какой я наивный человек, а проще сказать, болван. Однако по существу до сих пор ничего не понимаю в том, что происходит. С какой стороны ни смотри, это чудовищно. Так или иначе моя жизнь закончена, крышка.

Невольно подводишь итоги. Вот я гляжу на вас, на академика Гольдмана. Вы потерпели крушение. Но вы всё-таки в своё время что-то получили от жизни. Овладели науками, наслаждались искусством. Я же слышу, как вы разговариваете о музыке, о живописи и стихах. Вы видели разные страны, большие города. Вы вспоминаете дни радости, дни праздничного досуга. Я не знал отдыха, не знал развлечений. Мне некогда было подумать о себе, нечего говорить о том, чтобы жить для себя. Инженер, скажем, может утешать себя тем, что он изобрёл или усовершенствовал машину, построил мост или шахту. Архитектор – тем, что он построил хороший дом. Мои лучшие воспоминания связаны с гражданской войны, с партией и ещё раз с партией. И это всё сейчас перёчеркнуто и растоптано. Ограбили, отняли то небольшое, чем я был богат, да ещё избili, оплевали и вышвырнули на свалку. Чем после этого вспомнить жизнь?

Недавно мне устроили очную ставку с ближайшим моим другом, преданнейшим коммунистом и прекрасным человеком. Вошёл призрак, мёртвое подобие того, которого я знал, испуганно посмотрел на меня и отвернулся. С изумлением и ужасом слушал я его показания, несусветный бред о какой-то подпольной организации, в которой мы будто бы оба участвовали, о планах диверсий и т. п.

Я не знал, что мне делать, плюнуть ему в лицо или разрыдаться от жалости. Дальше уже некуда. Удавился бы, да не так-то просто это сделать в тюремных условиях».

Рассказ Н. произвёл на меня большое впечатление, ввёл во внутреннюю жизнь среднего партийного работника, которую мне до того времени доводилось наблюдать только со стороны. И я рад, что в конце концов записал этот рассказ, пусть вкратце, только для себя, без многих нужных подробностей и не совсем теми словами, какими следовало бы записать его, чтобы он мог получить то широкое звучание, которого заслуживает.

Гольдман называл нашу камеру Ноевым ковчегом. У нас, как и в библейском Ковчеге, на каждую пару нечистых приходилось семь пар чистых. Мы как-то подсчитали с ним, на основании субъективных впечатлений, разумеется, сколько приблизительно из 120–122 обитателей нашей камеры могло бы быть арестовано на каком-нибудь основании, если бы НКВД руководствовалось нормами законности и реальными интересами советского государства. Цифра колебалась между 10 и 15 – несколько перебежчиков, несколько ярких троцкистов, державшихся особняком, строго замкнутой группой, и ещё несколько сомнительных личностей.

Очень выделялся оригинальностью поведения и всего своего облика некий бывший полковник царской армии, участник Первой мировой войны, с первых дней революции соблюдавший «нейтралитет» – попросту дезертировал, а затем, всячески увиливая от военной службы, не примыкал ни к белым, ни к красным. Его лицо мне сразу показалось знакомым, но, зная, что память иногда обманывает, подумал, что и в данном случае я, вероятно, ошибся. Потом выяснилось, что лицо этого бывшего царского полковника знакомо и некоторым другим обитателям нашей камеры, киевлянам. Киевляне, и я в том числе, последние годы нередко могли видеть этого человека то на Прорезной, то на углу Караваевской и Б. Васильевской, то где-нибудь в районе Галицкого базара, где он, опустив глаза, с перевернутой шапкой в руке молча ждал подачек.

О том, что этот нищий – бывший офицер, мы узнали только, когда он появился среди нас, и это ещё усилило наш интерес к его личности и необычной судьбе. Но первые дни он неохотно вступал в беседы, крайне скупно отвечал на вопросы. Был он ещё не очень стар, лет пятидесяти пяти, я думаю, шестидесяти, не более. Лысая голова, на висках и на затылке тёмно-каштановые волосы без примеси седины. Лицо продолговатое, серое, почти пергаментное, довольно крупный нос, тонкие губы и сравнительно маленький подбородок. Глаза – печальные, с маниакальной упрямынкой. Лицо скорее архивариуса, чем военного, только в выправке и поворотах сохранились следы бывшей выучки. Говорил он тихо, однотонно. Во всём заметна была саморегламентация, результат большой работы над самим собой. Я, например, да и многие другие, мы никак не могли распределить хлебный паёк так, чтобы его хватало на три еды. Иные съедали весь хлеб за завтраком, а дальше им приходилось страдать – противная баланда без хлеба была противна вдвойне. Так же поступали все с сахаром (20 граммов). Он же с утра всё распределял и потом придерживался нормы с аккуратностью привыкшего к самоограничению аскета.

Меня очень интриговала история его жизни. Понимая, что назойливыми

расспросами у него ничего не добьёшься, я старался заводить с ним разговоры на отвлечённые, общие темы, и этот косвенный путь оказался неплохой отмычкой, с помощью которой мне в конце концов удалось немного разобраться в упрямой и замкнутой душе этого своеобразного человека.

У него были свои воззрения по важнейшим вопросам, весьма причудливая смесь крайнего индивидуализма и ржавых осколков христианства. Однако надо сказать, что в основе его взглядов лежал некий жизненный опыт, правда, узко личный. По его словам, он никогда не любил своей военной профессии, избрал её случайно, в виду каких-то обстоятельств, о которых не стал распространяться, а на войне, где он командовал пехотным полком, несколько раз терявшим почти весь свой состав, окончательно возненавидел своё ремесло и стал убеждённым пацифистом. Революция – та же война, тот же бесчеловечный путь добиваться своих целей убийством и насилием. Ну, и контрреволюция, разумеется, не лучше. Всё зло от государства, от политических страстей, которыми живут касты, партии и другие коллективы. А так как отдельный человек не в силах изменить их природу, ему остаётся только одно – отодвинуться, сжаться, ни во что не вмешиваться, жить по возможности незаметнее. Самый губительный порок, зародыш всяческих зол – стремление к богатству, к жизненным удобствам, неизбежно порождающее взаимную вражду со всеми её жестокими последствиями. Аскетизм и отказ от участия во всякого рода конфликтах – единственный выход для человека, который не хочет жить по законам джунглей, и непременная предпосылка для зарождения когда-нибудь в будущем новых отношений между людьми. Такова была его философия.

Гораздо сдержаннее он высказывался, когда речь заходила о конкретных фактах его биографии. Некоторые вехи всё же удалось установить.

Осенью 1917 года, ещё до Октябрьской революции, он заболел воспалением лёгких, был эвакуирован в тыл и больше в часть не возвращался; видя, что творится на свете, твёрдо решил больше никогда не прикасаться к оружию. Жены к тому времени у него уже не было. Отдохнув после болезни у замужней дочери в Полтаве, он переделался в поношенную солдатскую шинель и под видом демобилизованного старого солдата, который никак не может попасть домой, стал бродить по стране. Удалялся от трактов и железных дорог, выбирал пути, которые поглуше и потише, батрачил у кулаков, помогал по хозяйству солдаткам, колос дрова обывателям в городах. Неужели он никогда не наталкивался на банды, на заставы и т. п. препятствия? Наталкивался не раз, было всякое, но бог миловал, как-то выкручивался.

В 1928 году его арестовали. Держали несколько месяцев, выяснили, кто он такой, как себя вёл, и отпустили. Так он очутился в Киеве. Ни родни, ни знакомых у него тут не было. На улице он познакомился с немолодой одинокой женщиной, продававшей домашние пирожки, таким же обломком крушения, как и он сам. Она взяла его к себе. Время было трудное, хлеб дорог, заработки случайные. Летом раскопаешь кому-нибудь огород, побелишь комнату, ну а зимой голодаешь. В довершение всех бед заболела жена – что-то с сердцем. Целыми днями, а то и неделями не вставала с постели. Да и сам он стал сдавать – боль в пояснице, грыжа, старость. Так он постепенно дошёл до нищенства, вынужден

был побираться. Кое-кому в камере он показался знакомым. Неудивительно. Последние годы его часто можно было видеть то тут, то там на улицах Киева, где он часами в дождь, в снег стоял с непокрытой головой. Да, он побирался, это было, и ему нисколько не стыдно в этом сознаться. Его и взяли на улице, так что ему не удалось попрощаться со своей больной женой.

Вот те сведения, что удалось выжать из него в течение тех недель, которые мы провели вместе. Любопытно, что он всячески отмежёвывался от нас: «Вы – политические. Кто вас знает, что вы там промеж себя замышляли, с какими идеями носились. Я не имею с политикой ничего общего и ничего о ней знать не хочу».

На допросах, по его словам, его не били (видимо, против него не было никаких показаний), однако настаивали, что его «нейтралитет» не более чем маскировка, и требовали раскрытия его тайных связей с белогвардейским подпольем. Не думаю, чтобы у него в самом деле были какие-то подозрительные связи, да и следовательно так не думал, иначе обхождение было бы другим. Сам старик поражал своей выдержкой, чем заслужил уважение товарищей по камере, хотя не пользовался их расположением.

На четвёртой или на пятой неделе он выкинул неожиданную штуку – объявил голодовку. Это было в тех условиях совершенно безнадёжной и нелепой затеей, заранее обречённой на провал. Кто-то пытался втолковать ему это, но он и слушать не хотел. Да и было уже поздно. Дело в том, что он начал голодовку, ни с кем не посоветовавшись, никого не предупредив. Утром отказался получить паёк и заявил, что не будет принимать никакой пищи (кроме кипятка), пока не придёт прокурор и не скажет, за что его тут держат и когда этому будет конец.

Никакой прокурор не приходил ни на следующий день, ни на третий, ни на четвёртый. Старик лежал на полу, не обращая внимания на неоднократные замечания надзирателя. Потом его перестали тревожить. Никто им не интересовался, никому не было дела до того, голодает этот человек или нет, и это удручало больше всего. Старик, по-видимому, готов был упорствовать до последнего издыхания. Вечером, уже после проверки, в камеру зашёл помощник начальника и в довольно мягких, урезонивающих выражениях стал уговаривать его прекратить голодовку. Помимо того, что она ни к чему не приведёт, решено завтра, если он не начнёт принимать пищу, отвезти его в больницу и там подвергнуть искусственному питанию. Мы, то есть те несколько человек, которые с ним общались, тоже считали, что он только напрасно тратит последние силы. Старик слушал молча, не возражая, но видно было, что он слабеет.

На пятый день утром он принял паёк, однако не сразу взялся за хлеб, а прежде всего стал пить чай (то есть кипяток) с сахаром – вприкуску, как обычно. Я преподнёс ему свои два куска и посоветовал целиком положить в кружку. Шепнув «благодарю», он взял, и на глаза у него навернулись слёзы. Он явно стыдился, что потерпел поражение.

Ещё с неделю он пробыл в нашей камере, потом его забрали. Говорили, что он будто бы получил вольную высылку.

Одно время забавлял нас центрфорвард киевской футбольной команды, тоже побывавший в нашей камере. Молодой, белокурый, голубоглазый, весёлый, не дурак насчёт девчонок, беззаботный насчёт принципов, морали, теорий,

завтрашнего дня и т. п. неосязаемых вещей, он вносил в нашу угрюмую жизнь освежающий ветерок легкомыслия. Я по крайней мере искренне обрадовался его появлению среди нас, хотя мне редко приходилось встречать такого безоблачно-пустого советского молодого человека.

У него было обыкновение по возвращении с допроса немедленно собрать небольшой кружок людей, с которыми он успел сблизиться за короткое время своего пребывания в камере, и рассказать, что с ним происходило. Язык его был очень примитивен, но при всей своей наивной фотографичности, а может, и благодаря ей, повествование оказывалось не лишённым живости и юмора. Слушать его было интересно.

– Смешно. Он спрашивает, как меня зовут. Знает, б****, и спрашивает. Я так ему и говорю: «Ты ведь, подлец, отлично знаешь и мою фамилию, и имя, не раз видел на стадионе. Зачем комедию ломать?» – «Формальность, – говорит. – Никак от неё не уйдёшь. Вот что, – говорит, – ты же свой парень. Давай признавайся без лишней трепотни». Видал стервеца? «А в чем признаваться-то?» – «Будто не знаешь». – «Режь меня на части, не знаю. Подскажи, сделай милость. Сам понимаешь, мне с ГПУ воевать расчёта нет». – «Ну, ладно, – говорит, – ты обвиняешься в шпионаже». Это мне совсем не понравилось. Таковую вину на себя взять даже в шутку как-то неловко. «Послушай, – говорю, – я иду тебе навстречу, так и ты имей совесть, дай мне нагрузку полегче». Тут он загнул по матери так, что я на минуту даже захлебнулся от удивления. «Ах ты, сукин сын, – говорит. – Ты ещё перебендюешь¹⁶? Сейчас же сознайся, что ты занимался шпионажем!» – «А меня тогда не расстреляют? – спрашиваю. – За это, кажется, расстреливают. В таком случае весь гешефт с вами мне ни к чему». – «Если ты честно во всём признаешься, – говорит, – тогда мы походатайствуем, чтобы к тебе отнеслись со снисхождением».

Вот шлюха! Мало того, что она угощает тебя триппером, ты ей ещё деньги плати. «Ну, что с вами поделаешь, – говорю, – давай шпионаж». – «Давно бы так. А какой страны ты шпион?». – «Разве я знаю? – говорю. – Стран много. Ты подскажи». – «Ваша футбольная команда, кажется, недавно была в Турции», – намекает он. Ах, так. Значит, я турецкий шпион. «Была», – отвечаю. «Ну, вот. Начало есть. Теперь давай подробности, как всё произошло». Врать, так напрапалую. Начинаю: «Дело было в Стамбуле. Тренер турецкой команды говорит: «Пойдём, ребята, к девочкам. Стамбул ими славится. Будете довольны». Что ж, пошли (и в самом деле так было, тут я не врал). Улица полна б****й разного возраста, разной окраски, настоящая ярмарка, заывают, тащат за рукав. Но проводник, турецкий тренер, не даёт нам останавливаться. «Это дешёвка, – говорит, – пойдём дальше». Пришли на тихую улицу, заглядываем в один дом, в другой. Шикарно. Выбор большой, девчонки что надо. Ну, всех не переешь! Наметил себе одну и провожу с ней время, пьём вино, объясняемся знаками, лапаем друг друга, смеёмся. Потом, как водится, уединились. Всё шло, как полагается. На расвете она меня будит и говорит, по-русски стерва шпарит: «Вот что, – говорит, – я не шлюха, я идейная, белоэмигрантка. Давай сведения о советах». Я, понятно, и слушать не хочу, но она, паскуда, наседает всё сильнее. «Ты, – говорит, – у меня

¹⁶ Перебендюешь – привередничаешь (укр.).

в руках. Всё равно погублю. Давай сведения...». Сочиняю так по мере сил, а следователь, чёрт, перебивает меня с криком: «Врёшь, сукин сын, не так было!» – «Так я после всего, что вам рассказал, ещё и сукин сын?» – говорю. «Конечно, сукин сын, – отвечает он. – Кто поверит твоей выдумке со шлюхой, которая на расвете вдруг заговорила по-русски. Сведения ты, конечно, давал, только не своей девке, а тренеру турецкой футбольной команды». – «Что ж, – говорю, – вам лучше знать. Пускай будет по-вашему. Мне всё равно». – «О каких объектах ты говорил с ним?». Тут, наконец, меня взорвало. – «А что я знаю? Какие секреты мне доверены? С какими объектами имею дело? Вы меня, видно, уже совсем за идиота принимаете». Эти слова, представьте себе, произвели на него впечатление. Он помолчал, подумал и сказал: «Ну, ладно, я сам напишу протокол, а ты подпишешь». На том и покончили.



Галерею зарисовок прошедших перед моими глазами в этой камере-ковчеге я мог бы значительно расширить, но не думаю, чтобы в этом была особенная надобность. Ещё об одной фигуре всё же, пожалуй, стоит рассказать.

Нет никакого сомнения в том, что главной и решающей причиной народного бедствия, равного по значению вражескому нашествию, каким были аресты 1937–1938 годов, являлась вакханалия беззакония и произвола, воцарившаяся в так называемых органах безопасности, разросшихся к тому времени в чудовищную, всеохватывающую господствующую силу. Меня, однако, занимала ещё и другая сторона этого беспримерного по масштабам избиения государством своих честнейших граждан. Почему люди, попадая в лапы молодчиков из ГПУ, проявляли так мало мужества, человеческого достоинства, нравственной сопротивляемости? Почему оговаривали себя и товарищей, оплёвывали своё революционное прошлое, поддерживали циничнейшие провокации?

Мы в камере нередко разговаривали на эту тему, по-разному объясняли это явление, не противореча, а дополняя друг друга. Конечно, изолированному человеку, лишённому общественной поддержки, очень трудно устоять против огромного и жестокого давления, которое оказывается на него всеильной и бесконтрольной машиной, осуществляющей по сути не следственные, а террористические функции. Однако тут следует учесть действие ещё некоторых других, чисто психологических, моментов. Получилось парадоксальное положение. Именно то обстоятельство, что основная масса репрессированных состояла из искренних советских патриотов, и облегчало работу «органов». Патриотизм, как это ни странно звучит, морально обезоруживал жертву, и следователи самым коварным образом этим пользовались. Советскому человеку страшна была мысль, что процесс разложения и перерождения захватил стеновой хребет государства. Он не мог бороться с властью, которой в течение многих лет отдавал свои лучшие силы, и готов был допустить – с болью в сердце – что во всём происходящем есть какой-то высший, ему неизвестный и непонятный смысл. В результате создалась атмосфера массовой психической неустойчивости, полной утраты границ между правдой и ложью, добром и злом. Клевета возведена была в добродетель, делать из мухи слона стало привычным приёмом, в сети взаимных оговоров немислимо было найти ни начал, ни концов, в ней барахтались

миллионы. Среди этого массового помрачения умов иные доходили до состояния какого-то губельного экстаза.

В нашем «ковчеге» был один, который доверительно мне сообщил, что он скомпрометировал свыше ста человек партийцев и беспартийных. Когда я невольно выразил свой ужас, он улыбнулся. У меня мороз пробежал по коже, я подумал, что передо мной сумасшедший. В каком-то смысле оно, вероятно, так и было.

Сам он был видным работником одного из наркоматов, знал людей, знал книги, немало повидал на своём веку (лет 42–43), рассуждал остро и как будто логично и всё-таки возбуждал непреодолимую антипатию. Чем? Прежде всего маниакальностью, которая меня всегда отталкивает от человека, даже тогда, когда она связана с благой целью. Затем – изуверской теорией, которую он передо мной стал настойчиво развивать вскоре после вышеуказанного признания.

Идея его состояла в том, что поток арестов, как лесной пожар, будет разрастаться. Пока не захватит всё и вся. За каждым арестованным идут его друзья и родственники, за ними – их друзья и родственники, и так без конца. Лесники знают, что остановить пожар можно только встречным палом. Вакханалию репрессий необходимо довести до абсурда. Каждый арестованный должен потащить за собой возможно больше людей. То, что с течением времени произойдёт всё равно, стихийно, механически. Форсировать таким образом, чтобы зачинщики страшного похода против советских людей сами захлебнулись в вызванном ими движении. Сто тысяч шпионов? Чепуха. Миллион шпионов, десять миллионов. Сами стражи безопасности шпионы, вожди и наркомы шпионы. И тогда, может быть, наступит конец. «Напрасно, – говорил он, – вы хвастаетесь тем, что никого не оговорили. Совесть у вас осталась необременённой, но всеобщему делу вы принесли вред».

Вот как рассуждал этот человек и соответствующим образом действовал. В конце концов я его попросту стал бояться. Когда его забрали из нашей камеры, я почувствовал облегчение.



После шестинедельного затишья обо мне снова вспомнили, взяли отпечатки пальцев. Мне, разумеется, было глубоко безразлично, сохранятся в подвалах ГПУ отпечатки моих пальцев или нет. Грязная процедура должна была, очевидно, окончательно заклеить меня в качестве настоящего преступника. Приём этот вполне соответствовал всему стилю работы «органов» в то время, всей системе, состоявшей в том, что честные люди, происками самих «органов» злостно опороченные, потом с убийственной последовательностью трактовались, как пойманные с поличным вражеские лазутчики, диверсанты.

Вскоре после этого меня позвали на допрос. Опять новый следователь.

Я к тому времени уже успел неплохо познакомиться с методами следствия. В частности, что касается средств воздействия на подсудимого, то они варьировались в зависимости от категории, к которой он был причислен. Возмутительнейшее беззаконие сочеталось в этом учреждении с некоторыми более или менее твёрдо установленными правилами игры. Дела планировались и фабриковались не по одному, а по нескольким разным трафаретам. Тяжелее всего, по моим наблюдениям, доставалось членам партии. Мне, очевидно, была

назначена сравнительно небольшая роль. Необоснованно большое внимание, которое на допросах уделялось моему прошлому (взаимоотношениям с «Бундом»), свидетельствовало о том, что относительно моей деятельности в советское время им пока не удалось сорганизовать сколько-нибудь серьёзный материал. Они, разумеется, знали, что я никогда не принадлежал к руководящему кругу бундовских работников и за исключением самых первых лет (1905–1907) и двух-трёх недель марта 1917 года (до того как меня отправили на фронт) я вообще был очень малоактивен в организации. В 1919 году я фактически порвал с меньшевизмом и «Бундом», а весной 1920 года и публично отмежевался и добровольно вступил в Красную Армию. Всё это, не сомневаюсь, им было известно. Но это их не устраивало, они старались сочинить мне более «красочную» биографию.

Нетрудно было доказать, что я не участвовал ни в каких съездах и конференциях, не принадлежал к составу центральных и местных руководящих органов, никогда не выступал с политическими статьями в бундовской печати. Но однажды ночью уже упомянутый Цветков выкинул такое коленце, что я вдруг с ужасом понял, до чего человек, попавший в руки этих «мастеров», может оказаться беззащитным перед самым гнусным поклёпом. Черт меня дёрнул рассказать, что летом 1905 года я пять месяцев с лишним, до октябрьской амнистии, просидел в Лукишках (Вильно)¹⁷. Он заулыбался своей кривой, саркастической улыбкой непризнанного демона и угрожающе изрёк:

– Наконец-то мы подошли к главному событию вашей биографии. Как звали вашего следователя?

– Меня допрашивал какой-то жандармский офицер. Фамилии не помню, а может, и не знал.

– Жандармский офицер, верно. И вы отлично помните его фамилию. Сколько раз вы были у него?

– Два раза, насколько я помню.

– Вы были у него не два раза, а двенадцать раз и вели с ним не безобидные беседы. Вы выдавали своих товарищей. У нас есть сведения.

– У вас нет и не может быть таких сведений.

– Вы провокатор, мы вас расстреляем.

Я понимал, что он меня разыгрывает, и всё-таки мне было страшно. А что, если ему вздумается настоять на своём, кто или что может ему в этом помешать? И если я провокатор, тогда ведь можно бить меня носком сапога в пах, сажать на край стула и неожиданно вышибать его из-под меня столько раз, пока почки не сдвинутся со своих мест, и тогда я в конце концов сам признаю себя провокатором и отвратительнейшая ложь доблестно восторжествует. Впервые за всё время следствия я был по-настоящему испуган, знал, что необходимо скрывать своё состояние, иначе следователь может подумать, что у меня и в самом деле совесть нечиста, но я всегда был неважным притворщиком. Он заметил мою растерянность и проникновенным взглядом сердцеведа, разгадывающего мрачную тайну, долго молча всматривался в моё лицо.

¹⁷ Лукишкская тюрьма – бывшая тюрьма в центре Вильнюса, в районе Лукишки по адресу: переулок Лукишкю, 6. (Прим. И. Р.)

Он мучил меня всю ночь, я потом и сам мучил себя разными страхами, пока при следующей встрече не убедился, что он и не думает вернуться к этой теме.

Из более близких дат следователей больше всего интересовал вопрос о литературной группе «Стройка» (по-еврейски «Бой»), основанной в 1927 году мною, Фининбергом¹⁸, Резником¹⁹ и некоторыми другими и ликвидированной в 1929 году. Каждый из следователей (а всего их было восемь) возвращался к нему по нескольку раз. Удивительно, до чего у работников этого учреждения неодолима была страсть извратить и обгадить лучшие стремления советских людей. Возникновение нашей группы, знаменовавшее на деле поворот её членов к проблемам современности, объединение литераторов, поставивших своей задачей углублённое изучение советской действительности, объявивших борьбу приспособленчеству, хотели изобразить как коварный приём прожжённых политиков, вздумавших создать легальную ширму для своих антисоветских козней. Мне пришлось выдержать бессчётное количество упорных и жестоких атак. Ясно было, что в этом пункте я не имею права проявлять малодушие. В 1939 году и позже вызывали по этому вопросу других писателей, бывших членов группы «Бой». Не знаю, что они говорили. Я не допускал в характеристике деятельности группы и её членов ни малейших искажений, говорил то, что было, и ничего больше или иначе.

Сейчас, отправляясь к новому следователю, я, как и при первых встречах с его предшественниками, решил прежде всего внести полную ясность в наши взаимоотношения. Факты моей биографии известны, и я не намерен их скрывать или приукрашивать. Если считается, что за свою принадлежность в далёком прошлом к «Бунду» я должен сегодня быть репрессирован, что же, ничего не поделаешь. Но обвинение в том, что я продолжаю состоять членом подпольной антисоветской националистической организации, категорически отвергаю и всё то, что я под давлением написал о своих националистических настроениях и сохранившихся тайных симпатиях к бундовскому движению, – попросту липа, клевета на самого себя, что следователям, кстати, хорошо известно.

Новый следователь, украинец с красивым, умным, нервным лицом, не терроризировал меня и вообще вёл себя сдержанно. Индивидуальность следователя, разумеется, имела какое-то значение и в то время, однако, в основном система и стиль работы несомненно диктовались высшим начальством. Почуввав не совсем обычное веяние, хотелось верить, что он знаменует начало какого-то перелома. В нижнем этаже тюрьмы, правда, ещё продолжались избиения, но стали реже, и в этом тоже хотелось усмотреть симптом наступающих перемен. У товарищей, с которыми я делился впечатлениями, не было на этот счёт определённого мнения. Один из них, юрист, считал, что мои устные заявления во всяком случае ничего не стоят, независимо от того, выслушивает их следователь спокойно или с громом и молнией.

¹⁸ Эзра Фининберг (1899, Киев – 1946, Москва) – советский еврейский поэт, драматург, переводчик, литературный критик. Перевёл на идиш «Фауст» Гёте, «Медного всадника», главы из «Евгения Онегина», лирику Пушкина, «93-й год» В. Гюго. Во время 2-й Мировой пошёл добровольцем в Красную армию, был тяжело ранен, скончался от последствий ранения. (Прим. В. Ч.)

¹⁹ Липа Резник (1890, Чернобыль – 1944, Казахстан) – советский еврейский поэт, драматург, переводчик. Начиная как символист, стал соцреалистом, воспевал советскую действительность. Переводил на идиш украинских поэтов. Скончался в эвакуации. (Прим. В. Ч.)

Вот если бы мне удалось подать письменное заявление, и то не следователю, который может просто разорвать его и бросить в корзину, а более высокому начальству, лучше всего наркому госбезопасности, тогда, возможно, оно дало бы что-нибудь.

Написать заявление было не так-то просто. В камере не было ни бумаги, ни карандаша. На допросе следователь, когда он даёт тебе в руки письменные принадлежности, проверяет каждую написанную тобой строчку и тут же уничтожает то, что ему представляется ненужным или неподходящим. Но на этот раз мне повезло. У следователя был помощник, серьёзный, малоразговорчивый молодой парень, который при первой же встрече отнёсся ко мне с неожиданной сердечностью. Был поздний час ночи. Разговор затянулся. Я попросился в уборную. Молодому человеку поручено было проводить меня. Я быстро оправился и готов был идти обратно. «Может, закурите?» – спросил он, предложив папиросу. Я взял и от возбуждения стал поспешно затягиваться. «Не надо торопиться, – добавил он. – После такой беседы не мешает сделать перекур». Вот и всё. Это бесхитрое проявление доброты в обстановке, когда за булку с колбасой требовали, чтобы ты себя признал диверсантом и шпионом, меня глубоко тронуло. И вот на одном из дневных допросов мы с ним оказались вдвоём. Я должен был написать (в энный раз) расширенную автобиографию. Он сидел в стороне и читал книжку. А к концу я ему представил сразу две бумаги, одной из которых и было моё заявление на имя наркома госбезопасности УССР, где я назвал клеветой предъявленное мне обвинение и все вынужденные саморазоблачения. Он отнёсся к этому с полным спокойствием и обещал передать всё по назначению.

Опять перерыв – дней пять-шесть – и опять новый следователь. Еврей лет тридцати пяти с тонким, подвижным телом и лживыми глазами продувной бестии, афериста. О моём заявлении ни слова.

– Расскажите подробнее об антисоветской националистической организации, в которой вы состояли, – так начал он разговор.

– Я давал исчерпывающие объяснения вашему предшественнику и, кроме того, передал письменное заявление на имя наркома.

– Я приехал из Москвы. Извольте отвечать, когда вас спрашивают.

То, что передо мной человек, специально командированный из Москвы, показалось мне очень важным обстоятельством, и я с некоторой надеждой стал излагать декларацию, с которой неизменно начинал знакомство с каждым новым следователем: что вот уже скоро двадцать лет, как я бесповоротно порвал с «Бундом», что никакой подпольной деятельностью я не занимался, что признаниям, сделанным под нажимом таких варварских средств, грош цена.

Минуты две он слушал молча и вдруг заорал с наигранным негодованием:

– Как вы смеете порочить советские следственные органы! За это одно вас следовало бы раздавить, как гадину. И ещё жалуется, что на него оказывали нажим. Подумаешь, какой неженка. Вот когда у вас кости затрепчат, тогда узнаете, что такое нажим. А вашим признаниям и в самом деле грош цена. Подумаешь, националистические настроения, тенденции. К х...ям! Факты давайте. Контрреволюционная организация была? Была. А где её деятельность? Связи с зарубежными центрами, шпионаж, планы диверсий, террора, сообщники? Факты, факты давайте, если не хотите, чтобы мы из вас сделали яичницу!



Это было тяжёлым ударом по иллюзиям последних дней. Значит, не только не намечается никаких перемен к лучшему, а наоборот, гайка завинчивается ещё круче. Я не сразу нашёлся, что сказать.

– Что же вы молчите?

– Раз нельзя говорить правду...

– Правду, правду. Смотря какую правду. Знаем вашу правду...

Он перекатывал это слово, как твёрдый орешек, которого зуб никак не раскусит.

– Не советую вам тыкать нам в нос свою правду. А то вас мало, видно, били, можем добавить ещё. Кто вам разрешил написать заявление?

– Будем считать, что никакого заявления не было.

Да, я на этот раз сдался быстро, не проявив сколько-нибудь серьёзного сопротивления, и тут же был наказан одобрителем похлопыванием по плечу.

– Вижу, что мы с вами легко договоримся.

Глубокая, беспредельная усталость овладела душой. Обессиливало сознание полной бесперспективности сопротивления. Поскорее кончать любой ценой – больше уже не было никаких желаний. Опомился я только, когда следователь потребовал, чтобы я назвал «сообщников». Этого я не мог сделать, язык не поворачивался. Этого я не сделал.

Позже выяснилось, что следователь меня разыграл, никакой он не посланец Москвы, а местный работник, некто по фамилии Беленький²⁰, снискавший среди заключённых громкую известность своим коварством и своими зверствами.

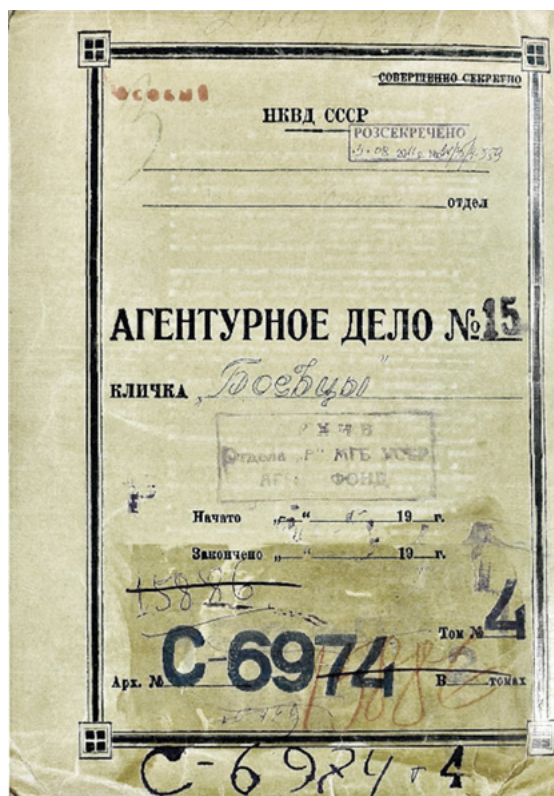
²⁰ Видимо, Елизар Беленький (род. 1907, Екатеринослав / ныне Днепро), в НКВД с 1930-го. В описываемый период занимал пост помощника начальника отделения 4-го отдела главного управления госбезопасности НКВД УССР. В мае 1940-го уволен в запас. Во время 2-й Мировой служил в «Смерше», награждён медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степени. Закончил службу подполковником в 1950 году. (Прим. В. Ч.)

«Справка ненависти»

От публикатора

Поиски материалов, связанных с судьбой Н. Лурье, привели меня на сайт Фонда НаДаВ (NaDaV Foundation). Там – как раз в это время! – в рамках проекта J-doc была выложена большая подборка архивных материалов НКВД, связанных с репрессиями против деятелей еврейской культуры. Среди них я нашла и «агентурное дело № 15 "Боевцы"»²¹, сфабрикованное в 1938–1939 годах 2-м отделом управления госбезопасности НКВД Украинской ССР, по которому проходил Н. Лурье (одним из фигурантов был и отец Ю. Винер, писатель и литературовед Меир Винер).

Есть в деле датированная ноябрём 1939 года справка за подписью начальника 2-го отдела управления госбезопасности НКВД УССР капитана госбезопасности Павлычева на Нояха Лурье. 7 машинописных страничек с абсурдными домыслами, обвинениями, цитатами из донесений агентов-«стукачей», среди которых были и литераторы, вызывают отращение, но помогают полнее ощутить атмосферу эпохи.



Страница дела
в проекте «J-Doc»



файл PDF

²¹ Агентурное дело НКВД СССР «Боевцы» в 2 т., т. 1, 4.11.1938–3.07.1959. – ОГА СБУ, Киев, ф. 65, д. С-6974, т. 4 // Проект «J-Doc» <https://zikaron.nadavfund.org.il/items/show/1840>

С П Р А В К А

ЛУРЬЕ Шоях Гешелевич²², 1886 года рождения, уроженец г. Слоним /б. Польша/, еврей, гражд. СССР, беспартийный, еврейский писатель-прозаик.

Проживает в г. Киеве, ул. Ленина № 68, кв. 36.

Сын лесопромышленника б. Гродненской губернии. В г. Вильно имеет родственников, с которыми ведёт переписку.

С 1905 по 1920 г. член партии "Бунд".

Являясь не разоружившимся врагом советской власти, вплоть до ареста 1938 г. проводил активную вражескую работу на литературном фронте.

В 1927 году являлся активным участником троцкистской националистической литературной организации "БОЙ", созданной троцкистом ФЕЛЬДМАНОМ по велению троцкистского центра.

"...В 1927 г. по моей инициативе было создано литературное объединение "БОЙ". Я тогда был троцкистом и было также в интересах троцкистов создать на Украине национально-культурное недовольство против правильной ленинской линии в национальном вопросе..."

/ФЕЛЬДМАН, - журнал "Пролит" № 4-5 за 1931 г. стр. 120/.

В том же 1927 г. ЛУРЬЕ подписал "Декларацию литературной организации "БОЙ", опубликованной в журнале "Ройте-Велт" № 5-6, стр. 139-142 за 1927 г.

После частичного разгрома троцкистского подполья, ЛУРЬЕ в письме в редакцию "Пролетарише Фон" писал:

"Я начал писать в годы реакции, оторванный от жизни рабочей, идейно связанный с тогдашним идилистским культурным движением. Это определило характер моих первых шагов.

²² Так в тексте (прим. И. Р.)

Мои работы того периода часто проникнуты мелко-буржуазным индивидуализмом и националистическими настроениями. К моему несчастью я лишь в 1920 г. окончательно порвал с контрреволюционным "Бундом", к которому я до того времени формально принадлежал... В 1929 г. я принял активное участие в основании литературного объединения "БОИ"... Это влияло на творческую работу и приводило к ложным шагам. Мой рассказ "Под колесом", опубликованный в эпоху, когда революция перешла в широкое социалистическое наступление, пытался обрисовать трагикомическое положение буржуазных последышей в нашем городском обществе, неминуемый закон их гибели и своим объективизмом показал, что автору не хватает обостренного классового чутья для актуальной боевой ситуации..."

После опубликования приведенной двуручнической декларации, ЛУРЬЕ продолжал оставаться на антисоветских националистических позициях, обрабатывая молодежь в контрреволюционном духе.

"...В 1933 году, когда вместе с ЛУРЬЕ отдыхали в доме писателей в Межторье, со мной имел беседу ЛУРЬЕ... Он говорил о жутком положении на селе, о голоде, о смертности,

СПРАВКА

✓ ЛУРЬЕ Ноях Гешевич, 1886 года рождения, уроженец г. Слоним / б.Польша/, еврей, гражд. СССР, беспартийный, еврейский писатель-прозаик. Проживает в г.Киеве ул. Ленина № 68 кв. 35.

Сын лесопромышленника б.Гродненской губернии. В г. Вильно имеет родственников, с которыми ведет переписку.

С 1906 по 1920 г. член партии "Бунд". Являясь неравнодушным врагом советской власти вплоть до ареста 1938 г. проводил активную вражескую работу на литературном фронте.

В 1927 году являлся активным участником троцкистской националистической литературной организации "БОИ", созданной троцкистом ЭВЕНДМАГОМ по веданию троцкистского центра.

"...В 1927 г. по моей инициативе было создано литературное объединение "БОИ". Я тогда был троцкистом и было также в интересах троцкистов создать на Украине национально-культурное объединение против правильной ленинской линии в национальном вопросе..." /Эвэндмаг - журнал "Пролет" № 4-5 за 1931 г. стр. 120/.

В том же 1927 г. ЛУРЬЕ подписал "Декларацию литературной организации "БОИ", опубликованной в журнале "Ротге-Вальд" № 5-6, стр. 139-142 за 1927 г.

После частого резкого троцкистского подвала, ЛУРЬЕ в письме в редакцию "Пролетарие Фем" писал:

"Я начал писать в годы реакции, оторванный от жизни работой, изолированный от тогдашней индустриальной культурной деятельности. Это определило характер моих первых работ. Мои работы того периода часто проникнуты мелко-буржуазным индивидуализмом и националистическими настроениями... В моему несчастью я лишь в 1920 г. окончательно порвал с контрреволюционным "Бундом", к которому я до того времени формально принадлежал... В 1929 г. я принял активное участие в основании литературного объединения "БОИ"... Это влияло на творческую работу и приводило к ложным шагам. Мой рассказ "Под колесом", опубликованный в эпоху, когда революция перешла в широкое социалистическое наступление, пытался обрисовать трагикомическое положение буржуазных последышей в нашем городском обществе, неминуемый закон их гибели и своим объективизмом показал, что автору не хватает обостренного классового чутья для актуальной боевой ситуации..."

После опубликования приведенной двуручнической декларации, ЛУРЬЕ продолжал оставаться на антисоветских националистических позициях, обрабатывая молодежь в контрреволюционном духе.

воскликая, что будет дальше. Разговор он закончил шепотом, заявив "этот рулевой посадит наш корабль на подводные камни"... При последующих встречах он пытался вести антисоветские разговоры..."

/"Полярный" от П.Х.-1937 г./.

Это же подтвердил и арестованный в 1938 г. украинский писатель КИРИЛЕНКО.

"Руководящее место среди еврейских писателей заняли люди ещё более подозрительные, имеющие темное прошлое и далеко не советское настоящее. Такими являются Лев КВИТКО, Шоях ЛУРЬЕ, Липа РЕЗНИК, ОРЛЯНД /в Киеве/ и НИСТЕР-КАГАНОВИЧ в Харькове. Все они участники еврейской антисоветской литературной организации "БОЙ", существовавшей в Киеве в 1926-27 гг.

ЛУРЬЕ Шоях был членом ЦК Бунда, позже был одним из руководителей антисоветской организации "БОЙ" в Киеве. За последние два года, когда я имел возможность ближе наблюдать ЛУРЬЕ у меня сложилось впечатление, что он и до сих пор остался человеком с сионистским духом. Вместе с Липой РЕЗНИКОМ тоже бывшим видным бундовцем - Шоях ЛУРЬЕ ведет разлагающую работу среди еврейской литературной молодежи. Если ФЕФЕР имеет свою группу, то ЛУРЬЕ, Липа РЕЗНИК и ОРЛЯНД объединят вокруг себя националистически настроенную молодежь, а именно: ТАЛАЛАЕВСКОГО - бывшего в 1924-25-26 гг. членом подпольной юношеской сионистской организации, ЗАБАРУ, ЛОПАТУ, критика ВОКЕНШТЕЙНА, ГАРЦМАНА, ЧЕРНЯВСКОГО и ряд других.

Влияние ЛУРЬЕ, РЕЗНИКА и ОРЛЯНДА на молодежь настолько ощутимо, что иногда даже на собраниях писателей некоторые из молодых писателей позволяют себе националистические выхватки",

/из показ. арест. КИРИЛЕНКО от 22.УШ-38 г

Арестованный активный участник бундовского подполья на Украине - МАЦ показал о принадлежности к этому подполью ЛУРЬЕ.

“...В свою очередь я рассказал ЛЕВИТАНУ о своем мнении в отношении еврейских писателей ГОФШТЕЙНА Д. и ЛУРЬЕ Н., считая их безусловно участниками какой-либо контрреволюционной организации.

Свой вывод я обуславливал тем, что ГОФШТЕЙН в 1923 г. демонстративно выехал в Палестину, был там связан с сионистами, после приезда, в своих стихотворениях восхвалял систематически ТРОЦКОГО, идеализировал его, а также неоднократно выступал против линии партии.

О писателе ЛУРЬЕ я говорил ЛЕВИТАНУ, как об активном бундовце в прошлом, которого нужно привлечь к работе в настоящее время.

Улыбнувшись ЛЕВИТАН сообщил мне, что ГОФШТЕЙН и ЛУРЬЕ являются участниками бундовского подполья в настоящее время и проводят активную контрреволюционную работу...

/показания обв. МАЦА Д.М. — от 17 мая 1938 года/.

Антисоветская деятельность ЛУРЬЕ подтверждается также рядом агентурных донесений.

“...В помещении “Гослитиздата” ЛУРЬЕ завел беседу о нынешнем положении работников литературы — “Я боюсь думать, — сказал он, — что все эти бесчисленные аресты и газетная травля писателей могут привести к весьма печальному концу. Вы подумайте, разве может быть такое положение, чтобы все писатели были преступниками. А у нас так выходит.

Несколько десятков арестовано. Все остальные, за весьма малым исключением, объявлены в газетах фашистскими подпевалами, националистами, в общем — людьми, враждебными существующему строю. Ведь это же идиотизм косить всех подряд неизвестно за что, те когда-то о ЯКИРЕ, давали свои кнители на отзыв ХВЫЛЕ. Скажите, откуда они могли знать, что это враги народа. Ведь ХВЫЛЮ и ЯКИРА выдвинула сама партия, а партии мы слепо доверяем. Так чем же виноваты писатели, что партия ошибку?

Владимир ЛУРЬЕ, РЕЗНИКИ и ОРБИША на митингах постоянно ощущают, что иногда даже на собраниях писателей некоторые из молодых писателей позволяют себе националистические выскатки.

/из письма арест. КИРИЛКИНО от 22.УИ-38г

Арестованный антифаши участником бундовского подполья на Украине - МАЦ показал о принадлежности к этому подполью ЛУРЬЕ.

"...В свою очередь я вспоминаю ЛЕВИТАНУ о своем мнении в отношении еврейских писателей ГОШТЕЙНА Л. и ЛУРЬЕ П., считая их безусловно участниками какой-либо контрреволюционной организации.

Своей виной я обуславливаю то, что ГОШТЕЙН в 1928 г. демонстративно являлся в Идзестину, был там связан с сионистами, после приезда, в своих стихотворениях восхвалял сионистского ТИЦ-КОГО, идеализировал его, а также неоднократно выступал против линии партии.

О писателе ЛУРЬЕ я говорил ЛЕВИТАНУ, как об антифаши бундовце в прошлом, которого нужно привлечь к работе в настоящее время.

Узнав у ЛЕВИТАНА, что ГОШТЕЙН и ЛУРЬЕ являются участниками бундовского подполья в настоящее время и проводят активную контрреволюционную работу...

/поведания евр. МАПА Д.И. - от 17 мая 1938 года.

Антисоветская деятельность ЛУРЬЕ подтверждается также рядом агентурных сообщений.

"...В помещении "Родзвиздота" ЛУРЬЕ являл беседу о нынешнем положении работников литературы - "И борись думать", считая это, что все эти бесцельные аресты и гонения против писателей могут привести к весьма печальному концу. Он подумывает, разве можно быть таким полагая, чтобы все писатели были преступниками. А у нас так выходит.

Несколько десятков арестовано. Все, оставшееся, во всем мире исключено, об этом в газетах безвестными подпольными националистами, в общем - левыми, вредительскими суетствующими группами. Ведь это не является косяк всех подряд неизвестно за что, за какого-то писателя ЛУРЬЕ, являлся своим книгой на отрыве ХВЛЕТ. Сказано, откуда они когда знают, что это всего лишь. Виль ХВЛЕТ и ЯХИГА являлись же сами партией, в партии мы следо доверяем, так как не забывали писателя, что партии следовало забыть.

Нельзя так работать, являя, нас шельмуют в газетах, действительности бояться нас печатать, само слово писатель становится позорным..."

/ "МУРНАКИТ" от 1.Х-1937 г./

В связи с процессом антисоветского правотроцкистского блока ЛУРЬЕ в беседе с агентом заявил:

"... После митинга в союзе писателей еврейский писатель Н. ЛУРЬЕ говорил Н. БАЖАНУ, что читая раньше подобные извещения, у него всегда рождались сомнения и он не мог верить, чтобы такие люди делали такие преступления. Однако, он теперь уверен, что на этом процессе повторится невероятная картина морального разложения людей, которые сидят на скамье подсудимых. Он говорил, что для него является тайной, почему ДИМИТРОВ мог так стойко держаться перед вражьиим судом и почему эти люди так низко и глубоко падают, теряя в своих намерениях, в своем поведении и в своем сознании всякое подобие человека. Он говорил, что не гипнозом, а пытками это вызывается..."

Дальше так работать нельзя, нас шельмуют в газетах, издательства боятся нас печатать, само слово писатель становится позорным...

/"ЖУРНАЛИСТ" от 1.Х-1937 г./

В связи с процессом антисоветского правотроцкистского блока ЛУРЬЕ в беседе с агентом заявил:

"... После митинга в союзе писателей еврейский писатель Н. ЛУРЬЕ говорил Н. БАЖАНУ, что читая раньше подобные извещения, у него всегда рождались сомнения и он не мог верить, чтобы такие люди делали такие преступления. Однако, он теперь уверен, что на этом процессе повторится невероятная картина морального разложения людей, которые сидят на скамье подсудимых. Он говорил, что для него является тайной, почему ДИМИТРОВ мог так стойко держаться перед вражьиим судом и почему эти люди так низко и глубоко падают, теряя в своих намерениях, в своем поведении и в своем сознании всякое подобие человека. Он говорил, что не гипнозом, а пытками это вызывается..."

/Пётр Уманский" от 2.Ш-1938 г./

26 мая 1938 года на заседании оборонной секции союза советских писателей УССР ЛУРЬЕ выступил с троцкистских позиций.

“...Начинающие писатели – лётчик ВЯСОКОС и ещё один /фамилия неизвестна/ 26 мая в оборонной секции союза писателей читали свои рассказы.

Первым с критикой выступил еврейский писатель Ноях ЛУРЬЕ, который заявил: “скудно читать, когда рассказы все об обязательном героизме”. Заранее, мол, все известно – что лётчик герой, обязательно победит и получит орден”.

Он советовал лётчикам писать “о буднях”, показать и лётчика глупого, трусливого, делающего ошибки и неуверенного”.

Советовал показывать лётчика “на земле и не выводить его обязательно на машине и героем”.

...То, что ЛУРЬЕ эту “теорию” вытащил опять на свет и предложил её молодым писателям-лётчикам, говорит за то, что он является последователем теории АВЕРБАХА.

Выступление ЛУРЬЕ на оборонной секции союза писателей есть троцкистская вылазка в литературе.

ЛУРЬЕ много лет был членом партии “БУНД”. Говорят, что был членом ЦК “БУНД’а”.

“Северская” от З.УІ-38 т./.

5.-

“...В повести “Роскваша” ЛУРЬЕ заявил беседу о низшем положении работнической литературы – “Я боюсь кризиса”, сказал он, – что все эти бесчисленные ярости и гонения критики писателей могут привести к великому печальному концу. Вы подумайте, разве может быть такое положение, чтобы все писатели были преступниками. А у нас так выходит.”

Несколько писател преступно. Все, осужденные, во всяком случае исключены, объявлены в газетах физическими подданными, националистами, в обмен – лётками, враждебными судостроительному сектору. Ведь это не критика, а косяк всех подряд неизвестно на что, те которые писали о ЛУРЬЕ, дали свои книги на основе ХИЛТ. Скажите, откуда они могли знать, что это враг народа. Ведь ХИЛТ и ЛУРЬЕ выдвинули свои партии, а партии мы следо делаем. Так чем же виноват писатель, что штетля сделал ошибку?”

Далее тем работат нельзя, нас называют в газетах, журналисты боятся нас печатать, они право писатель становится позором...”

“ИУРАЛИСТ” от 1.X-1937 г./.

В связи с процессом антимарксистского правотроцкистского блока ЛУРЬЕ в беседе с агентом заявил:

“... После издания в союзе писателей, еврейский писатель И. ЛУРЬЕ говорил И. ВЯКОС, что читать рассказы подобно заявлению, у него всегда рождается сомнение и он не мог верить, чтобы такие люди

делали такие преступления. Однако, он теперь уверен, что на этом процессе повторится неизменная картина извещенного разложения людей, которые сидят на скамьях подсудимых. Он говорит, что для него является тайной, почему ДАИТРОВ мог так стойко держаться перед врагами суесть и почему эти люди так низко и глупо думают, терпят в своих вымыслах, в своем поведении и в своем сознании всякое подлое человека. Он говорит, что не глуповат, а пытка это вымывается...”

/Петр Уманский от 2.Е-1938 г./.

26 мая 1938 года на заседании оборонной секции союза советских писателей ЮЗЕ ЛУРЬЕ выступил с троцкистских позиций.

“...Начинающие писатели – лётчик ВЯСОКОС и еще один /фамилия неизвестна/ 26 мая в оборонной секции союза писателей читали свои рассказы.

Первым с критикой выступил еврейский писатель Ноях ЛУРЬЕ, который заявил: “скудно читать, когда рассказы все об обязательном героизме”. Заранее, мол, все известно – что лётчик герой, обязательно победит и получит орден”.

Он советовал лётчикам писать “о буднях”, показать и лётчика глупого, трусливого, делающего ошибки и неуверенного”.

Советовал показывать лётчика “на земле и не выводить его обязательно” на машине и героем”.

...То, что ЛУРЬЕ эту “теорию” вытащил опять на свет и предложил ее молодым писателям – лётчикам, говорит за то, что он является последователем теории АВЕРБАХА”.

7.-

Выступление ЛУРЬЕ на оборонной сессии Союза писателей есть троцкистским мифом в литературе.

ЛУРЬЕ много лет был членом партии "Бунд". Говорит, что он был членом ЦК "Общества" от 3.1.1933.

За активную антисоветскую деятельность ЛУРЬЕ в июне 1938 года был арестован и показан о своей принадлежности к антисоветской бундовской организации, в которую был завербован в 1933 г. заведующим кафедрой института еврейской культуры в г. Киеве — ЛЕВИТАНОМ.

В судебном заседании в мае 1939 года ЛУРЬЕ от своих показаний отказался.

6 мая 1939 г. еврейские московские писатели МАРКИШ, КВИТКО, ГАЛКИН и украинский писатель РЫЛЬСКИЙ возбудили перед Военным Трибуналом КОВО письменное ходатайство об освобождении ЛУРЬЕ.

В результате отказа от своих показаний ЛУРЬЕ в мае 1939 г. по суду был оправдан.

По освобождении из под стражи ЛУРЬЕ распространяет различные провокационные слухи, якобы применявшихся к нему незаконных методов следствия.

НАЧАЛЬНИК 2 ОТДЕЛА УГБ НКВД УССР
КАПИТАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
/ПАВЛЫЧЕВ/

За активную антисоветскую деятельность ЛУРЬЕ в июне 1938 года был арестован и показал о своей принадлежности к антисоветской бундовской организации, в которую был завербован в 1933 г. заведующим кафедрой института еврейской культуры в г. Киеве — ЛЕВИТАНОМ.

В судебном заседании в мае 1939 года ЛУРЬЕ от своих показаний

отказался.

6 мая 1939 г. еврейские московские писатели МАРКИШ, КВИТКО, ГАЛКИН и украинский писатель РЫЛЬСКИЙ возбудили перед Военным Трибуналом КОВО письменное ходатайство об освобождении ЛУРЬЕ.

В результате отказа от своих показаний ЛУРЬЕ в мае 1939 г. по суду был оправдан.

По освобождении из-под стражи ЛУРЬЕ распространяет различные провокационные слухи, о якобы применявшихся к нему незаконных методах следствия.

НАЧАЛЬНИК 2 ОТДЕЛА УГБ НКВД УССР
КАПИТАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ /ПАВЛЫЧЕВ²³/
" " ноября 1939 года ■

²³ Леонид Михайлович Павлычев (1908–1942) — в органах ВЧК–ОГПУ–НКВД с 1931, до 15 октября 1937 в управлении ГБ УНКВД Горьковской обл. Затем откомандирован в распоряжение НКВД УССР. Через год стал начальником 4-го, а потом 2-го отделов управления ГБ НКВД УССР. В 1940-м получил медаль «За отвагу». 13.02.1941 арестован и 15.08.1941 Военным трибуналом войск НКВД Киевского округа приговорён к 10 годам лишения свободы. 12.01.1942 освобождён из исправительно-трудового лагеря досрочно со снятием судимости, отправлен на фронт. (Прим. И. Р.)





М

Маргарита ЛЕВИН

📍 Москва, Россия –
Тель-Авив, Иерусалим, Израиль



Фото: Анна Цаплина (Италия)

Биография

Москвичка, окончила художественно-графический факультет Московского полиграфического института. Работала в издательстве «Искусство».

Поднялась в Израиль (1990), вступила в Союз художников в Тель-Авиве (1991), с 2004-го живёт и творит в Иерусалиме.

Участвовала в выставках в музеях и галереях в Израиле, России, США, Канаде, Швеции, Бельгии, Швейцарии, Франции, Англии, Германии.

Картина «Панорама золотого Иерусалима» стала лауреатом 2-й степени «За живописность» на международном конкурсе во Франции (2011).

Работы находятся в 14 музеях России, Украины, Азербайджана, Узбекистана, в том числе в Государственном музее Востока (Москва), Доме-музее Цветаевой (Москва), Доме-музее им Н. Рериха (Одесса), Историческом музее Шолом-Алейхема (Киев), в частных коллекциях многих стран.

Автобиография

Я женщина, я художник, я учитель и ученик.

Мама хотела стать актрисой, стала юристом, а позже музыкальным работником. Во мне победили папины гены: он рисовал, он был архитектор. После того как испарились дошкольные мечты о балете, я точно знала, что хочу стать художником (и танцевать). Мама думала иначе, и 8 лет я училась музыке, за что благодарна маме (не играю, но умею слушать и слышать). Только в 9-м классе нашла себе художественную школу с прекрасным учителем – Евгением Дороним. Поскольку я ученик, мне всегда везло с учителями. В Московском полиграфическом институте училась у известного графика Андрея Гончарова, ученика великого графика Владимира Фаворского. После института работала внештатным художником в издательстве «Искусство» (до 1990), где начинала с практики у одного из лучших дизайнеров книги Максима Жукова.

Параллельно с учёбой в институте произошла судьбоносная встреча с замечательным живописцем Владимиром Вейсбергом, в студии которого училась 3 года. Он делал своим ученикам прививку цветом. Через несколько лет позвонила поздравить Владимира Григорьевича с днём рождения, и он сказал, что теперь уверен, что я художник. Поняла, о чём он говорил, так же как и ещё многое сказанное им на уроках, только через много лет, имея уже своих учеников.

Работы М. Левин на сайте margaritaritalevin.wixsite.com/index

Контакты: margarita.rita.levin@gmail.com 📞 +972-54-808-1314

Прививка цветом

Живопись обступила меня, и я вошёл в неё...

*Внешнее не рождённое внутренним,
мертворожденно.*

В. Кандинский. Ступени

«Белое на белом» всегда волновало. Сначала подсознательно при благотворном влиянии моего учителя Владимира Вейсберга. Впоследствии понадобилось много времени, чтобы освободиться от этого могучего влияния, но тема «Белого» продолжалась всю жизнь в самых разных проявлениях. Натюрморты и пейзажи были светлые. Чёрная точка – чёрный шарик, который ставила в натюрморт, гипнотизировал меня, без него творение натюрморта казалось незаконченным. Всё больше оставалась нетронутой поверхность белого холста. Всё больше отделялось цветное пятно от предметов. Иногда это было выплеском яркой цветовой энергии красок или тончайшими разработками светящейся перламутровой поверхности на холсте. Очень хотелось перескочить поскорее в импровизацию Большой композиции. Но это произошло значительно позже, уже в Израиле.

В Тель-Авиве, где прожила 12 лет, на улице Бен-Йегуда была моя мастерская. Писала улицу направо и налево почти с одного места 5 лет. Осуществила своё стремление на максимальном белом минимальными цветовыми пятнами выразить свои ощущения, проникновение в объект и погружение его в бесконечно белое пространство холста.

В 2004-м переехала в Иерусалим. О чём задолго до того написал, посетив мою мастерскую, психолог и поэт Анатолий Добрович:

А впереди – Иерусалим.
 Как обморок неодолим,
 Там больше места нет мазкам,
 Там лишь снопы из цвета, света.

В Иерусалиме открылась Вечность. Началась тема «Духовные пространства», которая бесконечна. Сегодня приходит понимание, что Творец решает Свою Творческую задачу в этом материальном мире – как соединить конечное с Бесконечным, – а мы должны Ему помочь, кто как может, поскольку мы «по образу и подобию» с Ним. Мы же те, в ком Он сделал соединение вечной души с конечным телом. И Творец постоянно поддерживает в нас это соединение, пока не придёт время разъединить. Мы же постоянно помогаем Ему, даже не замечая и не понимая этого. В еде, в любви, в рождении и смерти, в творчестве можно постоянно поднимать конечный материальный мир в бесконечность вечности. Мы воплощаем замысел Всевышнего о человечестве и всём мире. Но тело пока ещё соединяется с землёй, а душа возвращается в край вечности, в духовные пространства, возникая потом в материи при рождении человека.

Есть вера в воскрешение мёртвых, в буквальном смысле, материально. Но надо понимать, что это будет другая материя, и мы видим сейчас, как она меняется на наших глазах вместе со временем. Но есть мнение, что может быть это воскрешение «мёртвых душ» к духовной жизни. Проживаются последние времена заматериализованности – перед глобальным изменением материи и человеческой жизни. Нас ждёт бесконечность здесь в обновлённой материи. Грядут величайшие открытия. Перемены надо выдержать и быть в соответствии.



Композиция из цветов, триптих, 1991



Безгранично-творческое сознание

– Как мне выразить Тебя!
– Жить во Мне..

В. Кандинский. Ступени

Человечество достигло максимума в Творчестве. Абстрактное — это вершина нашего времени. Завтрашний день откроет занавес, за которым пока ещё скрывается новое, но человечество прозревает. Мусор уйдёт в отходы, они пока необходимы. В будущем будет чисто, свободно, творческими будут все и всё.

Я бы назвала будущее время «Безгранично-творческое сознание». Вертикаль восторжествует над горизонталью, дух над телом, потому что оно осветится, станет более соединённым с душой и послушным ей. Задача Творца будет решена здесь в нижнем Его мире. Как это будет мы пока представить себе не можем, что мы можем, так это помочь Всемогущему воплотить Его замысел здесь и сейчас, кто чем может. Для этого Он дал нам жизнь и бесконечный творческий потенциал. Дело за нами. Желаю всем успехов на нашем пути!

Иерусалим

2009–03.01.2024

Михаил ГОРЕЛИК

ЭССЕИСТ

Свет и цвет Маргариты

Духовная жизнь Маргариты Левин вот уже четверть века ориентирована на Кабалу, но Кабала стала не источником, а лишь оформлением интуиции большого света, которая всегда жила в ней и инспирировала её работы ещё до того, как она узнала слово такое – «Кабала».

Эта интуиция привела Левин в юности в ученичество к Владимиру Вейсбергу – одному из самых значительных и оригинальных художников послевоенного авангарда: во времена диктатуры соцреализма он работал с растворяющим формы светом. У Левин процесс инвертирован: свет, оплотняясь, порождает формы – вполне в духе Кабалы. Этот приоритет, это доминирование света, пронизанность им – манифестированы в разнообразных техниках: от вполне реалистических натюрмортов и куда менее реалистических пейзажей до грандиозных абстракций, своего рода фрагментов визуальной Сефер Берешит.

Головоломки, парадоксы и литературные игры чистого разума Льюиса Кэррола Левин преобразила в праздничное переживание цвета, изменив природу книжного нарратива. Сдаётся мне, если бы Кэрролу удалось увидеть, он бы подивился и порадовался.

Образ шахматной доски возбуждает воображение Маргариты Левин. Игровое поле, в клетках которого бушует неудержимая цветовая жизнь, сполохи света, порой в гармонии с упорядоченной структурой доски, порой не считаясь с границами. И вальс из гроба в колыбель переливается, как хмель. Картина с концептуальной оболочкой: присущие шахматной доске буквы и цифры задают культурное пространство не двух, как естественно было бы предположить, но многих измерений.





Латинские буквы – измерение античности и, более широко, западной истории и культуры. Арабские цифры – научное, физическое, прагматическое. А для низкой жизни были числа как домашний, подъяремный скот.

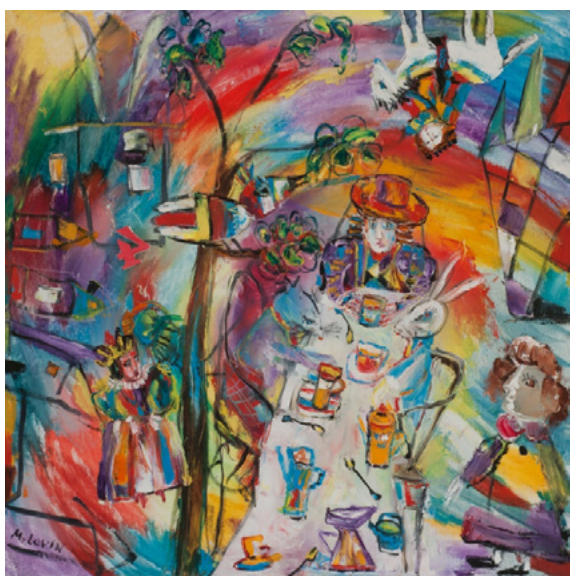
Еврейские буквы – мистические элементы; Тора, еврейская история и культура, Израиль (во всех смыслах). Цифры, которые сама Левин определяет как «финикийские» репрезентирует в её творчестве метафизическое, мистическое, репрезентирует пространство сфирот.

Латентно присутствует ещё и пятое измерение: Восток; шахматы – игра, хотя и всецело адаптированная Западом, но родившаяся на Востоке.

Всё это концептуальное оснащение – лишь внешний рационализирующий комментарий к бушующей светом и цветом, с лёгкостью преодолевающей клеточную структуру и слабо поддающейся умозрительной рефлексии жизни.

Москва

2 января 2024



Алиса в Зазеркалье. Безумное чаепитие, 2011

Алиса в Стране Чудес. Какой картёж, 2011

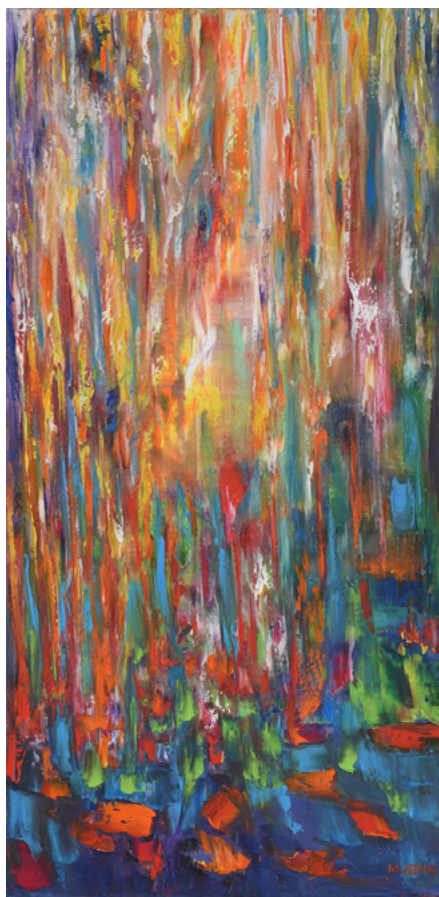
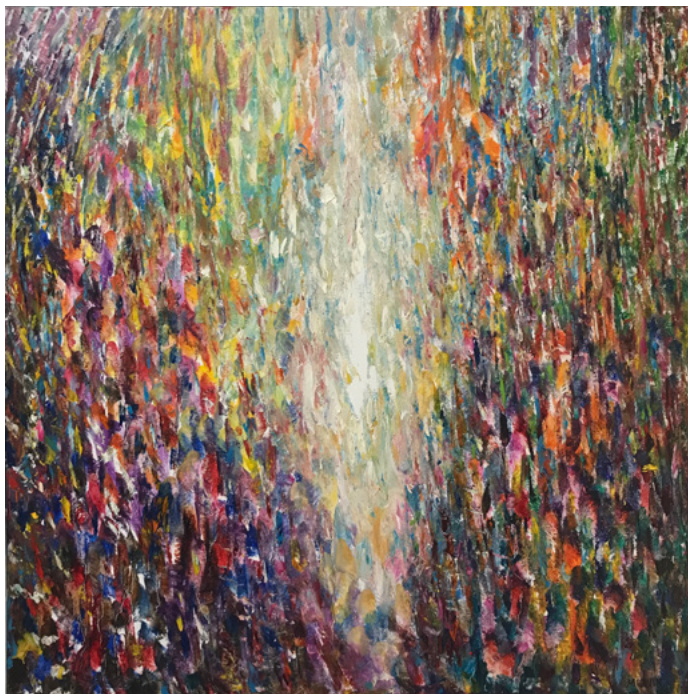
Алиса в Зазеркалье, 2010

Монада, 2005



Звук шофара, 2005

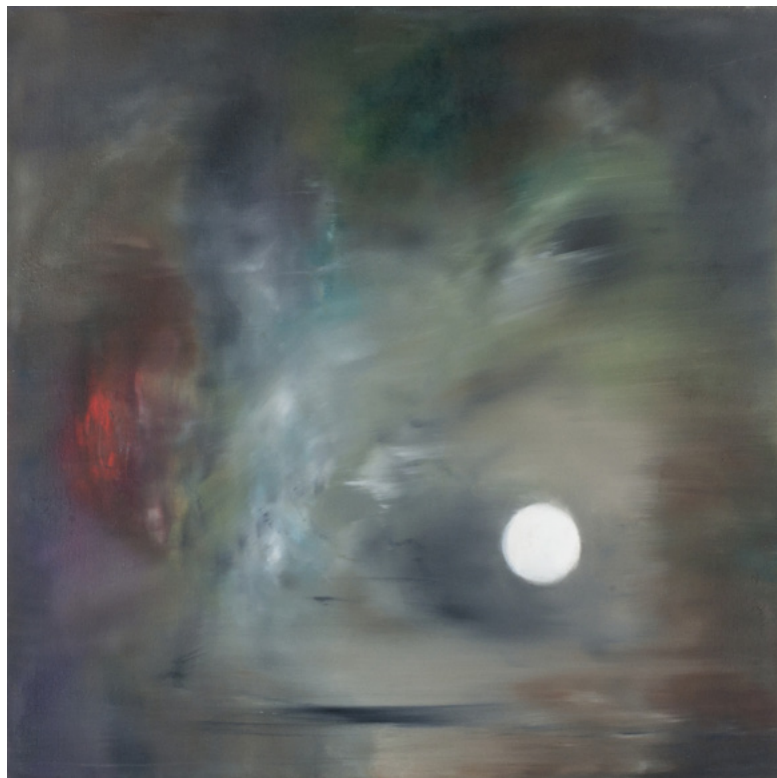




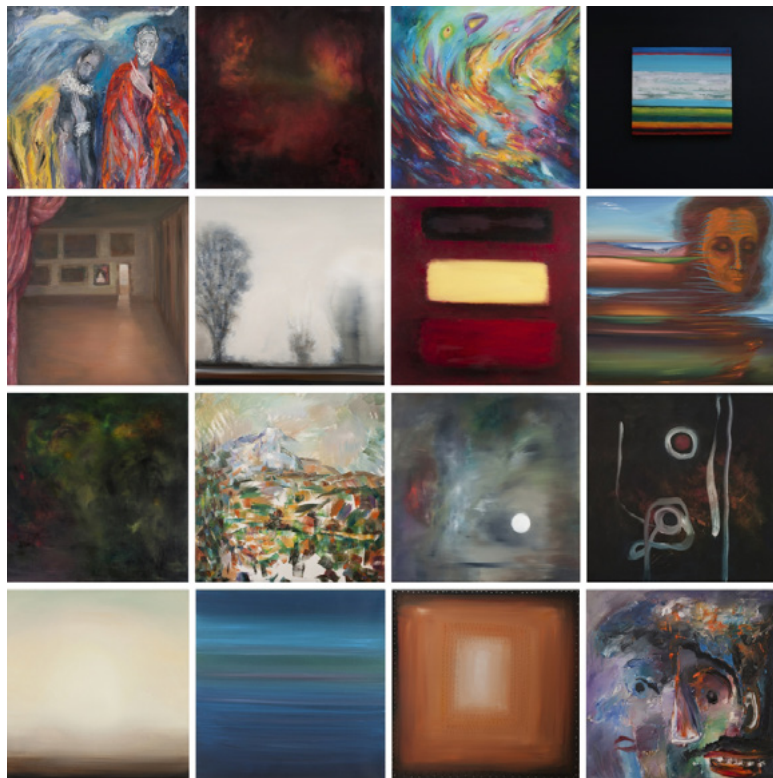
Бетховен. 7-я соната, 2-я часть, 2019

Под музыку Баха, 2020





Цветочницы Серия «От Эль Греко до Пикассо», 2010–2014

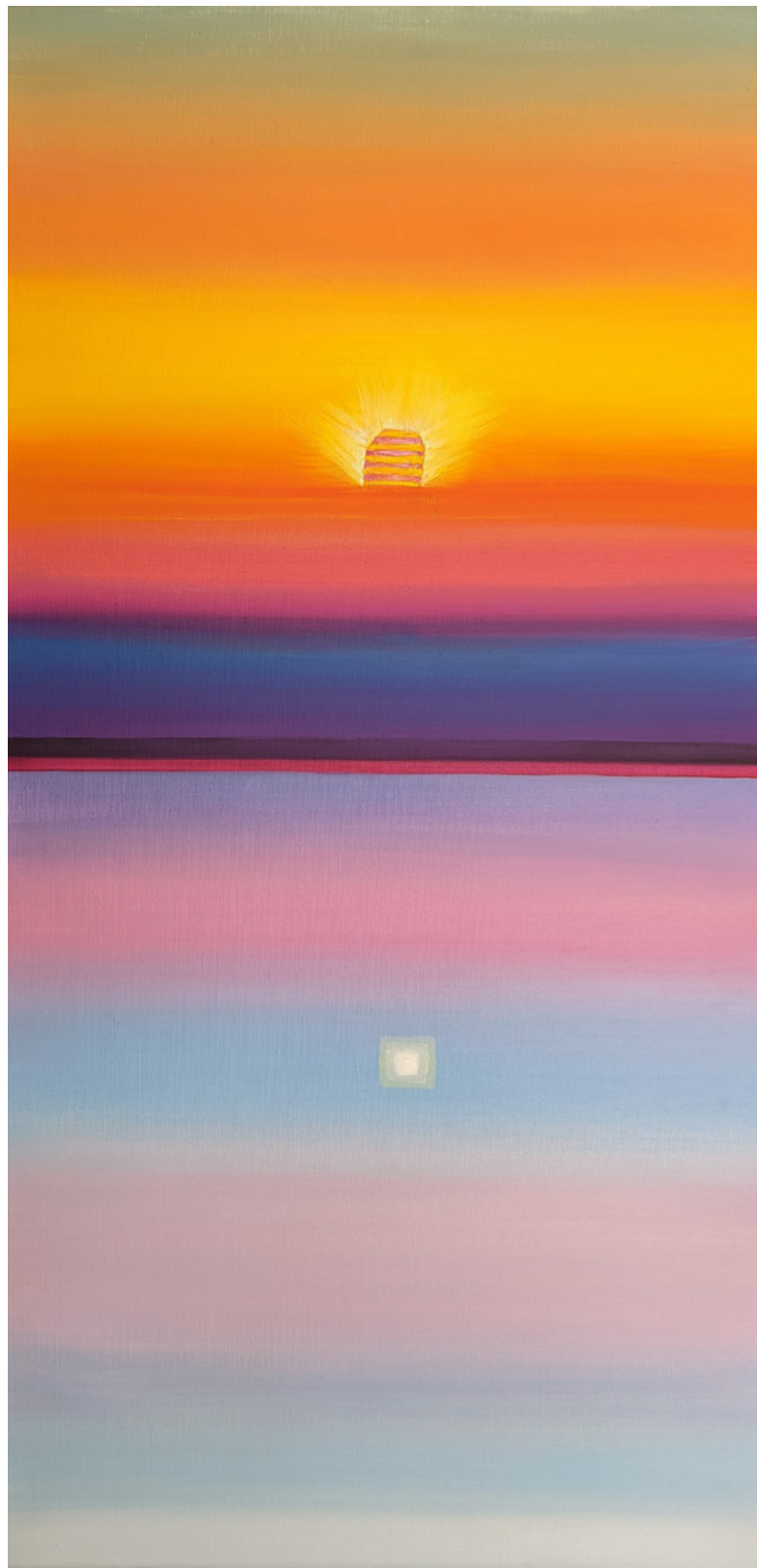


Серия «От Эль Греко до Пикассо». Каро, 2011

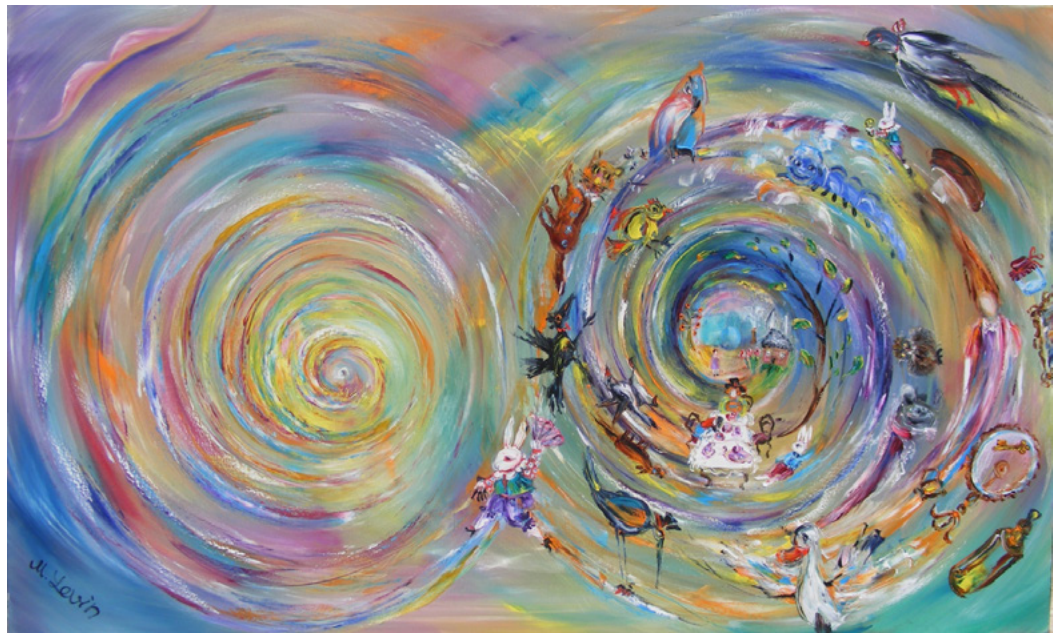








Алиса в Стране Чудес. Кроличья дыра, 2010

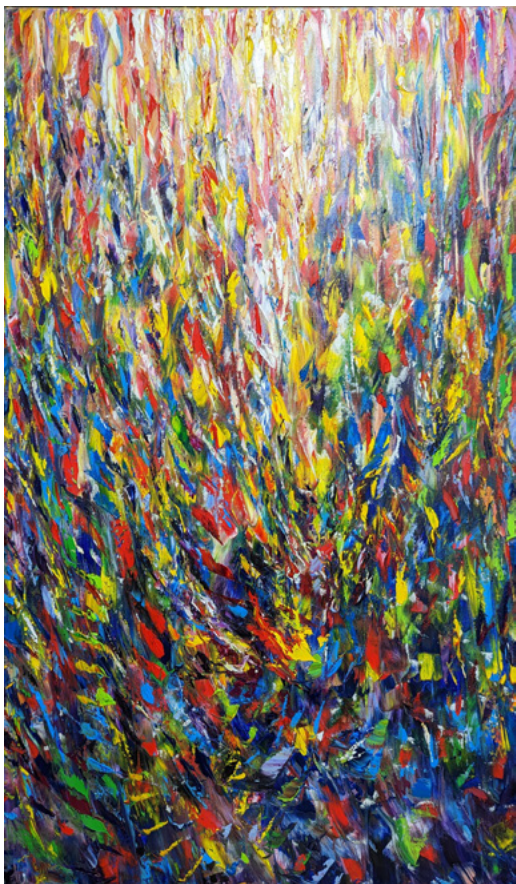


Серия «Жизнь Шагала в красках стихах», 2015

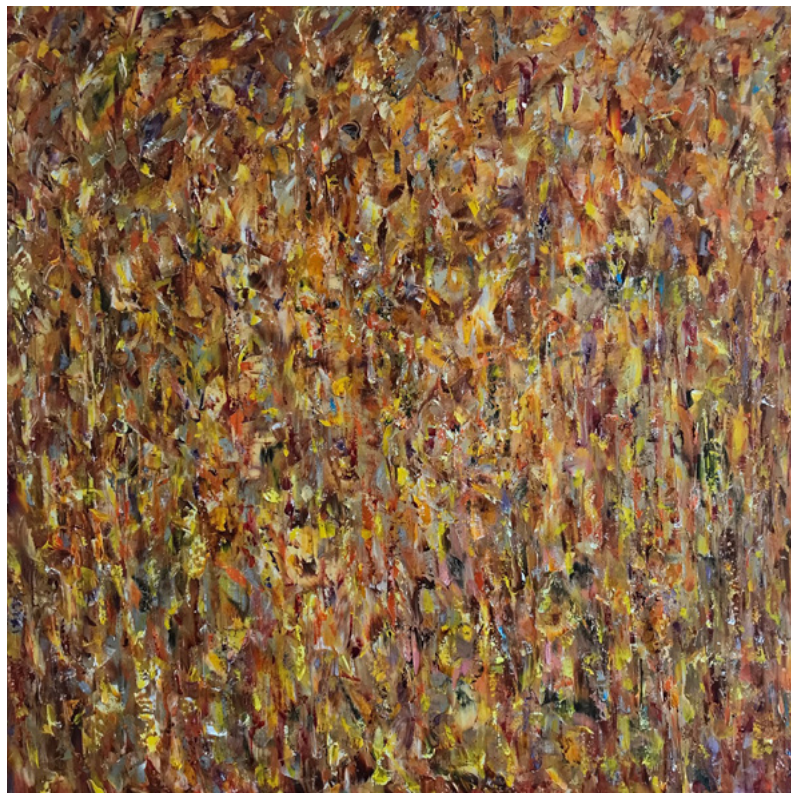




Страх, 2020



Рождение в мою жизнь, 2023

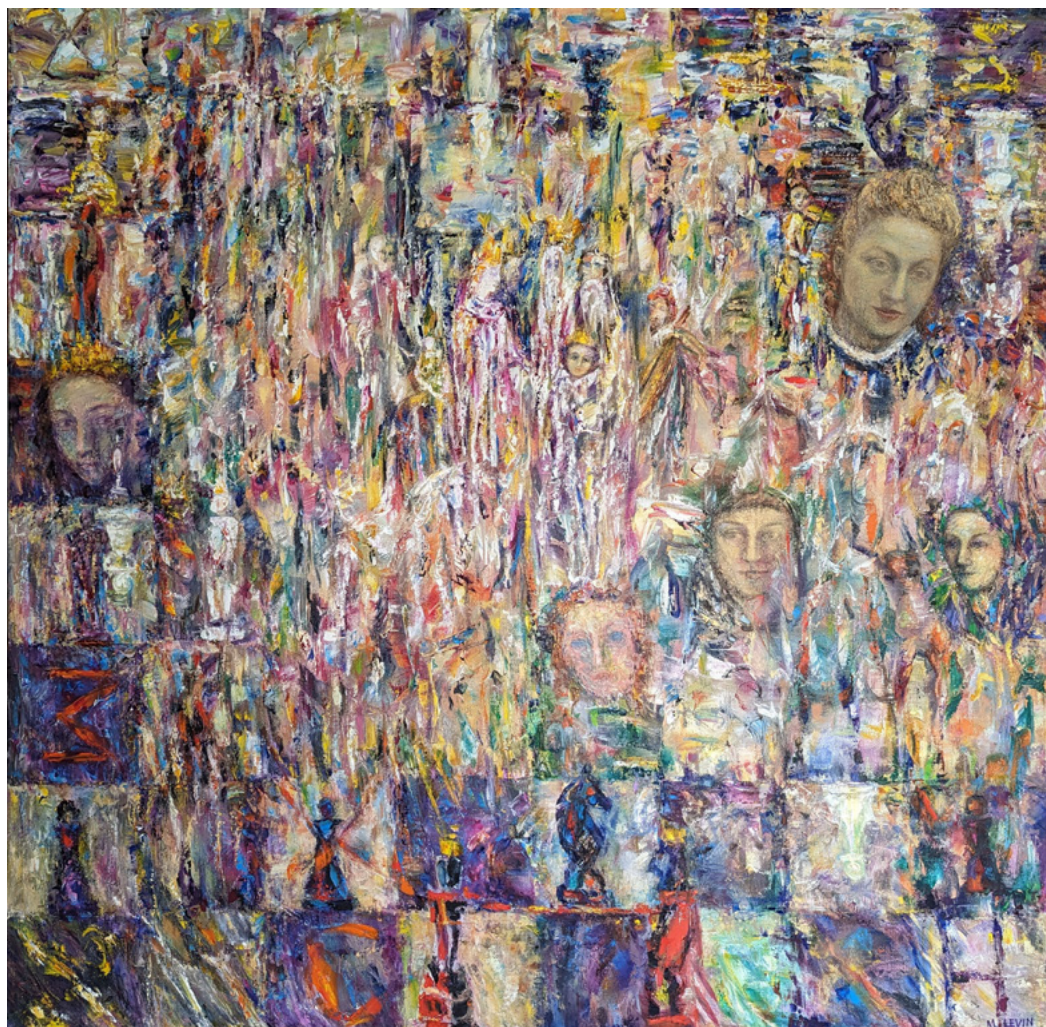




Композиция из предметов на чёрном-2, 1992



Композиция из предметов на чёрном-1, 1992



Что для меня самое основное?

Явить сокрытое в Творении, проявить Свет в этом мире, дать зрителю ощущение радости от красоты и осознания Мира.

Просыпаясь, ощущаю: я капля воды. Сливаясь с Океаном, не перестаю ощущать себя каплей и одновременно чувствую себя Океаном. Потрясающее чувство блаженства, единства и бесконечности. Очень хочется, чтобы мои картины были для людей таким Океаном.

Мы все пришли сюда, в этот мир безграничных возможностей с одной только целью – сознательно приблизиться к Творцу, раскрывая заложенный в нас бесконечный потенциал творческих сил, и чтобы мы ни делали, мы совершаем здесь и сейчас свою уникальную работу, необходимую для воссоздания единой картины Мира. ■

Маргарита Левина

Журнал ТТ (Тайные тропы)
№ 1 (5), 2024

ISSN 2958-499X

Учредитель и издатель
Барух-Александр Плохотенко

Главный редактор
Барух-Александр Плохотенко

Редакция
Владимир Горбачёв
Борис Борухов

Контакты
secrettropes@gmail.com

Никакая часть данного издания
не может быть воспроизведена
без разрешения редакции

Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов

Вниманию уважаемых авторов!
ТТ принимают к публикации
только прежде не издававшиеся
произведения, присланные,
переданные самими авторами
непосредственно в редакцию

Редакция не рецензирует
присланные материалы
и в переписку по их поводу
не вступает

© ТТ. Все права защищены

В оформлении обложки использованы
работы Маргариты Левин
из серии «От Эль Греко до Пикассо. Клее», «Монада»

ISSN 2958-499X



9 772958 499007